

ф а з и л ь  
Искандер

с о б р а н и е



человек и его окрестности



собрание

фазиль

# ИСКАНДЕР

человек и его окрестности



МОСКВА

2004

ББК 84.7-4  
И86

*Издательство выражает благодарность  
Александру Леонидовичу Мамуту  
за поддержку в издании книги*

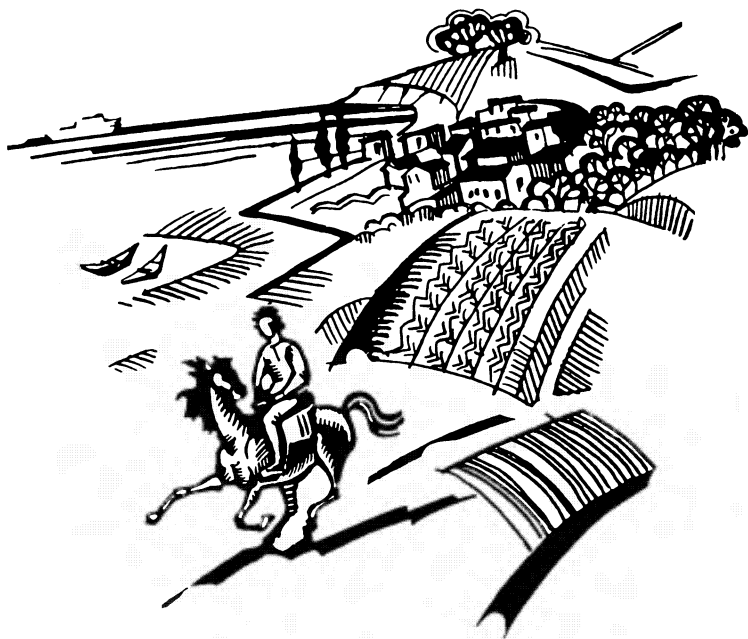
*Макет, оформление, иллюстрации*  
Валерий Калныныш

ISBN 5-94117-125-0

© Ф. А. Искандер, 2004

© В. Я. Калныныш, 2004

© Издательский дом «Время», 2004





путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

козы и шекспир

паром



# человек и его окрестности

## Ленин на «Амре»

Юмор — последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой (чуть не сказал печальной) реальностью.

Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует не слишком открыто, но и не слишком таясь грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на «Амре», в верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где многие люди, местные и приезжие, едят мороженое, пьют кофе, а иногда и чего-нибудь покрепче.

Сразу оговорюсь, что речь идет о морском ресторане «Амра», расположенном на старинной пристани в городе Мухусе. Если кто-нибудь имеет на примете какой-нибудь другой ресторан «Амра» в каком-нибудь другом городе, может быть в чем-то созвучном моему Мухусу, пусть остерегается писать протесты. Мол, у нас на «Амре» подают не так, мол, у нашего кофевара совсем не такой нос, мол, автор все выдумал и архитектура не та. Так вот, еще раз предупреждаю: речь идет о моей «Амре» в моем Мухусе. Там все так, как описываю я, и нос у кофевара именно такой, каким его опишу я, если вообще опишу.

Так вот. Говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что, когда он не

выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее.

Хотя он родился в Мухусе и его бедная мать до сих пор жива, он всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам.

Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежневе. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневе столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала.

Как это ни странно, почти все, что люди о нем говорили, впоследствии оказалось правдой. Но кто знает тайны человеческой психики? Неизвестно, когда именно у него крыша поехала: тогда, когда его упорный тридцатилетний труд отвергли все редакции, или тогда, когда он засел за этот труд?

А может, его собственное имя подтолкнуло его засесть за этот труд?

Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера.

Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. Нет народа, который не воспевал бы своих разбойников, но каждый народ воспевал их по-своему.

В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот «нас на бабу променял»? Дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо.

Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братства в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в летучее равенство разбоя.

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине, хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот.

Равенство перед разбоем не означает, что нажива у всех будет одинаковая. У каждого равные возможности перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной личности, хитрости, беспощадности, везенья.

Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя.

Степан Разин, как самый мощный предводитель своей шайки, овладел прекрасной полоняжкой. И это было справедливо, никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге. Почти женился. Чужеет. Выражаясь современным языком, он готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки.

Но Степан Разин, как идеальный народный герой, вовремя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они нарушили условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он выпал бы его своим товарищам и все уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать?

*И за борт ее бросает  
В набежавшую волну.*

Мрачное великолепие равенства распределения. Никому — значит, всем. Удивительна в своем гениальном простодушии строчка «в набежавшую волну». Волна, набегая, подбегает, как верная собака к хозяину. Сама природа одобряет справедливое решение. Восстанавливается мировая гармония. В одобрении природы угадывается тайная воля Бога. Он как бы сверху наблюдает за происходящим и улыбается:

— Правильным путем идете, товарищи.

Что такое восточный владыка, который, появляясь перед народом, приказывает швырять в толпу серебро монет? Что такое купец, выставляющий рабочим бочку вина? Что такое

пиршественный стол в награду за услуги чиновника? И что такое нашествие коллективизации и что такое тридцать седьмой год? Все это многообразные попытки соединить нас и восстановить наше единство через нашу разбойничью пра-память. Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин.

В Мухусе есть один философ-мистик (в Мухусе все есть), так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина и этот благодарный дух, естественно, всем другим оболочкам предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. (Почему этот дух не устремился к Мавзолею, будет понятно позже, если мне удастся довести этот рассказ до конца.)

Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну фанатик, ну рационалист, думал я, тут нет глубокой тайны личности.

Я был в Америке по приглашению русской летней школы в штате Вермонт. Вместе с женой и ребенком прожил в этой школе полтора месяца, иногда читая лекции студентам, изучающим русскую литературу, а чаще гуляя по зеленым, холмистым окрестностям.

Там был старик девяноста с лишним лет, который когда-то организовал эту школу. Фамилия его Первушин. Он приходил на мои лекции, и не только на мои, вместе со мной туда

приехало несколько московских писателей. Старик Первушин с удивительным для его возраста бодрым интересом слушал нас и даже нередко задавал вопросы.

Оказалось, он родственник Ленина. И притом настолько близкий, но крайней мере по семейным узам, что сумел при помощи брата Ленина Дмитрия Ульянова подделать его подпись под фиктивной заграничной командировкой и уехать из России.

Разумеется, это было при жизни Ленина. Я обратил внимание на одну деталь. Тогда для Чека, сказал старик Первушин, достаточно было одной фамилии Ульянова. Видимо, сразу после революции Ленин еще не всегда подписывался так, как мы привыкли видеть в его факсимиле — Ульянов-Ленин. Он еще порой по вполне понятной инерции подписывался так, как привык подписываться с юных лет.

Рассказав, благодаря чему он сумел уехать за границу, старик засмеялся тихим, воркующим смехом. Смех его можно было понять так: я правильно решил, что с историей не стоит связываться, и потому еще жив. А где те, что связались с историей? То-то же!

Это был очень милый смех. К сожалению, я больше ничего не спросил у старика о его знаменитом родственнике. Да и об этом я у него не спрашивал. Он рассказал сам. Сейчас сожалею, но, увы, поздно.

Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную, издерганную, кликушескую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я наконец решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен.

С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца, но все это происходит на одном уровне, на одной плоскости.

Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поисках истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставит ногу, делая следующий шаг. Мы видим, как он нащупывает твердую опору, вот нащупал и двинулся дальше.

Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здоров внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты.

Но может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте «Марсельезы», всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов?

Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара?

Практически это представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Этический слух вроде музыкального слуха, его можно слегка усовершенствовать, но нельзя изменить его врожденную силу.

Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала в его душе невероятную радостную энергию разрушения.

Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги.

И тот сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? И потому что азарт подхлестывал, и, главным образом, потому что он не свои деньги проигрывал.

Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль ему не приходит в голову? По причине невы-



сокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость.

С яростью и необыкновенным темпераментом постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового социалистического человека, неужели он не понимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий? И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней морали? Это все равно что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосающуюся, пусть не в полную силу, пшеницу.

В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. По-видимому, чтобы быть мудрым, надо думать много, но лениво. Только тот, кто думает, забывая о том, что он думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпадать из жизни. Дар философа — дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней.

Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса: философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочней его суждения о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ,

который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке.

Но если он, видя своего собрата, барахтающегося в потоке, сам бултыхнулся в поток, с тем чтобы объяснить ему его ошибки, все равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства.

Так бедный Мартов то окунался в поток, где барахтался Ленин, то выплывал из потока и кричал ему с берега о его ошибках, но они уже были обречены не понимать друг друга. А Ленин в это время целенаправленно греб внутри водоворота, принимая каждый свой круг в бурлящей воронке за очередную диалектическую спираль, пока, скрюченный судорогой, не задохнулся.

Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты. Например, редкое самообладание, по крайней мере, в письменных источниках. Чем трагичней ситуация, тем яростней и неуклонней он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности.

Я написал и напечатал статью, где высказал немалые сомнения по поводу его мыслей и образа действий. Я об этом сейчас пишу, потому что это имеет отношение к тому, что собираюсь рассказывать.

Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, а ныне пенсионером, на маленькой уютной улочке, обсаженной ста-

рыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал. Он явно не одобрял моего любопытства.

— Большой нахал, — сказал он про него.

— Почему? — спросил я.

— Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, — сказал брат, — а потом выяснилось, что он на войне никогда не был... Подозрительная личность... А вот и он!

Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал, и он меня сразу узнал.

— Два брата-акробата! — зычно закричал он и, воздев руку, добавил: — Читал вашу статью! Не согласен принципиально! Доспорим в «Брехаловке»!

С этими словами он поймал рукой виляющий руль и промчался мимо. Он был в матросской тельняшке с короткими рукавами, обнажавшими неожиданные для меня крепкие, цепкие руки. Мелькнули знакомое, плотное лицо со светлыми глазами и большой лоб, отнюдь не переходящий в лысину. Я, конечно, знал его хорошо, но просто забыл о нем. Лет пятнадцать назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи.

Когда я открыл на звонок, в дверях стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления:

— Похож. Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен.

— На кого это я похож? — спросил я, несколько настораживаясь.

— Да на брата-летчика! — крикнул он радостно и, рванувшись ко мне, обнял меня и успел чмокнуть в щеку. После этого, как бы доказав право на родственность, он быстро разделся и стал рассказывать о себе, глядя в зеркало и подправляя расческой выющиеся светло-каштановые волосы.

Так ведут себя с давно знакомым человеком в давно знакомом доме. Да, я забыл сказать, что перед этим он с каким-то облегчением сунул мне в руку красную папку со стихами. Я как дурак взял ее и несколько посуровел как бы за счет взваленной на себя ответственности. Я решил быть с ним посуше и для начала хотя бы отсечь родственный пыл.

Усевшись на диван и поглядывая на меня яркими, светлыми глазами, он стал рассказывать о себе. Зовут его Степан Тимофеевич. Живет в Москве. Женат. Преподает марксизм в институте, название которого я тут же забыл. Он вспомнил несколько коренных мухусчан, наших общих знакомых. Мы тут же заговорили об их странностях и чудачествах. Я потеплел.

Он был бесконечно доброжелателен. То и дело всхохатывал, вскакивал с места, садился, шутил. Потом я читал его стихи, а он ходил возле книжных шкафов, как бы приветствуя некоторые книги как старых друзей и одновременно ненавязчиво показывая степень своей интеллигентности.

Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная. Преобладали стихи о Ленине. Я довольно кисло отозвался о них, но, чтобы под-

сластить пилюлю, попросил принести что-нибудь еще. Он нисколько не обиделся на мой отзыв, и это мне понравилось.

Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд — Лениниану. Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине. В крайнем случае об Энгельсе.

Однако развить эту тему я ему не дал, чувствуя, что в этом человеке слишком много энергии и нам хватит разговора о невинных чудачествах наших знакомых, даже если они, эти чудачества, иногда переходят в необъяснимые странности. Впрочем, он сделал еще одну попытку прорваться и воскликнул:

— Когда будут опубликованы сто двадцать семь любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить, как никто в мире!

— Что же он не женился на ней? — все-таки полюбопытствовал я, однако голосом давая знать, что речь идет о короткой справке. И он это понял.

— Не мог бросить Надежду Константиновну! — с жаром воскликнул он. — У нее была базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену! Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем!

Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение двух лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно, как я теперь понимаю, со-

средотачивалась на Ленине. Они как бы не отличались от графоманских стихов о Ленине. То, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все. А мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным: «Ленин грядет», «Ленин среди вас», «Недолго ждать Ленина» и тому подобное. Опять же и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал.

— Устал бороться за издание Ленинианы, — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая. — Я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш, идет?

— Нет, — сказал я, — это мне не подходит.

— Неужели баш на баш не подходит? — удивился он и неожиданно добавил: — А если так: треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?

— Неужели вы не видите чудовищного противоречия, — сказал я, осторожно горячась, — вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать? Как это у вас в диалектике: отрицание отрицания?

— Ни малейшего противоречия! — воскликнул он. — Сталин совершил тихий контрреволюционный переворот! Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана — алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать.

Я промолчал. Черт его знает, кто он такой! Может, он — оттуда? Почему бы им не использовать чудаковатых людей? Да это уже и было. После издания в Америке моего неподцензурного «Сандро» я ждал какой-нибудь подлости. И вдруг является один мой давний знакомый и после короткого, ни

к чему не обязывающего разговора уводит меня на мой собственный балкон, якобы боясь подслушивающего устройства, и говорит мне там, что из Европы приехал его друг, вполне надежный человек, и можно через него отправить на Запад непечатную рукопись.

— Нет такой необходимости, — холодно ответил я ему. Мне показалось, что он облегченно вздохнул: и задание выполнил, и предательство не совершилось. Мы зашли в комнату.

— А для чего это? — кивнул он на письменный стол, где рядом с машинкой лежал абхазский пастушеский нож, как защитник певца пастушеской жизни.

— А это на случай хулиганства, — очень внятно сказал я, чтобы и там, откуда он пришел, это было расслышано. Вскоре он ушел и больше никогда не появлялся. Мне тогда показалось, что тот раунд я провел хорошо и выиграл его. Мне и сейчас так кажется, но ведь нельзя быть до конца уверенным, что он был человеком оттуда. Но такой была наша жизнь в те времена.

Так или иначе, мой земляк мне надоел, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался и меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают.

Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта и известного преподавателя марксизма. (Извест-

ного кому? Ленин здесь поставил бы свое ироническое: sic(!).) Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов.

Я был доволен. Мне показалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа.

Прочитав записку, он вскинул голову и неожиданно смачно поцеловал меня прямо в губы. Черт бы его забрал! Я расслабился и не сумел воспользоваться древней писательской мудростью: если графоман целует тебя в губы, подставь ему щеку.

Кстати, без дальнейших сантиментов он тут же деловито удалился. Даже стало как-то немного обидно. Я хотел, конечно, чтобы он быстрее ушел. Но я хотел, чтобы он ушел, благодарно помешкав. А получилось, что, захватив записку и наградив меня смачным поцелуем, он даже как бы переплатил и теперь не намерен терять со мной ни секунды.

У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через три месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я все учел, кроме безумия нашего мира, а его-то и надо было учитывать в первую очередь.

Я потом звонил в редакцию своему приятелю, вполне либеральному литератору, занимавшемуся там стихами. Оказы-



вается, стихи моего земляка с пришпиленной к ним запиской лежали на его столе, когда к нему в кабинет неожиданно вошел редактор журнала. Он машинально взял со стола стихи, увидел пришпиленную к ним мою записку и унес все это к себе в кабинет, как коршун добычу.

Дело в том, что редактора этого журнала критика иногда поклевывала за направление и он решил этими стихами укрепить идейную платформу журнала. Сам он был не такой уж либерал, но его несло по течению хрущевского времени. Кресло редактора под ним то и дело неприятно всплывало, но приятно покачивало. И он тосковал по устойчивости. Он хотел, чтобы кресло редактора приятно покачивалось, но не всплывало.

— Я, конечно, сразу все понял, — оправдывался в телефонную трубку мой приятель, — но так получилось. Редактор влетел и забрал стихи с твоей запиской. Обычно он воротил губу и от тех стихов, которые мы ему подсовывали, а тут сам забрал и в тот же день отправил в набор. Не горюй! Про тебя в Высоком Учреждении сказали, что ты оказался лучше, чем они думали. Пригодится!

После этой публикации от моего земляка не было больше звонков. Я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл.

Года через два, а может, чуть больше один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал по-

казать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону.

Это был исключительно милый и хлебосольный человек. И я ринулся. В яркий, морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестье деревенских дорог я увидел сани, в которых были два человека — седок и возница. Они как бы раздумывали, в какую сторону ехать. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для перестраховки спросил:

— Больница там?

— Скажите этому невежде, — клубясь морозным паром, не глядя, прогудел седок сквозь кашне, — что там находится мое имение! Что им надо? Я с девятьсот шестнадцатого года не занимаюсь политикой! Пошел!

Последнее относилось явно к вознице. Возница успел кивнуть, но после слов седока можно было смело идти по свежему следу саней. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимания. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора.

Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что он с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции семнадцатого года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена. Участников ее преследуют. Этот отсиживается в имении и в качестве алиби называет шестнадцатый год. Почему так близко? Слишком видный революционер, назвать более далекий год неправдоподобно.

Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его именем. Мой хозяин, добряк богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть меня с морозу, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства.

— О Сталине ты уже написал, — сказал мой благодушный хозяин, — я думал, ты теперь интересуешься Лениным.

— Нет, — сказал я, — со Сталиным у меня были свои сче-ты. А Ленин — это слишком далеко.

И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психический больной с манией величия не выдавал себя за Сталина.

Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове советского человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек заболел.

Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэто-му останавливать было некому. Оказывается, уже в его каби-нете, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку:

— Советский псих самый нормальный в мире!

Следует обратить внимание на то, что эта пьяная фраза, которую я хотел прокричать миру и даже прокричал ее неод-нократно, тоже не ловится. Так что наблюдение старого пси-

хиатра подтверждается. Опыянение можно считать, конечно до определенной поры, незлокачественным вариантом безумия. В ослабленном виде повторилась та же схема.

Утром было тяжело. Но я, преодолевая похмелье, пытался стать на лыжи. Богатырь хозяин вдруг схватил мою руку:

— Дай-ка послушать пульс! — послушал и твердо приказал: — Домой. В постель.

Мы вернулись к нему домой, я лег в постель, хотя ничего особенного не чувствовал, кроме похмельной тоски. Но так как похмельная тоска своей смутной неопределенностью напоминает тоскливое чувство вины перед тем, что творится в стране, я к этому состоянию достаточно привык и был спокоен.

Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины, возможно похмельно преувеличенным, повторял: «Как я мог забыть об этом!» По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями.

Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать все от порчи, значит, плохи наши дела. А мой неугомонный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющей состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось, тоже порченная, злобно показала: инфаркт.

К счастью — тьфу! тьфу! не сглазить! — никакого инфаркта в помине не было и нет. Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и все в одну сторону, представляю, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом.

К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальто, учитывая его могучую комплекцию, и такого точного приземления на небольшой территории я от него не ожидал. Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыти.

А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно когда тебе хорошо, тем более когда тебе хорошо ночью на загородной платформе.

Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец мой любвеобильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатырством сам провоцирует удар сзади. Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя — лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка.

И он заторопился в Израиль, а до этого совсем не торопился, я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он со всей своей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого.

Хлебосолье — прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает. Разве что шубу не снимут. Это точно.

Читатель может спросить: какое все это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать? Отвечу коротко, даже огрызнусь: раз написалось, значит, имеет.

...И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава Богу, здесь все, как раньше. Только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сидел лицом к входу, чтобы не пропустить Степана Тимофеевича, и поневоле любовался городом своей юности.

Слава Богу, все та же береговая линия, все так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на приморском бульваре, все так же сквозь густую зелень белеют дома, все так же уютно выглядит приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Так как виновник пожара не был найден, решили, что он по неосторожности сгорел вместе с гостиницей. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи — исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком.

Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанной ограды, сидело трое молодых людей. Двое из них были одеты в ослепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпурную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рассказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народу в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалась. Но столиков под тентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели под тентами, явно не спешили их освободить, именно потому, что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения.

Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося глиссера. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана.

— Бочо пришел! — сказал один из ребят и, склонившись над перилами, посмотрел вниз.

— Второго такого хохмача в городе нет, — добавил красно-рубашечник.

— Интересно, что он сейчас скажет, — заметил третий.

В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанной палубы появилась курчавоволосая голова с бронзовым загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лесенке.

— Девушки, где вы? — зычно закричал он. — Спешите на морскую прогулку, пока я здесь! В летний сезон беру клиентов от двадцати до сорока лет! Старше сорока можете оставаться на местах — только в зимний сезон!

Девушки ринулись к нему. Одна женщина поднялась было, но, услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст. Припомнив, погасла и села.

Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояли возле водителя глассера.

— Вы! Вы! Вы! Вы! — тыкая пальцем, указал он на четырех и отсек остальных. — А вы ждите следующего заезда!

Водитель глассера сошел с лестницы и ступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и хищно оглядывал палубу ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать:

— Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедаем всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кричит: «Наташа, ты дома? Что делаешь?»

«Обедаю», — отвечает жена.

«Обедай, обедай! — кричит соседка. — А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми!»

Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня: готова убить. Наконец кричу этой соседке:

«Я твоего дурака три дня уже не видел!»

«Что, приехал уже?» — говорит соседка и быстро уходит. Стыдно.



«Ты видишь, — говорю я жене, — как клеветают на нашу дружную, прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотя нас поссорить».

Приеду, расскажу еще одну хохму.

— Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал? — спросил краснорубашечник.

— Как куда? — встрепенулся Бочо. — В родильный дом отвез!

Ребята стали хохотать. Последняя девушка, перелезавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась.

— Не бойтесь, девушка, — живо откликнулся Бочо, продолжая держать ее руку в своей ладони, — я их на пляже высадил. Кто так шутит, никогда не тронет. А тот, кто тронет, — никогда так не шутит.

Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду.

— Вам остается понять, шучу я или нет! — крикнул Бочо вниз уже спускающейся по лестнице девушке. Подмигнув ребятам, хохмач быстро спустился за нею.

Через минуту взвыл мотор, и глиссер ушел в море.

— Вот Бочо дает! — с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе.

— А вообще он гуляет? — спросил второй.

— По-моему, нет, — сказал третий. — У меня была одна приезжая чувиха с подругой. И деньги у меня были тогда. Я встретил Бочо и говорю: «Так и так. Бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки». — «Пожалуйста», — говорит.

Приходим в ресторан. Я заказываю все, что можно. Бочо наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя к нему клеится. Клянусь! Но обидеться нельзя — Бочо! Только поужинали, как он встает и говорит: «До свиданья, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица жена!»

— А у него в самом деле красавица жена, — вздохнул тот, что спрашивал.

— Не в этом дело, — поправил его краснорубашечник. — Он, учти, гуляет в глубоком подполье.

Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал.

— Не согласен принципиально и окончательно, — раздался над моей головой веселый и твердый голос.

Я вздрогнул. Это был он. Все в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Явно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял передо мной — плотный, коренастый. Мускулистые, борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки. Металлический колпачок ручки, прицепленной изнутри на груди тельняшки, вспыхивал и отражал солнечный свет.

— Присаживайтесь, — сказал я, — сейчас закажем кофе, коньяк.

— Какая же это свобода, — сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пульками глаз, — вы лишаете великого

человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия? Какая же это свобода, батенька?

— Да, лишаю, — сказал я. — Человек может экспериментировать над собой. В конце концов люди его образа мыслей могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты.

— Социализм в лаборатории это, батенька, чепухенция! — воскликнул он, взмахнув рукой над столом. — В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет!

— Только знаете, — сказал я ему, — если можно, без этих словечек: батенька, ни-ни, гм-гм. Особенно ненавижу «гм-гм».

— Гм-гм, — незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права.

Я вспомнил, что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя из комнаты, плотно прикроет дверь, тут же вскакивал и пробовал ее открыть в знак того, что никто не смеет его запереть, хотя его никто никогда не запирает.

— Запретить, конечно, я не могу, — сказал я мирно, — но постарайтесь, если можете.

— Я сказал «гм-гм» не нарочно, — пояснил он, — этим я выразил сомнение в вашей демократичности.

— Так и скажите: сомневаюсь в вашей демократичности.

— Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое: гм-гм.

— В этом «гм-гм», — сказал я, стараясь быть доходчивым, — слышится какое-то подлое высокомерие. Как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов.

— Гм-гм, — сказал он опять, но, спохватившись, добавил: — Это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.

Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно.

— Ну, как хотите, — сказал я и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил: — Что значит «Ленин еще раз пойдет»? Появится новый Ленин?

Взгляд его отяжелел. Но мне показалось, что он взял себя в руки.

— Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, — сказал он уклончиво и одновременно твердо.

Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла.

— Вы пьете? — спросил я у него.

— Слегка балуюсь, — живо отозвался он. Официантка нахмурилась.

— Два кофе и триста грамм коньяка, — сказал я и, обращаясь к нему, добавил: — Может, что-нибудь еще?

— Мороженое, — попросил он кротко, — умственная работа требует сладости.

Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда, в детстве, я изредка мог угостить его лимонадом.

— Может, три порции? — спросил я.

— Три! Три! — вспыхнул он. — Вы угадали мою норму! Люблю иметь дело с проницательными людьми, хотя от принципов не отступаюсь.

Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обратилась ко мне:

— Вы тут новый человек, умоляю. Если дядя Степа начнет говорить, что он Ленин, остановите его или позовите меня. Я его попрошу отсюда. Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми... И Ленина жалко...

— Лениньяна продолжается, — загадочно заметил мой собеседник.

— Вы опять за свое? — с горьким сожалением сказала официантка.

— Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, — не без надменности произнес мой собеседник.

— Вот именно бывший, — мстительно подчеркнула официантка.

— И за борт ее бросает в набежавшую волну, — неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутливую угрозу по отношению к ней и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее.

— Оставьте, ради Бога, — сказала официантка и отошла.

Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку,

где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит, и все это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными.

Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить? Но может быть, эту информацию «Известия» дали сгоряча, по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержение этой информации, уточнения?

Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину?

И потом — слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил и почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан?

Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:

— Так вы и об этом знаете! — И, как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил: — Только Дзержинский тут ни при чем! Запомните! Запомните! Запомните!

— Ну, а как это было, если вы знаете?

Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал:

— Я вам все расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом.

— В каком смысле?

— В прямом. В трудную минуту вы оказали нам неоценимую помощь.

Казалось, он успокоился. Во всяком случае, выпрямился.

— Какую?

— Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы же любили в детстве революционные песни?

Он пронзил меня буравчиками глаз. Я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи! Ее еще ни один человек не видел! Я ее оставил в Москве у себя на столе! Украли! Украли! Никакого сумасшедшего не было и нет! Он оттуда! И стихи о Ленине были проверкой на лояльность! Но я случайно вывернулся тогда! Чего они хотят? Проверя-

ют степень стойкости к безумию? Глупость! Держать себя в руках!

— Да, — сказал я, стараясь скрыть волнение, — я в самом деле в детстве любил революционные песни. Но откуда вы знаете это?

— Я все знаю, — сказал он, насмешливо глядя на меня. — Но почему вы смутились? Стыдитесь? Запомните, тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил! Так, как я, никто их не мог любить!

Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня и узнавая, и не узнавая меня, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости!

И сейчас казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытаясь уверить, что и его ошибки имеют тот же благородный источник.

Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен — он прав. В самом деле, так и есть: тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен! И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции.

И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы! Это все равно



что винить разум в том, что иные люди слишком пристально вглядываются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя, не будь разума, человек не знал бы, что он смертен? Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне.

Мой собеседник опять затравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон.

— Посмотрите сюда. Только вам, — сказал он доверительно.

Двумя пальцами сильной, загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит — не оставалось сомнения.

— Тише! К нам идут! Ни слова! — прошипел он и, бросив тельняшку, выпрямился над столом.

К нам быстро подошла наша разгневанная официантка.

— Вы опять за свое? — закричала она. — Я видела, что вы показывали! Я вас выведу отсюда!

— А что я показывал? — удивленно развел руками мой собеседник. — Я показывал на след от фурункулов. Маркс тоже, когда работал над «Капиталом», страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», — говаривал он в те времена,

— Значит, теперь Марксом заделались, — сказала официантка, явно сбавляя тон, — господи, что за человек!

Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом.

— Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, — сказал мой собеседник, явно довольный собой.

— Так, значит, стреляли в вас?

— А в кого же еще?

— Но ведь с тех пор прошло столько времени, — сказал я вразумительно, — разве вы похожи на человека, которому больше ста тридцати лет?

Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи.

— Мой настоящий биологический возраст, — сказал он, стараясь быть четким, — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили.

— Разморозили?

— Конечно. Это длинная история. Но вы наш, вы еще послужите пролетарскому делу. Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо... Тяжелый кризис...

— Что, есть такая партия? — спросил я неожиданно, чтобы застать его врасплох.

— Есть! Есть! — ответил он, не только не смущаясь, а, наоборот, радостно распахиваясь. — Только она сейчас в глубоком подполье.

Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость восстания.

— Кто вас заморозил и кто вас разморозил? — спросил я, стараясь быть как можно более четким.

Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую вазочку с мороженым.

— Это долгая история, — глухо начал он. — В чем трагедия Ленина? Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа: разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики. Они захватывают власть. А на втором этапе созидатели. Но как только Ленин попытался начать замену, случилось покушение... За это я и получил пули...

Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:

— Кстати, Плеханов жив?

Я не успел ответить, как он сам себя поправил:

— Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах... Так вот за это в меня и стреляли... Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.

— Неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!

— Конечно, — согласился он, — а что им оставалось делать? Было совещание Политбюро. Сталин тогда сказал:

«Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий. Он будет кричать: «Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!»

В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется, что делал Ленин первого сентября 1917 года?

Мой собеседник словно вынырнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.

— Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! — воскликнул он. — Слушайте и запоминайте — это почти сегодняшний день! Первого сентября 1917 года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.

Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.

Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел, чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный... По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!

Узнаёте наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она, филистерская мудрость, вот он, урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?

— Да, конечно, — сказал краснорубашечник, — я передам ребятам ваши слова.

— Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!

Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительности. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.

— Вся надежда на них, — кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашечника. — Давайте выпьем за них.

Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:

— А наш патриот спелся с Мартовым... То же самое говорил... Говорит...

— Кто патриот? — не понял я.

— Да Плеханов Георгий Валентинович, — ответил мой собеседник, — он всю мировую войну стоял... и стоит... Нет, стоял, но не стоит...

Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:

— Он жив?

— Умер, — сказал я, как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.

Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.

— Да! — воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. — Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыск матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!

Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:

— На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.

— А Крупская знала об этом?

— Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни, как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.

— А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?

— Конечно, догадывался, — кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, — он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. — Или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца».

Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.

— Какой Гриша?

— Григорий Зиновьев.

— Так он принимал участие в похищении?

— Знал, но не участвовал.

— А Каменев?

— И знал и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.

— А Троцкий?

— Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.

— Что же вы делали в Германии?

— Я был занят по горло. С одной стороны, готовил зашифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знало только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ле-

нинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!

Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн! Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.

После прихода Гитлера к власти немецкий ученый коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге в конспиративной квартире...

Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал: — Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.

— Нет, — сказал я твердо, — этим должны заниматься местные советы.

Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена была не вполне



законным путем. Я сделал для нее все, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.

Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности. Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.

И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой сказал ей: «Хватит».

— Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, — продолжал мой собеседник, — а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня берлинской стеной...

Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.

— Извините, что прерываю вашу научную беседу, — сказал он, — но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта 1909 года?

— Не менее актуально, — радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что в какой день жизни Ленина ни ткни, все наполнено смыслом грядущего. — В этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу, сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве Крумбюгеля. Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.

А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телика — стоит в церкви большевик и держит свечу, как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается, если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или подальше куда. Но ничего! Скоро приедет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!

— Спасибо, обязательно передам.

Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.

Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.

— Скажите, — обратился я к нему, — после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? кто вы? откуда?

— Вы имеете в виду прописку? — спросил он и рассмеялся. — Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса — пять тысяч.

— При чем тут прописка? — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. — Вы же новый человек, а вас принимают за старожила.

— Очень просто, — удивляясь моему удивлению, развел он руками. — Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке.

— Но ведь, если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться? — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.

Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал:

— Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас девяносто шесть лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Коллонтай отбила у нее возлюбленного. Она

плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Коллонтай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне: «Революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на Политбюро, я выдвину встречный! Почему вы после победы революции расстались с Инессой Арманд? Это не по-рыцарски».

Разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер. На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. Именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», — сказал я ей. А что я мог сделать? Пришлось пойти на похабный мир с Коллонтай.

Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках, а она, бедняга, тихо плачет и причитает: «Степушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстирывала соседей? Будь проклят твой учитель истории! Он говорил: “У Степы волшебная память. Он будет большим ученым”. Что ж ты обеспамятел, сынок? Что с тобой сделали большевики?»

«Да не большевики, — говорю, — мамочка, а термидор. Потерпи до победы. Уже скоро. И Сталин получит свое и Коллонтай. Я специально напишу статью об ошибках Коллонтай».

А она упрется головой в ладонь и плачет:

«Сыночек, что с тобой сделали большевики!»

И я в конце концов выхожу из себя:

«Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты мне не мамочка.

Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде на Волковом кладбище!»

«Лучше б я лежала на Волковом кладбище, — плачет она, — лучше б она здесь сидела и видела это».

— Хорошо, — сказал я, пытаюсь прервать его, — а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?

— В заморозке, — сказал он бодро и добавил: — Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.

— А мать? — спросил я.

— А мать выводить из заморозки нерентабельно, — сказал он, хозяйственно разводя руками, — ей почти восемьдесят пять лет.

Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.

— Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?

— Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсебятину, но в общем правильно двигался к нэпу...

— Вы уж помолчали бы о нэпе, — не выдержал я. — Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгодней стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.

Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движением головы помочь мне глубже черпнуть истину. Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.

— Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, — разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.

Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.

— Волки, — вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, — а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали: то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве... Только, ради Бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом... Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал... А вы знаете, где сейчас Сталин?

— Как где? — сказал я. — В могиле у кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным...

Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном слу-

чае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.

— Ничего-то, батенька, вы не знаете! — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. — И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне...

— Как в Пентагоне? — не понял я.

— Пока в глубокой заморозке, — сказал он, — но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за все отомщу.

С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы.

— Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, — сказал он, — а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.

— Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки.

— Поспесишь сказать — опоздаешь сделать, — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рвя на солнце своей тельняшкой.

\* \* \*

Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.

Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.

Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.

Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек — неохотно, томясь духом, тоскуя.

Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну: «Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных



рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще».

Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.

Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения Сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.

Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.

При всей своей внешней простоте, учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.

Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.

Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь без обмана и самообмана, где тише едешь, дальше будешь.

Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.

Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется, широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.

Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания?

Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга, Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрывших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечутся и обречены, как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.

Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.

Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.

Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит. Здесь мы видим более или менее завершенного Ленина. Натура в чистом виде.

Но когда он стал собой? Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзение, может быть, не столько от своих поступков, их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения.

В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одаренней многих.

И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.

Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести.

Если вся история человечества это борьба классов, а гармоническое общество будущего это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера.

В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может забредаться, осганавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее! Я знаю где, когда и как! Вот о чем кричат все его статьи и выступления.

Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел.

Чем гадать, как мои чегемцы, а не был ли он, Ленин, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичней предположить, что у них был общий склад темперамента. Недаром они так страстно резались в шахматы и радовались, когда превзошли отца в искусстве этой игры.

То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлекссию.

Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг. Это видно по письмам его и запискам.

Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Ни образование его, достаточно обширное, ни грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины.

Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Но тогда я не только о Ленине, но и о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что историей чаще всего двигали люди уголовного типа, гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди.

Пока я думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в «Амру» вошла красивая юная женщина, катя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столики. Явно кого-то искала.

— Ребята, атанда! — сказал один из молодых людей. — Пришла жена Бочо. Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет.

— Уже заметила!

— Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подходил сюда!

— Он не поймет!

— Поймет! Поймет! Скорей!

Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу «Амры», стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, катя перед собой коляску, подошла к ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила:

— Ребята, Бочо не видели?

— Нет, а что?

— Он мне нужен. Он иногда здесь подхалтуривает.

— Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит.

Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось, что он не верит в эту затею.

— Наташа, это правда, что вы с Бочо открываете кофейню? — спросил один из ребят.

— Правда. Закажи мне кофе, Даур.

Тот молча встал и пошел заказывать кофе.

— Папа мой дал нам деньги, — сказала юная женщина и, протянув голые струящиеся руки, что-то поправила в коляске, — Бочо ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся? — Папа мой дал нам деньги, — сказала юная женщина и, протянув голые струящиеся руки, что-то поправила в коляске, — Бочо ищет помещение в аренду. Как вы думаете, справимся?

— Конечно, — в один голос сказали оба приятеля. А потом один из них добавил: — Спокуха, Наташа. Если Бочо будет хозяином кофейни, народ отсюда попрет туда. Люди будут платить деньги только для того, чтобы послушать его хохмы. Твой муж любимец города. Можешь им гордиться.

— Да, но, — сказала юная женщина и посмотрела в коляску, — пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмы на уме.

Тот, что пошел за кофе, принес чашечку дымящегося кофе и осторожно поставил перед женщиной.

— Спасибо, Даур, — сказала молодая женщина, взяв чашечку, и осторожно отхлебнула.

— У нас будет кофе лучше, — сказала она.

Раздался шум приближающегося глссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце «Амры», заметалось, как от ветра.

— У вас будет лучшая кофейня в городе! — с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося глссера.

— Лучшая не лучшая — будем стараться, — сказала юная женщина и снова отхлебнула из чашечки.

— Весь город будет ходить только к вам! — восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. — Послушать Бочо — лучшего кайфа не надо!

Шум глссера приближался. Пламя рубашки металось, как под ураганным ветром.

— Он слишком старается всем понравиться, — рассудительно сказала женщина, — так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять.

Шум глссера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь, казалось, горящей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря. Но, видимо решив, что глссер ее мужа не единственный в бухте, она перевела взгляд на коляску.

— Все ребята знают, что Бочо верный муж! — воскликнул ее собеседник. — Он не гуляет.

— Попробовал бы, — грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глссера и как бы отчасти обращаясь к нему.

Шум глссера с визгом смолк у самой пристани «Амры». Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика.

— Город гордится твоим мужем! — в отчаянье крикнул тот, что успокаивал жену Бочо.



В это время голова Бочо появилась над перилами «Амры». Не замечая жены, он весело крикнул:

— Девушки, где вы?

Несколько девушек подбежало к нему. Жена его, чуть пригнувшись, замерла над столом. Теперь это была юная пантера перед прыжком. Дав девушкам добежать до мужа, она взвихрилась и полетела в его сторону, крича:

— Какие тебе девушки, подлец!

Разметав девушек, она схватила мужа за волосы и, что-то крича, стала выволакивать его на палубу «Амры». Ребята побежали вслед за ней. Но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, вцепившись в волосы.

— Ты что? Ты что? Я работаю! Я зарабатываю на детей! — доносился его растерянный голос.

— Девушки, где вы? — с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь снять с него скальп. Наконец подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику.

Вид у Бочо был растерянный. Волосы уцелели, но были всклокочены.

— Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодарность, — сказал он, усаживаясь.

— Тогда при чем тут девушки? — все еще тяжело дыша, грозно посмотрела на него жена. — Что, они платят больше? Ты что, сутенер?

— Ладно, Наташа, успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал.

Он взял ее за руку и усадил рядом с собой.

— Слушай, человеку тридцать лет. Двое детей, — сказала она, усаживаясь, но все еще доклокатывая. — А он только и знает — девушки, где вы?

— Ладно, Наташа, выпьем по кофе, и успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал. — Тебе ли ревновать? Ты же красавица!

— Не в этом дело. Мне надо в поликлинику, я не могу на третий этаж поднимать коляску. Пришла за мужем, а он — девушки, где вы?

— Оставила бы коляску внизу, — сказал Бочо, уже весело озираясь. — Своим поведением ты мне портишь бизнес.

— Оставила бы внизу, — повторила она насмешливо, — сопрут такие, как ты. Вставай, пошли.

Неожиданно она сама встала, достала из коляски гребенку, подошла к мужу и стала причесывать его.

— Такая красавица и такая ревнивая, — элегически заметил тот, что ее успокаивал.

— А ты что заладил: красавица, красавица! — сказал Бочо, явно наслаждаясь под гребенкой жены, как под струей теплого душа. — Наверное, пока меня здесь не было, ты ей назначил свидание. Жене друга назначил свидание! А я еще хотел доверить тебе готовить в нашей кофейне чебуреки. Тому, кто назначает свидание жене друга, нельзя доверять чебуреки.

Все рассмеялись.

— Будешь так себя вести, — сказала жена, дочесывая его гребенкой, — может, кто-нибудь и назначит свидание. Пошли, пошли, у нас времени нет. Чао, ребята!

Бочо встал. Он заглянул в коляску и сказал:

— Наследник лучшей кофейни Мухуса. Он спит, а ему уже бабули капают.

Бочо взялся за ручку коляски, и они пошли. Как только они скрылись из глаз, ребята стали высмеивать краснорубашечника.

— Бочо летит на глассере, а он машет рубашкой. Тоже мне матадор, — сказал Даур.

— А что я должен был делать? — ответил тот, смахивая пальцем невидимую пылинку с рубашки, хотя он ее так потряс, что на ней не могла остаться ни одна пылинка.

— Ты должен был бросить ее в воду. И тогда Бочо понял бы: случилось что-то ужасное, раз ты бросил в воду свою рубашку.

— А если бы рубашка утонула? — сказал Зурик.

— Поныряли бы, — ответил Даур, — или вызвали бы водолаза.

— Течением могло унести, — с дурашливой серьезностью поправил его хозяин рубашки и снова щелчком стряхнул с нее невидимую пылинку.

## рапира

— Самое несправедливое распределение воды у заблудших в пустыне начинается в тот миг, когда один из заблудших восклицает: «Я знаю, где оазис! Я вас туда поведу!»

Я вздрогнул, услышав знакомый голос. Слева, метров за пять от меня, двое сидели за столиком: художник Андрей Таркилов и Юра Званба, известный в местных интеллигентских и особенно неинтеллигентских кругах по прозвищу Философ-мистик.

Об Андрее Таркилове и его знаменитой картине «Трое в синих макинтошах» я когда-то рассказывал в «Сандро из Чегема». Так что, если кто заинтересуется им, может полистать эту книгу. Однако скромность повелевает мне не предварять предстоящее чтение какой-либо рекламой.

Сейчас мне хочется рассказать о Юрии Алексеевиче (не буду больше называть его отчества: мы — свои, мы так привыкли), и возможно, попытаюсь объяснить, откуда взялось его прозвище Философ-мистик.

Кстати, у Юры отец был абхазцем, а мать казачкой. Это я говорю, чтобы сразу отогнать от этих страниц любителей чистой крови, которых сейчас черт их знает сколько развелось по всей стране.

Так вот. Ничего мистического я в его философских рассуждениях не замечал, хотя он и любил употреблять это слово. Скорее всего, он это прозвище получил не столько по причине непонятности того, что он говорил, сколько по причине нежелания следовать тому, что он говорил.

Они сидели, попивая коньяк и кофе. Говорил, конечно, Юра. Глядя на его худенькое, чуть большеносое лицо, кстати, он время от времени довольно комично задирает голову, как бы преодолевая тяжесть больших роговых очков, глядя на его сутуловатую фигуру, обтянутую старой, но заграничной майкой (бле-

клый след былой славы), глядя на все это, тем более рядом с невысоким, но мощным Андреем Таркиловым, трудно было поверить, что именно он, Юра, и есть тот блестящий фехтовальщик, с юности мастер спорта, когда-то победно, пробивая дорогу рапирой, объездивший Европу Как давно это было! Теперь он научный сотрудник института этнографии. Получает гроши, но как будто не унывает и, как всегда, увлекается книгами.

Его жена, судя по всему, достаточно терпеливо ждавшая, когда блеск рапиры обратится в блеск монет, и вдруг заметившая, что он, забросив рапиру в чулан, стал еще более усердно высекать искры из книг, и правильно поняв, что из этих искр и подавно никогда не возгорится блеск монет, внезапно ушла от него к другому.

Гневно подшлепывая упирающегося старшего мальчика и подхватив младшего, она, говорят, ушла к человеку, который первобытным, но надежным способом добился множественного блеска монет. Он добился этого, мерно, но со все возрастающей скоростью потирая одну монету о другую, что неизменно приводит к появлению третьей монеты, которая выскакивает из-под нижней, как говорится, звеня и подпрыгивая. Монеты производятся таким же способом, как и люди, потому-то люди так их любят. Впрочем, все это почти цитата из Юриного рассказа.

Нам неизвестно, как воспринял Юра уход жены, но внешне, как спортсмен и философ, держался стоически. Хочется даже думать, что он вот так, приподняв голову, преодолевая тяжесть больших роговых очков, смотрел ей вслед, стараясь

понять, какая мысль стоит за ее уходом, и удивляясь тому, что он эту мысль никак не может уловить. Возможно, именно тогда он впервые произнес: мистика! — ибо человека, к которому ушла его жена, он никак не мог считать своим соперником.

Дело не только в том, что они были одноклассниками. Дело в том, что этот человек, тогда еще мальчик, жил в одном дворе с его возлюбленной, у которой был очень строгий отец, старый абхазский князь. И Юре приходилось через одноклассника передавать ей свои любовные записки. «Я никак не пойму, — говаривал Юра, когда уже все грома отгремели, — почему он три года таскал мои записки, если имел столь далеко идущие планы?»

Вопрос о том, читал ли его будущий соперник эти записки, никогда не подымался. Но если и читал, как он мог вычитать из них, что после второго ребенка ее можно уводить от Юры и уже как бы проверенным на Юриных детях, обезопасенным путем пустить еще двух своих детей, — этот вопрос остается в самом деле мистикой.

Некоторые приятели Юры говорят, что все дело в рапире. Если бы он не забросил ее в чулан, а продолжал пользоваться ею, хотя бы в качестве тренера, ничего бы не случилось. Коммерсант не посмел бы ее увести.

А тут она ему сказала, скорее, прислала записку: «Рапира в чулане», и он все понял. Возможно, рапира, закончив свой цикл, как закон, обратной силы не имеет. О, бедный Гамлет!

Кстати, во внешнем облике Юры что-то есть от случайно выжившего Гамлета и одновременно от библиотекаря большой со-

лидной библиотеки. И это намекает нам на то, что истинное место Гамлета это королевская библиотека, а не королевский трон.

Иногда со сдержанным раздражением Юра вспоминал о юных днях своего соперника. По словам Юры, сам он, будучи школьником, уже Ницше читал, когда этот, шлепая губами, добирался, если добирался вообще, до сказок братьев Гримм. О рапире и речи не может идти, говаривал Юра. О какой рапире можно говорить, если этот, будучи девятиклассным дылдой, однажды чуть не упал в обморок от укуса осы.

— Почему «чуть», — раздражаясь на себя, поправлялся он, — упал бы, если б я его не придержал! О какой рапире можно говорить, — заводился Юра, — если, когда я уже выступал за сборную Абхазии, он ничего острее вилки в руках не держал!

Однако даже если это так, многое успел он наколоть на свою вилку. Он в самом деле богатый человек и еще задолго до перестройки называл себя коммерсантом.

Рапира обратной силы не имеет, однако Юра обзавелся пистолетом и вызвал его на дуэль. Дуэль в Абхазии изредка практикуется, как некая переходная, цивилизованная форма кровной мести.

Коммерсант оказался не так прост, как думалось со стороны. Принимая секунданта Юры в своем особняке, он сразу же согласился на дуэль, попросив месяц, чтобы закруглить свои дела и обеспечить детей от предыдущего брака на случай трагического исхода.

Он признался ему, что всегда любил девушку, которой носил записки от Юры. Но Юра еще школьником заморочил ей

голову своей рапирой. Да и отец ее, старый абхазский князь, смотрел сквозь него, не замечая. А ведь он сразу же после школы занялся бизнесом и удачно переправил в Сибирь большую партию лаврового листа.

Нет, не замечал его грозный феодал! И наоборот, на Юру грозный феодал при всей своей строгости, хотя, конечно, не подозревая о записках, поглядывал, смягчаясь сердцем, следил, как сыплет искрами его рапира, возможно видя в этом знак вассальной верности добрым, старым, кинжальным традициям.

Но вот годы прошли. Старый феодал умер и покоится в своей деревенской могиле. Блеск Юриной рапиры померк, тогда как блеск денег коммерсанта воссиял.

— Он из славы не смог сделать деньги, — сказал коммерсант, — а я из денег сделал славу.

И тут он выложил секунданту горькую обиду на Юру. Оказывается, слухи о том, что он когда-то упал в обморок от укуса осы, проникли в коммерческие круги. Оказывается, один делец пустил злую шутку против него. Оказывается, он сказал про него, что с ним опасно иметь дело. Стоит местному прокурору поднести ему на пинцете осу, даже дохлую, как он, видите ли, расколется и всех продаст.

Глупая, но вредная для коммерции шутка. Не может же он, солидный коммерсант, всем говорить, что в ответ на такую угрозу обалдевшего прокурора он мог бы выхватить этот пинцет и этим же пинцетом вырвать из ушей его жены бриллиантовые серьги, которые этот прокурор брал у него без всякого пинцета.



А кто пустил эти слухи? Юра. А что было на самом деле? Школьники впервые в жизни выехали на загородный пикник. И он впервые в жизни выпил. Тем более водку. И ему стало плохо. И тут его укусила оса. И ему стало совсем плохо. Вот и все! А Юра говорит только про осу, а про то, что было перед этим, не говорит. Дуэль так дуэль! Только на той лужайке, где его укусила оса, и ни на какое другое место он не согласен. Но ему нужен один месяц свободной жизни.

— У меня недвижимость, — сказал он сокрушенно, как о роковой тяжести на сердце. — Юре хорошо. Отдал рапиру истопнику ковыряться в топке и гуляй! А у меня недвижимость!

Юра согласился на знакомую лужайку, дал месяц коммерсанту подвигать своей недвижимостью, и, кажется, напрасно.

Через две недели к нему нагрянули чекисты. Надо сказать, что они и раньше приглядывались к нему. Они объявили ему, что он, по их сведениям, незаконно хранит оружие и, если он его сам не отдаст, они вынуждены будут устроить обыск.

— Рапира в чулане, — ответил Юра спокойно, — можете взять.

— Пистолет, — поправил его старший по званию и вдруг расселся за столом, как бы в ожидании, а может быть, и в самом деле ожидая примирительного угощения.

Следующий по званию ушел на кухню, то ли для того, чтобы присмотреться к запасам провизии и возможности мирного застолья, то ли для того, чтобы оттуда пройти в чулан, где пистолет мог храниться в дружеском соседстве с рапирой. Впрочем, одно не исключает другое.

Юра был спокоен за пистолет. Он лежал на цветастом абажуре, свисавшем с потолка в середине комнаты, где уютно расположился главный чекист. Юра был уверен, что никто из них не догадается тряхнуть абажур, чтобы пистолет шлепнулся на пол. Так оно и оказалось.

Но самый младший по званию, всего их было трое, подошел к книжной полке как бы в поисках именно той книги, в которую он мог вложить пистолет. Юра во время своих поездок за границу ухитрялся привозить запретные книги, которые он давал почитать надежным людям, и хранил их на чердаке.

Но случайность — о, ужас! — один из его друзей, кстати секунданта, как раз накануне вечером вернул ему «Технологию власти» Авторханова, и Юра, обсуждая с ним технологию собственной дуэли, небрежно сунул ее на полку, с тем чтобы потом перенести в тайник, и забыл.

И она теперь не только не стояла на полке, а вывалилась оттуда и лежала у ног молодого человека, при этом, как назло, обложкой вверх.

Как только Юра, похолодев, это заметил, молодой чекист, словно почувствовав его взгляд, посмотрел себе под ноги и увидел любимый охотничий трофей своего учреждения.

И что он сделал? Слушайте внимательно. Как бы изучая книги на полке, он так передвинулся, чтобы прикрыть от старшего чекиста лежащую на полу книгу, а потом ногой тихо запихнул ее за край нижней полки.

Браво! Браво! Это было, и мы должны быть верны истории. Молодой чекист оказался настоящим патриотом нашего

края. Не мог он своего знаменитого земляка не попытаться спасти. За «Технологию власти» в те годы в провинции давали до пяти лет. Возможно, года три Юре могли скостить за прославление Родины рапирой. Но и два года лагерей — никому не нужное удовольствие.

Только молодой чекист успел убрать свою филантропическую ногу, как в комнату ворвался тот чекист, что ходил на кухню и в чулан. Он был разъярен и держал в руке Юрину рапиру, как некий миноискатель.

Навряд ли он был разъярен тем, что не обнаружил пистолет в чулане рядом с рапирой, как двух старых бойцов, вспоминающих боевые поединки. Скорее всего, его разъярил пустой холодильник Юры, потому что он с удручающей многозначительностью широко развел руками и произнес:

— Ничего.

При этом рука его, сжимавшая рукоять рапиры, так неосторожно откинулась, что кончик рапиры задел абажур и тот качнулся. Юра поспешил отобрать у него рапиру и поставил ее в ближайший угол, как нелишний аргумент, может быть, и не только былых заслуг.

Услышав удручающе короткий доклад своего помощника, начальник явно помрачнел и принял за столом гораздо более официальную позу.

— Обыскать, перевернуть все вверх дном! — приказал он.

Повальный обыск начался с книжных полок. По словам Юры, под видом пистолета они искали нелегальные книги, а под видом нелегальных книг искали доллары, которых он,

кстати, никогда не привозил, превращая их в книги или шмотки для жены.

Юра был уверен, что они ищут доллары, потому что каждую книгу, которую они брали с полки, встряхивали над полом, при этом целомудренно каждый раз проводя эту процедуру в рамках кругозора начальника. Ясно, что такая процедура совершенно излишня, если они искали только пистолет, вложенный в книги, и вполне оправдана, если они искали доллары, вложенные между страниц.

После того как половину книг его большой библиотеки перетряхнули, а долларовые бумаги так и не усеяли пол преступно красивым ковром, но при этом воздух комнаты наполнился задумчивой, а может быть, и гневной пороховой пылью старых книг, начальник яростно закашлялся. Багровея и превозмогая кашель, он зарычал:

— Ищите постранично!

По-видимому, он решил, что Юра подклеивает доллары к страницам своих книг. Вторая часть библиотеки была обыскана постранично. Сначала тяжелоесно листали, но потом быстро приспособились веером пропускать всю толщу страниц от обложки к обложке.

Одним словом, ни долларов, ни пистолета они не нашли, хотя пистолет в это время возлегал на цветастом абажуре, как какой-нибудь Хан-Гирей на подвешенном ложе вместе со своими девятью гуриями, учитывая, что пистолет был девятизарядный.

Кстати, по словам Юры, главный чекист почему-то время от времени поглядывал на абажур, довольно затейливый по-

дарок феодала-отца на свадьбу дочери. И эти взгляды Юру стали слегка тревожить, потому что он сам теперь зрением, обостренным опасностью, заметил, что абажур, оказывается, чуть-чуть скошен односторонней тяжестью пистолета.

Во время одного из взглядов начальника абажур вдруг медленно потянулся в его сторону, но не выдержал и тихо откатнулся. Юре стало не по себе. Он никак не мог понять, чем вызвано это легкое покачивание — телепатическими сигналами (оружия? чекиста?) или порывами бриза в приоткрытое окно?

Юра хотел было прикрыть окно, чтобы установить наконец, какая именно сила заставляет абажур задумчиво покачиваться, но потом понял, что это опасно. Начальник может почувствовать причину его беспокойства. Юре запомнилось, что вот эти странные взгляды главного чекиста на таинственное покачивание абажура были самыми неприятными мгновениями обыска. Бедный Юра! Его тревога по поводу взглядов на абажур говорит о том, что он представитель следующего за мной поколения.

Начальнику, человеку солидного возраста, этот абажур, скорее всего, приглянулся. И он, всматриваясь в него, ностальгически вспомнил те идиллические времена чекизма, когда абажур можно было просто снять и унести, даже не сразу заметив возлежащего на нем Хан-Гирея.

Точно так же и наоборот. Здесь в Москве во времена Брежнева я как бы подоспел к новому поколению чекистов, с совершенно незнакомой мне новой ментальностью.

После очередного подписания коллективного письма в защиту незаконно арестованных людей у кого-то лопнуло терпение, и я был вызван для разговора в мрачноватый номер солидной гостиницы. Разговор был долгий, неприятный.

— Вы в тяжелое положение ставите своего издателя. Вот к нему приходит автор и говорит, мол, вы этого писателя, который подписывает антиправительственные письма, печатаете, а меня не печатаете. Вы в тяжелое положение ставите всех издателей. Им нечем крыть. Им это может надоест.

Откуда вы взяли, что суд был закрытый? Клевета. Помещение не могло всех вместить. Не проводить же суды на стадионе?

И, наконец, главный аргумент. Как это так получается, что вы письма адресуете правительству, а их раньше правительства получают враждебные радиоголоса?

Хотелось сказать: вы сами их туда и посылаете, чтобы иметь этот аргумент. Но не сказал. По сути, так они могли действовать и, скорее всего, действовали, но доказать это я не мог.

Один из них, проявляя добрую осведомленность о моем творчестве, то и дело говорил:

— Дядюшка Сандро не одобрил бы ваши действия.

В сущности, это было неглупое, правильное наблюдение. Но я внутренне содрогался от ужаса, когда он дядю Сандро называл дядюшкой. Это было изощренной литературной пыткой, но сам говоривший, я уверен, об этом не подозревал. И тем сильнее это действовало.

Так как накануне я крепко выпил (для меня вполне случайное совпадение, но так ли для них?), во время раз-

говора я несколько раз со стаканом уходил в ванную и выпивал воду.

Заметив мою жажду, представители нового, молодого поколения чекистов, их было двое, несколько раз просили, даже просто умоляли разрешить им заказать обед с вином, совершенно прозрачно намекая, что это никакого отношения не имеет к попытке отклонить меня от моих взглядов.

— Это поможет нам параллельно смягчить разговор, — вразумлял меня старший из них, — параллельно!

— Дядюшка Сандро любил застолье, — вкрадчиво вторил ему второй.

Но меня не устраивали обе параллели. Я знал, что всякая линия, движущаяся параллельно жандармской, рано или поздно пересекается с ней. Я никак не соглашался. И это сначала огорчало их, потом унижало их, потом обостряло идеологическое раздражение. Небольшая угроза, прозвучавшая при расставании, ни малейшего впечатления на меня не произвела, и я думаю, она была вызвана не столько идейными причинами, сколько гастрономическими. Больше всего я боялся, что, если вслед мне прозвучит еще один раз: «Дядюшка Сандро на вашем месте...» — я упаду. А потом ученые люди будут гадать, каким новым дьявольским оружием чекисты, как бы дунув в трубочку вслед уходящему клиенту, вызывают внезапные мозговые спазмы. Но слава Богу, он ничего не сказал.

То, что они хотели вкусно пообедать и выпить за счет фирмы, это и тогда было для меня ясно. Но вот что сейчас пришло мне в голову. Попробуем порассуждать.

Вот я ушел, оставив их в номере. Интересно, могли бы они заказать обед с вином, делая вид, что нас трое? Интересно, зависит ли роскошь обеда от определенного сметой разряда клиента? Хотелось бы думать, что я проходил по солидному разряду. Тогда тем более им было бы обидно упускать обед.

Но как быть? Такие гостиничные номера, безусловно, прослушиваются. При этом, скорее всего, служба прослушивания им не подчиняется. Их тоже прослушивают. Но такой соблазн при многократном повторении опыта не мог ухватчивому и угадчивому российскому человеку не подсказать выход на дармовой обед.

Предполагаю такой сценарный вариант. Ни на минуту не забывая, что пленка крутится, один из них подходит к дверям и хлопает ими. Оказывается, клиент вернулся. Второй чекист: «Заходите, заходите, не стесняйтесь! Сейчас посидим, поговорим, пообедаем. Слава Богу, все мы люди, все мы патриоты. Я так и знал, что вы вернетесь. Посидите, вот вам свежая газетка, а я сейчас закажу обед».

Заказывает обед по телефону. Стукачка-официантка приносит обед на троих. Накрывает. Отсутствие третьего пока не подозрительно. Тем более что в ванне заранее пущена вода. Нет, не душ. Это было бы слишком. Но крепкая струя воды из-под крана не помешает. Клиент нервно моет руки в предчувствии загрязнения души и в надежде, что ее можно отмыть, как руки. Поэтому — крепче струю! Больше kloкочущей бодрости!

Ну, а дальше? Магнитофон работает. Где голос клиента? Сперва молчание его объясняется невероятным аппетитом.



Последний благодушно вышучивается. От волнения пришел не позавтракав. Сколько можно говорить, что сейчас совсем другие времена, совсем другие чекисты. Ну, чокнуться-то вы можете, если говорить пока не в состоянии? Следует смачное чоканье. Можно рискнуть бубнением клиента, попыткой говорить с переполненным ртом. Ну, ладно, ешьте, ешьте. Вот этот поджаристый кусок на вас смотрит. Чоканье, чоканье... Но сколько можно так? Скандал назревает. Ваше затянувшееся молчание странно.

Да не презирает ли он нас? Наглость! Пришел, извините за выражение, жрет, пьет и ни слова не хочет говорить. Что? Вы уходите? Молча? Такого не бывало!

Следует угроза, гораздо более эмоциональная, чем первый раз, но столь же смутная. Хлопает дверь. Последняя служебная запись на магнитофоне: «Сорвал мероприятие, подлец!»

Но дело должно быть сработано чисто. Третья порция обеда подозрительно нетронута. А ведь неминуем приход официантки-стукачки. Третья порция благополучно уничтожается. При этом не забывают пустить в ход вилку и нож клиента. Да, чуть не забыли. Безболезненно опорожняется и третий фужер. Конечно, можно было бы считать, что клиент ушел, не выпив последний бокал. Но такой клиент в наше время подозрителен, да и зачем рисковать. И наконец, смятая салфетка с артистической небрежностью брошена возле тарелки чело-века-невидимки. Теперь комар носа не подточит.

Впрочем, читатель может разыграть эту сцену по-своему. С одним условием — молчание клиента при всех вариантах

должно быть правдоподобно. Варианты можно присылать в редакцию. За лучший из них впоследствии награда в зависимости от ее финансовых возможностей, каковые, откровенно говоря, катастрофичны. Сразу оговариваемся. Вариант: удушили и пообедали при самом большом правдоподобии выкриков, хрипов и стонов отклоняется без рассмотрения, как грубый, раннесоциалистический.

Однако мы отвлеклись. А отвлеклись, потому что обыск не дает результатов. А читатель сам знает, что нет в мире вещи скучнее бесплодного обыска. К тому же бесплодный обыск оскорбителен для государства. Именно поэтому предусмотрительные чекисты нередко, отправляясь на обыск, прихватывали с собой те самые улики, которые должны были найти у подозреваемого. Но на этот раз они лопухнулись, именно благодаря широте замысла: пистолет, книги, доллары. Так широко забрасывая сеть, они были уверены хоть что-нибудь выгрести. И вполне могли прихватить вышеупомянутую книгу, но тут оказалось, что в их собственных рядах нет полного единства. Обыск так затянулся, что Юра уже подумывал, не порыться ли в подкладках старого пальто и старого костюма тех времен, когда он еще ездил за границу. Какие-то центы, сантимы, пфеннинги, песеты могли там завалиться. Выгрести и дать им, чтобы они скорее ушли. За такую мелочь посадить не могли, но могли пожурить с чувством исполненного долга. Однако он отклонил эту возможность, и правильно сделал, потому что государство в те времена было еще достаточно гордым и могло счесть такую добросовестность за скрытую форму подаяния.

— Боржом хотя бы есть в этом доме? — в конце концов взмолился главный чекист, удрученный обилием пустынных впечатлений. Но и боржома не оказалось в доме, а от простой воды, предложенной Юрой, он, помешкав, отказался, скорее всего, из сложных субординационных соображений. Одним словом, не найдя ничего, гости ушли восвояси.

Юра достал из-под шкафа «Технологию власти» Авторханова, сдул с нее дружескую пыль чекистского тупля, прижал книжку к груди, он ее тогда особенно любил, а потом занялся своей библиотекой.

— Если бы не абажур, — рассказывал Юра, — я бы их заставил все книги разложить по местам. Но абажур вел себя странно. Я не мог позволить себе рискнуть. Предстояла дуэль.

...Была весна. Бегущий по небу щебет ласточек и бегущий по земле щебет ручьев. Прохладное пламя фиолетовых глициний тянулось к деревянным балконам домов. Гнулись мимозы под пушистой девичьей тяжестью своего воздушного золота.

На молодеющих, зеленых склонах холмов из травы вытягивались любопытствующие подснежники, словно спрашивая: «Где снег? Где снег?» — ибо никогда не видели снега. И наоборот, фиалки, забытые поэтами нашего времени, флорберовские фиалки, как бы храня очарование женщин прошедших веков, цвели, опустив глаза.

А в садах сотнями звезд вывездили гранатовые деревья. И казалось, они вот-вот прыснут, взорвутся всеми своими яростными, мокрыми, пунцовыми звездами черт знает куда! Залпом в сторону нежно белеющей алычи! Откуда, о откуда ее

поздняя зрелая кислота?! Залпом в сторону розового облачка цветущего персика, именуемого в просторечии «выдох ангелицы». А то вдруг накроют на лету красной картечью зазевавшуюся голубку! Не горюй, голубка, высидишь рыжего ястреба, он тебя защитит!.. А между тем или, может быть, именно потому...

Гости съезжались на дуэль. Их было не так много, но они были. Одна «Волга» и два «мерседеса» друзей коммерсанта, один «Москвич» и двое «Жигулей» поклонников Юры.

Машины мчались, вплющиваясь от скорости в асфальт шоссе, порой обгоняя друг друга и покорно уступая обгоняющей машине дорогу, как бы суеверно подчиняясь таинственному наваждению, знаку свыше, по которому обгоняющий водитель должен выйти вперед, с тем чтобы потом обогнанному дать дорогу, когда на того снизойдет наваждение обгона и он по знаку свыше спохватится и рванет, подстегивая машину.

Все эти люди были друзьями дуэлянтов. Они делали нечеловеческие усилия, чтобы удержать их от дуэли, но, когда это им не удалось, они решили, что они и только они заслужили зрелище дуэли как плату за их утомительные старания.

Машины, почти не снижая скорости, спустились под мост через Гумисту и остановились в зеленой пойме, где когда-то проходил злосчастный школьный пикник и где укус-укол осы оказался напоенным столь долгодействующим ядом.

Машины остановились, и все, кроме дуэлянтов, высыпали на лужайку, сладостно переминаясь, щурясь на блеск реки и стыдливо радуясь, что им ничего не грозит и они еще долго будут топтать эту милую, что там ни говори, землю. И только один из них

с тревогой посматривал то на часы, то в сторону моста. А почему он тревожился и посматривал на мост, вскоре станет ясно.

Интересно, что все высыпали на лужайку, кроме дуэлянтов. Подобно абхазским женихам, которые, по традиции, никогда не появляются на собственной свадьбе, а всегда таятся где-то поблизости, дуэлянты до поры оставались в машине. Казалось, они поклялись больше никогда не ступить на землю ради суеты жизни, а ступить на нее только для того, чтобы самым коротким путем пройти к ритуалу смерти.

Юра был человеком, как легко может догадаться читатель, не без романтических завитков. Поэтому секундант Юры стоял в толпе гостей, держа в руке его рапиру, как новоявленный шекспировский землемер на пути к землекопу. Юра помнил слова коммерсанта о том, что он из славы не мог сделать деньги, а тот из денег сделал славу. Так вот именно орудием бескорыстной славы будет измерено расстояние между противниками. Коммерсант не торговался, когда Юра определил это расстояние длиною в двенадцать клинков.

Сейчас секундант Юры поглядывал на секунданта противника, который в свою очередь поглядывал на машину, где сидел коммерсант. Вытягивая руку в окно и покрикивая, он уточнял место укуса осы. Юра из своей машины, следя за всем этим, язвительно улыбался.

После долгих уточнений наконец место укуса было найдено, если, конечно, верить укушенному. Секундант Юры стал с этого места тщательно промерять рапирой расстояние, на котором противники будут стреляться.

Когда рукоять рапиры легла на воображаемое место укуса, гости столпились над этим местом, вглядываясь в траву, словно пытаясь найти там какой-то след, может быть, останки роковой осы. Однако, не найдя их, они вместе со вторым секундантом, наклоняясь и даже подглядывая, следовали за осторожными переворотами рапиры, промеряющей расстояние с тем, чтобы точность соблюдалась неукоснительно. И было совершенно непонятно, кому из противников может помочь или помешать неточность землемера.

Одним словом, вся компания была так увлечена этим занятием, что не заметила, как в пойму, спотыкаясь и ковыляя, спустился разбитый деревенский автобусик, и, только когда он, чадя и тарахтя, остановился поблизости, они оглянулись.

Из распахнутых дверей автобуса, как из пересохшего стручка фасоли, посыпались старики. Все они были торжественно одеты в черкески и папахи, у всех сверкали кинжалы на поясах. Можно было подумать, что это хор долгожителей, которых собирается здесь снимать какой-нибудь заезжий оператор.

Возглавлял этот, как оказалось, весьма голосистый хор дед Юры, живущий в селе Лыхны. Ватага стариков, яростно вскрикивая и как бы риторически хватаясь за кинжалы (опасная риторика), ринулась на толпу, ища глазами дуэлянтов и не находя их и от этого еще более свирепея, как бы подозревая, что худшее уже случилось, а они опоздали.

Дуэлянты вынуждены были покинуть свои машины и с повинными головами подойти к старикам. Но тут вдруг то ли на радостях, что они живы, то ли потому, что уже не

в силах был притормозить свою ярость, один из стариков, взглянув на секунданта Юры, стоявшего, опершись на рапиру, и, поняв его позу, как призыв к продолжению смертоубийства, с криком: «Этот с чомполом во всем виноват!» накинулся на него.

Он выхватил у него рапиру и успел несколько раз шлепнуть клинком по заднице ни в чем не повинного секунданта. Тот уворачивался, стараясь спрятать от него свой зад и одновременно делая вид, что исключительно из почтительности к возрасту старика он никак не может повернуться спиной к нему и вынужден уворачиваться.

И тут всплыло совершенно неожиданное обстоятельство. Оказывается, эта издевательская манера прятать свой зад под видом почтительности напомнила одному из стариков, что этот парень его собственный внучатый племянник, который в детстве точно так же уворачивался от его хворостины.

— Ты на кого руку поднял! — закричал оскорбленный в родственных чувствах старик и, в самом деле выхватив кинжал, ринулся на защиту своего малютки.

Старику, столь несвоевременно преследовавшему издевательский зад секунданта, ничего не оставалось, как выставить против кинжала рапиру. Старики успели пару раз лязгнуть металлом в неслыханном поединке, но тут на них бросились остальные старики и растащили их.

Поднялся такой невообразимый гвалт, что шофер деревенского автобуса, и до этого предусмотрительно не покидавший своего сиденья, завел мотор, словно предчувствуя об-

щую резню и спеша предупредить милицию или просто ударить к себе в деревню, чтобы не быть свидетелем.

Услышав предательское тарахтенье мотора, старики вдруг смолкли, насмерть испуганные, что им пехом придется переть домой. С тех пор как старики наши лишились лошадей, они впали в суеверную зависимость от мотора.

Одним словом, они разом все смолкли и оглянулись на шофера. Шофер еще некоторое время властно не выключал мотор, давая им остыть через испуг. Потом выключил, но машина еще минут пять продолжала чадить. И старики продолжали настороженно присматриваться к клубам вонючего дыма, как бы исходя из многовекового опыта общения с погашенным, но все еще чадящим костром, который в иных случаях, бывало, сам возгорался. Наконец машина окончательно потухла, и тут старики спокойно и мудро принялись за свое дело.

Да, слава Богу, велика еще власть стариков в Абхазии! Что они там говорили, каким образом они продемонстрировали масштабы вечности по сравнению с масштабом раздора, я не знаю. Нет, противники не примирились. Но сейчас продолжить эту дуэль было невозможно, а возобновить ее в будущем мешал комический конец этой.

Бедный Юра! Напоследок он вытащил пистолет и шагов с десяти разрядил его в старую консервную банку, валявшуюся на лужайке. Была ли эта банка ржавым свидетелем того школьного пикника или других более мирных завтраков на траве, теперь уже невозможно установить.



Разрядив пистолет, Юра подошел к своей мишени и, наклонившись, однако не притрагиваясь к ней, даже заложив руку за спину, хладнокровно рассмотрел результаты попадания.

Потом он распрямился и движением руки подозвал своего секунданта. Продолжая поглядывать на банку, Юра, не оборачиваясь, взял у него рапиру, подцепил острием пулевую дырку, чуть тряхнул, убеждаясь, что банка достаточно хорошо зацепилась, после чего воздел над собой рапиру и, размахнувшись, сошвырнул с нее банку к ногам коммерсанта и его друзей. Один из друзей коммерсанта приподнял банку и подсчитал дырочки, стараясь не спутать входные и выходные отверстия.

Но никто не понял далеко идущий смысл и того, что он безглаголиво не притронулся к банке, и того, что он отбросил ее, как изрешеченный огрызок бывлой любви. К счастью, этого не понял и коммерсант.

Старики были потрясены высокой точностью попадания.

— А теперь ты стреляй, — обратился один из них к коммерсанту, — и мы увидим, кто из вас настоящий герой.

Но коммерсант только презрительно пожал плечами, давая знать, что он и так слишком много времени потратил на бесполезные дела, и молча пошел к своей машине. За ним потянулись его друзья. Все расселись по машинам и разъехались по домам.

Так Юра остался один в городе. Мать и отец у него давно умерли, хотя в деревне у него жил дед с большим кланом родственников. Бывшая жена Юры детей к нему не отпускала. Грели его теперь только книги да огонек бывлой славы.

Однако что-то вроде кары настигло и его бывшую жену. Тот самый старший сын, которого пришлось подшлепывать, чтобы он не упирался на пути в дом ее нового мужа, потеряв отца, возненавидел дом отчима.

Года через три он сбежал из дому, скитался по России, а потом связался с блатными, и тут снова всплывает тема рапиры, жестко сломанной до размеров карманного ножа. Сейчас он арестован, отбывает наказание в Сибири.

Если б не это обстоятельство, историю Юры можно было бы посчитать грустной сказкой с добрым концом. Рапира вступилась за своего хозяина.

Однажды вечером, говорят, Юра, покуривая, возлегал на подоконнике, глядя на улицу. Было тепло, окна были открыты, квартира расположена на первом этаже.

В это время в конце квартала появилась высокая, красивая женщина, тащившая в одной руке небольшой чемодан, а другой рукой придерживавшая поспешающего за ней маленького очкастенького мальчика, сжимающего в свободной руке рапиру, конец клинка которой, позвякивая и потренькивая, бороздил немощный тротуар. Вероятно, от этого отупляющего соприкосновения с равнодушной землей клинок чувствовал себя униженным, как арабский скакун, которого впрягли в плуг.

Первым в конце квартала увидел это зрелище сосед Юры и остановился как громом пораженный. Разумеется, его поразила не униженный клинок. Женщина с чемоданом в руке и очкастым ребенком, волочащим рапиру, приближается к дому, где живет очкастый мастер спорта по рапире.

— Юра, к тебе! Качать права! — крикнул обалделый сосед, подбежав к окну. Он успел обогнать женщину и считал, что еще что-то можно сделать.

Вместо того чтобы захлопнуть окна и скрыться, Юра вытянулся на подоконнике и спокойно дожидался приближающейся женщины. Потом он спокойно сказал уже дважды потрясенному соседу:

— Я всегда знал, что эта женщина в горящую избу войдет!

На самом деле все обстояло проще и сложнее. Много лет назад Юра тренировал способную девушку и, может быть, случайно, сам того не заметив, коснулся острием рапиры ее сердца. Потом она переехала в Россию, и о ней не было ни слуху ни духу. Оказывается, она за эти семь лет успела выйти замуж, родила ребенка, разошлась. Последние годы жила в Харькове. Есть женщины, которые независимо от сложившейся судьбы любят один раз. Она была из их числа. Звали ее Люся.

Как они нашли друг друга, я не знаю. Подозреваю, что она его нашла. Конечно, они уже переписывались, он ждал ее, но она приехала без предупреждения.

Весть о том, что к Юре приехала высокая (сам он был среднего роста), красивая женщина с ребенком, который важно волочил за собой от самого вокзала отцовскую рапиру, чтобы тот его признал, вспомнив, где оставил свое оружие, хотя, взглянув на очкастого мальчика, только злодей решился бы отпираться от отцовства, эта весть, сопровождаемая то гомерическим хохотом, то сентиментальными вздохами, облетела Мухус.

Говорили всякое. Слышал и такое:

— Меня интересует одно. Я точно знаю, что местному Юриному мальчику ровно шесть лет. И приезжому ровно шесть. Как он их мог сделать одновременно?

— Запросто. Полетел, кинул рапиру и прилетел.

— До чего обрусел наш Юра. Говорят, увидев эту женщину, он сказал: «Учтите, она в горящую избу войдет». А почему не сказал: «В горящую саклю войдет»? Все же было бы ближе к нам.

— Мать казачка, жена полячка, — исключительно для рифмы соврал еще один. — Тогда кто такой он сам? Наш или не наш?

— Жена у него русская. Не надо преувеличивать.

— Преувеличивать что?

— А то не знаешь что?

— У мальчика Юрины детские очки. Они небьющиеся. Я их вспомнил. Я с Юрой с первого класса...

— С первого класса, — передразнил его трезвый голос. — Я тебя вообще в нашей школе не видел. Юра стал носить очки ровно в двадцать пять лет. Он зачитал свои глаза. Юра наша гордость.

— Да, но я никак не могу понять, патриот он нашего края или не патриот?

— Юра гремел со своей рапирой по всей Европе, когда ты, патриот, на стадион канал без билета.

— Но почему он прямо не скажет: да, я патриот!

Отголоски этих сплетен иногда доходили до Юры, но он в ответ только улыбался, а лицо его жены струило усталое си-

яние запоздалого счастья. К тому же ребенок, настолько смутно помнивший своего отца, что уже никак не мог своей жаждающей любовью уловить то, что он смутно помнил, мгновенно обратил эту жажду на Юру и сразу стал называть его папой, еще до того, как Юра привык к его имени.

Звали мальчика Митя. Он всячески поддерживал приятные его слуху разговоры об отцовстве Юры. Этим пользовались местные хитрецы, думая, что через ребенка раскрывают великую тайну. Обычно в таких случаях мальчик с улыбкой кивал и интеллигентно повторял одну и ту же фразу:

— Да, все находят, что мы похожи.

На самом деле никакого сходства не было. Это был чистокровный русский синеглазый мальчик. Да и очки он носил не от близорукости. У него глаза слегка косили.

Да, чуть не забыл. Говорят, бывшая жена Юры, узнав, что он женился на женщине с ребенком и что ребенок называет его папой, устроила своему мужу неожиданную истерику и вдруг разрешила Юре видиться с собственным сыном.

Я думаю, дело не в том, что она забеспокоилась о сыне, лишенном отцовской ласки. Она решила, что если Юра будет уделять внимание собственному ребенку, то пасынку меньше достанется. Главное это.

Года через два летом, когда мальчик отдыхал в Лыхны у дедушки Юры, мы с ним, его женой и одним нашим общим другом, владельцем машины, приехали в деревню.

Все пошли к дому Юриного дедушки доставать вино для вылазки на природу, к которой мы готовились, а я остался

в машине и смотрел, как рядом на зеленой лужайке ребята играют в футбол. С ними был и Митя. Он играл без очков. Жаркий шум стоял над лужайкой. В абхазских долинных деревнях дети неплохо шпартят по-русски.

Был один из тех очаровательных августовских дней, когда природа как бы находится в состоянии тихого семейного счастья. Земля довольна небом, и небо довольно землей. И внутри этого счастья, раскованные этим счастьем, быстроногие дети носятся за мячом, пинают его, бухают головой, сталкиваются, падают, смеются.

— Митя! — крикнул я из машины. — Подойди на минутку! Он подбежал. Пышущий, глаза полыхают.

— Тебе здесь хорошо?

— Да! — выкрикнул он, воспитанно сдерживая готовность убежать.

— Где лучше, в Харькове или здесь? — почему-то спросил я. Всегда любопытно узнать, почему человек счастлив. Даже если это ребенок. Ухватить начало запутанного клубка.

— Здесь! — выкрикнул он, проявляя еще большую воспитанность, чтобы не сбежать.

— Почему, Митя? — спросил я очень серьезно. — Только подумай...

И он это понял. Глаза поумнели.

— Потому что... потому что... потому что, — повторял он, сосредоточенно ища нужное слово. Нашел! — Здесь все свои!

И рванул к ребятам, поняв, что точнее ничего не скажешь. И это было мгновенье моего счастья.

Здесь все свои! Это было так понятно. Мальчик, росший с одинокой матерью в большом городе, где все одиноки, вдруг попал в другую жизнь, где еще сохранились обычаи патриархального клана: возле какого дома настигнет играющих детей полдень, туда и позовут обедать.

\* \* \*

Такова в беглых чертах история нашего Философа-мистика. А теперь вернемся в «Амру», где он сидит за столиком вместе с художником Андреем Таркиловым, если читатель не забыл.

Кроме коньяка в графинчике и чашечек кофе на столике стояла бутылочка пепси-колы и недопитый стакан. Так как стакан был один, я понял, что Юра здесь с одним из своих мальчиков, и стал искать его глазами.

Вот он, сын его Асланчик. Загорелый мальчуган в красной майке и желтых заграничных шортах стоял у перил «Амры» и, отрывая куски от булки, подбрасывал их нахальным чайкам, шлепающим крыльями и скрипящим глупыми голосами.

От жадного азарта чайки до того осатанели, что иногда, топая мальчика, почти садятся ему на голову. Он кричит и отмахивается руками. Чайки неохотно отгребают крыльями, и мальчик хохочет, довольный властью над ними. Смуглые, мускулистые ноги его производят смешное впечатление. Мужские ноги уменьшенной статуи древнегреческого воина. Наверное, Юра тренирует его вместе с пасынком.

— ...Самое несправедливое распределение воды у заблудших в пустыне начинается в тот миг, когда один из заблудших восклицает: «Я знаю, где оазис! Я вас туда поведу!» Психологическая основа возможности приятия этой несправедливости вполне понятна, — продолжал Юра и приподнял голову, словно одолевая тяжесть больших роговых очков. И тут, увидев меня, остановился на мгновение. Кивком головы он поздоровался со мной и пригласил, молча указав на свой столик.

— Жду, — сказал я твердым голосом, чтобы сразу отсечь повторное приглашение.

— Понятно, — кивнул Юра, — грядет мессия.

Было ясно, что он иронизирует, но не совсем ясно, знает ли он о том, кого я жду. С Андреем мы уже виделись сегодня. Взглянув на меня, он подмигнул тем глазом, который был по дальше от Юры. И это означало: вероятно, много мы сегодня услышим необычного, но необязательно все это принимать всерьез.

Я его много лет не видел, хотя живет он теперь в Москве. Он признан. Приглашается во многие страны. Все тот же тяжелый взгляд под припухлыми веками, все то же сильное, бойцовское лицо, но цвет лица бледный, нездоровый: то ли жизнь в Москве, то ли пребывание в разных странах, с привыканием к разным напиткам, скорее всего, вечная, каторжная работа в ядовитом воздухе мастерских. На нем была модная голубая блуза, как бы суетный знак запоздалых успехов, с некоторой тайной пародийностью облежавшая его слишком мощные плечи и слишком горькую судьбу для тех, кто о ней знал.



— Заблудившееся в пустыне племя легко примиряется с несправедливостью распределения воды в пользу того, кто обещает скорый оазис, — продолжал Юра, — огромность обещания поглощает несправедливость. У человека можно многое отнять, если обещать ему все. Каждый думает: вот доберемся и тогда вволю напьемся воды, тогда будет полное равенство в изобилии. Самые чудовищные формы неравенства опираются на химеру возможности полного равенства. Оставим равенство перед законом. Это буржуазное право, это само собой разумеется.

Он опять поднял голову, преодолевая тяжесть очков, и посмотрел на меня, как бы спрашивая: ты доволен, что я оставил равенство перед законом? Но учти, больше никакого равенства не будет.

— Но такое равенство побивалось и будет побиваться в теснинах истории, — нажал он на педали. — В человеке неистребима подсознательная мечта о равенстве всех со всеми. Трагедия в том, что человек этот свой религиозный инстинкт осознает на житейском уровне. Эта мечта неистребима, но мы ее должны истреблять! Мистика!

Нормальный человек в лучшие мгновенья своей жизни действительно хочет, чтобы всем было одинаково хорошо, и ему, конечно. Он хочет такой жизни, чтобы самому не обжигать душу завистью к другим и чтобы другие не корчились от зависти к нему.

А разве это плохо? Это прекрасно, но это прекрасное содержит в себе возможность перехода в ужасное. Если в чело-

веке совсем нет этой мечты — он мерзавец. Но если он эту мечту при помощи самой распрекрасной теории пытается претворить в жизнь — он чудовище. Мистика! Шагнешь направо — мерзавец. Шагнешь налево — чудовище.

Почему мерзавец? Равнодушен к людям. Почему чудовище? Потому что поддаешься соблазну решить судьбы людей, которые принципиально неразрешимы. Они разрешимы вне принципов, только как личная воля к добру. Каждый раз лично. Я лично захотел и отдал свое...

В это время на «Амру» взошла большая группа туристов во главе с экскурсоводом. Пока экскурсовод рассказывал историю возникновения этого ресторана на пристани, стараясь вложить в свой рассказ якобы имевший место венецианский замысел, туристы с туповатой недоверчивостью слушали его, одновременно цепко присматриваясь, что можно купить в этом ресторане. Но зацепиться было почти не за что.

Два или три туриста подошли покупать мороженое... И вдруг словно пробежал тихий клич: последний день мороженого в стране! И все разом хлынули, столпились, вытянулись в деловитую очередь. Экскурсовод, как бы не замечая грубую измену венецианскому пафосу, сделал вид, что все так и было задумано и сам он как раз собирался поймать турецкий кайф, подошел к кофевару и заказал кофе по-турецки.

Асланчик, оглянувшись на шум очереди, вдруг бросил остатки булки за борт — чайки камнем вниз. Быстро перебирая своими смешными мускулистыми ногами, мальчик пробежал к отцу.

— Папа, купи мороженое! Хочу мороженое!

— Мороженое? — переспросил отец, приходя в себя. Потом туго, как в седле, повернулся и косо оглядел очередь, с трудом осознавая ее возникновение. — Откуда столько людей? — удивился он. — Подожди. Разойдутся — куплю.

— Хочу сейчас! — крикнул мальчик.

— Подождешь, — сказал отец, — вот допивай пепси.

— Не хочу, — сказал мальчик, но, неожиданно наклонив стакан, пригубил жидкость и стал равномерно дуть в нее, доводя ее до бурления.

Отец, словно опять под тяжестью очков наклонив голову, стал поверх стекол удивленно следить за действиями сына, как за любопытным химическим опытом, от которого можно ждать неожиданных результатов. Не дождался, вспылил:

— Какое может быть равенство между людьми? Человек неповторим! Я мальчиком проходил жесточайшую тренировку по пять часов в день, когда он падал в обморок от укуса осы!

— Постой! Постой! — завопил Андрей. — При чем тут оса? Кто падал в обморок?

Андрей так давно в Москве, что эту историю явно не слышал.

— Это так... — махнул рукой Юра и, проследив глазами за убегающим сыном, академично продолжил: — Что делать, если жители Свердловска яростно завидуют жителям Тулы за то, что Тула намного ближе к Москве?

— Уже не завидуют, — шутливо поправил его Андрей, — Москву теперь снабжают хуже, чем Тулу и Свердловск. Во всяком случае, не лучше.

— Но, допустим, у жителей Свердловска такая безумная зависть к жителям Тулы за то, что они гораздо ближе к Москве. Что может их успокоить, если их грызет такая зависть? Ничего.

Только тот, кто внушит жителям Свердловска, что для них важнее всего не расстояние от Свердловска до Москвы, а расстояние от Свердловска до Марса. Если они в это поверят, они тут же успокоятся. Они поймут, что и Москва, и Свердловск, и Тула в одинаковом положении по отношению к Марсу.

Такую новую ориентацию, ориентацию на высоту, на реальность бесконечности, где только и возможно равенство людей, дает человеку религия.

— А что делать мне, если я не верю в Бога, — неожиданно возразил Андрей, — я его не чувствую.

— Это про бабу можно сказать: я ее не чувствую, — сурово возразил Юра, — про Бога так нельзя говорить. Это все равно что про мать: я ее не чувствую матерью.

— Да почему же нельзя? — упрямо возразил Андрей. — Бывают же матери-мерзавки, именно как матери?

— Разумеется, в жизни все бывает, — согласился Юра, — но об этом могут судить другие люди. Только не сын.

— Но почему же не сын, когда она именно по отношению к нему мерзавка?

— Для сына это табу, — непреклонно возразил Юра. — Если у человека мать мерзавка, он вправе чувствовать себя сиротой. Но не больше.

— Что ж, он не имеет права и подумать об этом?

— Подумать, к сожалению, не запретишь, — подумав сам, сказал Юра, — это как дыхание. Но сказать не имеешь права. Табу. Мир, где сын поднял руку на мать, хоть словом, хоть делом, такой мир обречен на сифилис распада. Учти, что атеистическая деловитость Запада держится на огромной инерции религиозного воспитания в прошлом...

Но, судя по всему, Андрей не собирался это учитывать.

— Я не верю в Бога, — упрямо повторил Андрей. — Что же, я и сказать об этом не могу?

— Почему же не можешь? — удивился Юра. — Ты только об этом и говоришь. Но почему так победно? Я что-то не улавливаю грандиозных, мучительных усилий твоего ума, которые привели тебя к этой мысли. А между прочим, в некоторых, лучших своих картинах ты стихийно приближаешься к Богу.

Похвала Юры для Андрея многого стоила.

— Да? — неожиданно потеплевшим голосом спросил Андрей. — Я сам что-то такое иногда ощущаю, но не пойму, откуда оно. А как тебе мои «Обнаженные», которых я привез на выставку?

Андрей Таркилов, хотя имел уже достаточно большое все-российское и даже европейское имя, любил выставляться на родине. Тут были свои комплексы.

— Никак, — ответил Юра.

— Как так? — растерялся Андрей.

— Плохо, — окончательно добил его Юра и, опустив голову, как бы согбенный его неудачей, посмотрел на него поверх очков, — нет чувственной теплоты. Нет зазора для надежды.

Твои обнаженные — это терки. Но ты хорошо писал «Обнаженных» раньше, когда жена уже кончилась, а любовница еще не началась, по-видимому...

Андрей на глазах помрачнел. На скуле у него выступил желвак.

— А я и хотел изобразить их терками, если ты так это понимаешь, — процедил он сквозь зубы.

— Терки, терки, — безжалостно повторил Юра, — приземистые российские терки и тонконогие европейские терки. Чтобы воспринимать их, надо быть напильником, а я человек... Вообще-то стервы бывают безумно циничны. На нашей улице умерла молодая женщина. Я пришел на панихиду, попрощался с покойной, вышел на улицу. Стою, курю. Вдруг подходит ко мне одна знакомая. Она тоже только что была у гроба. Полыхает. Говорит мне о покойной: «На ней такая славная кофточка. Как жаль, что у меня нет такой!» А я ей: «У тебя и такого гроба нет». Не обиделась. Только потрянула хорошенькой головкой: «Ты у нас всегда был чокнутый!»

Но ведь не это хотел сказать ты своими картинами?

— И это тоже, — процедил Андрей. — По-твоему, я должен стать монахом, чтобы хорошо писать обнаженных?

— Это твоя проблема, — безжалостно ответил ему Юра и вдруг добродушно расхохотался: — Богу богово, кесарю кесарево сечение.

Андрей не поддержал остроу. Желвак не сходил с его скулы. Кесарево сечение это, конечно, работа рапиры, подумал я. И притом не над кесарем, а над кесарихой. Точнее, над обоими.

— Художник сам должен определять, сколько он дает жизни, а сколько творчеству, — почему-то веселя, продолжал Юра, — я полагаю, это входит в понятие таланта. А если ты решил писать стерву, то совсем не обязательно ее раздевать. Где ты видел у классиков раздетую стерву? Стерву разденешь, потом никогда не оденешь. И она голая выбежит из мастерской и побежит по городу, а ты ее догоняй...

— Размахивая рапирой, — неожиданно вставил Андрей.

— Хоть бы и рапирой, — вдруг спокойно согласился Юра. — Но те «Обнаженные», которых ты писал, когда жена уже кончилась, а любовница еще не начиналась... те были прекрасны.

Последняя похвала отнюдь не смягчила Андрея. Он еще сильнее помрачнел.

— Не слишком ли ты много на себя берешь, — процедил он зло и, выпятив нижнюю губу, оглядел Юру, — здесь, в своей задрипанной кофейне? Тоже мне Сократ!

— Не более задрипанной, чем Москва, — спокойно, тоном лектора ответил Юра, как бы указкой обращая внимание на равномерность задрипанности обоих объектов. — А что касается Сократа, — продолжал он, — то личность этого философа имеет отношение к нашей теме. Некоторые наивные люди удивляются, почему великий философ древности ничего не говорит о несправедливости рабства. Но это входило в условия игры той жизни, и никому не могло прийти в голову бороться с рабством. Если через двести лет люди будут получать молоко искусственным путем, им будет удивительно, что мы отни-

мали молоко у невинных телят и что никто не боролся с молокоедами. Так и равенство свободных людей с рабами. Сократ сам мог стать рабом, если бы попал в плен. Он же воевал...

— Размахивая рапирой, — опять вставил Андрей, но, как оказалось, на этот раз совершенно неудачно.

— Рапирой? — удивился Юра и, высоко задрав голову, как бы вглядываясь в даль веков. — Греки вообще не знали, что такое рапира. Ты что, Гомера не читал? Фехтование вообще древнеримское искусство. Началось при Юлии Цезаре, но рапира была впервые введена при Нероне.

— Сумасшедшее оружие сумасшедшего императора. — Андрей попытался взять реванш, но Юра не обратил внимания на его слова.

— Так что с твоей стороны в высшей степени неисторично обвинять Сократа в том, что он не выступал против рабства, — продолжал Юра, забыв, что Андрей и не предъявлял Сократу своих претензий на равенство, — типичная и глупейшая шумливость прогресса. А есть ли у тебя уверенность, что разумный греческий рабовладелец относился к своим рабам хуже, чем современный хозяин к своим работникам? У меня такой уверенности нет. Свобода и равенство с точки зрения философии существования решается только через личность, только через любовь. Возьмем Савельича из «Капитанской дочки». Попробуй сказать ему: «Петруша — твой крепостник. Я тебе помогу освободиться от него». Да он убьет такого злодея! Он любит своего Петрушу, и Петруша любит его. И потому они равны и свободны



по отношению друг к другу. Савельич в своей любви к барину даже доходит до некоторой тирании. Но Петруша понимает, что это тирания любви и, сам любя, не может его по настоящему наказать. Тут еще надо разобраться, кто крепостной, а кто барин! Савельич, если хочешь знать, самый свободный и самый счастливый человек русской литературы! А ты говоришь Сократ!

Но тут Андрей вдруг перешел в решительную атаку.

— А я тебе насчет Бога вот что скажу, — подняв голову, начал он, поклокатывая от сдержанной страсти. — Бог есть вечное оправдание неудачников. Попытка вымолить второй раз бросить кости. Если ты веришь в Божий промысел, то как ты оправдаешь гибель «Адмирала Нахимова»? Сотни ни в чем не повинных людей утонули. В холодной, мутной, жестокой воде тонули такие дети, как твой пацан. За что?

И разве, увидев мысленно эту картину, если у тебя честные мозги, ты со всей ясностью не понимаешь, что причина катастрофы в глупости, халатности и жестокости людей? Случайность? Да, отрицательная случайность. Но ведь была, легко сообразить, и положительная случайность в том, что это не произошло раньше. Значит, обе случайности уничтожают друг друга. Остается наше хамство и павианство и никакой силы извне!

А если мы признаем эту силу извне, то, значит, Бог стал маразматическим, злобным стариком, который сам не знает, что делает. Неужели тебе приятней мысль, что миром правит выживший из ума жестокий Бог, чем холодная, страшная в своем равнодушии, но все-таки чистая природа?

И вот еще. Если эта катастрофа входит в непостижимый для человека замысел Бога вразумить ублюдков, то я говорю: не приемлю такого Бога и такой замысел вразумить ублюдков! Предпочитаю мир без Бога, мир, в котором мастер просто оттолкнет ублюдка от штурвала. Может, такой мир и невозможен, но я его предпочитаю!

Как только он начал говорить, Юра вдруг стал страшно серьезен. Его худое, носатое лицо даже как бы осунулось. Он слушал его, медленно подымая голову, словно с трудом преодолевая уже не только тяжесть больших роговых очков, но и тяжесть земного шара.

— Ах, друг мой, — неожиданно горько и мягко ответил Юра, — ты попал в самую точку. На эту тему написаны сотни книг, но они ничего не объясняют. Я не знаю, почему Бог допускает гибель невинных детей, но я точно знаю и потому верю, что без Бога оставшимся было бы хуже. — Юра вдруг замер и, резко бросив руку на стол, вспыхнул: — Вот тебе моя последняя формула: Бог не всемогущ, Бог прав! Это ветхозаветная традиция — думать, что Бог всемогущ. Так детей до определенного возраста можно держать в рамках только всемогущим наказанием, а не красотой правоты. Бог всемогущ только вечностью своей любящей правоты. Тут, на земле, войны, насилие, затмение разума, жестокость, подлость, предательство — это длится века, тысячелетия! Но человек вдруг, очнувшись, озаряется: пока это все происходило здесь, там, где-то наверху, его ждала долгая, терпеливая, ничем не истребимая, любящая правота. Все пройдет, а правота Бога останется! Его

правота вечна, и она вечно взывает к нашему соучастию. Испепеляющая душу деталь, если вдуматься! Бог прав, но его правота нужна не ему, а нам. Вдумайся, он призывает меня помогать ему спасти меня! И так каждого. А мы, придурки, упираемся.

— Кажется, ты меня достал, — пробубнил Андрей, смущаясь своего смущения, и повторил: — Он призывает меня помогать ему спасти меня... Тут что-то есть... Красиво...

Лицо Юры вдруг озарилось нежной, филологической улыбкой средневекового монаха, который, кстати, и воином успел побывать. И в этот миг он был неотразимо хорош.

Андрей разлил коньяк, как бы пытаясь непривычное воодушевление уестествить привычным образом.

— Выпьем за утреннюю правоту Бога, — сказал Юра, и они выпили, не чокаясь.

И тут, читатель дорогой, случилось самое неожиданное — я уснул. По-видимому, я почувствовал, что, пока жив Юра, мир в надежных руках. Можно отключиться. Под голос Юры, под говор ресторана, под не слишком музыкальные крики нахальных, но все-таки пока еще не клюющих детей чаек я уснул.

Интересно, что человек может засыпать под звуки человеческой речи по совершенно противоположным причинам. Он может засыпать в знак согласия с этими звуками. Так дети хорошо засыпают под мирные голоса родителей в другой комнате. Но человек также склонен засыпать под особенно бессмысленные звуки человеческой речи. Видимо, тут наша психика проявляет защитные свойства, отключает нас от бессмыслицы.

Итак, человек в обоих, противоположных случаях склонен засыпать. Но в первом случае сон здоров, а во втором случае — болезнен. Мы как бы ощущаем незаконность нашего сна под звуки человеческой речи, отчасти обращенной к нам.

Насколько я помню себя, на всех собраниях, где я бывал, во мне происходила героическая, но почти всегда обреченная борьба со сном. Зная это, я всегда садился куда-нибудь подальше в уголок. Сон, как это ни странно звучит, любит борьбу, сопротивление. И мы сами, поборотые сном в неположенном месте, испытываем ужас и запретную сладость одновременно.

За многие годы писательской жизни я не ходил на собрания и подзабыл обо всем этом. А тут вдруг меня выбрали в парламент, и борьба со сном приняла кошмарный характер.

С одной стороны, вроде удобней, чем на обычных собраниях: тысяча людей, можно затеряться среди них. Но с другой стороны, бродят, шныряют между рядами телевизионщики с камерой. А шагов не слышно.

Однажды один из них слегка прихватил меня. Может, даже неумышленно, может, даже отчасти жалея. Я потом видел в программе «Время». В сущности, все было достаточно прилично. Я сильно клюнул носом, что при некоторой доброжелательности можно было понять так: голова упала на грудь, подкошенная удручающей топорностью ораторской мысли.

Но где взять эту доброжелательность!

Не успел я досмотреть программу, как посыпались звонки друзей и знакомых, неожиданно горячо заинтересовавшихся моей парламентской деятельностью.

— Ни в одном глазу! — кричал я в трубку, на всякий случай каждый раз рассчитывая на два уха.

А потом ночью перед новым заседанием лежишь в постели и долго не можешь заснуть в тревожном предчувствии, что завтра заснешь на заседании. В голове возникают фантастические надежды на внезапную отмену сессии: война, землетрясение, заговор. Правда, заговор случился, но ни к селу ни к городу во время парламентских каникул. Даже в этом была видна обреченность этих бездарностей. И вот назавтра идешь на заседание, и все повторяется. И главное, в эти короткие промежутки сна каждый раз вступаешь в нуднейший спор с провокатором, с подлецом-разоблачителем твоего сна, и ты с какой-то невероятно упорной лживостью доказываешь ему во сне, что ты не спишь.

Как гениальна Ахматова! Ни разу не заседая в кремлевском дворце, она все угадала. В стихах «В Кремле не надо жить, преображенец прав» она пишет, что там воздух заражен микробами злобы, коварства, измен, начиная со времен Ивана Грозного и, конечно, кончая нашими днями.

А ведь народная мудрость давно это постигла. В наших деревнях, по крайней мере, в мое время, если в доме случалось какое-нибудь особое несчастье, скажем, умер ребенок или кто-то из домочадцев покончил с собой, оставшаяся семья такой дом сжигала и переезжала жить в другое место. Они знали, что житья в этом доме не будет. Мудрость народа в бесконечной протяженности его опыта. Талант поэта в молниеносном, озаренном видении этой бесконечности.

Так вот, в Кремле не только не надо жить, но нельзя и заседать. Хотя Дворец съездов и сравнительно молодое здание, но там уже полным-полно микробов.

И вот так сию однажды на одном заседании, переходя от сумрачной сладости сна к сновиденческой яви, и чувствую, как в воздухе прокатываются волны предательства. Несет, как из погреба. А от многих депутатов так и отлетают зловонные струйки самолюбия. Не говоря о тех, что дожидаются своей очереди у микрофонов. У этих зловонные струйки самолюбия прямо бьют друг в друга в затылок: пуф! пуф! пуф!

А волны предательства так и прокатываются над головой. Когда прокатилась особенно крупная волна, я, переживая ее, чуть не задохнулся. И тут я братски тронул за руку соседа. На вид вполне приличного человека. Он, не шевелясь, следил за оратором.

— Товарищ, — спросил я, ища утешения в солидарности страдания, — вы чувствуете волны предательства?

— Нет, — ответил он, взглянув на меня очень ясными глазами, и добавил: — Это кондиционеры.

И снова, не шевелясь, уставился на оратора своим профилем-волнорезом. Кондиционеры! Да тут все психи, подумал я, куда я попал? Оратор говорит, волнорез замер, разрезая неизвестно что. Только не волны предательства.

...И был грех зависти. И возжаждал я их безумия, как здоровья...

В Кремле и в самом деле не надо жить и не надо заседать. Надо все это превратить в музей. Смотрителям дополнитель-

ные деньги за вредность, а посетителям выдавать не тапочки, а противогазы. Глядишь, лет через сто все выветрится.

Итак, на «Амре», сидя под тентом, овеваемый легким бризом, я безмятежно уснул под голос Юры. Конечно, сказалось и то, что я этой ночью мало спал.

Обычно на ночь я пью снотворное. Так как это длится довольно долго, ритуал совершается машинально. Сунул в рот таблетку, запил водой, поставил стакан на тумбочку и лег.

Но иногда уже в постели вспоминаешь и никак не можешь вспомнить, а выпил я таблетку или только приготовился пить? И ты совершенно в непонятном, дурацком положении. Попробовать заснуть? Но если не выпил снотворное, придется ждать, ждать и, наконец убедившись, что в самом деле не выпил, выпить его под утро и встать с тяжелой головой.

В таких случаях непонятно, отчего не засыпаешь, оттого, что не выпил таблетку, или оттого, что беспокоишься, что не выпил ее? Душа охвачена мусорным гамлетизмом.

Конечно, можно выпить второй раз и уже точно знать, что, как минимум, один раз ты ее выпил. Но во-первых, жалко таблетку, достать снотворное в наших условиях необычайно трудно. А во-вторых, голову тоже жалко.

После двух таблеток просыпаешься с такой головой, как будто тот самый Морфей тем самым пинцетом через скважины ушей всю ночь втюковывал тебе в голову вату, удивляясь сомнительному достоинству ее карстовой вместительности и радуясь по этому случаю, что прихватил вату, что была подешевле.

Зачем же, думаешь, я потерял столько времени на сон, когда он не вернул мне свежести? Лучше бы лежать и думать о чем-нибудь приятном. Но в том-то и дело, что если бы ты мог на ночь думать о чем-нибудь приятном, то и бессонницы не было бы.

Это трудный вопрос: пил я на ночь снотворное или не пил? Если облатка была новая и ты вышелушил из нее первую таблетку, можно понять, что пил.

Если это была последняя таблетка, тоже можно понять, что пил, потому что она последняя. Хотя тут может возникнуть сегодняшняя бессонница от беспокойства за завтрашнюю ночь. От того, что завтра на ночь у меня не будет таблетки, усиливается склонность к бессоннице сегодня, хотя сегодняшнюю порцию снотворного я уже выпил, но я взял на себя беспокойство за завтрашнюю бессонницу, которая требует следующей таблетки, а ее нет. Но если бы была вторая таблетка, то не было бы в ней надобности, исчезло бы беспокойство за завтрашнюю ночь. Вот так. Это у нас называется заглядывать в будущее.

Одна из причин, по которой я не могу понять, пил я таблетку на ночь или не пил, заключается в том, что, запивая ее, я никогда не допиваю воду до конца. Отпил пару глотков и поставил стакан. И потом уже невозможно вспомнить, отпивал из него или нет.

Я решил ввести строгое правило и до дна допивать воду. И тогда, если возникнут сомнения, пил я таблетку или нет, зажечь свет, посмотреть на стакан, и все будет ясно. Но из этого тоже ничего не получилось. Если уж я перед сном вспоминаю, что после таблетки надо всю воду выпить до дна,



я и так запоминаю, что таблетка проглочена. Надо воду допивать до дна автоматически, а это не выходит.

Странно, никто нас не учил до дна допивать бокал вина или рюмку водки, а мы сами всегда допиваем до дна. Не запивать же снотворное алкоголем. А между прочим, люди Запада, как правило, свои напитки не допивают до дна. Прихлебнут, отставят. Прихлебнут, отставят.

Кажется, они больше доверяют течению жизни. Кажется, у нас нет уверенности, что не отнимут, если мы замешкаемся с питьем. Вот и спешим опрокинуть. Что-то есть в нашей жизни вокзальное. То ли вот-вот буфет закроют, то ли вот-вот поезд уйдет. А кончилось тем, что и буфет закрыли, и поезд ушел.

Да, бессонница. Конечно, выпивка — лучшее снотворное в мире. Но и здесь нет полной ясности. Недопил — раздражение, плохой сон, утром тяжелая голова, как будто перепил. А перепил — вечером весело, утром тяжелая голова. Вот почему человек предпочитает перепивать.

Но есть какая-то точка, какая-то доза. Какое-то таинственное соответствие то ли с ритмами нашего дня, то ли с какими-то заслугами перед людьми или выше, когда мы выпиваем и нам весело, хорошо! Мы прекрасно засыпаем, а утром просыпаемся бодрыми, здоровыми! Даже здоровее тех дней, когда не пили! И это совершенно точно. Это бывало, хотя очень редко.

И вот приходится искать, экспериментировать, что непросто. Потому что никто не знает дозы, потому что она находится в движении, меняющемся соответствии с нашими дневными заслугами. А заслугу дня определить невероятно трудно. Иногда ты

ничего не делал, но заслужил улыбку Бога: был хорош. А иногда трудился в поте лица, а он, ты это чувствуешь, брезгливо качает головой: ни тебя, ни твоих трудов видеть не хочу. Нечист.

А почему нечист? Нет ответа. Сам додумайся. Додумаешься — дочистишься. Или наоборот. Дочистишься — тут-то и додумаешься.

Поэтому дозу определить очень трудно. Но перебарщивать некрасиво. Нельзя серьезное дело превращать в искусство для искусства.

Но вернемся к тому, о чем я начал говорить. Значит, ночью перед сном принес из кухни стакан воды, достал облатку снотворного, взял книгу, чтобы перед сном почитать полчаса, и вдруг очнулся. Ты уже в постели, книга под рукой, но никак не можешь вспомнить, пил таблетку или не пил. Вроде пустяк, но иногда черт знает какие мысли приходят в голову. Например: жил я или еще не жил? Не могу вспомнить. Если это жизнь, то почему так скоро? Так скоро нельзя. Бессмысленно.

Если тебе было дано кое-что понять, тебе должны дать время об этом рассказать. Надо было спешить? Но спешить нечестно. Спешить — воровать чужое время или продавать незрелые плоды. Плод не созрел. Какое я имею право спешить и срывать его? Тут что-то не так.

И тогда ты тихо встаешь, чтобы не разбудить домашних, помня о том, что сказано о домашних, и потому хорошо, что они спят. Тыходишь к бару и, стараясь не скрипеть дверцей, вынимаешь заначку и немного выпиваешь. Потом еще немного. Потом еще. Стоп. Неплохо получилось.

И самое главное, не стыдись. Не стыдись. Ничего постыдного. Здесь нет никакой слабости. Истинная слабость — всю жизнь, кряхтя, казаться сильным. Нужна передышка-перевязка. Ты протянул руку, тебе ее перевязали. Что тут постыдного? Терпеть гораздо вредней. Я так думаю. А теперь хорошо, потому что жизнь затеплела, и в этом ее смысл.

Забавные мысли приходят в голову. В отличие от снотворного про выпивку, выпив, не можешь сказать: не могу вспомнить, выпил или нет? В шутку говорят, чтобы добавить. На самом деле помнят. Выпивка простодушна. Когда она в тебе, она не притворяется, что ее в тебе нет. Но выпившие иногда притворяются трезвыми, и это смешно. Но когда пьяные притворяются еще более пьяными, это нехорошо. Очень нехорошо.

Странные мысли приходят в голову. Почему все крупные птицы кричат противными голосами: чайки, орлы, вороны, павлины? Почему все певчие птицы маленькие?

Ведь ясно, что это не случайно. Что-то природа нам этим подсказывает. Но что? Может, в больших птицах заложено стремление повелевать, а в маленьких очаровывать? Стремление повелевать, видимо, исключает развитие гармонических звуков и способствует грозным, пугающим звукам. Ведь соловей, при силе своего голоса, мог бы издать и грозный звук? Для маскировки своей слабости, для самообороны. Но нет, только поет и поет, храбрец!

Забавно примерить эту теорию к людям. Пушкин — физически самый маленький среди русских поэтов и самый большой певец русской поэзии.

Маяковский — физически самый огромный поэт в русской поэзии, и у него самый повелевающий голос. Вот вам литературоведение.

Маяковский и родился таким, и всю жизнь, сознательно перестраивая поэзию, бессознательно закреплял за собой повелевающие интонации. Хотя время от времени срывался в огромную звериную тоску, которая стоит десяти лириков.

Странно, что он никогда не забывал, что он очень большого роста. Пушкин никогда не замечал, что он маленький. Мы ясно осознаем, что это ему совсем не мешало.

Почему Маяковский так много говорит о своем росте? С болью, с горечью, с иронической или трагической гордостью? Это совсем не просто. Почему он так рвался в будущее, как будто чувствовал нутром, что там, в будущем, его родина, его племя. Интересно, что в биологическом смысле он оказался прав. Статистика ясно показывает, что в наше время дети, вырастая, становятся крупнее своих родителей. Может, через век или два его рост покажется даже небольшим.

Но почему его это так мучило? Я думаю, его мучила двойственность его природы. Его огромность как бы соответствовала повелевающему голосу, а лирический дар тосковал по песнопенью. Есть много свидетельств, когда он, как бы забывшись, как бы пойманный врасплох, шептал слова народной песни, строчки Есенина, Мандельштама. Любовь — ненависть. По-видимому, повелевающий и поющий голоса несовместимы в своей сущности. Дав волю своей повелевающей природе, он заглушал, а когда не мог заглушить, пропуская

свой дар песнопенья через повелевающие трубы и достигал в этом невероятной искусности: потрясающий душу плач об упавшей лошади или об одиночестве влюбленного парохода.

Не отсюда ли детская вера в технику: можно все свинтить, в том числе и эти два голоса? «Бруклинский мост» — гимн, но только ли технике или тому, что наконец соединит два его берега? И не отсюда ли странное для поэта равнодушие к природе или тайная обида на нее за эту трагическую двойственность?

И в самом облике нашей страны что-то есть общее с этим человеком: ее огромность и вечная, рвущая душу попытка соединить повелевающий голос с поющим.

Однако далеко меня завел разговор о сновидениях. А я хотел сказать совсем простую вещь. Здесь, на «Амре», за столиком под тентом, я заснул под успокаивающий голос Юры. И вдруг мне приснилась мама. Она очень редко мне снится. И всегда во сне грустная. И всегда во сне я знаю, что я причина ее грусти. И я, странно сказать, бодрюсь во сне, стараясь показать ей, что не все так плохо, как ей кажется. Но она грустит, не верит.

И вдруг она приснилась мне светлым-светлым, почти готовым к улыбке лицом. Она стоит на берегу какого-то ручья, а я в ручье, и она смотрит на меня. Воды ручья очень быстрые, я это чувствую голыми ногами, стоящими в ручье.

Знаменитая у нас присказка — эх, время, в котором стоим... Но во сне ручей настоящий. Быстрые-быстрые воды омывают мои голые ноги. И песчинки, множество песчинок, смываемых и уносимых течением, льнут, кружатся, щекочут

ступни моих ног, пальцы, щиколотки. Множество песчинок стучаются о мои ноги: играют, ласкают, смеются и уносятся дальше.

Я проснулся свежий, чистый, ясный. По-видимому, спал минут пятнадцать. И первое, что я подумал, проснувшись: все будет хорошо в этой стране. И, как это бывает с человеком, который сам видел сон и потому не внешней логикой, а каким-то подспудным чувством угадывает правду, я совершенно четко понял, что песчинки — это дети. Им будет хорошо, и стране будет хорошо, но, может быть, не скоро: дети, быстрые, веселые, золотистые песчинки.

Кажется, я проснулся от детского, но отнюдь не ласкового крика:

— Папка, когда же ты мне купишь мороженое?!

Юра медленно обернулся, направив свои большие роговые очки на очередь. Она ему опять показалась безнадежной. Ему неохота было вставать в очередь, а официантка ушла в парикмахерскую и застряла там.

— Подожди. Они скоро разойдутся.

— Правильно мама говорит. Ты только рассуждать умеешь!

Юра явно смутился. И, скрывая смущение, с улыбкой произнес:

— Я не очень был в этом уверен. Передай маме мою благодарность.

— Не передам! — закричал мальчик.

— Выпей пепси, — кивнул Юра, — а я потом принесу тебе мороженое.

— Надоело мне твое протухшее пепси! Надоели мне твои чайки! — закричал сын и, неожиданно всплыв, ударом ладони смахнул со столика стакан с пепси.

И тут я увидел молнию-вспышку знаменитого когда-то фехтовальщика. Клянусь, Юра даже не посмотрел в сторону летящего стакана! Может, метнул взгляд из-под очков — не знаю.

Не поворачиваясь, он выбросил руку вбок и поймал стакан у самого пола. Стакан не успел перевернуться, и жидкость почти не выплеснулась из него. Юра хотел было поставить его на стол, но, помешкав, почему-то сам выплеснул из него пепси, как, вероятно, ненужного свидетеля маленькой бури. И только после этого поставил его на стол.

Наклонив голову, он взглянул на сына поверх очков, явно собираясь ему что-то сказать, но прозевал миг. Сын, увидев на другом конце «Амры» какого-то мальчика, все забыл и рванул туда. Юра повернулся к Андрею и, продолжая разговор, который я проспал, произнес:

— Как жаль, что Маркс в своем знаменитом романе «Капитал», который безусловно будет добычей филологов двадцать первого века, ничего не сказал о спермичности денег. Это так близко лежит... Но вот, допустим, через тысячу лет отпадет квартирный вопрос...

— Как, — воскликнул Андрей, — неужели только через тысячу лет?

Удивительно было, что Андрей поразился концу Юриной сентенции, но совершенно не удивился ее началу.

— А почему бы нет? — спокойно сказал Юра. — Ведь и тысячу лет назад люди думали, что через тысячу лет квартирному вопросу не будет.

— Пожалуй, ты прав, — согласился Андрей.

— И вот отпали многие социальные вопросы, — продолжал Юра, — но будет ли равенство? Нет, конечно. Представь некрасивая, но умная и добрая девушка пришла на свой первый школьный бал. И вдруг видит, что ни один мальчик с ней не хочет танцевать. А все рвутся — с хорошенькой дурочкой. Да к тому же злюкой. Что нашей умнице решенность многих вопросов, когда она, боясь при всех разреветься, выбегает из танцевального зала? Где равенство?

— Что же ее утешит? — заинтересовался Андрей.

— То же, что и тысячу лет назад, — Бог. Она может найти себе друга, который и сам через собственные страдания так или иначе пришел к мысли, что добрая душа красивей красивой талии. Она может утешиться и через любое бескорыстное дело... Кстати, русская литература полна всяких тетушек, бабушек, которые, не имея своей семьи, лепились к своим родственникам. Любили, помогали воспитывать детей, и никаких комплексов у них не было.

Итак, равенство — химера. Есть знаменитая фраза Ленина во время митинга у дворца Кшесинской...

Юра вдруг замолк и, приподняв голову, вопросительно посмотрел на меня. И я понял, что он знает, кого я жду. Во взгляде его был неизъяснимый юмор. То ли: не пошел ли я твоей картой? То ли: не пригодится ли тебе эта карта? В от-



вет я пожал плечами в том смысле, что сам не знаю. Юра повернулся к Андрею, который, с удивлением заметив наше переглядывание, не мог взять в толк, что мы имеем в виду.

— Так вот. Он там с балкона держал речь, — продолжал Юра, — и вдруг увидел проезжающую машину. Он махнул рукой в сторону машины и крикнул толпе: «Видите — машина?» Толпа обернулась и увидела. «Это машина ваша!» — воскликнул Ленин.

И каждый в толпе почувствовал себя будущим владельцем этой машины, забывая, что машина все-таки одна и, скорее всего, на ней будет ездить сам Ленин. Как же после этого не пойти за Лениным?

Равенство — узаконенная зависть. Зависть можно преодолеть только любовью. Любимым не завидуют...

— Постой, постой, — воскликнул Андрей, — почему только любовью? Почему не преодолеть ее, достигнув того, чему завидуешь?

— Зависть тут же обратится на что-нибудь другое! — махнув рукой, радостно воскликнул Юра, как бы обращая внимание на ее комическую живучесть. И вдруг неожиданно добавил: — С химерой равенства я покончил, но к нам приближается химера пошлости. Не труд сделал человека, как думал Энгельс, а первое содрогание брезгливости сделало человека человеком. Наш далекий пращур впервые оттолкнул свою подругу, когда она с присвистом, как макаронину, втянула в рот живого червя. Она и раньше глотала червей, но на этот раз червь оказался слишком жирным, слишком чер-

внстым. Произошел эстетический взрыв, начало понимания красоты.

— Точно! — с жаром согласился наш художник и ударил кулаком по столику, словно окончательно, по шляпку вбивая гвоздь истины. — Я всегда чувствовал, что эстетика старше этики.

— Ничего подобного, — ответил Юра, как бы слегка рассеянно глядя поверх головы Андрея, — этика уже была, потому что наш пращур ее терпел. Но на этом слишком жирном черве произошел эстетический взрыв. Эстетика вообще есть форма осознания этики. Это потом ее извратили и отделили...

Он замолк. Тут только я заметил, куда смотрит Юра. Андрей тоже обернулся. С противоположной стороны «Амры», там есть второй вход, к нам приближался наш общий знакомый, процветающий, модный адвокат. Это был круглолицый, очень крупный человек, веселый от избытка телесности. Он нес на руках Юрино сына. Как потом выяснилось, мальчик ему пожаловался, что отец не хочет покупать ему мороженое. Вот этого адвоката Юра и назвал химерой пошлости.

Вдруг адвокат остановился на полпути и, продолжая держать на руках мальчика, заговорил с кем-то из сидящих за столиком.

Как только он остановился, Андрей быстро обернулся к Юре и, как бы спеша опередить адвоката, сказал:

— Нет, ты не прав! В комнату ребенка, никогда в жизни не видевшего бабочку, влетает цветастая бабочка. Ребенок улыбается, тянет к ней ручонки. Не понимая, что это такое, он уже радуется красоте. Чувство красоты первично.

— Ты наивен, мой друг, — ответил Юра, продолжая следить за адвокатом, остановившимся у столика с его мальчиком на руках, — впрочем, художник, вероятно, и должен быть таким. Бабочка для ребенка — это продолжение солнечного света. А солнечный свет — продолжение света материнской любви, которую он уже почувствовал. Поэтому бабочка для ребенка — играющая доброта...

Тут адвокат махнул рукой, повернулся и заколыхался в нашу сторону, и Юра сделал несколько быстрых выпадов:

— Гениальность ребенка в слитности добра и красоты. Если бы бабочка кусалась и укусила ребенка, он бы в следующий раз, увидев влетевшую в окно бабочку, кричал бы от ужаса и отвращения. Падение человека началось с того, что он сказал: «Да, эта бабочка кусается, но она красива!» Псевдомужественность такого решения, признание искусности дьявола мы обсудим попозже. А теперь все!

Адвокат приближался.

— Кто это тут Асланчику мороженое не дает, — шутивно рычал он издали, — кто это тут морочит ему голову потусторонними бреднями?

Мальчик важно восседал у него на руках с видом наконеч-таки признанного принца. Своими темными глазами он издали, с высоты поглядывал на отца с гордостью: вот так, папа!

Адвокат, не останавливаясь и как бы шутивно отказываясь здороваться, пронес его мимо отца и проколохал мимо очереди к прилавку.

— Порцию мороженого сироте, — зычно попросил он, чтобы очередь слышала. — Мать сбежала с американским миллионером. Отец сошел с ума. Ужасный случай.

Очередь с угрюмой недоверчивостью молчала. Телесное обилие адвоката было слишком внушительно. Но, как всегда, нашлась героическая женщина.

— Как вам не стыдно! — полыхнула она, однако не выходя из очереди. — Мальчик подбегал вот к этому мужчине и называл его папой! И они разговаривали! Граждане, я сама слышала своими ушами!

— Мадам, — обернулся адвокат, передавая Асланчику вазочку с мороженым, — разве я сказал, что он глухонемой? Я сказал, что он свихнулся. Говорит, что был чемпионом страны по рапире. А спросишь у него: «Какой страны?» — не знает.

И вдруг очередь расслабилась, зашевелилась, заулыбалась в знак понимания шутки. Удивительно, что это происходило в начале августа, до путча, до расползания страны. Но разговоры о разделе ее уже стояли в воздухе. И тогда казалось, что это настолько нелепо, что этого не может быть.

Принц, получив вазочку с мороженым, спрыгнул с трона и подбежал к столику отца. Сверкнул альпеншток ложки, вонзившейся в белоснежную вершину. Следом за ним, колыхаясь и как-то легко и точно вставляя шаги в ритмы колыхання, подошел адвокат. Цапнул лапищей ближайший стул, сунул под себя, обтек.

Мальчик, наконец получив свое, успокоился, но разговор за столиком резко снизил уровень. За все приходится пла-

тить. Юра и Андрей как-то просто и даже охотно соскользнули на уровень адвоката, давая знать, что и они умеют ценить низины пошлости, поскольку эти низины имеют и свои преимущества, они более обжиты. Впрочем, все мы такие.

В свою очередь модный адвокат, как бы в награду за дружескую всеядность, пригласил их в новый коммерческий ресторанчик, где пока кормят так, что пальчики оближешь. При этом он поднес собственные пальцы ко рту и звучно причмокнул. Жест его вдруг напомнил о далекой подруге нашего пращура. Однако содрогания брезгливости почему-то не последовало. Все встали и, стараясь соответствовать шумному веселью адвоката, покинули «Амру». Мальчик держался за его руку.

Друзья мои, не надо обижаться на Юру: рапира не сломана, рапира отдыхает.

## ловчий ястреб

На вершине зеленого холма, у самого моря, в ясный солнечный день мы с местным милиционером ловим ястребов-перепелятников. Вернее, пытаемся поймать.

Делается это так. Выстраивается небольшой шалашик, чтобы прятаться в нем, чтобы ястреб сверху не видел человека. Возле шалаша натягивается сетка на вбитых колышках, под сеткой резвая птичка сорокопуд. Здесь ее ласково перевели в женский род и называют сорокопудкой. Так и мы ее бу-

дем называть. К ее ноге привязан шнур, и сорокопутка взвивается под сеткой, быстро машет крыльями, играет.

Вот эту играющую сорокопутку ястреб должен заметить с неба и спикировать на нее. Не совсем понятно, почему он при этом не замечает сетки. То ли от азарта, то ли принимает ее за какие-то растительные плети.

Я впервые за этим занятием, хочу увидеть, как добывают ловчих ястребов, но почему-то в глубине души уверен, что ничего не получится. Черт его знает, почему уверен. Как-то не верится, что ястреб может оказаться столь глупым. А еще более не верится, что мне может повезти и я увижу живого ястреба, барахтающегося в сетке. Мне даже не столько интересно увидеть ястреба, застрявшего в сетке, сколько интересно увидеть, как налетает этот молниеносный хищник и бьет в сетку. Но не верится, что это может быть. Чувство странного невезения, собственной глупости и бестактности преследует меня со вчерашнего дня.

Я был в городе. Встретил одного старого приятеля, и он мне сказал, что один наш общий знакомый тяжело болен, в сущности, умирает от рака, надо бы навестить.

Я хорошо знал этого человека, но близких отношений у нас не было. Просто город маленький, все друг друга знают. В свое время он был из так называемой золотой молодежи, к которой я не имел никакого отношения. Но мы иногда встречались в кофейне. Я ценил его веселость, иногда переходящую в остроумие, неисчерпаемую память на анекдоты.

Высокий, орлиноносый, он производил впечатление на девушек. В особенности славянских кровей. По матери он был понтийским греком. Но конечно, было бы преувеличением считать благосклонность к нему россиянок остаточной тягой Древней Руси к Византии. Хотя, с другой стороны, даже Достоевский мечтал о Константинополе.

Одним словом, рядом с ним всегда сидела хорошенькая и хорошо одетая девушка. Как-то чувствовалось, что в этой среде и то и другое одинаково ценится в обязательном сочетании.

Просто хорошенькая или просто хорошо одетая девушка — такого не бывало. И не то чтобы они, скажем, находили хорошенькую девушку, тут же влюблялись в нее и вели в подпольный склад, чтобы соответственно приодеть. Ничего подобного. Для этого они были слишком молоды и легкомысленны.

Скорее, этим занимались их отцы. Да нет, не с их девушками, конечно, а со своими дамочками. Впрочем, один из этих ребят с забавной гордостью рассказывал, как преуспел его отец, когда он, оставив свою девушку дома, пошел покупать сигареты. В интонации его рассказа чувствовалась естественность феодального права, которым воспользовался его отец и которым по закону наследственности воспользуется он сам, когда его сын, приведя девушку в дом, вспомнит, что забыл купить сигареты или порцию наркотиков, что ли. Да уже воспользовался, наверно, пока я здесь это предполагаю, учитывая, что с тех пор прошло страшно много времени.

Так что, пожалуй, такого рода девушки сами плыли навстречу им или, точнее, их автомобилям. Ради полной спра-

ведливости хочу напомнить, что в те времена машины были намного дешевле. Но ради той же справедливости должен заметить, что речь идет о ребятах студенческого возраста.

Господи, как я долго добираюсь до сути дела. Но я хочу, чтобы все последующее было понятно и ясно. На одной из таких девушек он в конце концов женился. К этому времени он был уже достаточно известным в городе инженером-электронщиком.

Проходили годы и годы. Мы изредка встречались, ну, скажем, раз или два за лето. Сиживали в кофейнях, предавались воспоминаниям, и он, как бы невольно, может быть даже нарочно, включал меня в компанию своих друзей. Иногда оставалось чуть-чуть, чтобы он не спросил: «Слушай, а какая у тебя машина была тогда? Что-то я не могу припомнить!» Нет, до этого не доходило, но где-то близко от этого он останавливался.

Если я и бывал несколько раз в их компаниях, должен сказать, что главное мое чувство, конечно тайное, было такое: какой же я молодец, что я их не презираю. Вот мог бы презирать, а не презираю. Их отцы делали карьеру, когда мои вкалывали в Магадане и уходили в вечную мерзлоту. Но эти же не виноваты ни в чем? Нет, я их не презираю. Широко. И чем больше я пил с ними, тем больше умилялся своей широтой. Надо всех объединять, думал я, всех, кроме палачей.

Странно и наивно, что мне тогда не приходило в голову: а не презирают ли они меня за то, что у меня почти не бывало денег? Я ничего подобного не замечал. Возможно, они считали, что для того образа жизни, который вел я, деньги и не были нужны.



Я был тогда студентом Литературного института. Но если они затевали разговоры об изящной словесности, и такое бывало, я терпеливо выслушивал их, а когда это слишком надоело, я незаметно загонял их в сторону Есенина, которого они по-своему любили, хотя вполне ошибочно думали, что хорошо понимают его стихи.

Кстати, вспоминаю, что они с какой-то наивной практичностью интересовались тогда: что теперь считается хорошей литературой? И ушки у них были на макушке, когда я им отвечал.

Этим они выгодно отличались от некоторых наших сегодняшних правителей, которые на вопрос журналистов, мол, что вы сейчас читаете, неизменно с комической откровенностью отвечают: Пикуля. Нет чтобы сказать, мол, не взыщите, но увлекаюсь Фолкнером. А там читай себе Пикуля, кто проверит. Некоторые могут подумать, что я набиваюсь в консультанты к правителям. Нет, я просто пишу, что есть.

Но вот однажды каким-то случайным образом я оказался с этой компанией в одной лодке. Должен сразу оговориться, что моего орлиноногого понтийца с ними не было. Но остальные были. Мы отошли далеко от берега. Море слегка заштормило. Мы повернули назад, но до берега было — грести и грести. Возможно, кое-кто почувствовал легкие приступы морской болезни. Во всяком случае, какую-то небольшую дискомфортность они почувствовали и немедленно захотели очутиться на берегу.

Но немедленно это сделать было нельзя. Лодка была довольно тяжелая, и, кстати, греб я один. И вдруг я совершенно

ясно почувствовал, что от всей компании — и хорошеньких девушек, и франтоватых, породистых молодых людей — исходит ровная, сильная, одинаковая вонь. Это была вонь эгоизма. Тесно сидя в одной лодке, они как бы распались и одновременно окончательно и бесповоротно соединились в нимбе этой вони.

Речи не может быть о том, что они испугались волнения или там возможности того, что лодка опрокинется. Во-первых, ребята все были достаточно спортивные, наши черноморцы, и думать, что они испугались внезапно очутиться в летней воде, никак не приходится.

Что касается девушек, я ничего не могу сказать об их спортивных способностях. Все они были приезжие, и я их видел в первый раз. Скорее всего, им и в голову не приходило, что лодка может опрокинуться. И дело не в том, умели они плавать или нет.

Гениальным доказательством того, что дело не в умении или неумении плавать, служит то, что струение вони поднялось над каждым с одинаковой силой. И если тот, кто умеет плавать, воняет так же, как тот, кто не умеет плавать, легко вычисляется, что причина вони имеет другой источник.

Просто им стало неприятно в лодке. Им захотелось тут же разойтись, а разойтись некуда, вокруг море. Отсюда шпильки, шипенье, капризы, претензии друг к другу, хамоватость.

Когда лодка уткнулась в берег и они попрыгали на прибрежную гальку, все как-то мигом отряхнулись и снова оказались веселой, красивой, дружеской компанией. Вонь мгновенно улетучилась, и я отвел лодку на причал. Однако и те-

перь, через множество лет, если у кого возникает вопрос: а была ли вонь, я спокойно и твердо отвечаю: да, была.

Более того, она повторилась при совершенно необычных обстоятельствах. Я сидел со своими ближайшими школьными друзьями в вечерней кофейне. Это был невероятный день, перешедший в еще более невероятную ночь.

В этот день было объявлено, что Лаврентий Павлович Берия арестован. Не помню, была ли объявлена глупость насчет английского шпиона, да если и была, никто на это внимания не обратил.

Утром я был в нашей местной редакции, и один из самых крутых идеологов газеты полушепотом рассказал эту новость, хотя портрет Берии, висевший на стене, напротив его стола, был уже снят. Портрет, видимо, висел так долго, что след его еще хранился на стене в виде бледноватого квадрата.

Крутой идеолог, рассказывая мне о случившемся, то и дело с комической опасливостью поглядывал на место, где висел портрет, как если бы портрет не был снят, а впрягался в стену, чтобы послушать, кто и что о нем говорит.

Сделаем клиническое отступление и поговорим о вождах. Надеюсь, в последний раз. Я был девятилетним пацаном, когда взяли моего самого любимого дядю. И в самом деле солнечного человека. Тетушка заставляла меня писать письма на имя Лаврентия Павловича Берии. Тетушка говорила, что он здесь, в Мухусе, учился с моим дядей в реальном училище. Лаврентий Павлович не может его не помнить! Дядю так все любили! Лаврентий Павлович как только узнает о том, что

случилось с дядей, не только отпустит его на свободу, но и накажет виновных в аресте.

Разумеется, меня заставляли писать эти письма, чтобы разжалобить его. И мы даже ответ получили из канцелярии Берии. Обещали разобраться. Но никто ни в чем не разобрался, а потом в начале войны взяли и другого дядю. Из моих вообще никто не вернулся домой. Фронт был куда добрей. С войны вернулись не все, но многие.

Уже в хрущевские времена один большой физик и, по-моему, добрый человек сказал мне, что Берия был очень умным. Он общался с ним, потому что работал над атомной бомбой. Над Проблемой, как они это называли для секретности.

— Почему вы так решили? — спросил я.

— Был такой случай. Берия передал мне работу одного физика, представленную на Сталинскую премию.

— Посмотрите, — сказал он, — но, по-моему, на премию не тянет.

Я познакомился с работой. Она была вполне квалифицированной, но на премию и в самом деле не тянула. Во время следующей встречи я сказал ему:

— Лаврентий Павлович, работа действительно на премию не тянет, хотя вполне добросовестна. Но вы же не физик, как вы это поняли?

Он пожал плечами:

— Не был привлечен к Проблеме, потому я так и решил.

Согласитесь, просто и умно. Он знал, что все талантливые физики привлечены к работе над атомной бомбой. А раз этот

физик не привлечен, значит, он не может быть столь талантливым, чтобы создать работу на уровне Сталинской премии.

— А почему вы не подумали, — возразил я, — что он здесь скорее проявил чуткость к своей карьере? Скажем, дадут этому физику премию, а Сталин, узнав, что его не привлекли к Проблеме, вдруг спросит: «Почему забыли такого талантливого человека?» Маловероятно, риск на волосинку, но он и этого риска не хотел.

— И так может быть, — согласился простодушный физик.

Вообще, все мы склонны проявление обыкновенной здравости у больших (машинка случайно напечатала «у больших») политических деятелей принимать за признак выдающегося ума. Впрочем, разочаровавшись, иногда впадаем в обратную крайность. Уже все сделанное ими воспринимаем как чудовищную глупость.

Но вот гораздо более интересная вещь. Мне ее рассказывал старый журналист. Конечно, за абсолютную достоверность не ручаюсь, но похоже на правду.

Во время известного «мингрельского дела» как будто бы Маленков возвращал Сталину список намеченных к аресту партийных деятелей Грузии. Представители самого высокого эшелона власти должны были выразить согласие с этим списком или якобы несогласие. Обычный уголовный прием — замазать всех.

Сталин, просматривая список, вдруг заметил, что среди намеченных к аресту появилась фамилия Берии.

— А Берия как сюда попал? — спросил он у Маленкова.

— Он сам себя вписал, товарищ Сталин, — ответил Маленков.

— Когда надо будет, сами возьмем, — сказал Сталин и вычеркнул фамилию Берии.

Согласитесь, сильный психологический ход со стороны Берии. Он понимал, что «мингрельское дело» в конечном итоге затеяно против него. Подставляясь таким способом раньше конца затеянной комбинации, он, конечно, рисковал, но одновременно усиливал шансы разрушить комбинацию.

Сталин знал, что у Берии тоже огромная власть, и если он так открыто высовывается, значит, надеется на свою силу. Надо подождать. Придумать новую комбинацию. Но не успел. Берия, видимо, его тут обштопал.

Помню, во время знаменитого «дела врачей» стою у стенда на одной из московских улиц и читаю в «Правде» статью о кошмарных преступлениях врачей. И вдруг последний абзац — стилистически нелепый и странный даже в этой дикой статье. Автор в конце говорит: «Это все хорошо. Но куда смотрели органы, когда все это творилось?»

Я читаю и перечитываю последний абзац с этими словами и никак не могу понять автора и редактора главной газеты страны. Если сознание еще кое-как принимало легкую критику органов госбезопасности, то как можно было понять такую фразу: это все хорошо. Что ж тут хорошего, когда врачи-убийцы уничтожают пациентов? Я тогда так и не разобрался в этом безумии, но в памяти навсегда застряла концовка статьи.

И только гораздо позже, когда стали просачиваться смутные сведения о желании Сталина в последние годы жизни

расправиться с Берией, да и не только с Берией, я вспомнил эту статью. Я уверен, что ее перед публикацией посылали Сталину и эту концовку он приписал сам. Править его, конечно, никто не смел. Когда он написал «это все хорошо», он, видимо, имел в виду не зловещие события, описанные в статье. Их, скорее всего, не было. А если они и были, то он сам же их организовал. Он имел в виду работу журналиста, изложение. Мол, все это так (все это хорошо), но пора назвать виновников из органов, которые прошляпили врачей-убийц. Тихий, но грозный рык в сторону Лубянки. Кстати, фраза, если вслушаться в нее, выдает и некоторое нетерпение Сталина. И кто его знает, не оказалось ли это нетерпение роковым для него?

А ведь если бы он внимательно прочитал Осипа Мандельштама перед тем, как расправиться с поэтом окончательно, он вспомнил бы пророческую для этого случая строчку:

*Не торопиться — нетерпенье роскошь.*

Кстати, сам я сейчас вспомнил один эпизод как раз этого времени. Я учился в Библиотечном институте. Кампания против космополитизма была в разгаре.

Как-то в вестибюле института я увидел в толпе хохочущих студентов знакомого еврея-библиографа. Он и раньше зааживал к нам в институт. Он был калека.

Сейчас с жутковатым весельем, покачиваясь укороченными ногами на костылях, как бы демонстрируя полную свободу и счастье внутри костылей, он рассказывал притчу о своей жизни.

Он работал библиографом в одной большой московской библиотеке. После отпуска, придя на работу, он узнал, что его под благовидным предлогом сократили. При этом он легко догадался, что старший библиограф, его непосредственный начальник, с которым он и раньше не ладил, приложил к этому руку. Он тыр-пыр, ринулся во все инстанции — ничего не помогает. Попытался устроиться в другую библиотеку — никто не берет.

Тогда он вспомнил, что в детстве, живя в Биробиджане и болея тяжелой формой полиомиелита, написал Сталину письмо. Дело в том, что врачи рекомендовали повезти ребенка для лечения в Крым. Но у родителей не было денег на такую поездку. И тогда кто-то надоумил их, чтобы мальчик обо всем написал Сталину. И он написал.

Ноги рассказчика особенно высоко взлетели между костылей.

И действительно, через некоторое время мальчика с матерью на государственный счет отправили в Крым. И вот теперь, отчаявшись получить работу, он снова написал Сталину. Он рассказал ему о своих мытарствах и напомнил, что Сталин ему уже один раз помог.

— Вы мне уже один раз спасли жизнь, написал я ему, — рассказывал библиограф, неутомимо раскачиваясь на скрипучих костылях, — спасите еще раз!

Пока он рассказывал, перед моими глазами встало виденье: Сталин, улыбаясь в усы, раскачивает на качелях костылей калеку-мальчика. Выше! Выше! Еще выше!



И письмо дошло. И Сталин спас. Через некоторое время нашему библиографу позвонил директор библиотеки, где он раньше работал, и срочно вызвал его к себе. Как бы потрясенный всей этой несправедливой историей, которая как бы незаметно мелькнула мимо него, директор предложил ему с завтрашнего дня занять место старшего библиографа библиотеки.

— Но ведь там работает человек? — удивился рассказчик. Качели остановились.

— Какой человек? — озираясь, в свою очередь удивился директор. — Он уже переведен на ваше место!

Качели снова взлетели! Свобода и счастье внутри костылей!

Так он несколько раз рассказывал эту историю под дружный хохот окружающих и вновь подходящих студентов.

Сейчас я пытаюсь понять, как и почему это случилось? Сталину, конечно, писали тысячи писем. И конечно, он сам не мог и не хотел читать все эти письма. Какие-то люди отбирали те из них, которые необходимо показать Сталину. Письма тирану отбирают, я полагаю, по двум признакам, сливающимся в один.

Разберем их по сталинскому методу. Первый признак. Это такие письма, которые могут оказаться опасными для жизни тех, что отбирают письма, если их не показать Сталину, то есть если до Сталина каким-нибудь другим путем дойдет информация о существовании письма, которое он сочтет важным и которое от него скрыли.

Второй признак. Это такие письма, которые Сталину должны быть приятны. Подать тирану приятное письмо — это тоже способствует продлению твоей жизни. Конечно, о помощи про-

силы сотни тысяч людей, в том числе и евреи, которых преследовали как космополитов. Наверяд ли на такие письма обращали внимание. Но в этом письме была фраза, точно попадающая в цель: «Вы мне уже один раз спасли жизнь, спасите еще раз!»

Даже у такого тирана, как Сталин, душа, видимо, не могла хотя бы иногда не поддаться общечеловеческому свойству: не портить свой собственный добрый поступок последующим злом.

Сделав человеку добро, мы в этом человеке видим себя. Он зеркало, которое нам льстит. Такое зеркало неприятно разбивать, наоборот, его хочется лишний раз протереть.

Точно так же, сделав человеку зло, мы начинаем его ненавидеть. Он зеркало, которое отражает наше уродство. Такое зеркало хочется разбить. Сделав человеку зло, человек подсознательно стремится к его окончательному уничтожению, если не физическому, так духовному.

Есть люди добрые и простодушные. Их мне особенно жалко. Они не избегают тех, кто однажды причинил им зло, думая, что в эту воронку снаряд уже не попадет. Если вы из высших соображений не хотите мстить тому, кто сделал вам подлость, по крайней мере избегайте его, ибо он вам сам отомстит, хотя бы за то, что вы не хотите мстить ему и тем самым уже отомстили, нравственно превзойдя его.

С добром тоже не все так просто обстоит. Скажу кратко: делая добро, путайте следы, иначе вас настигнет злая энергия неблагодарности. И хватит об этом, иначе мы утонем в отвлеченных рассуждениях. Лучше вернемся к нашим злодеям.

Из всего рассказанного видно, что и «дело врачей» Сталин хотел использовать против Берии. Но не вышло. Берия ловко перепрыгнул через труп Сталина, но вдруг растянулся, споткнувшись о жирную ногу Хрущева. И тут мы наконец возвращаемся ко дню объявления об аресте Берии.

В нашем южном городе реакция на это событие была разная. Большинство людей ликовало, но тихо. Некоторые помрачнели, но молча. Однако к ночи ликующие приобрели дар речи.

Я со своими двумя ближайшими друзьями сидел в кофейне. Мы попивали вино и вспоминали наши школьные антисталинские разговоры. О нем мы говорили часто, но ниже него мы никогда не опускались. И выше не поднимались. Он был полюсом зла.

И тут-то к нам подсел один франт из той провонявшей эгоизмом лодки. Друзья его почему-то называли на европейский манер — Серж. Так и мы его будем называть, если будем вообще. Крепкий, плечистый, в модной рубашке с погончиками, стрижка ежиком, горящие и одновременно стекленеющие глаза. Он вел себя шумно, вызывающе.

— Кругом бериевцы, — говорил он страстно, как мститель, только что покинувший каземат, — этот город надо очистить от бериевцев. Пьем, ребята!

Он заказал много коньяка, и мы стали пить. Мои друзья его не знали. Они решили, что он из наших, но гораздо радикальнее нас. Я сам не ожидал от него такой политической прыти. Человек — загадка, сказал Достоевский, чье стремление овладеть Константинополем, в свою очередь, немалая загадка.

Я знал, что отец Сержа — крупный физик, работающий на атомном объекте недалеко от Мухуса. По его словам, отец не раз встречался с Берией, который курировал атомную промышленность. Получалось, что его отец чуть ли не поссорился с Берией и то, что они теперь в Абхазии, это почти ссылка.

— Я вам такое расскажу о нем, чего ни один человек не знает, — сказал он.

Не скрою, я трепетал от любопытства: будущий писатель. И в то же время напор его либерального негодования становился в кофейне опасным. На нас уже поглядывали те, что днем мрачнели, и теперь их мрачность сосредотачивалась на нас. Разумеется, если б дошло до драки, они нашли бы другую причину.

Однако именно потому, что он проявил шумную либеральную смелость, как-то неловко было его останавливать. Наконец он вдруг сказал:

— Пошли на теплоход. Он на пристани. Там в баре я вам все расскажу. Здесь одни бериевцы.

— Да ведь нас туда не пустят, — возразил один из моих школьных друзей.

— Меня не пустят?! — вознегодовал Серж. — Мы с отцом на этом теплоходе ходили в Одессу. Кэп каждый день приглашал нас обедать. Он меня как сына полюбил!

И мы пошли в сторону пристани. Вообще мухусчане любят посещать стоящие у пристани теплоходы. Другая жизнь, плавающая за граница. Но пройти не всегда удается. Многое зависит от знакомства с кем-то из команды или портовыми работниками.

Впрочем, иногда вахтенные матросы почему-то всех без разбору пропускали на корабль. Не исключаю, что тут играло роль выполнение торгового плана. Мухусчане щедро раскошеливались в этих плавающих дворцах.

От нашего вожака веяло дикой энергией белокурой бестии, и мы, как-то подчиняясь этой энергии, взошли на трап. Однако вахтенный матрос остановил нас.

— Мне срочно надо видеть капитана, — сказал Серж и назвал капитана по имени-отчеству.

Вахтенный матрос остался холоден к этому сообщению. Возможно, он уже заметил, что мы выпившие.

— Капитан отдыхает, — сказал он.

— Так позвоните, разбудите, — раздраженно настаивал Серж, — он пригласил нас.

— Идите отсюда, — уже брезгливо ответил вахтенный матрос, — вы пьяны.

Тут Серж стал орать и назвал вахтенного матроса беревцем. Я его пытался повернуть и увести, но он оттолкнул меня и продолжал буйнить. Кончилось это тем, что вахтенный матрос вызвал портовую милицию и нас выдворили из порта.

Удивительно, что они нас не забрали с собой. Я думаю, на представителей власти все еще действовал шок объявления об аресте Берии. Нас вывели из порта и уже хотели отпустить, но тут Серж, совершенно некстати, и их назвал беревцами.

— Документы! — рявкнул капитан милиции, как бы идя на смертельный риск, как бы не исключая, что с его возгласом

власть вместе с окружающими домами окончательно рухнет. Но власть, как и окружающие дома, удержалась. И это его явно взбудрило.

Ни у одного из нас не было документов. И только у нашего вожака был пропуск на объект, где он жил со своей семьей. Я думаю, он дал ему свой пропуск, ожидая, что капитан милиции, заглянув в него и увидев фамилию его отца, козырнет и отпустит нас. Но произошло совсем другое. Капитан, воодушевленный устойчивостью власти и окружающих домов даже без всевидящего присмотра Берии, не раскрывая пропуска, ткнул его в карман кителя и рывкнул:

— Чтоб духу вашего здесь не было! Иначе сдам в вытрезвитель! За пропуском явитесь завтра в портовую милицию!..

— Меня же без пропуска не пустят на объект! — неожиданно трезвея, вскрикнул Серж. Сам он только теперь заметил, что власть крепко держится, но было уже поздно.

— Где пил, там и ночуй, — сказал капитан и ушел вместе со своим молчаливым товарищем, бодро стуча сапогами.

Чем дальше удалялся капитан, тем больше наливался яростью наш вояка. Когда в полночной прибрежной тишине сапоги окончательно замолкли, он, видимо, снова поставил под сомнение прочность власти.

— Я этого так не оставлю, — завопил он наконец, — здесь все бериевцы! Сейчас же идем в Чека!

По-видимому, он решил, что Берия арестован и отныне восстановлены добрые, идилические традиции Дзержинского.

И он повел нас в учреждение, которое мы, как и все жители города, обычно обходили стороной. Какая сила нас за ним тащила? Не только хмель, конечно. Кстати, я никогда в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь по пьянке забрел в КГБ. Так какая же сила? Конечно, сила случившегося. Берия арестован! Значит, осуждена вся система репрессий. И все-таки было страшновато среди ночи являться в это грозное учреждение. Да еще с жалобой на милицию, отобравшую у Сержа пропуск.

Мои бедные друзья шли, потому что шел я. А я шел, чтобы не бросать этого пьяного оборота, не предавать нашего пьяного застольца, который к тому же, оказывается, был гораздо радикальнее нас. А я-то думал — гуляка! И все-таки я сделал несколько вялых попыток остановить его.

— Можете разбежаться! — гаркнул он. — На таких и держалась бериевская система!

После этого уже не пойти с ним было невозможно. Он был пьян, но полон какой-то особой алкогольной бодрости. Он ничуть не шатался, язык у него не заплетался, а сказать, казалось, мог много лишнего. Хотелось хотя бы незаметным тычком подстраховать его там.

Мы пришли на улицу Энгельса и подошли к знаменитому учреждению. Дверь была распахнута. Никакого часового. В коридоре светилась довольно тусклая лампочка.

Наш вожак решительно шел впереди нас и рвал на себя каждую дверь, но все двери были заперты. Рвя на себя очередную неоткрывающуюся дверь, он, казалось, испытывал победное сладострастие.

— Разбежались! — рычал он и, сильно подергав последнюю неоткрывающуюся дверь, бросил ее и, перешагивая через ступеньки, взлетел на второй этаж.

Тут одна дверь оказалась распахнутой и освещенной. Мы вошли в кабинет, где за столом сидел дежурный офицер. К моему приятному удивлению, Серж довольно спокойно стал объяснять, что мы шли на теплоход, где нас ждал капитан (он назвал его имя-отчество), а работники портовой милиции пристали к нам и отобрали у него пропуск на объект, где он живет. Он просил позвонить в портовую милицию, приказать им вернуть пропуск и наказать отобравших его, которые, скорее всего, бериевцы. (О, зачем, дурак?!) Вообще, в городе полно бериевцев. (Безумец!)

Наш Серж начал так размеренно, так разумно, так мирно. Особенно у него хорошо получилось про капитана, пригласившего нас. Вероятно, даже предупредившего вахтенного матроса, чтобы нас беспрепятственно пропустили.

Пока он это говорил, я представлял себе переполох на корабле.

Акт усыновления сорван.

Гости расходятся, смущенные тем, что вынуждены забирать назад подарки усыновленному. Но и оставлять как-то глупо.

Капитан в ярости перекусывает трубку все еще крепкими зубами морского волка.

Вахтенный матрос посажен на губу.

Капитан в отчаянии выпивает все виски, приготовленное для гостей.



Капитан валится на койку и засыпает мертвецким сном.

Но и сквозь сон раздаются невыносимые стоны:

— Серж, где ты?

А Серж в это время у чекиста качает права. Одним словом, начало было хорошее. И дежурный офицер только к концу его речи, когда тот заговорил о веревке в доме повешенного, догадался, что он пьян. Тем не менее чекист спокойно попросил нас расходиться по домам.

Он объявил нам, что вообще не имеет права что-либо приказывать милиции. (Вероятно, с сегодняшнего утра.) Поэтому лучше всего для вас, сказал он тактично (менее тактичный человек мог бы сказать: для вашего состояния), переночевать у друзей, а утром явиться в портовую милицию. Схема как будто бы та же, что и у капитана милиции, но насколько мягче, человечней. Вспомним капитана милиции: «Чтоб вашего духу!.. Вырезвитель!.. Где пил, там и ночуй!..»

Тут бы нашего друга если не тычками, так пинками вытолкать бы из помещения. Но как-то не хватило решительности.

Между тем наш друг, никак не соглашаясь с мирными предложениями дежурного офицера, продолжал нудить свое, уже слегка подхамливая в том смысле, что в этом городе у бериевцев еще слишком много покровителей.

И тут наконец офицер не выдержал. Он, видимо, решил, что хотя Берия арестован, но у органов еще есть резервы. Можно рискнуть. И время показало, что он был прав.

Он неожиданно и с неожиданной силой ударил кулаком по столу. Вероятно, освеженный паузой, длиною в целый

день, кулак произвел впечатление. На миг показалось, что от этого удара разверзлись стены тюрьмы, в которой сидел Берия, и он, выйдя из нее, приступил к своим обязанностям, да же не успев отряхнуться от каменной пыли. Кстати, впоследствии выяснилось, что попытка вызволить его из тюрьмы имела место.

Ударив кулаком по столу, офицер вскричал:

— Демагогия здесь не проходит, молодой человек! Пьяные врываються среди ночи и молотят антисоветскую чушь! Я вас всех задерживаю!

Офицер окинул нас беспощадным взглядом. Несколько секунд длилось тягостное молчание. С тоскливым любопытством мелькнуло: бить будут? Потом офицер, как на замедленной съемке, потянулся к телефону, и можно было понять, что он хочет кого-то вызвать с целью водворить нас в камеру. Некоторую замедленность его движений можно было понять так, что он никак не решится окончательно определить тип камеры, которую мы заслужили.

— Вы не должны меня задерживать, — совершенно неожиданно вдруг закудахтал наш радикальный воитель, — я сын профессора (назвал фамилию)... родители будут волноваться...

Полузакрытое имя профессора-атомщика как раз в силу своей полузакрытости производило впечатление сверхгосударственной ценности. Слова Сержа подействовали на офицера. Но он не сразу сдался. Порылся в каких-то бумагах, назвал телефон и спросил:

— Ваш?

— Наш! — радостно зарифмовался Серж, как если бы они с офицером были давно знакомы домами и только временное недоразумение их развело.

Офицер набрал номер и сказал:

— Здравствуйте, товарищ профессор. Извините за поздний звонок. Это из органов... Ваш сын дома?.. Вот он у нас, если это он... Что он тут делает? Ворвался с какими-то пьянчугами и предъявляет какие-то глупые претензии. Прошу вас поговорить с ним, и, если вы признаете его голос, я его отпускаю из уважения к вам... С кем? Не знаю... — И уже обращаясь к Сержу: — Кто это с вами?

— Да так, случайные знакомые, — сказал он быстро, как бы стараясь не переутомлять внимание офицера на этих мелких, второстепенных обстоятельствах. Но даже в этих словах не было оттенка лести вниманию офицера, скорее он напоминал, что это внимание принадлежит ему. И при этом в его голосе не было ни малейшего смущения по отношению к нам.

Разумеется, в каком-то высшем смысле мы были случайными знакомыми. Но он-то имел в виду совсем другое. Он имел в виду: меня отпустите, а с ними решайте, как вам заблагорассудится.

— Он их сам не знает, — торжественно сказал офицер, передавая трубку сыну.

Серж схватил трубку, но я его уже почти не слышал. Слух мой с каким-то хищным, бессознательным восторгом вылавливал подлости в его разговоре с отцом. Так, он, явно не стыдясь того, что уже здесь сказал офицеру, нахально заявил отцу, что

забыл пропуск дома, но чтобы тот его не искал, а позвонил кому-то в охрану, дабы его без препятствий пропустили.

Обжигающий стыд перед своими друзьями и ненависть к этому мерзавцу ослепили меня. Снова нахлынула та знакомая вонь, которую я испытал в лодке, но теперь запах ее был намного гуще. При этом надо учитывать, где это все происходило: отнюдь не на море, а в пространстве, гораздо более приспособленном замыкаться.

Он ушел, ни разу не взглянув в нашу сторону. Но это не значит, что он о нас забыл вообще. Он провихрился мимо нас с какой-то полемической отстраненностью, как бы мимоходом бросив:

— Вам кажется, что я поступил бессовестно, но именно поэтому вы и есть бессовестные люди, не понимающие всей сложности моего положения сына знаменитого профессора.

— Не стыдно спаивать сына такого профессора? — сказал офицер, как бы оправдывая его, но неожиданно добавил: — Хотя и он хороший гусь.

— Да это он нас спаивал! — возмутился один из моих друзей. — Он к нам подсел. Он нас потащил сюда!

— Документы есть? — спросил офицер и, выяснив, что нет, добавил: — Придется вас задержать... Возможен шантаж через сына большого ученого... Хотя я лично его первый раз вижу, но мы наслышались о нем...

И тут я пустил в ход свой шанс. Офицер прекрасно говорил по-русски, но по легкому акценту я давно понял, что он абхазец. Я заговорил с ним по-абхазски.

От неожиданности он был потрясен. И даже, что еще сильнее при данных обстоятельствах, явно смущен. Однако взял себя в руки. Как водится в таких случаях, стали выяснять, кто откуда. Оказалось, что мы почти земляки. Моя мама чегемка, а его родители из Джгерды. Это рядом. Офицер, как бы только через язык давая дань культу застолья, сказал:

— Значит, пил с вами? Гулял? А теперь — случайные знакомые? Скот! И при этом сын такого государственного человека.

— Как смотришь на то, что случилось? — осторожно спросил я его по-абхазски, имея в виду арест Берии.

Тут есть филологическая тонкость. По-русски спросить об этом здесь было бы порядочным нахальством для чужого человека. Уже в языке установлена идеологическая цензура на ту или иную информацию.

Абхазский язык еще недостаточно идеологизирован, чтобы не иметь права говорить о фактах. Мы еще в сфере нормальных пастушеских традиций. И если что-то случилось, почему бы не спросить у соседа: что случилось с вашим пастухом?

Офицер на миг смутился. Как абхазец он не мог полностью отклонить мой вопрос, но как работник столь грозного учреждения не мог и ответить. Поэтому он как-то озабоченно оглядел кабинет, словно ища в нем пространство, свободное от прослушивания, но таковое пространство куда-то улетучилось, и он как бы вынужденно сказал:

— Мы люди маленькие. Эти дела решает Москва.

Офицер хоть и убедился, что мы родом из соседних сел, однако не сразу нас отпустил. Извинившись на абхазском, он

по-русски добавил, что я должен сбегать домой за паспортом, а друзья мои пока побудут здесь. Я и в самом деле помчался за паспортом. Боясь разбудить маму, я тихо вошел в дом, достал паспорт, тихо вышел и снова припустил.

Мы вполне дружески распрощались с офицером и уже в четвертом часу ночи вышли на улицу. Мы шли по ночному городу. Друзья ни в чем не упрекали меня. Мы только согласились, что в нашей прекрасной школьной юности мы таких людей близко к себе не подпускали.

Об этом случае многие из моих знакомых знали, хотя я и не стремился о нем рассказывать, как и не стремился скрывать. Кстати, через множество лет Серж стал каким-то крупным торговым представителем в одной из мелких европейских стран. Ну и черт с ним, хотя все это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать.

Так вот, мы пришли на квартиру моего знакомого, который тяжело болел. На звонок нам открыла его жена и провела в комнату больного. День был теплый. Он лежал под легкой простыней. Он страшно похудел, и я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не выдать своего изумления, подошел к нему, наклонился, поцеловал.

Кажется, ему понравилось, что я не ахал, не охал, а просто справился о его здоровье. Сам он сказал, что у него запущенная язва. Не знаю, подозревал ли он, что дело обстоит хуже.

Видимо, сейчас боли его не беспокоили. Он шутил, ерничал, даже рассказал пару свежих анекдотов. Вошла его жена и поставила перед нами по чашке турецкого кофе. Когда же-

на его вышла, я вдруг заметил, что у больного высунулись из-под простыни очень худые ноги.

Сам не зная почему, я оставил еще непочатую чашку дымящегося кофе, встал, подошел к постели и накинул простыню на его обтянутые желтой кожей ступни. И в этот самый миг я осознал, что натягиваю на его ступни простыню, потому что они мне кажутся мертвыми и мне неприятно на них смотреть и пить кофе. Может, не окажись кофе, я не обратил бы на все это внимания. Трудно сказать.

Уже поправляя ему простыню, я вдруг осознал, для чего я это делаю, и испугался, что он догадается об этом. Я посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Внешне взгляд его не выражал ничего, кроме странного внимания и легкой иронии. Мне показалось, что он смотрит на меня из какой-то холодной глубины, куда я его загнал. Мы нехорошо переглянулись. И все-таки я надеялся, что он ничего не понял. Но он все понял и тут же отомстил мне за мой пусть неосознанный, но все-таки эгоизм. Он всегда был находчив.

Он вдруг стал рассказывать именно о Серже. Он говорил о том, что Серж стал великолепным специалистом, что его вот-вот назначат главным торговым представителем (я-то думал, что он давно главный), что он из Европы не вылезает, но, что характерно, отдыхает всегда в Абхазии. Для него друзья юности превыше всего. Он видел все в этом мире, но понял, что выше дружбы, выше друзей юности ничего нет и не будет. Это его слова.

Разумеется, крупная карьера этого негодяйчика никоим образом не могла меня расстроить. Скорее, она подтверждала не-

случайность его молодого предательства. Но тон рассказчика был столь лиричен, он столько неожиданной нежности вкладывал в свои слова, что в конце монолога даже чуть-чуть прослезился. Вот как он его любит. И это почему-то было неприятно. Человек нас чаще всего обижает не убедительностью того, чем хотел обидеть, а убедительностью того, что он и в самом деле хотел обидеть.

Конечно, я и сейчас не могу сказать с абсолютной точностью, что его любовное воспоминание было возмездием за мой неосознанный и тем более глубокий эгоизм. Ступни, видите ли, напоминают ступни мертвеца. Прикроем простыней, чтобы не поргить себе настроение раздумьями о бренности нашей еще, слава Богу, не истекающей жизни. А каково владельцу этих ступней?

Конечно, грех был, если вдуматься, но не тогда, когда я прикрывал его ноги, а тогда, когда пришел проведать тяжело больного человека, не имея к нему живой любви и жалости. Нет, жалость, конечно, была, но какая-то общая.

Если бы во мне была живая любовь и я даже прикрывал его ступни с той же целью, то обязательно, пусть мимоходом, ладони мои сами погладили бы его ноги и, может быть, даже прощально пожали бы их. И, я думаю, больной иначе бы воспринял мой жест.

На мой куцый жест он, бедняга, ответил такой же куцей мезью. Конечно, рассказывая о карьере своего друга юности, он делал вид, что не помнит о том, что случилось сорок лет назад. И формально как бы имел право на это, потому что я ему об этом не говорил.



Но почему он именно о нем вспомнил? И почему в голосе его была такая растроганность? Вся жизнь его друга проходила у него на глазах, и упоение этой жизнью не могло быть столь неожиданным. Допустим, если бы друг его юности исчез из его поля зрения на многие годы и сейчас вдруг возник со своей блестящей карьерой, это было бы оправданно. Конечно, он о нем вспомнил именно потому, что тот как бы заранее почти сорок лет назад отомстил мне за мою сегодняшнюю бестактность.

Все это как бы недоказуемо, но на самом деле все это было именно так. Вообще, многое недоказуемое бывает верным. А многое доказуемое оказывается ложью или ошибкой, хотя сама ошибка опять же не может быть доказуема, но мы уверены, что это точно.

Так, существование Бога недоказуемо, но наши действия, вытекающие из веры, правильны. Существование Ленина, скажем, вполне доказуемо, но наши действия, вытекающие из веры в его учение, неправильны. В конечном итоге мы можем сказать: Бог недоказуем, но он есть, потому что это правильно. Ленин доказуем, но его нет, потому что это неправильно.

Зададимся таким вопросом: существует ли Бог, если ни один человек в мире не верит в его существование? Разумеется, такое невозможно. Но если бы это было возможно, мы должны были бы сказать: человек еще не стал человеком и потому никто не верит в Бога. Но Бог есть. Он готовится человеку открыть глаза. Здесь ситуация понятна.

Страшнее и непонятнее другое. Люди верили в Бога, но потом по какой-то причине все человечество перестало ве-

рять в Бога. Значит, человек перестал быть человеком? Но как это Бог допустил? Одно дело — человек еще не стал человеком. Тогда понятно: Бог впереди. Но человечество, переставшее верить в Бога? Бог умер или он отвернулся от человека, чтобы человек, пронизанный до костей космическим сиротством, покаялся и потянулся к нему?

Каждый здравый человек может сам понять, что нравственное чувство невозможно объяснить рациональной причиной. Вот человек возвращается домой в морозящую осеннюю ночь и вдруг слышит в кустах мяуканье одинокого котенка. Человек испытывает укол жалости. Никаким равновесием эгоизма, мол, я не пожалел котенка, значит, и меня могут не пожалеть, когда я буду беспомощен, эту жалость нельзя объяснить. И никаким замещением, скажем, уподоблением своему ребенку, эту жалость нельзя объяснить. Мы ясно понимаем, что жалость, пронзившая нас, первичней любого ее осознания. Мы говорим: нравственное чувство, совесть, Бог, хотя до конца и сами не понимаем, что это такое, однако понимаем, что другие объяснения ошибочны.

Представим себе, что мы на дороге нашли какой-то кусок блестящего металла. Один говорит: «Это золото!» Другой говорит: «Это медь!» А знаток металлов, осмотрев нашу находку, говорит: «Это и не золото, и не медь, хотя я и не знаю, что это за металл. Он мне никогда не встречался».

Ясно, что знаток металлов ближе к истине, хотя и он не может объяснить происхождение нашей находки. Так и вера в Бога есть частичное знание, достаточное, чтобы уберечь

нас от многих земных ошибок, но недостаточное, чтобы понять себя.

Я думаю, мощным, неотразимым аргументом в пользу атеизма было бы уничтожение жизни на Земле. Да, если это случится, в момент гибели Земли последний атеист может сказать: — Мы были правы. Бога нет.

Но никто его не услышит. И хватит об этом.

...Здесь, у моря, прогуливаясь по зеленым холмам Гудаутского района, я мысленно то возносившись к небесам, то снова возвращаясь ко вчерашнему неприятному впечатлению. Но день был чудесный. По глубокому осеннему небу плыли медленные, тяжелые коршуны. Одни долго кружили над холмами, другие летели прямо в сторону моря. Снизу от подножия холмов раздавались глухие шлепки выстрелов. Там охотились на перепелов.

Глядя на осенних коршунов, проплывавших по небу, я придумал такой образ. Предположим, духовная жизнь заключается в том, чтобы изучать полет птиц и вылавливать их. В таком случае выполнение именно духовной задачи и составляло бы лучшие условия для выполнения материальной задачи.

В такой ясности выгоды веры, к сожалению, можно убедить разве что охотника. На самом деле так оно и есть. Вера выгодна, но ее выгода приходит только к тому, кто поверил, не думая о выгоде.

Все птицы выгоды летают под небом, но впервые поднять глаза человек должен для того, чтобы взглянуть на небо, а не потому, что в нем летают эти птицы. Только так устанавлива-

ется правильное соотношение между масштабом неба и разумной выгодой.

Как раз в это мгновение на тропинке появился человек. Судя по всему, он только что занимался изучением полета птиц, и притом вполне успешно. За плечом у него торчало охотничье ружье, а за поясом, покачиваясь с обеих сторон и волочась крыльями по земле, висели два невероятных коршуна.

В некоторых селах Абхазии едят коршунов и даже засаливают их на зиму. Так что, если принять мое рассуждение о материальной задаче человека, можно сказать, что он только что ее решил. При этом отчасти прихватив и духовную задачу, ибо нельзя убить летящего коршуна, не глядя на небо. Впрочем, о своих духовных склонностях позже он сам мне рассказал.

Мы поравнялись. Мой встречный был человеком среднего роста, очень плотного сложения, с добродушным, широким деревенским лицом. Одет он был в серую ковбойку, перепоясанную широким охотничьим ремнем, в брюки галифе и сапоги. Звали его, как позже выяснилось, Руслан.

Я поздоровался с ним по-абхазски, и он охотно со мной разговорился. Мы беседовали с ним, переходя с абхазского на русский и наоборот. Но прежде чем мы разговорились, он вдруг застыл, всем своим обликом показывая, что ждет, когда я приступлю к обряду поклонения его пернатой добыче.

И тогда я молча с видом знатока, который и сам, случилось, удачно целился в парящих орлов, ощупал одного из его необъятных коричневых коршунов. Крылья были еще теплые.

Да, бывало, и мы, как бы говорил я, щупая коршуна. Бывало. Но не таких больших. Нет, что правда, то правда — такие большие не попадались. Я даже расправил ему крылья, но размах крыльев превосходил ширину моих распластанных рук. Нет, нет, такие огромные не попадались. Даже тот амазонский кондор был, пожалуй, поменьше. Амазонский или кордильерский? Не важно. Всех не упомнишь. Главное — был поменьше. Честность прежде всего.

Пока я с молчаливым и опытным восхищением манипулировал его добычей, он с доброжелательной терпеливостью ждал и даже для удобства моего ощупывания оттопырил руку, под которой висел коршун. Так женщины с доброжелательной терпеливостью дают другим женщинам ощупать свой новый наряд.

Не зная, что с ним делать еще, деловито шурша его огромными крыльями, я приложил одно из них к своей рубашке, как давний любитель орлиных тканей, с небезосновательными капризами выбирающий подходящую, мол, были времена, нашивали и мы пернатые одежды.

Видя его изумление, я не поленился наклониться и, набрав побольше воздуха, зачем-то подул коршуну в грудь, раздувая ему пух и перья и стараясь добраться до его жилистой телесности.

Черт его знает, зачем я это сделал! Кажется, где-то, когда-то, может быть в Чегеме, я видел нечто подобное. Да, конечно, но такое проделывали с живыми курами, чтобы проверить их жирность. И если она была недостаточной, кур отпускали

нагуливать жир. Коршунов отпускать нагуливать жир вроде бы было поздновато. Впрочем, и дули, если память мне не изменяет, в гузку.

Эта моя последняя операция просто потрясла Руслана. Такой изощренной проверки полноценности своей добычи он не ожидал. Он тревожно застыл. Но когда я выпрямился и прямо посмотрел ему в глаза, он понял, что и здесь все в порядке.

Я решил, что обряд закончен, если я не собираюсь спланировать с этого холма на крыльях коршуна. Но не тут-то было. Руслан с трогательной готовностью оттопырил другую руку, что можно было понять так: не обижай второго коршуна, доведи обряд до конца.

Мне ничего не оставалось, как залезть под его руку и заняться вторым коршуном. Этот коршун был поменьше первого, но я и ему расправил крылья, как бы в суетливой надежде хотя бы здесь наконец сравняться с Русланом своими охотничьими подвигами. Но и тут сравняться было невозможно.

И у этого коршуна, хотя он был поменьше первого (отсюда и лучик надежды), размах крыльев превосходил ширину моих распластанных рук. Бедняга Руслан продолжал стоять со старательно оттопыренным локтем, вероятно уже уловив причину моих якобы тайных волнений и даже явно болея за меня, ждал, чем окончится мой сумрачный осмотр. Я сложил коршуну крылья и слегка покачал головой: нет, такого у нас не бывало.

— А дуть не будешь? — спросил Руслан.

— Из одной стаи? — осведомился я, как широко мыслящий специалист.

— Да, — ответил Руслан.

Я махнул рукой в том смысле, что, если уж они из одной стаи, можно не проверять. Руслан оценил и мою суровую честность, и отсутствие крохоборства в оценке телесности второго коршуна, раз уж они из одной стаи. В порыве великодушия он предложил мне на закуску одного из коршунов и даже сделал руками движение, с тем чтобы снять его с пояса.

Однако должен при этом заметить, что руки его двинулись в сторону коршуна, который был поменьше первого, но, разумеется, намного превосходил тех коршунов (так уж получалось), которых я когда-то добывал прямо с неба. Я оценил его порыв, но решительно остановил его попытку.

— Ты разбираешься в коршунах, — удивился Руслан, — но, может, ты из тех отсталых абхазцев, которые их не едят?

— Нет, — сказал я, — что ты! Я не из тех отсталых абхазцев, которые не едят коршунов. У нас в Чегеме мясо коршунов было любимым блюдом. Бывало, дедушка крикнет кому-нибудь из сыновей: «Пойди-ка постреляй коршунов. Что-то сокучился по коршунятине».

Все это было чистейшим враньем. Я как раз относился к тем чегемцам, которые никогда не ели мясо коршунов и всегда находили случай вышучивать коршуноедов. Читатель может подумать, что я продолжаю нечто подобное, но это не так.

— Сразу видно, умный человек был твой дед, — сказал Руслан. — Но есть еще такие отсталые абхазцы, которые презирают мясо коршунов. Но если твоя хозяйка тыквоголовая дура и не может приготовить сациви из коршуна, а это тебе не

курица, при чем тут бедный коршун? А если на зиму засолить, не надо никакой другой закуски — шоколад.

Я решил отойти от коршунов, чувствуя в этой теме некоторую опасность для себя. Я спросил у него, где он работает.

— Я в милиции работаю, — сказал он и жестом заместника показал в сторону приморской долины, — в трех санаториях дежурю...

И хотя санаториев отсюда не было видно, я знал, что они есть. Опять идея видимого и существующего.

— Но дело не в этом, — продолжал он. — Я как работник милиции должен бороться за справедливость. И я борюсь. Но я ненавижу отсталых людей, даже если они абхазцы! Когда я вижу отсталого человека, мне до того противно, что я отворачиваю голову. Вот так прохожу!

Не обязательно в коршунах дело. Вообще ненавижу отсталых людей. Но тех, которые презирают коршунов, в особенности. Некоторые ученые люди говорят, что скоро совсем плохо будет. Есть будет нечего. А тут тысячи, тысячи коршунов осенью пролетают в сторону Турции. Почти даром пролетают. Слушай, а турки коршунов едят?

— Не знаю, — сказал я.

— А где ты живешь?

— В Москве.

— Я два раза был в Москве, — важно сказал он. — Первый раз десять лет тому назад. Второй раз в прошлом году. И что интересно. Десять лет тому назад было полно голубей в Москве. А в прошлом году я их не видел. Что, съели?



— Не думаю, — сказал я, — пока до голубей не дошли.

— А чем ты занимаешься? — спросил он.

— Я книги пишу, — сказал я.

— О чем ты пишешь, — оживился он, — о нашей абхазской истории или о чем попало?

— В основном о нашей абхазской истории, — сказал я и, снижая пафос, добавил: — Но иногда о чем попало.

— Молодец, что ты пишешь о нашей абхазской истории! — воскликнул он. — Целую тебя за это, учти, в любое место! Но иногда, когда лишнее время, пиши о чем попало тоже. И такое, наверное, кому-то надо. Но молодец, что ты пишешь о нашей абхазской истории!

Видимо, ему так понравилось, что я в основном занимаюсь абхазской историей, что он снова решил подарить мне коршуна.

— Слушай, — сказал он грозно, — клянусь моими обоими детьми, обижусь, если не возьмешь вот этого!

Он рванулся обеими руками к своему поясу, но на этот раз в сторону крупнейшего коршуна. Такого гонорара у меня не бывало.

— Нет! — схватил я его за руки. — Спасибо, дорогой. У нас тут нет возможности заниматься коршуном. Мы в гостях.

— Слушай, — он твердо посмотрел мне в глаза, — может, ты стесняешься сказать, что никогда не ел коршунов? Я не такой. Я не обижусь. Это не значит, что ты отсталый человек, это значит, что ты жил в Москве. Даже если когда ты жил в Абхазии, не ел коршунов, я не обижусь. Ты пишешь абхазскую историю, а это для меня все! Но тогда напиши честно:

я жил в отсталом селе Чегем, где не ели коршунов. А если найдется такой человек, который откроет тебе глаза на вкус коршунов, ты и о нем честно напиши!

— Нет, — сказал я, — спасибо! Я с детства ел коршунов. Я даже жарил их на вертеле!

— Как на вертеле? — воскликнул он изумленно.

Если я что и жарил на вертеле, так это кукурузные початки и цыплят. В доме бабушки жарить на вертеле коршуна было бы все равно что жарить ворону. Но отступить уже было некуда.

— Очень просто — на вертеле, — повторил я, окунаясь в пучину лжи, — как индюшку.

— Индюшка это одно, — сказал он почти язвительно, — а коршун совсем другое. У него мясо жесткое. Его надо хорошенько проварить.

— А вино для чего? — вскинулся я, перебрасываясь на французскую кухню, о которой, как я думал, у него сведенья еще более смутные, чем у меня. — Мы, чегемцы, сначала коршуна вымачиваем в вине. Сутки! А потом жарим на вертеле. У нас так принято было.

— Постой! Постой! — крикнул он и ударил меня по плечу, как бы умоляя притормозить. — Какое именно вино: «качич», «изабелла», «цоликаури»?

— Любое! — воскликнул я, как и все лгуны, пафосом прикрывая ложь. И с ужасом думая: увяз!

— А в чаче вымачивать коршуна можно? — воскликнул он, как бы пытаясь освоить все варианты нового чегемского мышления.

— Нет, — сказал я строго, — чачей можно только запивать.

— Это я и так знаю, — кивнул он. — Но вымачивать коршунов в вине, перед тем как жарить на вертеле, — до этого ни один человек у нас не додумался. Недаром говорят, что чегемец, на сколько он торчит над землей, на столько он еще и под землей.

На абхазском языке поговорка эта означает великую хитрость, а иногда и коварство. Я решил все-таки увести разговор от этих проклятых коршунов, пока не попался.

Я спросил у него, не знает ли он человека, который ловит и приручает ястребов. И вдруг он улыбнулся мне неожиданной блаженной улыбкой. Широкое лицо его расплылось в безмерной доброжелательности. Он весь расслабился и, безвольно наклонив голову, молча смотрел на меня несколько секунд.

Я понял, что экстаз коршуноведенья опал. Омовение коршуна в вине, перед тем как смачно насадить его на вертел, сладостно доконало его. Поэма кончилась. Впрочем, небольшие фрагменты всплывали и позже.

— Такой человек перед тобой, — сказал он тихо и вразумительно, — я как раз иду к своему шалашу... А вот и моя сорокопуточка...

С этими словами он расстегнул рубашку и осторожно вытащил маленькую сорокопутку со шпагатом на лапке. Птичка казалась сильно смущенной нашими разговорами о коршунах. Он намотал на ладонь шпагат, оставив с полметра свободным. Тряхнул ладонь. Сорокопутка взлетела и завибрировала над ним, как теплый пропеллер. Мы пошли.

— Бодрая, — кивнул он на птичку, — я ее только что кормил кузнечиками.

Вот и шалаш. Он был покрыт и устлан сухим папоротником. Мы нагнулись и ступили в него. Руслан, стоя на коленях, снял ружье и приладил его в угол. Потом снял свой охотничий пояс с двумя огромными коричневыми коршунами, подволок их к другому углу шалаша и уложил рядом.

Было жарко. В шалаше пахло прелым папоротником. Руслан стянул с себя ковбойку, высунул руку из шалаша, отряхнул рубаху и аккуратно набросил на коршунов, как-то разом снизив их орлиную сущность до облика прикорнувших под пледом старушек.

После этого он вынул из кармана спичечный коробок и достал из него два кусочка воска. Все это время я держал сорокопутку. Он взял ее у меня из рук и неожиданно ловко прикрепил к векам птички по шлепочку воска. Операция, вероятно, была безболезненна, но грубовата. Нашлепки из воска на веках птички, придав ей вид некоторой библиотечной учености, отнюдь не прибавили ей привлекательности. Это, оказывается, делают для того, чтобы сорокопутка не видела налетающего ястреба и не пряталась от него. Руслан распутал шпагат и пустил птичку под сетку. Она пробежала несколько шагов и, взлетев, затрепыхалась под ней.

По-видимому, не всякая птица проявляет такую непрерывную волю к жизни, играет. Именно поэтому сорокопутка лучше других птиц привлекает ястребов. Вероятно, чем живей себя ведет живое, тем оно заманчивей для хищника.

Мы уселись лицом к сетке, поглядывая на гряды живописных холмов по ту сторону цветущей долины. Слева в конце долины, как это всегда видится, когда смотришь с высоты, как бы наваливалась огромная стена моря.

Когда Руслан снял рубашку, я заметил на его предплечье довольно внушительный шрам.

— Что это? — кивнул я на шрам после того, как мы уселись.

— Ха! — усмехнулся он. — Это было три года назад. Я дежурил в санатории на танцах. И вижу: один парень, главное из моего села, пристаёт и пристаёт к приезжей девушке. Она не хочет с ним танцевать, а он пристаёт. Я отвел его в сторону и строго предупредил, чтобы он не хулиганил.

Вроде отстал, а потом опять за свое. Она не хочет с ним танцевать, а он пристаёт. Грубо пристаёт. Я отвел его в сторону и предупредил, что ему будет плохо, если он не бросит хулиганить.

И что же? Он опять сделал перерыв. То ли думал, что я забуду, то ли решил своим ребятам доказать, что может силой приручить девушку. Опять пристаёт. Скандал.

Теперь что делать? Если бы в санатории был КПЗ, я бы отвел его туда. Но в санатории нет КПЗ. Если бы у меня была машина, я бы отвез его в город, в милицию. Но машины у меня нет. Приходится своими руками разбираться. И поэтому я его вывел из клуба и по-отечески дал по морде. Больше он в клубе не появился. Думаю: вправил ему мозги.

После танцев иду домой, а я ночью у себя в деревне. Смотрю, возле моего дома стоят несколько парней, и он среди них. Прямо на дороге стоят, пройти нельзя. Подхожу. Слово

за слово. И вдруг этот негодяй выхватывает нож и бьет меня. Я, слава Богу, успел плечо подставить.

Певец патриархального Чегема, то есть я, был сильно удручен услышанным.

— Как, — говорю, — юный абхазец бьет ножом односельчанина, который в два раза старше его?

Руслан замер и посмотрел на меня круглыми от удивления глазами:

— Да ты что, с луны свалился?! Да они родную мать палками забьют! Такие у нас хулиганы сейчас!

Но тут у меня в голове мелькнула спасительная догадка: береговая полоса! Здесь люди быстрее подвергаются порче: соблазны курортной жизни. Когда хочется защитить мысль, которая тебя грела, всегда быстро находятся доводы.

Руслан продолжал:

— Кровь из меня, как из крана. Я пришел домой. Мне перевязали руку. На следующий день лежу. Приходит целая делегация его родственников. Деньги обещают. Все на свете обещают, только чтобы не жаловался властям. Нападение на милиционера при исполнении служебных обязанностей — это дай Бог сколько дадут. И они это знают. Умоляют меня. Но я говорю: «Я жаловаться никуда не пойду. Но когда рана заживет, мы с ним будем драться. Три свидетеля с его стороны, три с моей. Пусть покажет на кулаках, на что он способен». — «Зачем драться, — удивляются они, — возьми лучше деньги. У тебя молодая жена. Маленький ребенок. Деньги всегда нужны». — «Нет, — говорю, — никаких денег. Только так».

И вот мы встречаемся в честном бою. Он такой бычок, но глупый. А я еще школьником имел первый разряд по борьбе. Одним словом, я его отмутил. От души отмутил. Такой кайф получил, как будто одним выстрелом пудового коршуна свалил. Вот откуда этот шрам... Тише! Пригнись!

Я пригнулся, ничего не понимая. Руслан тоже пригнулся и задержал шпагатом. Сорокопутка быстро-быстро завибрировала крыльями, как бы вися в воздухе. Выглядывая из шалаша, я вижу, что небо над сеткой чистое, никаких ястребов.

А он смотрит в сторону параллельного холма, который от нас примерно в километре. И кивает мне, и показывает рукой, дескать, там, там ястреб. Я вглядываюсь изо всех сил и долго ничего не вижу. Наконец, мне показалось, что на фоне зеленого холма сверкнуло крыло какой-то птицы.

Даже если это был ястреб, думаю, невероятно, чтобы он оттуда мог заметить нашу сорокопутку. А мой спутник смотрит на тот холм и долго от него чего-то ждет, заставляя играть свою птицу.

— Улетел, — сказал он наконец и перестал дергать за шпагат.

— Неужели он оттуда мог нас заметить? — удивился я. Както мне всегда казалось, что орлы зорко видят, озирая местность с большой высоты. А здесь, если мы действительно видели одну и ту же птицу, ястреб мелькал и далеко и невысоко.

— Конечно, — сказал он уверенно, — он все видит! Просто он случайно не посмотрел сюда. Если бы посмотрел — крышка! Да, — сказал он, перестав дергать за шнур и давая успокоиться своей птичке, — ты удивляешься хулиганам. А сколько

воров, если б ты знал. Считай, что у нас каждый третий сидел. Куда смотрит власть? Что там бебекает Верховный Совет?

— А что? — говорю.

— Скажем, человек ворует. Суд доказал. Дай ему положенный срок. Выпустили. Снова ворует. Суд доказал. Дай ему срок. Выпустили. Он опять ворует. Что толку его сажать? Такого человека надо расстрелять! Такой человек для общества не годится. Конченный человек.

— Но это, Руслан, слишком, — говорю, — нигде в мире нет такого закона.

— А где в мире так воруют?

— Кажется, нигде.

— Вот поэтому я и говорю, — продолжал Руслан, — нужен такой закон. Но это нельзя делать внезапно. Это будет нечестно. Предупредить. Тех, что и раньше по три-четыре раза сидели за воровство, не надо трогать. А вот нового ворюгу, когда его сажают, надо честно предупредить: второй раз попадешься — еще так-сяк, а третий раз — расстреляем. Тогда он после второго раза, если потянется воровать, подумает: нет, нет. Меня расстреляют.

Ты же знаешь, в милиции тоже шахер-махеры делают. А я не могу. У меня руки чистые. Я получаю около трех сотен. Но разве в наше время на это можно прожить, тем более рискуя жизнью? А если б этот дурак из пистолета выстрелил? Плечо не подставишь!

Жена и двое детей в городе живут на частной квартире. Сто рублей плачу. Фактически я живу за счет крестьянского



труда. Санатории рядом с нашим селом. Там дежурю, прихожу домой к отцу. Пашу, мотыжу, собираю урожай. За счет этого живем. Кто я, милиционер или крестьянин? Сам не знаю.

Видимо, я помрачнел, что ли, — он вдруг широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу.

— Не бери в голову, — сказал он, — обидно, конечно, но живем. Как видишь, и на охоте бываю. Перепелки, коршуны в сезон — сколько хочешь. Свадьбы родственников тоже не пропускаю... Как ты думаешь, турки коршунов едят?

Видимо, вопрос этот его сильно волновал, и он забыл, что уже спрашивал меня об этом.

— Думаю, нет, — сказал я, — у них сейчас неплохо с едой. А что?

— Сейчас у нас, слава Богу, еще ничего. Но я думаю о будущем. Если придет голод, армия нам должна помочь.

— Как так армия? — не понял я.

— Я уже все обдумал, — сказал он. — Если армия даст тридцать-сорок вертолетов в сезон перелета коршунов, спасемся. Вертолеты будут с моря прижимать к берегу коршунов, чтобы они подольше не перелетали в Турцию. А в это время население будет стрелять и стрелять по коршунам. Кто не умеет — научим. Засолить пятнадцать-двадцать коршунов — небольшая семья запросто может перезимовать. Но это если турки в самом деле не едят коршунов. А если едят, будет некрасиво: чужой кусок изо рта вынимаем.

— Уверен, что не едят, — сказал я, — у меня есть знакомый издатель, я могу ему написать...

— Напиши, — сказал он, — но прямо не вываливай. Напиши, мол, я слышал, что турки не едят свинину. А вот коршунов едят?

Он задумался, глядя на небо, где, взмахивая тяжелыми крыльями, коршуны медленно и беспрепятственно двигались в сторону Турции, не подозревая о замыслах, которые зрели в голове Руслана. Некоторые из них доверчиво и долго кружились над холмами, а иногда даже садились на деревья.

— Ты в Бога веришь, Руслан? — спросил я.

— Конечно, — ответил он и с серьезным удивлением взглянул на меня. — А кто это все сделал, если не Бог: горы, море, леса, человека, животных? Некоторые говорят — природа. Но это же глупо. Это все равно, что женщина скажет, что она сама от себя забеременела. Или кто-нибудь придет на усадьбу моего отца и скажет: «Ты смотри, Руслан, какая хорошая кукуруза у тебя сама выросла!» Как сама? Я же знаю, через чей труд она выросла! Так и это.

— Как ты думаешь, Руслан, — спросил я, — Бог следит за нашими делами?

— Никогда! — воскликнул Руслан с такой силой, что сорокопутка сама вспорхнула и стала трепыхаться под сеткой. — Учти, только отсталые люди так думают! На хрен мы ему сдались, чтобы он за нами следил! Учти, у него миллион таких планет! Он как хороший, строгий отец поставил на ноги и человека и природу: живите, плодитесь, дружите! А мы что? Посмотри, что делается, хотя бы у нас на Кавказе? Если бы он все это видел, хороший плевок полетел бы на Землю. Но пока что только люди плюют друг на друга.

— А что человек из себя представляет, Руслан? — спросил я, решив довести до конца нашу философскую беседу.

— Хитрый, как коза, — просто ответил Руслан, как о чем-то давно решенном.

И вдруг широкое лицо его расплылось в нежной, мечтательной улыбке. Я понял, что он вспомнил идеального человека. Так оно и оказалось.

— Лучше я расскажу тебе про своего сына, — продолжая улыбаться, взглянул на меня Руслан. — Шесть лет. Уже хитрый, но кушает плохо. Коршунятину, правда, грызет, как тигренок. В меня. А так кушать не любит. Хозяйка моя мучается с этим.

И вот что интересно. Иногда я с работы прихожу домой, когда хозяйка моя заставляет его кушать. И он с ходу смотрит мне в глаза и все понимает. Все! Иногда после дежурства прихожу злой, как собака. И тогда он сам кушает, потому что я могу зарычать на него. А это он не любит. А если прихожу добрый, капризничает, отворачивается от ложки.

И вот я только вошел, еще слово не успел сказать, а он прямо мне в глаза — чтобы узнать, кушать ему или капризничать. И при этом, учти, ни разу не ошибся!

Ты сейчас смеяться будешь... Я тебе расскажу. Мы с ним в загадки играем. Иногда прихожу с работы, ложусь на диван, а он садится мне вот сюда на живот, и начинаем друг другу загадки загадывать. Кайфуем! Однажды он мне говорит: «Папа, что надо выпить, чтобы хорошо себя чувствовать?» — «Вино», — говорю я.

«Нет, — говорит он, — лекарство. Ты проиграл».

Случайное, конечно, совпадение, а хозяйка моя так хохочет, как будто он меня купил. А на самом деле он меня спас однажды...

Руслан задумался, глядя вдаль и покусывая стебелек папоротника. Потом отбросил его и, взглянув на меня неожиданно загоревшимися карими глазами, почти выкрикнул:

— Слушай, я тебе расскажу такое, что ты ни в одной книжке не прочтешь. Это чудо, учти! Но ты наш, и ты должен об этом знать.

Два года назад сюда в санаторий, где я дежурю, приехала одна женщина из Москвы. Медсестра. Полная, белая, красавица. И я в нее влюбился. И я ей, оказывается, понравился, но я не знал. Я стал как сумасшедший. На кровати рядом с женой закрою глаза — она перед глазами. Белая, полная — смеется. Приезжаю на дежурство — она опять перед глазами. Теперь живая! Белая, полная — смеется.

И я не выдержал и наконец сказал ей, что жить без нее не могу. И она согласилась. И мы договорились жениться, и я попозже к ней перееду в Москву. Я нанял комнату рядом с санаторием, где живет персонал. Неудобно входить к ней в номер санатория. Я все-таки официальная личность. И поэтому нанял комнату.

Я думал, дома незаметно будет, потому что санаторий, где я дежурю, рядом с моей деревней и я чаще ночевал у отца. До города, где жила моя семья, пятнадцать километров, а машины у меня нет. И я чаще ночевал у отца, тем более на усадьбе приходилось работать. Отец старый.

Но я мучаюсь. Рано или поздно придется жене сказать правду. А я ее тоже люблю и тем более от сына, Тимурчика, умираю. Девочки тогда еще не было. Но как сказать ей? В чем она виновата? Ни в чем! И без Люси тоже не могу жить. Люся ее звали. Медсестрой работала в солидной московской больнице. Я стал как чокнутый. Закрою глаза, она перед глазами: белая, полная — смеется. Открою глаза — она тут как тут.

Пока я мучился, как жене рассказать о том, что случилось, оказывается, ей уже донесли. Нашлись люди, я даже знаю кто, но теперь это не важно. Да. Ей донесли. Но она мне ни слова не сказала. Оказывается, бедная, когда узнала, три дня ничего не могла есть. Крошки хлеба не могла взять в рот. Разве я об этом забуду? Знает, но мне слова не говорит. Приду — подаст, уберет. Но молчит. Я думал, она что-то чувствует, но она, оказывается, уже все знала. А я еще не знал, что она все знает.

Теперь Тимурчик. За полгода до этого мы всей семьей ехали из нашей деревни в город. Нас вез мой товарищ. У него своя машина. И вдруг на повороте он как-то зазевался, не удержал руль. Машина съехала в кювет и перевернулась вверх колесами. А мои сзади сидели. Я еле-еле вот так перекрутился и спрашиваю: «Вы живы?» — «Бессовестные, не смотрите сюда!» — кричит моя жена. Оказывается, когда машина перевернулась, у нее юбка тоже перевернулась, и она сразу себя не может привести в порядок, потому что неудобство, машина перевернута.

Ну, раз так кричит, думаю, значит, жива, тем более Тимурчик жив и только глаза испуганные. Мы с товарищем кое-как

вышли из машины. Я отодрал заднюю дверцу и на руках обоих вынес из машины. Что интересно — ни у кого ни одной царапины! Так удачно перевернулись.

Мы с товарищем хохочем, вспоминая слова моей жены. А она не смеется. И нам от этого еще смешней. Тимурчик тоже смеется, хотя четыре года, что он может понимать? Но раз мы смеемся, он понимает, что весело, и сам хохочет. А мы с товарищем смеемся, потому что жена моя таким голосом сказала: «Бессовестные, не смотрите сюда!» — как будто мы нарочно перевернулись, чтобы у нее юбка задралась. Слушай, тут авария, думаю, жива ли семья, а она про свою юбку. И никак до нее не доходит, почему мы смеемся, и от этого нам еще смешней. И Тимурчик хохочет, хотя, конечно, ничего не понимает.

Я останавливаю всякие машины, но троса ни у кого нет. Наконец попался грузовик с тросом, мы перевернули машину и выволокли ее из кювета. И поехали дальше. У машины только задняя дверца помялась, больше ничего не было. С тех пор мой сын ни по-русски, ни по-абхазски слово «веревка» не говорит. Он говорит «трос». Он думает, веревка и трос называются одинаково.

И вот после этого случая мой сын несколько раз просил меня рассказать, как это было. Приставал, дергал меня: «Упала машина!» Я ему рассказываю, а он хохочет, вспоминая, как это было весело.

И вот, когда это у меня с Люсей все началось, дом мой, конечно, почернел. Жена молчит. Я думаю, она что-то чувствует, хотя она, оказывается, уже все знает.

Мы с Тимурчиком играем. Я ему читаю детскую книжку, но, когда ухожу или когда мать его кладет спать, он у меня обязательно просит: «Упала машина!» Лежит и слушает, как я ему рассказываю, но уже не смеется, как раньше. Лежит такой серьезный и слушает, слушает. Как будто хочет мне что-то сказать. Но что он мне может сказать? И тем более не смеется. Тогда зачем об этом вспоминать? Но я терплю, потому что свою вину перед ребенком чувствую.

И каждый раз прихожу, чтобы рассказать жене правду, и не могу. Хотя сейчас люди испортились, но в нашем роду строгость. Придут старшие родственники с моей и с ее стороны и спросят: «За что жену бросаешь? Если хромая, косая, куда смотрел, когда женился? Если характер скандальный, почему не предупредил? Мы бы собрались и сказали ей: «Сникни. Иначе покажем тебе дорогу к твоему отцу!»

Но я ничего такого за женой не замечал, и мне нечего было сказать им. И я, мучаясь, в конце концов решил рассказать жене правду, порвать с нашим родом и уехать в Москву, куда Люся звала. Здесь все равно спокойно жить не дадут.

И вот с этим я в последний раз пришел в свой дом. Думаю: или сегодня все скажу, или смерть. Держусь. Играю с Тимурчиком. Решил, дождусь, когда он уснет, и потом все расскажу жене. Она на кухне. Мы с ним вдвоем. Играем, потом я ему книжку почитал, а потом он меня тащит к дивану, и я уже знаю, что он хочет.

— Упала машина, — говорит и ложится, продолжая держать мою руку. Разве до этого мне сейчас? Но что делать, не могу

обидеть ребенка. И рассказываю, а он слушает, слушает, но не смеется. А вид такой серьезный, как будто он что-то хочет мне сказать. Но что ребенок может мне сказать?! Тем более я мучаюсь: как открыться жене? И я тихонько начинаю психовать, но держусь. Только закончил, как он опять мне приказывает:

— Упала машина!

Я опять рассказываю, а он держит меня за руку и так серьезно слушает, как будто не знает, что дальше будет. Ждет. А чего ждать?

Еле-еле второй раз дотянул. Это же надо быть взрослым, чтобы понять то смешное, что там случилось. И тем более он не смеется. Ну, перевернулась машина. Ну, остались живы. Ну, тросом выволокли ее. А он так внимательно и серьезно слушает. Только я закончил, он в третий раз приказывает:

— Упала машина!

И тут я не выдержал. Бросил его руку и заорал:

— Надоела мне твоя машина! Спать тебе пора!

— Нет! — закричал он в ответ и так громко заплакал, что мать прибежала.

Она взяла его на руки. Успокаивает. А он ревет и сквозь слезы смотрит, смотрит на меня, задыхается и повторяет:

— Упала машина! Упала машина!

Истерика. По-абхазски даже такого слова нет. Я дальше ничего не помню. Помню только ушел и хлопнул дверью изо всех сил. В тот вечер я крепко выпил. Очень крепко. Но я голову никогда не теряю. Прихожу к Люсе. Она знала, что у меня сегодня предстоит тяжелый разговор с женой. И решила,



что этот разговор был и поэтому я крепко выпил. И ничего не спросила. Думает: завтра сам расскажет.

Я первый раз лег отдельно с тех пор, как мы соединились. Сразу заснул как убитый. И вдруг среди ночи просыпаюсь, как будто меня кто-то толкнул в бок. Крепко толкнул. Сердце толкнул — не спи!

Я просыпаюсь. Голова ясная, как этот день. А ведь я много выпил. И это было чудо, и я сразу понял, что хотел сказать мне мой мальчик. И я даже удивился, как это я так долго не мог его понять!

Мой мальчик хотел мне сказать: пусть будет так, как раньше, когда перевернулась машина. Сначала страшно, а потом весело. И он, бедный, почувствовал, что в нашем доме настало страшное, но не настает веселое. И он, мой мальчик, все это время толкал в эту сторону. А я не понимал. Упала машина!

Я вскочил как сумасшедший. Одеваюсь. Люся проснулась. Испуганно спрашивает в темноте:

— Что случилось?

— Прости, Люся, — говорю, — я не могу без своего сына!

Ночью пешком прошел пятнадцать километров. Чего я только не передумал тогда. Стучу в дверь в пять часов утра. Жена открывает. Молчит. И я молчу. Иду прямо к сыну. Раздеваюсь и ложусь рядом с ним. Он почувствовал меня. Зашевелился. Одной рукой обнял меня за шею и, не просыпаясь, я это точно заметил, сладким голосом говорит:

— Упала машина...

Добился своего. В следующую ночь мы вбили еще один крепкий гвоздь в наш семейный дом, и родилась дочь. Так и живем с тех пор. Сын спас нашу семью.

Руслан замолк и задумался. Пока он рассказывал, его простое, широкое лицо на глазах преображалось от воодушевления. Сейчас это было победное, прекрасное, античное лицо. Однако через минуту оно стало угасать, как предвечернее небо, и вскоре приняло обычный вид.

Справа от того места, где мы сидели, из-за изгиба холма появилось небольшое стадо овец. Сгрудившись и переструиваясь внутри себя, оно медленно по косогору холма двигалось к его подножью — беззвучно льющаяся шерсть по неподвижной шерсти выцветающих трав.

Раздалось знакомое бляенье. Потом еще. Еще. Еще. Но гораздо знакомей самого бляенья был его отзвук грусти в груди. Но почему? Напоминание о детстве? Напоминание об уходящей жизни? Но ведь я помню, что и в детстве оно казалось мне грустным.

Может, в этом бляенье мы ощущаем тоску безъязыких по языку? Тогда тем более непонятно, почему бы человеку так печалиться, услышав бляенье овцы или мычание коровы. У человека ведь есть язык? И все-таки, вероятно, дело в том, что каждый человек в той или иной мере чувствует свою неизъяснимость. Многоголосье нашего всемирного бляенья лишь подчеркивает его одиночество. И только любовь, как в случае с Русланом и его сыном, время от времени преодолевает эту неизъяснимость.

Тут случилось неожиданное, хотя именно этого мы должны были ожидать. Раздался какой-то воздушный шум. Я опомнился только тогда, когда ястреб чмокнулся в сетку и яростно забился в ней, взмахивая, выгибаясь и выламываясь рыжими крыльями. Руслан вскочил и, припав к сетке, выпутал из нее ястреба. Бедная сорокопутка от страха замерла и серым комочком лежала под сеткой.

Руслан присел под шалашом, держа ястреба в одной руке, зажав его сверху ладонью. В желтых ястребиных глазах полыхали ненависть и ужас. Когти вытянутых лап вздрагивали, пытаясь вцарапаться в воздух.

— Ястреб не тот, — сказал Руслан, оглядывая его.

— Почему? — спросил я.

— Такой сорт. Тупой. Сколько ни учи, ничему не научишь. Он не может привыкнуть к человеку.

— Дай подержать, — попросил я и осторожно, чтобы не оцарапаться о когти, взял у него ястреба. Горячее легкое тело ястреба дрожало под моей ладонью. В желтых, полыхающих глазах, в горячем, легком теле так и пульсировало: ужас, ненависть. Ужас, ненависть.

— Так что же делать с ним? — сказал я.

— Брось, поймаем другого.

Я вышел из шалаша и не без удовольствия подбросил этот комок ужаса и ненависти. Панический, резкий, радостный вымах крыльев, и он, словно не веря своему счастью, быстро-быстро набирает высоту. Это длится, может быть, пять, может быть, семь секунд, не более. И вдруг — раз!

Все забыл, распластал крылья, парит прямо над нашей головой: ничего не случилось, ищем себе добычу. Не хватало только одного: снова спикировать на нашу сорокопутку. Но, подхваченный воздушным потоком, он скрылся из глаз.

Его мгновенное преобразование было так неожиданно, так смешно и так точно определяло тип жизни всего живого в отличие от человека.

Только человек живет памятью и воображением. Каждый раз настоящее человека — это место встречи памяти и воображения. И потому чем точнее человек соответствует своей сущности, тем суженней у него пространство настоящего.

Чем ограниченной человек, тем полноценней он живет настоящим, когда оно нормально. Но именно по той же причине чем ограниченнее человек, тем быстрее он духовно гибнет от дурного настоящего, потому что ему не помогают память и воображение. Кому особенно хорошо, когда хорошо, тому особенно плохо, когда плохо. Впрочем, люди Библии уже знали это.

Мне надо было идти. У меня была назначена встреча с друзьями. Я попрощался с Русланом. Он назвал дни, когда бывает в своем шалаше, и пригласил меня к себе в деревню.

— Я тебе приготовлю коршуна по-чегемски, — сказал он, — только предупреди за сутки. Я его вымочу в собственной «изабелле».

— Нет, — сказал я, — мы будем гостить у тебя дома. Ты мне сначала приготовь коршуна по-гудаутски, а потом мы посмотрим...

— Идет, — сказал он и крепко пожал мне руку.

Я ушел. К сожалению, мы тогда так и не встретились. Мне пришлось срочно уехать в Мухус. Но я надеюсь, что мы еще встретимся и я наконец испробую коршуна, приготовленного не только по-гудаутски, но и по-чегемски.

В последнем случае прошу считать меня изобретателем этого блюда, и, если оно войдет в мировое меню, я должен быть вознагражден по законам частного предпринимательства, которые мы, побряхтывая и отбрыкиваясь, кажется, все-же осваиваем.

## сумрачной юности свет

Сайда была дочерью Хабуга. Заур был единственным сыном Сайды. Летом 1927 года тяжело заболела жена старого Хабуга, и он привез из Мухуса в Чегем врача, который лечил ее в течение тридцати дней. У нее оказалось двустороннее воспаление легких.

Сайда помогала врачу ухаживать за больной матерью. Когда мать пошла на поправку, благодарная дочь влюбилась в доктора. К счастью, любовь оказалась взаимной.

Через год она вышла замуж за будущего отца Заура и переехала жить в Мухус, где он работал в больнице. Жили они, по-видимому, хорошо, хотя Заур смутно помнил жалобы матери на то, что отец день и ночь пропадает в больнице.

1936 год. Похороны Лакобы. Семилетний Заур так это запомнил: улицы города вычернены толпами людей. И крики ребятни: «Лакобу хоронят!» — «Где хоронят?» — «В Бо-

таническом!» — «Пацаны! Айда на магнолию! Оттуда все видно!»

Заур ничего не знал об истинной причине смерти Лакобы, но эти улицы, вычерненные толпами людей, тревожили: то ли что-то огромное кончилось, то ли что-то огромное начинается. Шевелящаяся чернота толпы потом долгие годы дошевливалась в памяти.

Через двадцать лет Заур узнал некоторые подробности этого мрачного события. В местное правительство пришла телеграмма из Тбилиси о внезапной смерти Нестора Лакобы от приступа грудной жабы. Члены правительства пришли к его дому и позвонили в дверь. Ее открыла Сарья, жена Нестора. Когда ей сообщили о содержании телеграммы, она тут же в дверях, распахнутых на улицу, бесстрашно закричала:

— Он не умер! Его убил Берия!

И действительно, когда из Тбилиси прибыл труп Лакобы, домашний врач определил отравление и был тайно отправлен с этой вестью в Москву. Однако в Сочи он был перехвачен и убит. Сарья сумела приехать в Москву с каким-то разоблачающим Берию блокнотом Лакобы. К Сталину она не попала, но ее принял Молотов и забрал блокнот. Бедняжка не понимала, что все уже решено.

Да, все было решено. Через некоторое время после похорон Нестор Лакоба был объявлен врагом народа, труп его выкопали из могилы и куда-то зашвырнули. Началась вакханалия. Процесс над соратниками Лакобы был слегка подпорчен отсутствием главного свидетеля обвинения — его жены Са-

ры. Впрочем, как и все процессы, и этот прошел более или менее гладко.

Сарья отказалась признать лживые обвинения, предъявленные ее мужу. Случайно выжили соседи по камере, куда ее вбрасывали после пыток. Сына ее били на глазах у матери, и мать били на глазах у сына. Под пытками она сошла с ума и умерла в тюремной больнице. Не обученная диалектике, она твердо знала, что предавать мужа может только нелюдь, и предпочла смерть. Ее единственного сына Роуфа, с законопослушной терпеливостью дождавшись совершеннолетия, тоже расстреляли.

В те далекие времена маленький Заур ничего этого не знал, но чуял тридцать седьмой год, вслушиваясь в городские шепотки взрослых. Он понимал, что в стране происходит что-то страшное. Из разговоров, которые он слышал дома, выходило, что это страшное происходит по воле Сталина, которого в Чегеме, куда Заур ездил каждое лето, ненавидели и не скрывали этой ненависти.

Как-то из Чегема приехал дядя Махаз и весь вечер уговаривал отца Заура уехать в горы и переждать там гнилое время. Отец отшучивался, говорил, что он не ел чеснока, чтобы прятаться от людей. Заур с трудом догадался, что чеснок — иносказание.

Через несколько дней после приезда дяди Махаза однажды рано утром Заур проснулся от какой-то неприятной горечи. Он ее почувствовал еще во сне. Заур спал в одной комнате с родителями и теперь услышал, что отец и мать раздраженно переругиваются.

Заур многого не понимал из того, что они говорили, но он понял, что мама хочет, чтобы отец уехал в горы и там спрятался, а отец считает это глупостью и советует не соваться в мужские дела.

Голос мамы был жестким и упрямым, и она обвиняла отца в трусости за то, что он не хочет уезжать. Заура поразила грубость и несправедливость такого обвинения. Ведь все наоборот! Ведь прячутся как раз те, кто трусит! Как же мама этого не понимает! После того утра он еще много раз просыпался от их голосов, и они все спорили об одном и том же, все больше и больше ожесточались. И ничего в жизни Заура не было горестней этих пробуждений. И он, лежа в постели, сжимался и сжимался в комочек, словно слышал их голоса всем телом и, сжавшись, пытался уменьшить свою уязвимость, словно вспоминая внутриутробную позу, пытался уйти из этого мира в тот темный и теплый мир материнского чрева, куда не долетали голоса, раздирающие душу.

И вдруг однажды он проснулся и услышал голоса родителей, тихо переговаривающихся о чем-то постороннем. В их голосах была какая-то умиротворенная усталость, ласковая дружелюбность. Они вспоминали какие-то случаи из своей жизни, как бы все дальше и дальше уходя в глубь годов и тем самым все ближе и ближе подходя друг к другу. И никогда за все детство Зауру не было так хорошо, как в то утро, когда он слушал долгое журчанье родительских голосов, и, словно подставляя теперь все тело под эту теплую журчащую струю, он с хрустом потянулся и, раскинувшись, сладко расслабился.



Через три дня отец не вернулся с работы, и Заур узнал, что его взяли. Взяли. Это ненавистное слово он слышал уже около года. Казалось, человек превратился в какую-то безвольную деревяшку, и потому его взяли. Заур всегда помнил своего отца веселым, большим, шумным и никак не мог представить его как бы превратившимся в вещь, которую взяли. Слово казалось Зауру страшнее самой тюрьмы и Сибири.

Мать пыталась хлопотать, но из этого ничего не вышло. От отца пришло два письма из Магадана, а потом переписка навсегда заглохла. Дома считали, что отца перевели в лагерь, откуда нельзя писать.

За несколько месяцев до ареста отец взял отпуск и поехал с Зауром в Чегем. Они жили у дедушки, но почти каждый день гостили то у тети Маши, то у дяди Сандро, то у охотника Исы. Позже, вспоминая эту поездку, Заур думал, что отец, предчувствуя долгую разлуку, прощается с родными.

Однажды лунной ночью, сидя вместе с крестьянами во дворе дедушкиного дома, отец слушал рассказ одного из них, как тот искал клад в развалинах старой крепости. Заур уже не раз слышал такие байки про зарытые клады, которые почему-то в самое последнее мгновение, когда удавалось добраться до них, оказывались уже разграбленными.

И сейчас Заур с удивлением наблюдал за внимательным и серьезным выражением отцовского лица и никак не мог понять, почему отец, обычно такой насмешливый, так вдумчиво слушает этого балагура, словно не знает, чем это все кончится. Маленький Заур тоже с удовольствием слушал крестья-

нна, но он знал, чем все это кончится. А взрослый, умный, любимый отец, казалось, не знал. Когда рассказчик после многих мытарств выбрался к месту клада, он обнаружил разрытую яму и черепки разбитого горшка, где лежало золото. Опять не повезло!

— Земля еще была совсем свежая! — вскрикнул он в конце рассказа. — На денек опоздал, на денек!

Но почему же, после всего, что случилось, Заур чаще всего вспоминал ту ночь, голову отца с редующими волосами, чуть голубеющую в лунном свете, доброжелательно наклоненную к рассказчику, и родное лицо с выражением согласия, мира, какой-то странной, не свойственной отцу благости. Заур тогда еще, совсем пацаном, чувствовал, что все это что-то означает, но что именно — не понимал.

И только взрослым, уже после Двадцатого съезда, после точного знания, что отец погиб, ему показалось, что он угадал смысл тогдашнего выражения отцовского лица.

В том кровавом хаосе тридцать седьмого года отец упивался наивной гармонией этого рассказа, самым фантастическим упорством стремления человека к удаче, пониманием законности попыток измученного крестьянина выдумывать себе такой, случайно, даже как бы по собственной вине упущенный шанс. Казалось, все реальные возможности нормального течения жизни были упущены, и отец как бы сам примеривался к варианту сказки. О, человек! Как давно это было!

...А в городе повсюду были выставлены портреты Сталина, о нем пели песни, говорили по радио. Противоречие между

тем, что о нем говорили в деревне, и тем, что он видел в городе, угнетало душу маленького Заура.

Он слишком рано заподозрил окружающую жизнь в фальши и одновременно самого себя в уродстве, потому что не мог искренне принимать участие во всех этих пионерских кострах, декламациях стихов, военизированных играх, в какой-то вечной клятве верности этому человеку, которого дедушка так ненавидел.

Иногда Зауру казалось, что все знают о том, что Сталин плохой, и только от страха за свою шкуру все притворяются, что любят его.

Но иногда он чувствовал, что его сверстники, поющие песни у пионерских костров, затевающие военные игры, живущие в каком-то возбужденном праздничном ожидании мировой революции, вполне искренни. Он это чувствовал по их глазам, улыбкам, по той простосердечности, с которой они слушали взрослых, когда те читали им книги о славных пионерах и немецких фашистах.

И тогда детское сердце Заура наполнялось горечью необыкновенной, ощущением своего уродства, ощущением того, что внутри у него что-то сделано не так. И он понимал, что это уродство надо скрывать не только потому, что оно опасно, но и потому, что оно вообще уродство и стыдно его показывать другим.

Каждое лето Заур проводил в горах в доме дедушки. За лето на свежем горном воздухе, на простой здоровой еде он набирался сил, и вместе с физической силой к нему прихо-

дило ощущение собственной полноценности, понимание того, что не у него внутри что-то не так, а у городских людей и их детей внутри что-то не так и они ему навязывают свое уродство.

В первые же школьные дни после каникул он словно спешил утвердить свою полноценность, и это чаще всего приводило к дракам и борьбе со своими сверстниками. И он всегда сначала побеждал, но никогда не мог остановиться на одной победе, и сразу же завязывал борьбу или драку с другим мальчиком, вкладывая в нее непонятную сверстникам ярость, и иногда побеждал нескольких подряд, но потом, смертельно усталый, сам кем-нибудь побеждался.

И тогда, бывало, он целый урок неподвижно лежал на парте, кусая пальцы от отчаянья и постепенно приходя в себя от страшного переутомления.

В пятнадцать лет Заур ненавидел Сталина самой яростной, самой романтической ненавистью, какой юноша может ненавидеть тирана. Он считал, что революция, ради которой пришлось столько пожертвовать, все-таки была необходима и потому прекрасна, но тиран, захватив власть, все исказил. Так он думал тогда.

Одно время Заур даже мечтал стать летчиком только для того, чтобы однажды спикировать на Кремль, где жил Сталин.

Как-то, перелистывая книгу Сталина «Вопросы ленинизма», он наткнулся на такое место. Сталин полемизировал с одним из сторонников Бухарина по вопросу о государстве.

Сталин указывал, что у Бухарина по вопросу о государстве всегда были неправильные взгляды и Ленин в свое время с ним спорил.

На это сторонник Бухарина отвечал, что Ленин действительно спорил с Бухариным по вопросу о государстве, но при первой же встрече после их спора первыми словами Ленина были слова о том, что он теперь согласен с Бухариным по вопросу о государстве. Бухаринец, чтобы убедить Сталина в правдивости своего утверждения, призывал в свидетели Крупскую, которая была при этой встрече.

Сталин, не подвергая сомнению сам факт, что Ленин высказал согласие со взглядами Бухарина, добавил от себя, что Ленин, предполагая, что Бухарин одумался, переменял свои взгляды и тогда, естественно, стал с ним согласен. Откровенность и простота этой лживой логики поразили Заура. Трудно было поверить, что это напечатано черным по белому. Он захлопнул книгу и презрительно отбросил ее, как бы говоря: «Ну кто из нас урод, вы или я?»

Заур был от природы спортивным, хотя никогда особенно спортом не увлекался. В шестнадцать лет он пришел в городской спортзал заниматься боксом. В первом же спарринговом бою обнаружилось, что у Заура очень сильный удар справа. Тренер был в восторге.

Почти каждый спарринговый бой кончался нокаутом противника, и восторги тренера начинали принимать неприличный характер. Когда противник падал после удачно проведенного удара, Заур подбегал к нему, чтобы помочь ему

встать, а тренер подбегал к Зауру, чтобы обнять его, и все это выглядело довольно комично.

— Я десять лет ждал тебя, — говорил ему тренер, и Заур изо всех сил старался скрыть удовольствие.

Если тренер и в самом деле ждал его десять лет, ему бы следовало подождать хотя бы еще один год, прежде чем выпустить Заура на городские соревнования. Но он его выпустил.

В первой же встрече Зауру попался противник, опытный для своих лет, любимец публики, исполненный какой-то особой бойцовской красоты.

Когда он, нырнув под канатом, появился на ринге, публика завывала от восторга. Начался бой. Противник Заура вел его в почти открытой стойке, легко пританцовывал вокруг него, и Заур чувствовал, как темный зал замер в предчувствии избиения.

— Сразу не кушай, Витек! — крикнул кто-то, и зал расхохотался. Голос этот выдал надежду зала, что избиение будет долгим и основательным.

Все это Заур чувствовал и понимал каким-то затылочным сознанием. Он пропустил несколько легких и быстрых ударов и понял, что нужно именно так продолжать бой, как бы в некоторой вялой неуверенности, чтобы использовать свой единственный шанс, свой сильный удар справа. Прямой или крюк. Надо было, чтобы противник продолжал так же боксировать в полуоткрытой стойке.

После нескольких пропущенных ударов противника зал не выдержал, и уже многие скандировали:

— Витек, бей!

Противник провел двойной удар, чуть замешкался, склонившись в сторону Заура, и Заур, почувствовав, что достанет его, изо всех сил выбросил вперед руку и корпус.

В следующее мгновение противник был на полу, а зал охнул в каком-то противоречивом замешательстве. Он еще любил старого кумира и вдруг почувствовал возможность возникновения нового кумира, и его сейчас раздирало противоречие.

Правда, противник через секунду вскочил и, став в стойку, показал готовность вести бой, и судья, отсчитав положенные секунды, продолжил встречу.

Зал шумел противоречивым шумом, и Заур, вслушиваясь в этот шум, уже чувствовал к толпе презрение.

Теперь противник Заура перестал пританцовывать и начал лучше защищаться, но никакого страха или желания отсиживаться в обороне у него не было. Несмотря на нокаунт, он, по-видимому, был уверен в своем превосходстве и считал, что случайно напоролся на сильный удар.

Ему не терпелось восстановить атмосферу своего превосходства, он несколько раз бросался в атаку, и Заур во время этих атак пропустил несколько чувствительных ударов. Зал начал выходить из замешательства и стал криками взбадривать своего кумира. Тот ринулся в еще одну атаку, и Заур на контратаке поймал его на крюк. Заур почувствовал, что удар хлестко ошпарил челюсть противника.

Противник был на полу. Зал несмолкаемым грохотом восторга преклонился перед новым кумиром. Противник под

грохот зала продолжал сидеть на полу и, встряхивая головой, пытался прийти в себя.

Заур был абсолютно уверен, что Витек не только не встанет вовремя, но вообще не слышит счета судьи, но тот на седьмой секунде встал и, сделав стойку, показал готовность вести бой.

Судья как-то растерянно оглянулся на судейскую коллегия и разрешил бой. Тренер Заура что-то возмущенно закричал. Заур сам видел, что противник его еще далеко не пришел в себя, что он плохо ориентируется, и в то же время в его серых глазах Заур ясно читал отсутствие страха и желание продолжать бой.

Хотя зрителям это было незаметно, противник Заура явно плавал, и судья, конечно, не должен был разрешать ему продолжать бой. Он шел на Заура чересчур прямолинейно, и Заур сейчас мог бы уложить его одним спокойно рассчитанным ударом. И толпа, чувствуя это и откуда-то уже узнав имя Заура, кричала:

— Заур, бей!

Но Заур только отбивался легкими ударами, давая противнику прийти в себя. Чувство Заура было сложнее, чем просто нежелание бить человека, неспособного защищаться. Нежелание бить противника было усилено именно этими криками, это была еще не осознанная попытка действовать наперекор толпе. Наконец раздался гонг.

— Что ж ты его не бил, — говорил ему тренер, обмахивая его полотенцем, — ты что, не видел, что он еле держится?!

— Потому и не бил, — ответил Заур, стараясь как можно глубже дышать.



Следующий раунд начался грохотом толпы, скандирующей:  
— Заур, бей!

Но противник успел отдохнуть и очень собранно защищался, поглядывая на Заура из-под перчаток своими бесстрашными серыми глазами. Полраунда Заур никак не мог прорвать его оборону, а во вторую половину раунда тот, окончательно оправившись от мощного удара Заура, пошел в решительную атаку.

Серии ударов следовали друг за другом, как звенья бомбардировщиков, бомбящие город. Отчаянные попытки Заура спасти положение ни к чему не привели. Противник, поняв, что Заур обладает сокрушительным ударом справа, и дважды оказавшись на полу от этого удара, не растерялся, не ушел в глухую защиту, а продолжал бой с еще большей яростью, только при этом удесятерив контроль за его правой рукой.

Крюки Заура просвистывали над его головой, а прямые, как правило, попадали в перчатки. Вторая половина раунда прошла под знаком полного преимущества противника Заура. Толпа снова шарахнулась за своим кумиром и теперь громкими криками и свистом поддерживала его, словно извиняясь за предательство и одновременно как бы благодаря его за то, что он мнимым поражением в первом раунде обострил ее удовольствие.

Заур был слишком неопытен, чтобы защищаться как следует. Почти в каждой серии ударов, которые наносил ему противник, один, как правило, достигал цели. И Зауру, потрясенному ударами, иногда казалось, что у противника три пары рук.

Полтора раунда остались в голове, как кошмарная, озвученная громом толпы, черная карусель зала с мелькающими огнями и размазанными пятнами человеческих лиц.

После окончания боя противник Заура под грохот аплодисментов обнял его и, удерживая в объятиях, сказал:

— Я все понял, кореш. Ты меня пожалел в первом раунде... Сегодняшний бой я выиграл, но ты будешь работать не хуже меня...

Такое признание от самого популярного молодого боксера Мухуса было бы в другое время лестно Зауру. Но не сейчас. Сейчас он только чувствовал смертельную усталость и ненависть к толпе, рев которой удвоился, когда ее кумир обнял избитого вдрызг противника.

После этого боя Заур неделю не мог пойти в школу, потому что на лице его было слишком много синяков. Больше он ни разу в спортзале не появился. Если бы, подобно тому как устраивают закрытые суды, можно было бы вести бой без зрителей, Заур не оставил бы бокса. Но так как это было невозможно и так как он не мог примириться с толпой, ему пришлось оставить бокс.

...Что такое первая любовь? Для чего она дана человеку, почему такое могучее чувство приходит к юноше, абсолютно не способному справиться с ним? В этом есть какой-то парадокс природы. Словно человека, не умеющего плавать, подводят к штормящему морю и говорят: «Вот теперь учишься плавать».

Заур не научился плавать, но и не утонул, хотя и нахлебался соленой воды. Возможно, его сумрачная, хотя и сдержанная страсть пугала эту очаровательную школьницу, окруженную

поклонниками. И только однажды на вечеринке рука ее (включили счастье и тут же выключили) ласково отбросила ото лба его чуб, и тогда голова Заура, как конская морда, почувствовавшая ослабевшие поводья, тянется к листьям придорожного куста, голова его потянулась вслед уходящей руке, а девушка рассмеялась и спрятала ладонь за спину, и он опомнился, словно дернули поводья, а ее пригласили танцевать.

Это было в девятом классе. Зауру долгое время казалось, что люди, глядя на него, догадываются, что он безнадежно влюблен, словно амурная стрела, вероятно золотая, уж во всяком случае нержавеющая, так и торчала у него из груди. С этой торчащей стрелой Заур приехал в Москву и поступил на исторический факультет университета.

В первый же месяц пребывания в Москве Заура соблазнила тридцатилетняя женщина, дочь квартирной хозяйки. Плохо осознавая происходящее, горестно удивляясь, что, оказывается, можно любить одну, а лежать с другой женщиной, Заур слышал долетающие из форточки звуки далекого романса, так таинственно совпадающие с его состоянием:

*Нет, не тебя так пылко я люблю,  
Не для меня красы твоей блистанье...*

Еще целую неделю им что-то мешало, надо полагать, древко торчащей стрелы, но опытная соблазнительница в конце концов перегрызла его у самого соска, и теперь любовная лодка врезалась в песчаный берег при дружном взмахе весел.

Хотя мать этой молодой женщины через день уходила работать в ночную смену и им никто не мешал, Заур вскоре переменил квартиру. Ему было стыдно смотреть в глаза ее матери, он боялся, что она догадается о его связи с дочкой. Но на самом деле она давно догадалась обо всем: следы бессонных ночей достаточно явно выдавали их подглазья.

Через два года их роман мирно угас, его возлюбленная вышла замуж во второй раз, и Заур с чувством облегчения и благодарности расстался с ней. Кончик той золотой стрелы все еще торчал в его сердце, но теперь, как он надеялся, это было незаметно для других. Он и сам не знал, что уже навек был обречен любить тот тип женщины, которую он полюбил в первый раз и которая задолго до первой любви, еще в детстве впечаталась в его сознание.

...Однажды на первомайской демонстрации он издала увидел Сталина, стоявшего на Мавзолее с вяло приподнятой рукой. Ничего особенного не испытывая, он вместе со студенческой колонной поравнялся с Мавзолеем, и вдруг вся колонна разразилась восторженным воплем. Заур от неожиданности закричал вместе со всеми, одновременно ощутив, как его изнутри ударил какой-то страшной силы электрический разряд, и, уже когда все, откричав, пошли дальше, он почувствовал, что еле-еле плетется на ватных ногах, в каком-то смутном предобморочном состоянии.

И только позже, в общезитии, вместе с ребятами выпив водки, он постепенно пришел в себя, но тогда так и не осознал до конца, что с ним случилось.

А случилось вот что. Та давняя боль за отца, за разоренного деда, за страну, тот динамит несогласия, которые он носил в себе, уже не только пряча ото всех, но даже пряча от себя, — все это столкнулось с восторженным воплем толпы и его собственным предательским криком, и тогда сдетонировал невероятной силы внутренний взрыв, и он ощутил, как ударили ему в грудь ошметки разорвавшейся души.

Подхваченный мутной волной чужого восторга, он закричал вместе со всеми, уже в крике испытывая ужас и стыд за свой крик, переходящий в звериный вой тоски по отцу, обиды за него, за маму, за все. И если бы в те времена могли бы вычленить из общего вопля его отдельный голос и расшифровать его, ему бы, конечно, не поздоровилось. Но тогда, видимо, еще не научились из общего восторга вытягивать отдельные голоса, да и сам он, вероятно, благодаря молодости и природному здоровью оправился от этого потрясения, если в самом деле оправился и не было тайных последствий.

Во время следующей демонстрации он уже заранее держал себя в руках, да и колонна, в которой он шел, больше так не бесновалась. Тогда, в первый раз, они просто проходили довольно близко от Мавзолея.

После окончания университета Заур приехал домой и устроился на работу в республиканский институт истории и этнографии. Это были годы героического разоблачения Хрущевым культа Сталина, его же бестолковых реформ и ослепительных надежд.

История, считал Заур, — это суд человечества над самим собой. Но в конечном итоге мы занимаемся историей только для того, чтобы понять сегодняшний день. Никакой другой причины нет и не может быть. Но именно поэтому историческое исследование должно быть безусловно точным, а не формой подыгрывания сегодняшнему дню.

А если человек занимается историей для того, чтобы уйти от сегодняшнего дня, то это значит, что он так понял сегодняшний день. Заур не считал такой путь вовсе бесплодным, но считал его духовно немужественным и потому постыдным для себя.

Он хотел заняться историей Абхазии с начала нашей эры до падения Византийской империи. Его интересовали не только многообразия отношений империи с малым народом, он также хотел понять историю светлых пятен в истории. Промежутки достаточно благополучного существования народа случайно уничтожались или сами промежутки благополучия были достаточно случайны?

Устойчивая кристаллизация народного сообщества внутри нравственных законов возможна ли вообще, или кристаллизация всегда частична и развал предопределен хроническим малокровием нравственной природы человека?

Смывание цивилизацией культурного слоя этических традиций народа Заур воспринимал с такой болью, как будто с него, живого, сдирали шкуру. Мы живем в эпоху, думал Заур, плешивых и полуоплешивевших народов.

Очарование патриархального домашнего очага, которое Заур еще застал, с его естественной многоступенчатостью от-

ношений (старший, младший, невестка, сосед, гость) и полной свободой внутри этой многоступенчатости, где, как в оркестре, каждый знает свою партию и вступает в игру именно там, где ему надо вступить, и замолкает там, где голос его не нужен для звучания оркестра, взаимосогревающее понимание каждым роли каждого в оркестре, как бы негласное признание личностной ценности каждого, где вовремя замолкший так же хорош, как и вовремя вступивший в беседу, где самоотверженность промолчавшего тоже не осталась незамеченной, очарование этого богатства отношений — чем заменила современная жизнь?

Интеллигенция? Рыночный гвалт больных самолюбий.

Простые люди? Стеклашки глаз в стекляшку телевизора.

Существует ли в истории народов вообще накопление нравственности? Нет, нет и нет. Только культура, здоровая культура являлась и является могучим хранилищем нравственного опыта человечества. Но тут тупик.

Те, кому она нужна больше всех, меньше всего ею пользуются. Цивилизация, с конкистадорской грубостью сдирая с народа его этический опыт, накопленный тысячелетиями, как бы обещала через культуру возратить ему этот опыт, обогащенный знанием опыта других народов. Но этого не произошло и не могло произойти. Культура вошла в народ в виде убогой грамотности, которая нужна не народу, а самой цивилизации для удобства вдалбливания идей и рекламы товаров. И это вдалбливание еще больше отдаляет народ от культуры и от его собственных этических корней.

Средства информации, создавая иллюзию приобщенности к мировой жизни, вносят в сознание народа ложный стыд за особенность собственных неповторимых традиций: если все живут по-другому, надо и нам не отставать от других.

...С местной левой интеллигенцией у Заура установились странные, двусмысленные отношения. Он как бы и презирал их, и вроде бы деться было некуда, другие хуже. Еще в Москве, в студенческих кружках, и здесь он замечал в этой среде одно и то же. Люди, больше всего говорившие о необходимости свободы для страны, сами были ужасно несвободны.

Авторитетом пользовались не самые тонкие и проницательные, а самые радикальные. Они были маленькими тиранами кружков, так как они говорили самые смелые слова, подразумевалось, что в известных обстоятельствах они будут брать на себя наибольший риск. Но известные обстоятельства не наступали и, как подозревал Заур, никогда не наступят. А эти получали себе реальные проценты с несуществующего капитала. И как бдительно охраняли они свой авторитет, как рабски подчинялись им люди гораздо более разумные и проницательные!

Люди, думал Заур, чаще подчиняются силе темперамента, а не силе разума. Эффект Гитлера. Заура этот темперамент только раздражал. Но многих бил без промаха.

В людях, думал Заур, живет тоска по убежденному человеку, тоска по вождю. Что это? Подсознательное желание передоверить свою совесть другому. Совесть утомляет человека. Несколько вспышек Заура против этого рабства были беспощадно подавлены, и Заур замкнулся.



Что есть свобода? — думал Заур. Свободен не тот человек, который пользуется свободой, а тот человек, который дает другому пользоваться свободой. Если я общаюсь с человеком, то в этом общении я свободен в той степени, в какой я представляю своему собеседнику свободно выражать свое отношение к людям и окружающей жизни. А собеседник мой свободен именно в той степени, в какой он представил мне право свободно выражать свое отношение к людям и окружающей жизни.

Свобода — это не то, что я беру, а то, что я даю. Чем свободней человек, тем безграничней его стремление самоосуществлять свою свободу, то есть предоставлять свободу другим.

Но чем свободней человек, тем у него меньше шансов встретить человека, так же щедро вознаграждающего его свободой, как и он этого человека. В этом драма свободного человека. Свободный человек всегда частично поработан несвободой других. Но он принимает эту драму и это порабощение во имя высшей естественности своего внутреннего состояния, во имя роскоши быть равным самому себе и своей совести.

Если бы свобода заключалась в полноте владения свободой, то тиран был бы самым свободным человеком на земле. Но при ближайшем рассмотрении жизни тирана, думал Заур, мы поражаемся его постоянной трусливой настороженности, безумной зависимости от своего страха. Он убивает от страха быть убитым, но, убив, находит еще одну причину быть убитым и новую порцию страха пытается уравновесить новым убийством.

Толстой, провернув в своих могучих мозгах все утопии социальных и философских учений, пришел к единственному выво-

ду: очищайте собственные души от собственной скверны и тогда человеческое общество очистится само. Другого пути нет.

Интеллигенция нашла этот путь слишком долгим и скучным. Хотелось бы блеснуть на публике, а как блеснешь, занимаясь душой? Интеллигенция обиделась на Толстого.

Хотя среди революционной интеллигенции, думал Заур, было немало и честных идеалистов, пора со всей прямотой сказать, что основную массу ее составляли бездельники, неудачливые карьеристы и просто ловкие негодяи. Иначе и быть не могло. Сейчас, как и в те времена, самый динамичный путь выбирают самые безответственные люди.

В человеке живет святая, неукротимая воля к распрямлению, желание распрямиться во все стороны справедливости! Это живое, естественное чувство. Распрямляя свою душу во все стороны справедливости, человек может упереться в жесткую стену государственности и в таком случае имеет моральное право вступать в дискуссию с государством. В таком и только в таком случае!

Но, как правило, революционеры расправляют в своей душе чувство справедливости только в сторону государства. У них такая мораль: я смело критикую власть, значит, я имею право быть сутенером.

Самые безответственные берут на себя лжеответственность за всех. Завтрашние обещания — индульгенция уже сегодняшней безнравственности. В этом дьявольский соблазн левизны. Дело интеллигенции, считал он, корректировать, смягчать, очеловечивать отношения государства с народом.

Ну, а если государство с презрением отворачивается от его справедливых советов, тогда что? Как быть? Сжечь себя?!

Нет! Быть честным в рамках собственной жизни, что тоже нелегко, но возможно. И этим самым сохранить храбрый огонек живой души, который, конечно, не может озарить страну, но он побеждает идею полноты мрака! Да, думал Заур, сейчас важнее всего победить идею полноты мрака.

\* \* \*

Работая в институте уже более трех лет, Заур часто выезжал из города на археологические раскопки и для сбора этнографического материала.

По причине частых командировок, Заура не могли в институте привлечь к регулярной общественной работе. Но именно поэтому, когда отделе, в котором он работал, предложили послать агитатора на избирательный участок, и никто не хотел браться за это, все взоры обратились на Заура и все хором вспомнили, что он всегда увиливал от подобного рода вещей.

Так ему пришлось дать согласие и в один из ближайших дней к семи часам вечера, как было условлено, отправиться на свой избирательный участок. Хотя этот участок находился в самой живописной, окраинной части города, Заур был не рад тащиться туда.

Был сырой, то и дело морозящий вечер ранней весны. Заур сошел с автобуса и, съевшись в своем плаще, свернул на зеленую улицу. Алыча и яблони за оградой приусадебных

участков, где он шел, цвели нежным цветом, шелковицы были покрыты кудрявым пушком первых листочков. Даже те деревья, что еще не цвели, уже оживились движением весенних соков, и это видно было по мягкому, упругому наклону ветвей под порывами ветра, так не похожему на склеротические вздоги зимних деревьев.

Избирательный участок помещался в здании пригородной школы-десятилетки. Днем здесь шли обычные занятия, а вечерами таинственно (для непосвященных) горел свет в окнах учительской, собирались агитаторы, активисты, проверялись списки избирателей, проводились предвыборные собрания.

Однажды на одном из этих сборищ Заур вдруг встретил своего чегемского земляка, старого охотника Тендела. Сын его работал в управлении сельского хозяйства, и почему охотник Тендел оказался в городе, можно было понять, но как он очутился здесь, на избирательном участке, озирающий своими ястребиными глазами, с ногами, обтянутыми ноговицами, с посохом, на который он положил свои важно скрещенные руки?

Заур подошел к старику, которого в детстве нередко встречал в Чегеме. Старик его не узнал, хотя, услышав, что Заур с ним разговаривает по-абхазски, страшно обрадовался. На удивленный вопрос Заура, что он здесь делает, старик ответил, что представляет дом сына, потому что от каждого дома требуют по человечку. Заур спросил его, как тот вообще очутился в городе на такой большой срок. Заур с детства помнил, что старик не переносил города и больше одной ночи в нем не выдерживал.

— Ревматизма замучила, — сказал он, показывая на ноги, и добавил с некоторым выражением хитрости: — Авось пошлют на хорошие воды?

— Кто пошлет? — не понял Заур.

— Да тот, кому я отдам голос, — сказал Тендел и посмотрел прямо в глаза Зауру безумными ястребиными глазами.

— Да за что же он тебя пошлет? — начал весело удивляться Заур.

— Если я, почти столетний старик, хожу сюда, готовлюсь отдать ему голос, что ему стоит уважить меня?

— Он этим не ведает, — сказал Заур, чувствуя, что огорчает старика, — так что даром времени не теряй.

— Ничего, — сказал старик примирительно, — хоть он этим не ведает, но иногда они посылают на воды одного-двух стоящих людей... В прошлый раз тут одна девушка меня люмонадом угостила... Хороша... Сдается мне, что она с чегемской примесью, даром что по-русски чирикает... Да вот и она...

Заур обернулся. Из директорского кабинета вышла девушка, поразившая его ощущением цветенья, бледным лицом и яркими, словно вытянувшими в себя всю кровь лица губами.

Она заметила взгляд старика и улыбнулась ему нежной улыбкой, как бы благодаря его за то, что он на огромном расстоянии своего возраста уловил и тем самым признал ее обаяние, а старик поймал эту улыбку и тут же радостно закивал головой, засверкал своими круглыми ястребиными глазами, дескать, как можно было не заметить, еще как заметил!

В то же время она не могла не почувствовать, что Заур не отрывает от нее глаз, и, может быть смущенная этим, вся напряглась, и это было видно сквозь желтое, хорошо сидевшее на ней платье. В руке она держала легкое светлое пальто, и, так держа его, она прошла узкое, словно вагонный коридор, пространство между длинным, покрытым красным кумачом столом и стеной учительской. У самого края стола сидел, опершись на свой посох, Тендел, а возле него стоял Заур. Так что она, проходя мимо, как бы пронесла к двери свое взрывоопасное, в виду узости пространства, облачко обаяния.

И вдруг Заур вспомнил, казалось, давно забытый случай из детства. Он вспомнил себя на вершине дикой груши, обросшей лианами и виноградной лозой. Сквозь путаницу колючих веток и сухих сучков он тянет руку и, с трудом дотянувшись, ловит всей ладонью большую виноградную гроздь, перекусывает ногтями большого и указательного пальцев черенок, на котором она держится, и ощущает щекочущее прикосновение сладко не вмещающейся в ладонь огромной грозди, которую нельзя сжать, потому что раздавятся виноградины, и нельзя прямо тащить, потому что за нее цепляются колючие ветки, плети, лианы, сучочки, и надо все время управлять вытянутой рукой: то чуть ниже, чтобы не задеть ветку, то чуть выше — минуть лиану, то вывернув ладонь, чтобы сухие сучки расцарапывали не эти сочные, легко срывающиеся ягоды, а кожу наружной стороны ладони...

— Эх! Сбросить бы мне годочков семьдесят, только б ее здесь и видели! — воскликнул Тендел, и Заур пришел в се-

бя. — То-то же оцепенел, — добавил старик, — видал бы, как она меня люмонадом угощала, совсем бы окоченел.

— Хороша, — сдержанно согласился Заур, стараясь отвести разговор о девушке, зная остроязычие чегемцев и боясь, что он ее оскорбит невольным словом, как если бы втайне уже решил, что эта девушка его невеста. — Да как же ты сидишь тут, — вдруг вспомнил Заур, — ты же по-русски ничего не понимаешь.

— То-то и хорошо, что не понимаю, — охотно объяснил Тендел, — а то бы голову заморочили своим ба-ба-ба...

Заур отошел от старика, чувствуя, что помещение сразу просветлело, словно кто-то на электростанции весело и щедро врубил во всем городе дополнительную порцию света.

От знакомого студента, вышедшего из этого же кабинета, Заур узнал, что девушка эта студентка того же института с филологического факультета, а зовут ее Викой. Здесь она, выполняя общественное поручение, сверяет списки голосующих с наличием натуральных избирателей, следит за точностью внесения в списки их фамилий и инициалов, а также возможностью наличия мертвых душ, то есть легкомысленных избирателей, выехавших в другие районы без открепительных талонов.

Обо всем этом студент рассказал ему с грустной полуулыбкой, давая знать, что понимает внеслужебный интерес Заура к этой девушке, и голосом показывая, что он сам, к сожалению, не тянет на такую девушку, а то бы не уступил. А вот Заур, кажется, тянет.

— Закурить есть? — спросил он у Заура и, как плату за честную информацию вытащив сигарету из пачки, протянутой Зауром, сунул ее в рот и пошел.

В этот день Заур должен был читать лекцию перед избирателями. Лекция не имела никакого отношения ни к выборам вообще, ни к человеку, за которого должны были голосовать избиратели этого участка.

Тогда начиналось кукурузное поветрие, и Заур читал лекции на тему «Чего мы ждем от царицы полей». Название лекции утверждало начальство, и Зауру пришлось, махнув рукой, согласиться с его глупым звучанием.

Заур неплохо разбирался в возможностях кукурузы и считал ее широкое внедрение в сельское хозяйство страны большим благом. Именно поэтому он с болью переживал явно завышенные пределы ее географической распространенности и этот балаганный трезвон вокруг ее внедрения.

Здесь, в пригороде, где у всех свои огородные участки, он считал свою лекцию не совсем пустым занятием. Впрочем, судя по лицам избирателей, они или ничего не ждали от царицы полей, или сами знали, чего они ждут от нее, и ничего другого ожидать не хотели.

Все же он чувствовал, что говорит о кукурузе живее, чем обычно, и все время порывается улыбаться неизвестно чему. Ему казалось, что невольную улыбку у него вызывает внимательное лицо ястребиноглазого Тендела, его ноги, одетые в ноговицы, его пророческий посох, его полное непонимание того, о чем говорят здесь, и полное отсутствие какого-либо



смущения по поводу того, что он ничего не понимает в происходящем.

Из директорского кабинета вышел редактор местной газеты Автандил Автандилович. Сделав несколько успокоительных пассов рукой в том смысле, чтобы шумными приветствиями в его адрес не прерывали лекции, хотя никто его не собирался приветствовать, он прошел учительскую и вышел в коридор.

— Как насчет лавруши? — вдруг сказал один из слушателей, когда он, окончив лекцию, спросил, нет ли вопросов. Так они называли лавровый лист.

— В каком смысле? — спросил Заур.

— В позапрошлом году я сдал сто пятьдесят килограммов, в прошлом у меня взяли сто, что будет в этом году?

Заур честно сказал, что не знает, сколько будут принимать в этом году, потому что это зависит от урожая лаврового листа в других районах республики. Во всяком случае, он предложил воздерживаться от посадок лавровых саженцев.

С тех пор как государство стало принимать, и притом за приличные деньги, лавровый лист, многие пригородники и колхозники настолько расширили посадки лавра, что с каждым годом становилось все трудней сбывать его на север.

— Понятно, — сказал задавший вопрос, — значит, теперь руби лаврушу, сажай кукурузу?

— Или пусти в огород козлотура, — добавил другой, который, как заметил Заур, с самого начала лекции, сидя в заднем ряду, многозначительно блеснул глазами. Все засмея-

лись. Заур махнул рукой и, сняв свой плащ с вешалки, вышел на улицу.

Пока он шел к автобусу, в голове у него звучал совершенно идиотский мотив идиотской песенки, начинавшейся словами: «Я встретил девушку — полумесяцем бровь». Вспоминая девушку Вику, он почему-то никак не мог припомнить, были ли вообще у нее брови, а не то что полумесяцем они или прямые. Все равно ему было весело и тепло вспоминать ее в холодном полупустом автобусе, мчавшемся в город.

Через два дня они познакомились в агитпункте, и их словно швырнуло друг к другу. Заур и раньше замечал, что в таких местах чувственность почему-то обостряется, то ли от обилия красных кумачей и плакатов, то ли вообще наша природа обострением чувственности протестует, старается уравновесить холод социальной риторики. Заур это замечал и во время своих бесчисленных командировок. Бывало, сидит у районного начальника, напротив него, а тот что-то талдычит, талдычит про успехи в области культурно-просветительной работы и в сети партпросвещения. Сознание у Заура постепенно покрывается сонной пленкой, а тот все талдычит, талдычит... И Заур ощущает, как он, умственно засыпая, чувственно почему-то просыпается.

Конечно, Заур понимал, что здесь совсем другое, и все-таки обстановка помогла все ускорить.

Три вечера с перерывами в один-два дня он ее сопровождал, когда она ходила по домам избирателей, иногда входил вместе с нею в дом, а иногда, дожидаясь ее, стоял и курил возле калитки.

Она ему рассказывала про своих подружек, про какого-то преподавателя, который, входя в аудиторию, ищет ее глазами, а она нарочно прячется от него, про кинофильмы, которые она успевала смотреть, и про всякую несусветную чушь, о существовании которой он не подозревал или давно забыл.

И хотя почти все из того, что она ему говорила, он воспринимал как вздор, вздор этот ему нравился, потому что нравилось ее живое, неожиданно загорающеееся лицо, доверчиво повернутое к нему. Ему нравилось, когда она вдруг посреди своей горячей болтовни замечала, что он не столько слушает ее, сколько любит ее, и она тогда одновременно сердилась на него за то, что он ее не слушает, и радовалась, что она ему настолько нравится, что это мешает ему слушать ее. Иногда она при этом своей быстрой ладонью прикрывала его глаза и как бы отталкивала их, именно глаза, а не голову, хотя приходилось отталкивать голову. Жест этот означал: «Да перестань же ты глазеть на меня!»

Этот простонародный или детский, он не знал, как его называть, жест всегда забавлял его, в нем было столько непосредственности и скрытой от самой себя потребности в ласке, в прикосновении.

Однажды Заур увидел ее вечером у входа в кинотеатр с каким-то чернявым парнем и неожиданно почувствовал укол ревности. На следующий день они встретились, и он, стараясь сохранить шутливый тон, сказал ей об этом. Она вспыхнула и, небрежно махнув рукой, ответила:

— Это так, для кино...

Он все еще сопровождал ее, когда она ходила по домам избирателей. Как-то, хлопнув калиткой, она вышла на тротуар и стала корчиться от еле сдерживаемого смеха, одновременно знаками показывая, что надо отойти подальше и только тогда она сможет рассказать, в чем дело.

В этом пригородном доме жила пожилая вдова, которой Вика так понравилась, что она захотела женить на ней своего сына — инженера с приборостроительного завода.

Она угощала ее чаем, показывала комнаты, а сын ее, по словам Вики, такой большой-большой симпампончик, стоял рядом и слушал ее. А женщина эта показывала Вике новую мебель, новые кровати и комнаты, где они будут жить. А сын все слушал, и видно было, что эта сильная женщина держит своего единственного сына в руках и делает с ним все, что захочет. Сегодня, когда, провожая ее, они вышли на крыльцо, мамаша жениха, оглядывая сад, вздохнула:

— Сорок пять корней мандаринов...

— Не считая две хурмы, — неожиданно добавил сын, до этого долго молчавший.

По словам Вики, услышав его дополнение, она от внутреннего смеха чуть не свалилась с крыльца. Мать, видно, что-то почувствовала и, стрельнув глазами в сына, пробормотала:

— Сам ты хурма...

— Вот как раскололся мой жених, — сказала Вика, смеясь и глядя на Заура быстрым, горячим взглядом, словно спрашивая, правильно ли она делает, что смеется над ним. Конечно, правильно — улыбался ей в ответ Заур.

На следующий день на работе его послали в четырехдневную командировку. Он пытался протестовать, ссылаясь на необходимость своего присутствия на избирательном участке, но тут ему заведующий отделом строго сказал, что зарплату он получает все-таки не на избирательном участке, а на работе.

Три дня, проведенные в райцентре, Заур страшно скучал, он даже не подозревал, что способен так скучать по девушке. Ему было двадцать шесть лет, уже два года он никем серьезно не увлекался и думал, что это кончилось, и не жалел об этом. Вернее, он себя уверял, что не жалеет об этом.

Приехав в город на день раньше и едва вымывшись и переодевшись, он прилетел на свой избирательный участок в том окрыленном состоянии, в каком, вероятно, сознательный гражданин приходит туда в день выборов. Правда, несмотря на окрыленность, в автобусе он сидел, прикрывшись газетой, боясь случайной встречи с кем-нибудь из сотрудников по работе.

Когда он вошел в учительскую, она сидела за столом и сверяла фамилии избирателей, уже отпечатанные на длинном свитке, со своим списком избирателей из общей ученической тетради.

Еще до того, как она подняла голову, Заур обратил внимание на бесконечно грустное выражение ее лица, с которым она вглядывалась в свой список, словно это был не список избирателей, а перечень погибших друзей.

Подняв глаза и увидев его, она вздрогнула и едва заметное кивнула ему, а он смутился и подумал, что, наверное,

что-то случилось такое, отчего она теперь стыдится нашего знакомства.

Настроение у него упало, но он сумел взять себя в руки, разделся и поздоровался со всеми, кто находился в помещении. В углу учительской, склонившись над полотном, известный художник Андрей Таркилов рисовал плакат. Двое агитаторов тоже сверяли списки. Зауру, собственно, нечего было делать. Он подошел к художнику и, стоя за его спиной, смотрел, как тот, не выпуская изо рта сигареты, размашисто малюет.

Через несколько минут он снова подошел к ней и постоял за ее спиной, как стоял за спиной художника. Она, как и художник, не обернулась в его сторону, и он в конце концов стал злиться.

И вдруг он заметил, что, как она ни переводит взгляд с трапки на свиток, палец ее как стоял против одной фамилии, так и стоит. Значит, она помнит о том, что я здесь, решил он.

— Что-нибудь случилось? — спросил он вполголоса и наклонился над ней.

Она тихо покачала головой в том смысле, что ничего не случилось, и еще ниже склонилась над своим списком. Несколько успокоенный этим грустным, но не холодным жестом, а также запахом ее волос и видом ее нежного затылка, он спросил:

— Всех проверила?

Вопрос его означал: надо выйти отсюда и поговорить, выяснить, в чем дело.

— Два дома осталось, — сказала она, вздохнув. Он понял, что она согласна выйти, и, чтобы не стоять над душой и не вы-

зывать подозрения относительно своего увлечения этой девушкой (на самом деле об этом все знали), он снова отошел к художнику.

На большом полотне был изображен человек, радостно опускающий свой бюллетень в избирательную урну. Вдруг Зауру показалось, что радостно улыбающийся мужчина чуть-чуть похож на кого-то знакомого. Господи, да это ж наш кандидат, подумал Заур, что ж он сам за себя голосует?

Тут он услышал скрип стула, на котором она сидела. Вика встала и отнесла свиток в кабинет директора, где обычно сидел председатель избирательной комиссии или его заместитель. Потом она вышла из кабинета, подошла к столу, взяла свою тетрадь, положила ее в сумку, подошла к вешалке, надела пальто, перекинула сумку через плечо и деловито вышла.

Никто не обратил на нее внимания, и Заур продолжал смотреть, как голосует за себя сам кандидат в депутаты, хотя уже ничего не замечал, а художник все так же, стоя на коленях, малевал свой плакат, и так же, как у всех работающих художников, в лице его проступало что-то испанское.

Минуты через две, показавшиеся ему вечностью, Заур взял с вешалки свой плащ и вышел на улицу. В темноте он едва различил ее светлое пальто, и то только потому, что знал, в какую сторону она должна была идти.

Было около восьми часов вечера. Мокрый мартовский ветер дул со стороны моря. Только что распустившиеся листья молодых платанов, росших вдоль тротуара, издавали в темноте то шелковистый, то внезапно срывающийся, неумелый,

шлепающий шелест. Сквозь облачные разрывы в небе мелькали весенние, остроглазые звезды.

Вика свернула за угол, и тут он ее догнал. Они остановились. Опустив голову, она молчала. Они стояли возле садового участка какого-то пригородника. Ровным строем вдоль штакетника тянулись молодые лавровые деревья с коротко остриженными кронками, издававшими при каждом порыве ветра сухой шелест своих вечнозеленых листьев. И этот сухой, как бы выдавший виды, как бы знающий себе цену шелест внезапно при сильном порыве ветра перебивался шлепаньем листьев молодого платана. И каждый сильный порыв ветра, прошумев в деревьях, каким-то отзвуком, каким-то слабым воспоминанием шевелил полы ее легкого пальтишка. В темноте бледно выделялось ее опущенное лицо и чернели глазные впадины.

— Что случилось? — спросил Заур.

Она молчала. Голова ее была опущена. Потом она медленно подняла голову и одновременно, словно для большей устойчивости, взявшись одной рукой за планку штакетника, тихо сказала:

— Я стала пессимисткой...

Заур опешил. До него не сразу дошло, что эти наивные слова — признание в любви. Через многие годы он пронесет сквозь жизнь этот мокрый весенний вечер, эти порывы морского ветра совсем поблизости, за три дома, подхватывавшие запах цветущих глициний и осторожно отвевающие полы ее легкого, расстегнутого пальто, под которым в складках сиреневого платья то обозначались, то исчезали линии тела. Это прерывистое, лопухое лопотанье молодых платанов, эти су-



мерки опущенных ресниц, эту робкую неустойчивость всей ее фигуры, невольно призывавшую придать ей устойчивость, а только объятия и могли придать ей устойчивость, и эту долгую, гибкую, покачивающуюся устойчивость объятия, и эту руку ее, с ивовой свисающей покорностью наконец обвившую его шею.

Ни в тот вечер, ни в один из последующих они так и не добрались до двух ее последних домов. Так что, будь избиратели этих домов недовольны своим кандидатом и захоти они ему насолить, они могли бы тихо переехать в какое-нибудь другое местечко без открепительных талонов и их скандальное отсутствие было бы замечено только в день выборов.

...Обычно они гуляли вдоль загородного шоссе, ведущего к пляжу. Вдоль шоссе шла кипарисовая аллея, очень красивая и, главное, почти совершенно темная от густых теней кипарисовых крон.

Если начинался дождь, они останавливались возле одного из кипарисов, под которыми всегда было сухо, и они стояли, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу. Они целовались, слушая шелест дождя, с необыкновенным чувством уюта ощущая сухость кипарисового подножья, смолистый запах ствола, как бы хранящий тепло летних дней.

Порой поцелуи затягивались, и Заур, как и она, мгновеньями терял представление о месте и времени. В таких случаях их возвращал на землю внезапно ударяющий по глазам снап света или жикающий звук колес машины, проносящейся мимо на большой скорости.

Он старался, если они останавливались у подножья кипариса, выбрать ствол потолще, чтобы со стороны шоссе быть незаметней. Все-таки несколько раз машины останавливались на шоссе, и из них кричали им какие-то непристойности. В таких случаях они уходили подальше от машины. Машина трогалась, словно сидевшие в ней, прокричав непристойность и заставив их сойти с места, выполнили свой долг. Выкрики эти хотя и были унижительны, все-таки не очень смущали их. Заур считал, что тут действует некоторая нравственная скидка, связанная с движением на разных скоростях. Вот если бы то же самое прокричал пешеход, было бы намного обидней.

Иногда они заходили на пустынный пляж и усаживались на круглой скамейке под ненужным солнцезащитным зонтом. Ненужным не только потому, что не было солнца, но и потому, что, если начинал моросить дождь, он их не мог защитить, так как висел слишком высоко, а здесь на берегу под ветром струи дождя всегда немного скашивались.

Иногда они пытались переждать дождь под навесом летнего киоска, сейчас наглухо забитого. Несмотря на пронизывающий мокрый ветер, им было хорошо, потому что они любили друг друга, и это грело их. Но как они ни прижимались друг к другу, в конце концов стихия побеждала, как всякое равнодушие побеждает всякую страсть. Устав и продрогнув, они уходили с пляжа и, поймав попутную машину илиждавший автобуса, ехали в город. Заур всегда в таких случаях чувствовал себя виновным, словно не должен был сдаваться, но сдался.

Однажды, когда они вот так стояли под навесом киоска, и дождь никак не стихал, и волнение Заура тоже никак не стихало, он вдруг с ясновидящей силой понял, где они могут укрыться.

Рядом с киоском был расположен склад для летних лежаков. Этот склад представлял из себя огромную железную клетку под красной пирамидальной пластиковой крышей. Сквозь железные прутья склада было видно, что он заполнен рядами деревянных лежаков почти до нижнего основания крыши.

Заур припустил под дождем к этому складу, и она побежала за ним. Они успели слегка промокнуть, пока не оказались под его навесом. Они остановились возле железных дверей склада с огромным амбарным замком, взглянув на который, хотелось молча, не говоря ни слова, перейти жить на другую планету.

— Ты что, решил эту дверь взломать? — спросила она, не столько осуждая его, сколько любопытствуя.

Он посмотрел на нее и в тусклом свете причальных огней увидел заново, как она хороша в этом голубом полиэтиленовом плаще с капюшоном, который слетел с нее, когда она перебежала сюда, и теперь она его снова натянула на голову, и капли дождя в волосах ее блестели из-под прозрачного капюшона, как драгоценные камни из-под стекла.

— Нет, — сказал Заур и, подойдя к углу склада, еще находясь под навесом, оглядел боковую стену. В верхней ее части решетка переходила в не очень густой частокол железных прутьев. Примерно в середине этого частокола ему показалось, что железные прутья несколько раздвинуты.

Он выскочил под дождь, ухватился за мокрое холодное железо решетки и быстро, как по лестнице, взобрался наверх и заглянул внутрь. Отсвет красной пластиковой крыши ложился на поверхность лежачков, на сухую, добротную, скрытую от чужих глаз поверхность.

Он почувствовал отчаянный прилив сил и, прижавшись левым боком к железным прутьям, правой рукой надавил на один из них, уже и без того слегка отогнутый. Прут толщиной в палец медленно отогнулся. Потом он повернулся на месте и, опять упершись боком в уже отогнутый прут, отогнул соседний. Образовалась дыра, в которую теперь легко можно было пролезть, что он быстро и сделал, потому что успел довольно-таки сильно промокнуть, пока отгибал прутья. Тело его слегка дрожало от напряжения, а место на ладони, куда упирались отогнутые им прутья, горячо саднило. Зато теперь дождь до него не доставал, и он заслушался его уютным шелестом о близкую крышу.

— Заур, где ты? — вдруг услышал он ее тихий голос. Увлеченный поисками безопасного крова, он слегка подзабыл ту, ради которой он его искал. Он посмотрел наружу и увидел ее, выглядывающую из-за угла склада. Голова ее под капюшоном напомнила ему что-то приятное, что он видел когда-то, но потом почему-то забыл.

— Иди сюда, — сказал Заур тихо и поманил ее рукой.

Она поправила капюшон и вышла из-за угла. Поравнявшись с Зауром, она остановилась и нерешительно подняла голову. Он быстро слез и, став рядом, показал, куда ей ставить

ногу, чтобы подняться. Потом, обняв ее сзади, стал помогать ей, и, не удержавшись, когда сполз капюшон с ее головы, поцеловал ее в растерянное, теперь уже мокрое лицо, и, когда она замешкалась перед раздвинутыми прутьями, быстро влез туда сам и втащил ее за собой.

Когда она встала на ноги, потирая слегка ушибленное колено, у него было сильное желание снова разогнуть отогнутые железные прутья и закрыть проход.

Вика стояла в полутьме, потирая ушибленное колено, и, озираясь, прислушивалась к шелесту дождя по крыше, глядя, как призрачным светом озаряется крыша фарами машин, пробегающих по шоссе.

Он взял ее за руку и отвел подальше от входа, и она осторожно ступала, не доверяя пружинящей и покачивающейся поверхности нагроможденных друг на друга лежаков.

— А они не провалятся? — спросила она, слегка отталкивая его и все время озираясь, как ребенок в чужом доме.

— А куда им провалиться, — отвечал он, — видишь, как они...

Он хотел сказать, что лежаки плотно придвинуты друг к другу, но не договорил и, просунув руки под ее мокрый плащ, крепко обнял ее теплое, оживающее в его объятиях тело. Он все крепче и крепче обнимал ее оживающее и зреющее тело, и она, просунув руки под его плащ, обняла его с робкой силой. Не отрывая губ от ее губ, он растянул ее плащ, и руки его скользнули к ее ногам, чтобы согреть их. Она переминаясь с ноги на ногу, и он почувствовал, что они у нее зябнут от холодящих прикосновений мокрого плаща.

И он увидел глазами, уже привыкшими к полутьме, мягкую беззащитную линию ее ног и вдруг, потрясенный нежностью, сам не ожидая от себя этого, обхватил их руками, спрятал их, зажал их в своих объятиях, и она сама, не удержавшись на ногах, сползла в его объятия. Дрожащими, неслушающимися руками он выволок ее из мокрого хрустящего плаща и отбросил его в сторону. Этими же неслушающимися руками он сдернул с себя плащ, расстелил его рядом и осторожно, словно боясь разбудить, положил ее на него.

— А мышей здесь нет? — вдруг прошептала она, приподымая голову, как бы пытаясь выпростаться из темноты, но выпростаться было некуда и не надо...

Потом они долго лежали рядом, прислушиваясь к шороху дождя, к шуму прибоя, к машинам, пробегающим по дороге и на мгновенья озаряющим фарами полупрозрачную крышу склада. Она, не переставая, гладила его голову, и он, удивляясь неустанности ее ласки, думал о том, что, наверное, это какая-то неосознанная жалость за ту остросладкую боль, которую он почувствовал в последнее мгновение, когда она этими же пальцами вцепилась в его волосы, словно делая последнюю попытку выкарабкаться из уносящего их потока.

Было уютно лежать на этом пружинящем ложе, пахнущем морем и хранящем отпечатки всех летних запахов. Они начали находить юмор в его устойчивой неустойчивости. Вся система от малейшего движения, особенно ритмичного, оживала, начинала источать всевозможные скрипы, словно призра-

ки летних купальщиков не то с грустью, не то с легкой завистью напоминали о себе.

Потом они привыкли прислушиваться к сырым вздохам моря, к сухому завистливому шелесту призраков и даже различать их скрипы и шорохи, удивляться, если тот или иной знакомый скрип вдруг таинственно исчезал или появлялся, включаясь в самом неожиданном месте.

Во второй раз, когда они сюда пришли, он внес небольшое усовершенствование в их тайное ложе. Он снял несколько лежаков с того места, где они устроились, и получилось уютное углубление. Здесь провели они пять или шесть вечеров, и это были прекрасные, ничем не омраченные вечера. Им было здесь хорошо, но, видно, слишком долго нигде не может быть хорошо.

Однажды, когда он пришел с нею сюда и первым полез по железной решетке и заглянул внутрь, он увидел человека, спавшего на их месте. Заур вспомнил, что у него было предчувствие: рано или поздно должно случиться что-нибудь такое.

Он вглядывался с пристальным вниманием в полутьму, вглядывался взглядом человека, ожидающего чего-то недоброго. В сущности, без этого пристального взгляда он и не смог бы разглядеть человека в этой сейчас показавшейся ему злоуще-кровавой полутьме. Человек, видно, спал, Заур разглядел лежавшую на нем телогрейку, остатки недоеденного ужина и бутылку из-под водки, стоявшую рядом у изголовья. Зауру показалось, что человек этот явно демонстрирует свое право на это убежище. Иначе он не стал бы ложиться именно на их месте.

— Ну, чего ты застрял? — спросила она снизу, и он быстро слез и, молча отведя ее в сторону, сказал, что место их занято. Ему казалось, что она ужаснется, представив, что они могли туда залезть и только тогда обнаружить пришельца. Но она, к удивлению его, не испугалась, а только сильно огорчилась. Ему даже показалось, что она обижена на него за то, что он так, без боя сдал этому бродяге их убежище. Она загрустила на весь вечер. И когда они расставались и он ее несколько раз поцеловал, он почувствовал, что она не отвечает на его поцелуи. Он понимал, что это не женский каприз, а глубокое огорчение.

Но было бы нелепо, думал он, будить бродягу и предъявлять ему свои права на этот склад. Тем более что Заур был уверен — тот раньше занял его. И то, что в самый первый раз он заметил, что железный прут слегка отогнут, и то, что в следующий раз он заметил, что вход прикрыт, то есть железный прут разогнут (тогда он решил, что это дело рук какого-то служителя пляжа), говорило о том, что здесь кто-то бывал без них и до них. Он подумал, что бродяга этот не всегда ночевал здесь и они по счастливому стечению обстоятельств до сих пор не встречались.

Потом он вспомнил, как Вика огорчилась, и вдруг ему пришло в голову, что и мама его вот так же сейчас обижается на него за то, что он никак не может начать судиться с соседом, который оттяпал у них часть земли.

Несколько лет назад, когда этот негодяй начал расширять свой дом, он попросил Заура дать ему возможность войти в его участок на полтора метра вглубь и на восемь метров вширь.



Тогда Заур, несмотря на сопротивление матери, разрешил ему это сделать, до того униженно этот модный адвокат просил у него возможности расширить свой дом. Мать ему тогда говорила, что адвокат не ограничится этим, а отрежет их участок по крайней мере на уровне этого углубления. Заур тогда поражался, как могут быть фантастичны страхи женщины, правда навидавшейся всякого на своем веку.

И что же? После одной из командировок Заур, открывая калитку и входя во двор, заметил новую каменную ограду, которую возвел их сосед. Ограда эта, возведенная с быстротой берлинской стены, отрезала весь их участок на уровне расширенного дома.

— Ну что, сынок, кто оказался прав? — спросила его мать с траурной торжественностью в голосе. Заур опять поразился, как эта малограмотная женщина часто бывала проницательней его.

— Ничего, мама, — сказал он, — это ему так не пройдет.

— Оставь, пожалуйста, — отвечала мать, и он сам почувствовал пустотелость своей угрозы. Низость, проявленная адвокатом, была столь беззастенчива и велика, что у Заура просто руки опускались и не было, и он знал, что не будет, сил бороться с этим адвокатом.

Все-таки он пошел в горсовет, где работал один его школьный товарищ, и рассказал ему обо всем. Тот отвечал ему, что адвокат этот — человек с огромными связями и что теперь высудить у него эту часть участка будет очень трудно, раз Заур сам позволил внедрить его дом в свой участок, что не нуж-

но было ему это позволять, что теперь он будет пользоваться всякой зацепкой, хотя бы той, что участок их (это он проверил по плану дома) несколько превосходит разрешенные в городских условиях площади, и так далее.

Все-таки приятель ему посоветовал написать заявление и, дав бумагу и ручку, посадил на свое место. Заур сидел, сидел над этой бумагой и, не сумев ничего из себя выжать, кроме обращения к председателю городского совета, и чувствуя глупость и обреченность всего этого дела, порвал бумагу и встал, что вызвало прилив бодрости у его школьного товарища.

— Ведь у нас тут, понимаешь, — сказал он, — никто никогда не поверит, что ты так, бесплатно разрешил ему внедриться в свой участок. К тому же пристройка дома разрешается в самых исключительных случаях... Следовательно, он тут, в горсовете, явно дал кому-то в лапу, и они теперь никак не заинтересованы, чтобы ты выиграл дело.

— Да мне-то наплевать, — сказал Заур, — мать жалко, она никак не может примириться.

— Скажи матери, что ваш участок был больше положенного, — посоветовал тот ему напоследок.

Разумеется, мать никогда не могла утешиться этим жалким аргументом и с неутихающей ненавистью смотрела на дом процветающего адвоката. Заур просто перестал здороваться с ним, так ни разу и не поговорив о случившемся.

Первый раз, когда они встретились после возведения ограды, тот смущенно отвернулся, бросив блудливый взгляд на Заура. Заур тогда подумал, что все-таки адвокат испытывает

какую-то неловкость, но потом при каждой встрече тот просто опускал глаза, и, в сущности, Заур чувствовал и понимал, что сам он смущается всем этим гораздо сильнее адвоката.

Потом в один прекрасный день, когда он вернулся с работы, мать ему обреченно кивнула на дом адвоката:

— Полюбуйся!

Заур увидел новую водосточную трубу, прикрепленную к углу адвокатского дома. Конец трубы нагло был направлен на их участок.

— Он сказал, — продолжала мать, — что его участок слишком ровный, а у нас хороший сток воды.

Заур почувствовал наконец приступ бешенства.

— Объясни ей, Заур, — крикнул вдруг адвокат, выглядевший в окно и, по-видимому, понявший, о чем идет речь, — что тут ничего такого нет... Чего она оскорбилась?

— Сейчас объясню, — ответил Заур, продолжая чувствовать столь редкую для него силу бешенства, и полез под дом, где лежал у них колун.

— Эх, — вздохнула мать, глядя с ненавистью на адвоката, — пользуешься, что в моем доме нет мужчины... Но Бог все-таки есть...

В это время Заур с колуном в руке вышел из подвала и двинулся в сторону каменного забора.

— Ты что, Заур? — тревожно спросила мать. Он не отвечал.

— Ты что, Заур, с ума сошел?! — крикнул адвокат.

— Подожди, Заур! — крикнула мать и бросилась вниз с крыльца.

Но Заур был уже возле каменного забора. Он положил колун на стену и одним рывком взобрался на нее. Он поднял колун и по стене прошел к дому. Увидев приближающегося Заура, адвокат коровьим голосом закричал: «Убивают!» — и быстро захлопнул окно.

— Заур, умоляю! — крикнула мать, а Заур, злясь на них обоих за то, что они его неправильно поняли, быстро подошел к углу дома, откуда высовывалась труба. Он с размаху, но при этом успев рассчитать свою устойчивость, обухом топора ударил по рукаву трубы, направленному в сторону их участка. С первого удара рукав прогнулся. Со второго удара он со страшным грохотом полетел вниз. Заур спрыгнул с ограды и, подняв трубу, перебросил ее на участок адвоката.

— Так бы с самого начала, — сказала мать, окончательно успокаиваясь и не скрывая гордости за своего сына, который наконец показал, что он может постоять за себя. Адвокат никуда не жаловался, а просто устроил под своей трубой собственный водосток.

Вспоминая эту историю, Заур с какой-то странной теплотой подумал, что девушка его проявила первородное сходство с матерью, и это было ему приятно, и это же вызывало в нем грусть, потому что сходство это проявилось в одинаковом осуждении его нежелания постоять за себя.

И раз она, его девушка, слыхом не слыхавшая о Чегеме, думает так же, как его мама, выросшая в этой горной деревушке и унаследовавшая от своих предков неукротимую энергию первопроходцев, значит, они, наверное, правы.

И вдруг сейчас, представив, как она, притихшая, стояла под навесом пляжного склада в своем голубом полиэтиленовом плаще с капюшоном, под которым капли дождя на волосах светились, как драгоценные камни, и, вспомнив, с какой мучительной сладостью он пытался тогда вспомнить, кого она ему напоминает, он сейчас ясно осознал то, что тогда никак не мог осознать.

Именно в Чегеме в далеком детстве, живя в доме деда, он, роясь в ящике шкафа, среди всяких налоговых квитанций, дореволюционных и новейших фотографий однажды обнаружил старинную открытку с очаровательной девичьей головкой под капюшоном и тогда же, десятилетним мальчиком, слегка влюбился в эту головку.

Он на всю жизнь запомнил впечатление прелести этой головки, выглядывающей из-под капюшона, выражение хрупкости и дразнящего вызова, какую-то монашескую прикрытость ее и лукавую полуулыбку, как бы пародирующую эту монашескую прикрытость, и все это он тогда смутно угадывал и подолгу любил смотреть на эту открытку, в то же время боясь, что его за этим занятием могут застать другие дети или тем более взрослые.

Как странно, думал он, что он тогда в детстве не попытался перепрятать и сохранить эту открытку. И как странно, продолжал думать он, что потом ему всю жизнь нравились девушки, которым шел капюшон, и, как правило, у них всегда находилось пальто или плащ с капюшоном, а если не находилось, он мысленно нахлобучивал на них этот капюшон, но,

главное, у них всегда был такой тип лица, тип женской головы, которой шел капюшон.

Как странно, думал он, что такая случайность могла надолго, может быть навсегда, определить его вкусы. Но что удивительней всего, это то, что он, несмотря на страх перед разоблачением, никогда не хотел перепрятать куда-нибудь открытку и наслаждаться ею в полной безопасности.

В этом была, быть может, трагическая особенность его характера: никогда не улучшать для себя условия игры, которую ему придется вести с жизнью.

Это не было тайной гордостью, но было почти всегда неосознанным желанием проверить истинность того, чего он добивается.

И если он тогда, в детстве, не перепрятывал никуда эту открытку, то только потому, что воспринимал ее как внезапно открывшуюся ему всеобщую истину красоты. И если ему открылась истина, как же ее можно прятать и перепрятывать, ведь истина потому и истина, что она для всех.

Это было все равно, что попытаться спрятать вдруг открывшуюся красоту цветущего летнего дня. Другое дело, он мог стыдиться слишком бурной радости при виде этого цветущего дня, но день-то в этом не виноват, и как же ты спрячешь этот сверкающий, свежий, огромный день с его бездонным небом?!

И он, выбрав удобное время, подолгу рылся в ящичке шкафа, где открытка эта лежала среди безобразных снимков, которые делал приезжавший сюда раз в год кенгурийский фотограф, и не менее безобразных снимков, которые чегемцы при-

возили из Мухуса, куда они ездили продавать кукурузу, сыр, мясо, орехи и где их в те времена фотографировал безумный краснобородый хиромант, работавший на базаре, покамест его полностью не вытеснило оттуда государственное фотоателье, и он, забросив полумистику фотографии, окончательно перешел на чистую мистику хиромантии.

Тогда, в детстве, любуясь фотографией девушки на плотной дореволюционной бумаге, он не замечал, что снимок был наклеен на картон. И все другие дореволюционные фотографии тоже, казалось, были отпечатаны на плотной, негнущейся бумаге со штампами фирмы на обратной стороне, и наоборот, все фотографии нового времени были сделаны на тонкой, уже сейчас коробящейся и ломающейся бумаге.

И была во всем этом какая-то закономерность: в печальной плотности пожелтевшей мощной бумаги, где и лица хранили на себе отпечаток серьезности и даже монументальности происходящего, во всех этих снимках каких-то предков с руками на пистолетах и кинжалах, всех этих женщинах с приподнятыми на руках младенцами в белых рубашонках, в их мужьях, неизменно стоящих за их спиной с выражением иногда звероватой гордыни на лице. Все эти люди носили на своих лицах отпечаток понимания соприкосновения с вечностью. Они семьями уезжали в город фотографироваться с важностью людей, пишущих завещание или, точнее, оставляющих свой облик как зрительную исповедь.

Казалось, все эти люди фотографировались со знанием того, что скоро и они и весь их образ жизни исчезнут, и каза-

лось, они примирились с этой неизбежностью и были озабочены только одной необходимостью довести до будущих поколений свой закреплённый облик.

И наоборот, лица на новых фотографиях были какие-то смазанные, необязательные, словно люди понимают, что это баловство, а не закрепление себя в вечности, а главное, в глубине души чувствуют, что закреплять-то в общем нечего.

И вот смотрят с этих фотографий лица, позабывшие свое начало, отупевшие в бесконечном ожидании ускользающего будущего, лица людей, лишенных собственной судьбы. Именно лишенных собственной судьбы, потому что души их брошены в общий котел политической алхимии, где после великого опыта, окончание которого все время откладывается, откроют крышку котла и каждому вернут его душу, обогащенную золотым приварком всеобщего счастья.

Вот и говорят все эти смазанные, необязательные лица: мы это просто так снимаемся, главное-то не при нас, вот когда его возвернут нам, тогда мы и снимемся в полной форме с собственной судьбой, обогащенной золотым приварком. Но было в этих смазанных, необязательных лицах и выражение растерянной усталости: и вроде бы жалко себя, что столько времени прожили без собственной души, отданной в общий котел, да ведь не столько отданной, сколько отобранной, и вроде бы жалко возвращать ее себе без обещанного приварка, да уж больно долго ждать приходится, уж лучше бы возвернули ее, какая она ни есть, авось пригодится...



И Заур подолгу смотрел на эти лица. Почти все они были знакомы ему по Чегему, почти все они были соседи или родственники, и он любил их и жалел их, тогда еще неосознанно, просто испытывая печаль. И когда он переводил взгляд на открытку с прекрасной девушкой, печаль никуда не уходила, а вбирала в себя нежность к этой девушке и превращалась в какую-то сладостную мечту когда-нибудь встретить такую девушку и когда-нибудь увидеть все эти лица счастливыми и веселыми, может быть, таящими скрытую благодарность Зауру, который помог им вырваться из унылой затхлости бесплодного ожидания.

Да, высоко заносили его мечты! И все-таки, несмотря на то, что с годами ее детская яркость померкла, видоизменилась вместе с ядом жизненного опыта, что-то главное все-таки осталось. Осталась надежда встретить такую девушку и надежда что-то сделать для этих людей.

Заур давно понял, что сельское хозяйство страны зашло в тупик и с годами будет все глубже и глубже увязать в этом тупике, если не произойдет коренных изменений в отношениях между крестьянином и государством, выраженных в форме современного колхоза.

Он был уверен, что человек вообще, а крестьянин в особенности, тысячелетиями своего существования создан как частный инициатор и коллективизм тут совершенно неуместен и вреден не только для нормального развития сельского хозяйства, но даже для самой идеи коллективизма. Заур считал, что идея коллективизма таится в человеческой психике, заложена в нее еще со времен общинного существования

и этот рефлекс в нормальных современных условиях срывает во время стихийного бедствия, катастрофы или просто несчастья, постигшего другого человека.

И он считал, что этот рефлекс нельзя будить и пускать в ход для такого нормального ежедневного дела, как труд, потому что, как и всякий рефлекс, возбуждаемый без надобности, он будет слабеть и в конце концов будет с вялым равнодушием реагировать на сигналы бедствий, требующих коллективных усилий.

И вот вдруг при хрущевской оттепели в абхазских колхозах стали всходить, в сущности говоря, ростки арендных отношений. Малопродуктивные или маленькие участки земли, непригодные для тракторов или просто отдаленные, отдавались в частном порядке колхозным семьям, обычно на таких условиях: половина урожая колхозу, половина тому, кто обработал.

Заур не имел возможности проследить за тем, как эта форма отношений возникла в колхозах и полулегально продолжает существовать. Скорее всего, она возникла стихийно, благодаря либерализации. Какой-нибудь крестьянин, уже не веря, что его за это арестуют, мог сказать председателю, кивнув на заброшенный земельный участок:

- Дай-ка я посею здесь кукурузу. Все равно пропадает!
- Давай! Половина колхозу, половина тебе... Идет?
- Идет!

Такой разговор был вполне мыслим, именно благодаря либерализации. Уменьшилась ответственность за здравый смысл. (Заур, думая об этом и именно в этих выражениях, не замечал

их парадоксальности, настолько парадоксальность была растворена в самом воздухе времени.) Председатель колхоза вполне мог так разговаривать, уверенный, что теперь ему за это не пришлют «контрреволюцию».

Сейчас во многих местах это делали, и Заур всеми способами, где прямо, где обходными путями, старался проверить рентабельность этих микроостровков частной инициативы. Уже два года он по крупницам собирал такого рода материалы, чтобы иметь в руках неопровержимые факты. По данным, которые он имел от крестьян, с этих участков в среднем получали в три раза больший урожай, чем с колхозных полей. Он знал, что эти данные не могут быть преувеличены, они могут быть только преуменьшены. Председатели колхозов, да и крестьяне, неохотно распространялись с чужаком на эту тему. Но если, что тоже бывало, они убеждались, что Заур для себя, а не для начальства интересуется их делами, они охотно говорили с ним об этом.

Однажды, разговаривая со старым крестьянином, додившимся ему дальним родственником, Заур спросил:

— А что, если бы власть сказала: «Кто хочет, пусть выходит из колхозов»? Ты бы вышел?

Старик крепко задумался, а потом неожиданно выдохнул:

— Нет.

Заур был поражен, но ответ-выдох был столь решительным, что он не стал спрашивать о причинах. Колхоз, в котором жил этот родственник, был не из лучших, но и не слабый. Видимо, он свыкся с этим образом жизни, приспособился

к нему и не хотел на старости лет ничего менять. Да, все не так просто, подумал Заур.

Другой старик из другого села рассказал ему о забавной встрече со Сталиным. Это было в самом начале тридцатых годов. Сталин отдыхал в Абхазии и решил устроить что-то вроде «завтрака на траве» в обществе местного крестьянина. Нестор Лакоба, сопровождавший Сталина, прихватил этого человека с собой. Крестьянин на всякий случай скрыл от Нестора Лакобы, что он понимает по-русски.

Лесная лужайка. Костерок. Шашлычки. Вино. Представитель народа успел заметить, что в лесу перемелькивала охрана. Да и рядом сидели охранники.

Во время этого идиллического завтрака вдруг откуда ни возьмись появилась оса. Она пыталась не то сесть на тарелку вождя, не то на его руку. Одним словом, намерения ее были не вполне ясные, но вполне хулиганские. Вождь несколько раз отмахивался от нее, но она упорно вибрировала над его тарелкой. Не отстает и все.

Вокруг всполошились с намереньем прихлопнуть ее то ли полотенцем, то ли метким выстрелом из пистолета. Но товарищ Сталин легким мановением руки отверг эти грубые способы расправы и, взяв вилку, замер. Оса долго кружила над его рукой и тарелкой, капризно не решаясь выбрать посадочную площадку. Товарищ Сталин дождался, когда она наконец успокоилась в тарелке, и, медленно протянув руку, раздавил ее вилкой. Потом приподнял ее той же вилкой, отбросил в сторону и сказал:

— Она не знала моего главного преимущества. Я тэrpелив...

В конце затянувшегося завтрака Сталин спросил у крестьянина:

— Как ты относишься к колхозам?

Лакоба перевел ему и без того ясный вопрос. В Абхазии тогда колхозы только вводили.

— Пусть откроют в двух-трех селах. А мы посмотрим. Если будет хорошо — и мы вступим, — не без лукавства ответил он вождю.

Лакоба перевел ответ.

— Некогда, некогда, — сказал Сталин, нахмурившись. Но видимо, чудный осенний день, шашлычок, костерок, вино, багряный лес, утыканный охраной, располагали вождя к благодушию, и он простил крестьянину его не вполне удачный ответ. На прощание Сталин даже сказал, обращаясь к Лакобе:

— Пусть просит, что хочет.

Лакоба перевел.

— Нам бы гвозди, — осторожно попросил крестьянин.

— Проси школу, — по-абхазски шепнул ему Лакоба.

— Нам бы гвозди и школу, — попросил крестьянин. Лакоба перевел.

— Будут вам и гвозди, и школа, — пообещал Сталин и уехал.

И в самом деле, вскоре прислали гвозди, открыли школу, но и ввели колхоз.

С кротким юмором, рассказывая Зауру об этой встрече, старик добавил:

— Может, не надо было просить гвозди? А как не попросишь, когда такой человек велит просить?

А другой, тоже старый крестьянин, с которым Заур завел разговор о колхозе, раздраженно отмахнулся, словно он у него спрашивал о здоровье давно и безнадежно больного человека. И вдруг с неожиданным жаром выкрикнул:

— У нас в деревне в тридцать седьмом году взяли восемьдесят пять человек! Это на двести дворов! И кого взяли! Кровь с молоком! От двадцати до сорока лет! Самых крепких!

— Почему? — опешил Заур. Про такое он не слышал. Он думал, что тридцать седьмой коснулся в основном города, и ему теперь было стыдно.

— Не знаю, — ответил старик, но, спохватившись, поправился: — Вернее, знаю. Тут у нас рядом Мюссера. Там Сталин отдыхал. Боялись покушения. Но какое может быть покушение! Туда близко никого не подпускали. Охрана! Птица не пролетит! Мышка не прошмыгнет!

Он это сказал с такой страстью и даже горечью, что Заур вдруг ясно представил — обе стороны считали вполне естественной возможность покушения. Ему представилось, что тиран, просыпаясь по утрам и осознавая, что все еще жив, думал про себя: ага, значит, им на этот раз не удалось. Теперь моя очередь...

Во время этих своих поездок Заур убедился, что коллективизация низинной Абхазии была гораздо более кровавой, чем он думал. Раньше он о ней судил по своему родному Чегему, где скот отняли, но людей не тронули. По-видимому, учитывали, думал Заур, что у горцев больше возможности сопротивления. Иначе не объяснишь. В том безумии была и оглядчивая осторожность. Да и сам создатель ассирийского государства,

так его иногда называл Заур, обладал мощным уголовным чутьем на возможность сопротивления как отдельных людей, так и целого народа.

Да, народ за все это время сточился, разнародился, одичал. В селах Абхазии, неслыханное дело для крестьян, тысячами производящих вино, появились алкоголики.

Маленькие, скрытые островки арендных отношений, по мнению Заура, не только оздоравливали сельское хозяйство, но оздоравливали и самих крестьян. Без работы от души, с полной самоотдачей нет и не может быть духовно здорового человека. В этом Заур был уверен. Особенно же это было верно для крестьянина, у которого плоды его труда целый рабочий год торчат перед глазами или наводящими уныние карликовыми всходами или бодрящим, смачным шелестом мощных кукурузных стеблей. Вернуть крестьянину радость изобилия и цветения, и он сам оздоровится и расцветет.

Обо всем этом и о многом другом, связанном с глубинной, скрытой от посторонних глаз крестьянской психологией, он написал статью, в которой призывал к постепенному, осторожному переходу, где это выгодно (боевая хитрость: сам он считал — везде выгодно), к арендным отношениям. Эту свою работу, много раз тщательно переписанную, а потом отпечатанную на машинке, он вложил в большой конверт и послал в Москву в ЦК партии.

Он считал, что его работу или примут к сведению и тогда пусть постепенно, но начнется новая эра в сельском хозяйстве страны, или его накажут, как носителя чуждых взглядов. Он

был готов и к такому обороту дела и потому недогнувшей рукой передал конверт в окошечко почтамта. С тех пор прошло уже около полугода, но на его письмо не было никакого ответа. Он смирял свое нетерпение и упрямо ждал и верил, что ответ рано или поздно придет. Не может такое послание остаться безответным. Конечно, там, наверху, прежде чем давать ему ответ, советуются со многими специалистами. Пусть советуются, думал он, пусть всесторонне обдумают и взвесят проблему.

Вот в чем заключалась его идея, которой он жил в последние годы, а в сущности, готовился к ней, сам того не сознавая, всю жизнь.

Заур много раз бывал в доме Вики. Это была состоятельная, а по разумению Заура, богатая и счастливая семья. Отец ее был профессором, одним из ведущих работников крупного научно-исследовательского института. Мать, будучи рангом пониже, работала в том же институте.

Отец Вики часто бывал в заграничных командировках, откуда привозил своим женщинам (была еще сестра Вики, школьница) всякие красивые тряпки и киноленты из жизни далеких стран.

В первый же вечер, когда Вика привела Заура к себе домой, отец ее, едва познакомившись с ним, стал тут же расставлять свою киноаппаратуру и демонстрировать фильм с какими-то американскими городами, загородными виллами и пляжами. Он только что вернулся с научной конференции, которая состоялась в Америке.

Фильм показался Зауру наивным, неинтересным и чуждым. И ему тем более было удивительно, что отец Вики с яв-



ным удовольствием смотрел сам этот свой фильм и с удовольствием рассказывал о нем. Заур потягивал в темноте коньячок, выставленный вместе с закуской матерью Вики, и молча выслушивал восторженные комментарии профессора к своему фильму.

Заур и по своему институту знал, как притко стремятся в загранпоездки не только молодые, но и многие седоглавые ученые. Сам Заур ни разу палец о палец не ударил, чтобы куда-нибудь поехать. В этом отношении, как и во многих других, он рассуждал просто и резко: когда в доме у тебя больной — нечего шастать по чужим домам. В доме родины, считал Заур, была больна сама родина.

Его смешил комический парадокс, заключенный в самих этих поездках. Посылали в загранпоездки тех, кого начальство считало наиболее достойными работниками. Получалось, что в награду за хорошее строительство социализма человеку предоставляли праздничную поездку в страну капитализма. А ведь для истинного строителя социализма это должно было быть наказанием.

Заур в доме профессора был принят радушно, как жених или будущий жених Вики. Догадываются ли они о наших отношениях, думал иногда Заур, но ничего не мог ответить на этот свой вопрос.

Однажды отец Вики предложил Зауру поступать в аспирантуру педагогического института, намекнув на свои дружеские отношения с ректором института. Заур мягко отстранил это предложение. Намек профессора показался ему на-

ивным. В другой раз профессор удивил его еще большей наивностью.

В тот вечер у них в доме была молодежная вечеринка. Отец Вики принимал в ней участие и ничем не портил общего веселья. Во время танцев он наклонился к Зауру и, показывая глазами на одну из девушек, предложил с ней потанцевать. Заур ответил, что ему неохота.

— Она дочь секретаря горкома, — шепнул ему отец Вики.

— Ну и что? — удивился Заур.

— Как «ну и что»? — в свою очередь удивился отец Вики.

Кстати, отец Вики имел хобби, он собирал старинную русскую мебель. Это, вероятно, невинное увлечение почему-то раздражало Заура. В доме слишком часто, по его мнению, говорили о походах в комиссионные магазины.

— Как вам нравится мой русский ампир? — однажды спросил он у Заура.

— Меня больше занимает русский амбар, — насмешливо ответил Заур.

— Остроумно, — кивнул профессор, кисло улыбаясь, и впервые подумал, не опасен ли этот молодой человек для его дочки.

Все же родители Вики нравились ему своим гостеприимством и радушием. Но он чувствовал, что между ними стоит и, вероятно, всегда будет стоять одна преграда. Заур не знал, как ее назвать, но этой преградой была их необъяснимая психическая простота.

Вернее, объяснимая. Заур чувствовал, что суть этой простоты состоит в том, что они — хозяева жизни, они не знали

ни тридцать седьмого года, ни иных потерь. Они как бы не подозревали, что кроме официального объяснения жизни есть и другое, совсем непохожее на него объяснение жизни.

К тому же они, по разумению Заура, были богаты. Но они были не так богаты, как был богат его сосед, модный адвокат, и многие другие, которые нажились на той или иной форме мошенничества. Богатство родителей Вики было законным вознаграждением этого государства за их труд. И это их делало непохожими ни на семьи местных воротил, ни на семьи, подобные семье Заура.

Его зарплаты и материнской пенсии едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Заур был непривередлив в еде, в одежде, в быту. И все-таки бедность его унижала. Его унижала обстановка в доме с ужасным комодом, шкафами, буфетом, колченогими стульями. От отцовского дома у них осталась только комната и веранда, все остальное было продано после его ареста.

Мать развесила по стенам десятки фотографий родственников, в основном умерших. И этот ее патриархальный культ мертвецов, который он не мог ей запретить, усиливал неуют их дома. Из-за этого Заур редко приглашал в дом друзей и никогда — знакомых девушек.

Заур стыдился своей бедности, но странным образом в нем уживался этот стыд с твердым пониманием того, что ему неинтересно и никогда не будет интересно заниматься вещами и тряпками. Даже если для этого у него будут время и деньги.

Его честолюбие парило в более высоких сферах. Он чувствовал, что ему дано что-то такое, что раз и навсегда ставит его

выше всех этих низменных, как он считал, меркантильных интересов.

Но в условиях, когда все кругом, подобно соседу-адвокату, старались как можно больше отхапать в жизни, а для этого не гнушались ни воровством, ни взятками, в этих условиях трудно было сохранить презрение к материальным благам жизни. Слишком много людей вокруг жили исключительно этим ненасытным желанием как можно больше урвать. В глазах этих людей бедность его, молодого, полного сил человека, выглядела, как следствие его бездарности и даже никчемности.

И Заур, как это ни грустно, стыдился своей бедности и одновременно стыдился своего стыда.

...После отданного без боя пляжа Заур, как ему казалось, укрепил свои позиции в парке закрытого санатория. Он был расположен примерно на полдороге между пляжем и школой, где находился избирательный участок.

Это был замечательный парк, созданный еще до революции русским миллионером Смицким для своей, надо полагать, горячо любимой чахоточной жены. Он собрал в этом парке многие виды флоры со всех частей света.

После революции, насколько знал Заур, бывший миллионер продолжал жить при своем парке, где теперь работал садовником. Жена Смицкого, пережившая его, уже в тридцатые годы продолжала здесь жить и зарабатывала на жизнь тем, что давала частные обеды более или менее состоятельным отдыхающим.

К концу тридцатых годов в парке вырос закрытый или даже сверхзакрытый санаторий, потому что здесь, случилось, от-

дышали самые большие люди страны и даже сам Сталин. Видимо, по этой причине санаторий имел свою запасную электростанцию на случай, если выйдет из строя общегородская.

После смерти Сталина санаторий из закрытого типа перевели в полужакрытый. То есть теперь тут могла отдыхать не только партийная элита, но и научно-хозяйственная. Впрочем, партийная элита брезгливо рассосалась по другим санаториям, все еще достаточно закрытым.

В прошлом и позапрошлом году здесь отдыхал известный академик, ученик Вавилова, чудом уцелевший на какой-то забытой Богом (и Лысенко) научной станции.

Заур, познакомившийся с ним на одном банкете и понравившийся ему, возил его по Абхазии и несколько раз приходил сюда к нему в гости. Вахтеру достаточно было посмотреть на паспорт, удостовериться по списку, что человек этот приглашен сюда, чтобы пропустить его в парк.

В первый год академик был настроен бравурно и говорил, что парк этот со дня на день будет передан Академии наук как прекрасная база для растениеводства. Он говорил, что вопрос этот вот-вот решится. Но вопрос этот не решился ни в том году, ни в следующем, ни в каком.

Заур из этого сделал вывод, что либерализация осторожно остановлена, что если сломаны некоторые перегородки, то есть большее количество людей допущено к высшим благам, то это не значит, что будет сноситься главная перегородка, после чего ничего не останется, как придать закону универсальный, а не частный, как это сейчас делается, юридический

смысл. Однажды, гуляя с этим солидным ученым по парку, Заур заметил в глухом верхнем углу забора большую дыру, совершенно очевидный, хотя явно и незаконный, проход. Тогда же он заметил, как дюжина женщин, громко разговаривая и подтрунивая друг над другом, устремилась в этот проход. Некоторые из этих женщин держали в руках косы. И вдруг Заур на несколько мгновений забыл, где он находится. Ему показалось, что он в барской усадьбе девятнадцатого века, а это бабы, косившие траву, пошли по домам.

Потеряв пристанище на пляже, Заур вспомнил про этот пролом в заборе парка закрытого санатория и пришел к нему со своей девушкой. Там, где в прошлом году зияла дыра, сейчас были прибиты две невыкрашенные доски. Заур подошел к забору и качнул одну из свежеприбитых досок. Она оказалась снятой с нижнего гвоздя и легко отодвинулась в сторону. Вторая доска тоже оказалась освобожденной от нижней перекладины. Раздвинув эти два золотистых луча, он провел ее в парк.

— О, — воскликнула она шепотом, — как тут здорово!

Прямо возле забора проходила асфальтовая дорожка.

Она опоясывала территорию парка. За асфальтовой дорожкой начиналась мандариновая плантация.

Заур взял Вику за руку, и они осторожно прошли под мандаринами и вышли в парк, где росли секвойи, кедры и слоновые пальмы.

— Баобаб! — воскликнула она и подбежала к ближайшей пальме с огромным серебристым стволом. Она обняла гладкий ствол могучего дерева тем радостным жестом ребенка, ко-

торый пытается поднять взрослого, сам понимая, что поднять его не сможет, но выражая этим свою нетерпеливую радость.

— Это не баобаб, — сказал Заур, улыбнувшись ей, — это слоновая пальма.

— Нет, баобаб, — отвечала она, прижимаясь к стволу и обнимая его руками, словно защищая ствол от покушения и словно говоря своим строгим взглядом: «Не трогай нас...»

И Заур потянулся к ней на этот обороняющийся, а на самом деле зовущий жест, и вдруг снова разглядел вблизи ее хорошо очерченные крупные губы, и поцеловал ее долгим поцелуем, чувствуя губами молодую крепость ее охолодевших на воздухе губ.

Через три дня, когда они лежали на плаще Заура под пахучим кустом мандарина и он затекшим боком чувствовал неровность сырой, бугристой земли и удивлялся, что Вика ничего этого не чувствует, он вдруг увидел идущего в белом лунном свете сторожа с овчаркой.

Они шли по асфальтовой дорожке. Холодея от ужаса, Заур догадался, что сторож с овчаркой не просто проходят, а именно ищут их. Они шли сверху, скорее всего, от той самой дыры в заборе.

Продолжая лежать и боясь, что девушка вдруг что-нибудь скажет, он тихо прикрыл ей рот ладонью и, приподняв голову, следил за дорогой. Он слышал шаги сторожа и видел мгновеньями исчезающую за кустами мандаринов и снова появляющуюся серую тень собаки. Ему казалось, что он слышит, как она с хищной сладостью втягивает ноздрями запах их следов.

Вот они поравнялись и пошли дальше. Заур облегченно вздохнул. Обыкновенная дворняга, наверное, их присутствие

обнаружила бы, а эта сторожевая овчарка, целиком углубившись в свое дело, не заметила их. То, что собака искала именно их, теперь Заур знал точно, потому что, пройдя еще шагов тридцать, она свернула по их следам, а не пошла дальше по асфальтовой дорожке.

Именно там они свернули сегодня, и, прежде чем прийти к этому развесистому кусту мандарина, где они устроили бедное свое ложе, они ходили к той самой слоновой пальме, которую она обнимала в первый вечер. Это было достаточно далеко от того места, где они сейчас лежали.

— Мой баобаб нас выручил, — сказала она, нырнув в пролом в заборе и выбегая на дорогу.

\* \* \*

Через несколько дней Зауру пришла в голову дерзкая мысль сделать местом свидания директорский кабинет школы, где был расположен их избирательный участок. Он сообразил, что ночью, когда уйдут все агитаторы, можно проникнуть в школу через окно спортзала, откуда легко перейти в учительскую, а из учительской в директорский кабинет. Там стоял великолепный диван. Заур знал, что в школе запирают только наружные двери, ключ от которых у Автандила Автандиловича или у его заместителя.

Вечером, когда собрались все агитаторы, он прошел в спортзал, раскрыл окно и тихонько прикрыл его так, чтобы оно изнутри казалось закрытым. В ту же ночь в одина-



дцать часов он с Викой вошел во двор школы, обошел здание и остановился возле окна. Стоя достать до створки окна было невозможно. Он подпрыгнул и в прыжке открыл окно. Следующим прыжком он уцепился за подоконник, напряг все силы, подтянулся и залез на него. Он опустился вниз и, перегнувшись над подоконником, достал руками вытянутые руки своей девушки. Он взял ее за кисти и стал изо всех сил подтягивать вверх, пока она не легла грудью на подоконник. Тут он перехватил ее под мышками и втянул в помещение.

В течение трех ночей они упивались безопасным уединением в кабинете директора, а на четвертую ночь, когда они уже собирались уходить, он вдруг услышал какой-то стук в дальнем конце здания.

— Тише! — сказал он ей и замер. Они сидели на диване. Вдалеке хлопнула входная дверь и раздались шаги. Шаги делались все отчетливей и отчетливей. Кто-то вошел в учительскую. Он услышал рядом с мужскими шагами стук каблуков и шепчущий голос женщины. В следующее мгновение распахнулась дверь кабинета, и в дверях остановились два силуэта, мужчины и женщины. Мужчина протянул руку, нащупал выключатель и зажег свет. Это был Автандил Автандилович с какой-то высокой, русоволосой женщиной. Заур ее никогда в Мухусе не видел, она была явно приезжая.

Когда Автандил Автандилович увидел их, лицо его приняло сначала испуганное выражение и челюсть его стала медленно отваливаться. Зауру показалось, что она отваливается

бесконечно долго и никак не может отвалиться. В тишине вдруг раздался тихий, воркующий смех его спутницы.

— Ты что здесь делаешь?! — спросил Автандил Автандилович с таким возмущением, словно застал его в собственном доме. Воркующий смех его спутницы вывел Заура из растерянности.

— То же самое, что и вы, — спокойно ответил ему Заур.

— То есть как?! — тихо взревел Автандил Автандилович, ибо как ответственный работник не мог признать равенства даже в этом.

— Так, — сказал Заур и, подхватив под руку свою девушку, прошел мимо Автандила Автандиловича и его спутницы, все еще смеющейся тихим, воркующим смехом. Они явно пришли сюда после какого-то затянувшегося застолья, спутница его была слегка пьяна.

Зауру показалось, что Автандил Автандилович не запер входную дверь, поэтому он смело устремился к выходу вместе со своей подругой. Дверь в самом деле оказалась незапертой.

Окунувшись в ночную прохладу и быстро перейдя дворик школы, они вышли на улицу, и тут на них напал смех, и они несколько минут корчились от смеха, припадая друг к другу, вспоминая выражение лица Автандила Автандиловича и время от времени поглядывая на здание школы, где светились окна директорского кабинета. Вскоре они погасли, как и следовало ожидать.

— Так-то лучше, — сказал Заур, кивнув на погасшие окна.

Но что было делать дальше? Теперь у них отняли и это их последнее укрытие. Они продолжали встречаться в городе,

ходили в кино, а потом долго и горестно целовались в подъезде ее дома.

Заур возобновил знакомство со своим давним приятелем, который жил один в трехкомнатной квартире, и они однажды остались ночевать у этого приятеля. Дома она сказала, что идет на день рождения подружки, где останется на всю ночь. Приятель этот оказался настолько добрым, что просил приходить и оставаться у него, когда только им захочется. Но тут случилось событие, которое помешало Зауру пользоваться его гостеприимством.

\* \* \*

В тот день в комнате, где он работал, раздался звонок, и сотрудница, оказавшаяся рядом с телефоном, подняла трубку.

— Тебя, Заур, — сказала она и положила трубку на стол. Заур подошел к столу и поднял трубку.

— Я вас слушаю, — сказал он, прислушиваясь к трубке и стараясь отделиться от шума комнаты.

— С вами говорит следователь Григорьев, — сказал голос в трубке. — Вы не могли бы зайти в городское отделение милиции, комната десять?

— Когда? — спросил Заур, задыхаясь от волнения. Ему показалось, что его вызывают по поводу его письма в ЦК. Но волнение его через несколько секунд улеглось, он понял, что вызывают его не по этому, а совсем по другому поводу.

— Сейчас, если вы свободны, — сказал голос.

— Хорошо, я зайду, — спокойно ответил Заур и положил трубку.

Заур не боялся встречи со следователем, но все-таки испытывал некоторую настороженность. Он вышел на озаренную майским солнцем улицу, вдыхая свежий воздух и вспоминая то, что случилось неделю назад.

Все началось с такого же звонка в отдел. Он первым подошел к телефону. Он ждал звонка. Так оно и оказалось. Звонила Вика. Они должны были условиться о сегодняшней встрече. Заур старался говорить односложно, чтобы другие работники отдела поменьше понимали, о чем он и с кем говорит.

Особенно ему не хотелось, чтобы его слышал Алексей, работавший с ним в одном отделе. Недавно он узнал, что Алексей когда-то пытался приударять за Викой. Но кажется, дальше нескольких совместных посещений кино у них дело не пошло.

Зауру навсегда врезалось в память, как Алексей, остолбенев, остановился на улице, когда впервые увидел их вдвоем. Потом она рассказала ему о своем знакомстве с Алексеем, и он не придавал этому большого значения.

Правда, позже у Заура с ним было полуобъяснение, во время которого он слишком много сказал о степени своей близости с Викторией, хотя всего и не сказал. Но и сказанное было лишним, о чем он потом жалел и стыдился до сих пор, но исправить уже было ничего нельзя. Это получилось так, потому что Заур как-то слишком запомнил остолбенение Алексея, да и Алексей как-то повернул разговор, что шансы у обоих вроде бы равны и еще неизвестно, с кем она предпочтет

дружить в будущем. И Заур не из бахвальства, а просто чтобы объяснить Алексею, чтобы рассеять его ложные иллюзии, сказал ему то, что нельзя было говорить, не унизив своих отношений с Викой.

Больше они никогда не затрагивали этой темы, вернее, Заур уклонялся от всяких разговоров, хотя время от времени чувствовал признаки навязчивого любопытства Алексея. Было в нем какое-то упорство, которое Заур посчитал следствием нравственной тупости. Так, однажды в ресторане Алексей пригласил танцевать какую-то незнакомую девушку. Та отказалась, но он, вместо того чтобы отойти от нее, как сделал бы всякий нормальный человек, проторчал возле нее минут двадцать и все-таки добился, что она пошла с ним танцевать. Может, и здесь он надеялся на свое упорство.

И во время того телефонного разговора Заура с Викторией Алексей подошел к столу, возле которого стоял Заур с телефонной трубкой, и стал перебирать бумаги, словно ища необходимую ему, а на самом деле прислушиваясь к трубке и стараясь определить голос девушки, разговаривающей с Зауром.

— Что, свидание? — спросил он, когда Заур положил трубку.

— Да, — сказал Заур неожиданно для себя, — свидание с Викторией... Мы сегодня идем в гости к Юре Васильеву.

Заур навряд ли сам смог бы объяснить, почему он сказал ему правду. Отчасти эта правда была мистической платой за то, что Заур добился расположения девушки, с которой Але-

ксей потерпел крах. Отчасти это было свойством его натуры, нежеланием таить в себе какую-то двусмысленность, какую-то ложь или коварство.

— А-а-а, к Юре, — протянул Алексей, — я тоже, может быть, приду..

Заур пожал плечами, что означало: я сам гость, а ты, если хочешь прийти, договаривайся с хозяином. Они оба были достаточно хорошо знакомы с хозяином дома, но, разумеется, Заур не стал бы приходить к нему в гости, если б тот не пригласил его. Заур знал, что у Алексея хватит нахальства притащиться в гости, даже когда его никто не звал.

В тот вечер Заур благополучно встретился с Викой, и они зашли в гастроном и купили бутылку коньяку и коробку конфет. Молодой архитектор Юра Васильев жил в отличной трехкомнатной квартире в центре города. Год назад родители его уехали в долгую, на несколько лет, заграничную командировку, и он оказался владельцем этой удобной во всех отношениях квартиры. Не реже чем раз в неделю в ней собирались шумные компании молодежи.

Вот и сейчас, когда Заур с Викторией вошли в дом, там оказалось множество знакомых и полужаных молодых людей со своими женами и девушками. Женщины накрывали на стол, готовили в кухне какой-то шикарный салат, а мужчины помогали им или курили, похаживая по комнатам в праздничном ожидании застолья. Все были здоровы, веселы, доброжелательны, потому что были молоды, полны сил, нравились друг другу и сами себе.

Вечеринка была в разгаре, когда раздался звонок. Хозяин пошел открывать, и через несколько минут в дверях появился Алексей с их общим знакомым забулдыгой-художником.

Их усадили за столом поблизости от Заура, и, казалось, они вошли в струю общего приподнятого настроения. Но потом Заур заметил, что они оба сильно выпившие, а Алексей начал бросать двусмысленные замечания по поводу отношений Заура и Вики.

Одно из этих замечаний оказалось настолько грубым, что неожиданно за столом все замолкли. Заур не успел сообразить, как отвечать на этот выпад, когда встал хозяин и вызвал Алексея в переднюю, куда поплелся в знак солидарности и забулдыга-художник.

Через минуту хлопнула входная дверь, и хозяин, довольно улыбаясь, вошел в комнату. Он их просто выставил за дверь. Заминка была преодолена, и веселый праздничный вечер продолжался. Некоторое время Заур чувствовал неловкость, что хозяин, а не он разделался с оскорбителем. Но и он вскоре забылся, тем более что Вика погладила его руку под столом, этой тайной лаской показывая, что она нисколько не сердится на глупое замечание Алексея и призывает следовать ее примеру.

Около двенадцати часов гости стали расходиться. Заур с хозяином, веселые, немного пьяные, пошли провожать всех этих милых людей, с которыми они сегодня так хорошо провели время. В доме оставались только жена архитектора и Вика.

Посадив гостей в автобусы и такси, Заур с хозяином вернулись назад. Они вошли во двор, и глазам их открылось необыкновенное зрелище.

Во дворе стояли две милицейские машины, и несколько милиционеров толпились у подъезда, куда они собирались войти. Один из них держал на поводке овчарку. Зауру показалось, что милиционер хочет, чтобы овчарка их обнюхала. Опасливо косясь на нее, Заур и Юра вошли в подъезд и позвонили в квартиру. Она была расположена на первом этаже.

Испуганные женщины открыли им дверь. Оказывается, после их ухода Алексей со своим забулдыгой-художником звонили в дверь, но женщины им не открыли, говоря, что в доме никого нет, что хозяин ушел провожать гостей.

Кажется, так и не поверив им, Алексей со своим дружкой куда-то ушли, а через некоторое время в квартире, расположенной рядом, раздался звон разбитого вдребезги оконного стекла и дикий вопль хозяина квартиры, председателя горсовета, как выяснилось. Женщины выразили довольно правдоподобную догадку, что это дело рук Алексея и его друга, что они просто спутали окна.

За стеной еще долго раздавались голоса хозяина и работников милиции. За окнами тоже слышались шаги каких-то людей. По-видимому, к окну подвели собаку и пытались навести ее на след злоумышленников.

На следующее утро, когда Заур и Вика завтракали с хозяйками квартиры, раздался звонок в дверь. Хозяин пошел открывать и ввел в комнату Алексея и забулдыгу-художника. Выглядели они жалкими и растерянными. Они пришли извиниться за содеянное вчера и обещали привести стекольщика, чтобы вставить разбитое окно.



— Окно вы не нам разбили, — сказал хозяин, не в силах скрыть улыбки, — приводите стекольщика к председателю горсовета.

Он кивнул на квартиру, расположенную рядом. Алексей побледнел и, посмотрев на окна, убедился, что они целы.

— Кстати, чем это вы шарахнули ему в окно? — спросил Юра.

— Да кирпичом, — вздохнул Алексей. — Если он узнает, мы пропали...

— Вчера тут с собакой вас искали, — сообщил Юра. Алексей и его дружок стояли, переминаясь, и вид у них был жалкий. Всем своим видом они умоляли не выдавать их, хотя просить об этом не осмеливались. Забулдыга-художник к тому же ухитрялся застенчиво поглядывать на бутылку с остатками вчерашней водки, но ему никто не предложил выпить.

Только они ушли, как в квартиру раздался звонок, и хозяин впустил самого мэра города. Это был высокий мужчина с красивой серебристой сединой в волосах. Глядя на его представительную фигуру, трудно было вообразить, что это он вчера ночью орал благим матом.

— Послушайте, — сказал он, — у вас вчера, судя по шуму, были гости... Не было ли между ними какой-нибудь ссоры?

Теперь видно было, что он вчера сильно перетрухнул.

— Нет, — отвечал хозяин, — все это случилось, когда я вместе с товарищем пошел провожать гостей...

Мэр города покосился на Вику и на Заура, как бы чувствуя, что утреннее пребывание их здесь свидетельствует о беспорядке, который может быть звеном в цепи беспорядков, приведших

к тому, что у него выбили стекло. Казалось, он чувствует, что случившееся связано с этой квартирой, но никак не может ухватиться за какое-нибудь доказательство. Он медленно повернулся и вышел из комнаты, и хозяин закрыл за ним дверь.

Через несколько дней Юру Васильева вызвали в городское отделение милиции, где, пытаясь напасть на след злоумышленника, его допрашивал следователь. Судя по всему, делу был дан серьезный ход, подозревали попытку убить председателя горсовета. Эту версию он сам и выдвинул. Делом заинтересовались в обкоме партии, и следователь пытался выжать из молодого архитектора хоть что-нибудь. Однако выжать ему ничего не удалось.

Обо всем этом Юра рассказал Зауру, и вот через несколько дней звонок, и его вызывает следователь. Немного взволнованный, но никак не растерянный, он шел к зданию городской милиции. По дороге он встретил знакомого старого актера. Это был очень хороший актер, но сейчас по старости он почти ничего не играл, слонялся по городу с развевающейся львиной гривой: то здесь постоит поговорит, то там присядет и выпьет кофе.

- Куда разогнался? — остановил он Заура.
- Следователь вызывает, — ответил Заур.
- Следователь? — удивился актер. — Что за дело?

Заур вкратце, не выдавая истинных виновников происшествия, рассказал о случившемся. Актер вынул из кармана коробку монпансье (он бросил курить), взял сам конфету и предложил Зауру.

— А вид у тебя такой, что ты за подарком летишь, — сказал актер, вкладывая в рот леденец.

— Чистая совесть, — ответил Заур шутливо и тоже положил конфету в рот.

— Время, — многозначительно поправил его актер, — время сдвинулось.

Он пожелал ему удачи и пошел своей дорогой. Да, в самом деле, думал Заур, подходя к зданию милиции, время здорово изменилось. За спиной Заура, внушая ему уверенность, незримо стоял Двадцатый съезд партии. Уверенность была настолько сильна, что Заур, отыскав десятую комнату, хотел было проглотить конфету, но потом решил: с какой стати! — и, незаметно посасывая ее, приоткрыл дверь.

— Можно?

— Пожалуйста, входите, — сказал пожилой человек, вставая из-за стола и протягивая ему руку.

Следователь был человеком маленького роста с помятым усталым лицом. Раньше навряд ли, подумал Заур, следователи так встречали тех, кого они подозревали в преступлении.

Заур сел напротив него. Следователь закурил папиросу «Беломор». У Заура возникло ощущение старомодности этой привычки следователя курить папиросы «Беломор», когда почти все перешли на сигареты. Посмотрим, как ты выудишь у меня правду, подумал Заур, уверенный, что в этой игре он будет сильней этого маленького следователя с помятым усталым лицом.

— Вы, наверное, не подозреваете, по какому делу я вас вызвал? — спросил следователь.

— Нет, — сказал Заур.

— Помните, неделю тому назад, когда вы были в гостях у своего друга, там рядом кто-то выбил стекло?

— Да, помню, — ответил Заур.

— Что вы можете сказать по этому поводу? — спросил следователь и, затянувшись, положил папиросу в пепельницу.

— Ничего, понятия не имею, кто это сделал.

— Из гостей никто не мог? — спросил следователь и, взяв папиросу из пепельницы, затянулся.

— Нет, — сказал Заур, — как раз все это случилось, когда мы провожали гостей.

— Значит, вас вообще не было в доме в тот момент?

— Да, — сказал Заур.

— Все-таки вспомните — может, кто-нибудь из ваших знакомых приревновал к кому-нибудь одну из девушек, которые были там.

— Нет, — сказал Заур, думая о том, как следователь близок к истине, — ничего такого не было.

— Ну, а сами вы что думаете по поводу случившегося? Есть у вас какое-нибудь предположение?

— Думаю, что какой-то пьяный это сделал, — сказал Заур.

— Между нами говоря, я то же самое думаю, — согласился с ним следователь.

Зауру показалось, что он подмигнул ему.

— Тут некоторые усматривают политическую акцию, — продолжал следователь, — но я думаю — это ерунда... Какой-то пьяный хулиган решил повеселиться... Но вот некоторые усма-

тривают в этом возможность политической акции, и мы должны тщательно образом все проверить...

Заура поразила откровенность следователя. Вот как время изменилось, радостно мелькнуло у него в голове, следователю навязывают политическое дело, а он в согласии со здравым смыслом видит в этом простое хулиганство. И имеет смелость прямо об этом со мной говорить. Заур почувствовал прилив такого уважения и даже благодарности к следователю, что заставил себя проглотить пластинку конфеты, все еще остававшуюся у него во рту.

— Какая тут политика, — мягко поддержал его Заур.

— В том-то и дело, — вздохнул следователь, — а вы, кажется, оставались ночевать у своего друга?

— Да, — сказал Заур и теперь с неприязнью подумал, что следователь слишком много знает. Когда допрашивали хозяйка квартиры, ему тоже дали знать, что им известно о том, что его друг с девушкой оставались у него ночевать. Заур боялся, что следователь сейчас начнет наводить справки относительно Вики, и это было бы ужасно неприятно.

— Ничего такого, — сказал следователь, как бы стараясь замять неловкость, — дело молодое... Ночью ничего больше подозрительного не слышали?

— Нет, — сказал Заур, снова чувствуя прилив благодарности к следователю за то, что тот не стал спрашивать у него насчет его девушки.

— Да, конечно, это какой-то пьяный болван, — задумчиво проговорил следователь.

Заур сейчас испытывал к нему почти умиление.

— Разбил вдребезги окно, — продолжал следователь задумчиво, — чем он только мог ударить...

— Как чем? — сказал Заур и хотел добавить, мол, кирпичом.

Вдруг Заур почувствовал, словно электрический разряд пробежал по его телу и припаял последнее слово к кончику языка. Еще не понимая почему, он почувствовал, что слово это нельзя выговаривать.

— ...Палкой или чем-нибудь, — закончил он фразу после мгновенной заминки.

— Да, конечно, — согласился следователь, но Заур понял по выражению его лица, что тот потерял к нему всякий интерес. Заур догадался, что весь предыдущий разговор следователя был не чем иным, как подготовкой к этой ловушке, в которую Заур чуть не угодил.

— Вы свободны, — сказал следователь, убирая чистую бумагу со стола и вкладывая ручку в карман пиджака, — будем искать виновного.

— До свиданья, — сказал Заур и поднялся.

— До свиданья, — ответил следователь. Сейчас лицо его не казалось Зауру таким уж усталым и помятым. Ему почудилось, что следователь с нетерпением ждет его ухода, чтобы самому встать и уйти. Вдруг Заур догадался, что следователь вообще из другого учреждения и это не его кабинет. Можно было понять это и пораньше.

Он вышел на улицу, не чувствуя под собою ног. Конечно, волнуясь, думал он, я никак не мог знать, чем разбил

стекло этот неведомый пьяница... Это Алексей сказал на-  
счет кирпича.

У Заура было ощущение, что он слышал щелчок чуть  
было не прихлопнувшего его капкана. Сиял майский сол-  
нечный день. Он бодро шел в сторону своего института.  
Он был поражен новым, незнакомым ему ощущением.  
У него было ощущение, что время, которое, как он думал,  
исчезло безвозвратно, на самом деле тихо притаилось  
и ждет...

\* \* \*

Дней через десять у Заура на работе раздался звонок: его  
приглашали на беседу с секретарем обкома партии. Заур по-  
нял, что пробил его час.

Поистине испытывая высокое волнение, он шел к зданию  
обкома на берегу моря. Показав паспорт в отделе пропусков  
и взяв пропуск, он прошел в помещение обкома.

На втором этаже в приемной секретаря обкома сидело не-  
сколько человек, дожидаясь своей очереди. Секретарша, по-  
здоровавшись с ним, как-то особенно посмотрела на него  
и тихо вошла в кабинет Абесоломона Нартовича. Заур дога-  
дался, что она доложила о нем. И в самом деле, выходя из ка-  
бинета, она кивнула ему и сказала:

— Сейчас вы пройдете...

Зауру было неудобно, что он пройдет раньше ждущих  
здесь своей очереди, но она так сказала, что он не собирался

с нею спорить. Тем более не собирались с нею спорить те люди, которые дожидались своей очереди.

Заур сильно волновался, но чувствовал, что в его волнении больше радости, чем тревоги. Он долго думал над судьбой своего послания и еще раньше решил, что если дело будет плохо, то его вызовут в КГБ. Но теперь, дождавшись вызова в обком партии, он не мог удержаться и не хотел удерживать себя от радостного предчувствия.

Когда посетитель вышел из дверей кабинета, секретарша кивнула Зауру и снова как-то по-особому посмотрела на него. Взгляд ее выражал внеслужебное, личное любопытство.

Заур открыл дверь и вошел в кабинет. Испытывая легкий приступ агорафобии, он пересек огромное пространство кабинета и подошел к столу Абесоломона Нартовича. Секретарь обкома протянул ему руку через стол, и Заур, сдерживая заранее прорывающуюся горячую благодарность, пожал протянутую руку. Абесоломон Нартович сделал жест в сторону стула, и Заур сел.

Абесоломон Нартович спросил, кто его родители. Заур ответил. Узнав, что отец Заура сидел, но недавно был по-смертно реабилитирован, он доброжелательно и понимающе кивнул головой, как человек, причастный ко времени, реабилитировавшему его отца. Потом он у него спросил, давно ли Заур работает в институте. Заур ответил. Потом он у него спросил, читает ли Заур лекции по линии общества по распространению научных знаний. Да, отвечал Заур, читает.

В это время Абесоломон Нартович, сидя на своем месте, поглаживал рукой первую страницу послания Заура. Во вре-



мя ответов на свои вопросы он кивал головой, дескать, очень хорошо, дескать, ничего другого я не ожидал.

Абесоломон Нартович, выдвинувшийся в первые ряды партийных работников во времена хрущевских реформ, любил встречаться и разговаривать с интеллигенцией. При этом он любил с ними встречаться и разговаривать не столько у себя в кабинете, сколько в банкетных залах ресторанов и закрытых санаториев. Лично он и сейчас предпочел бы поговорить с этим молодым человеком за бутылкой хорошей «изабеллы», но вопрос, поднятый им, был чересчур важным, чтобы рискнуть встретиться с ним в менее официальной обстановке. Абесоломон Нартович еще перед тем, как прочесть пересланное из Москвы послание Заура, знал, как на него надо реагировать, потому что был звонок из Москвы.

— Вызовите его к себе, поговорите, — предлагал звонивший из Москвы, и это означало, что в отношении автора должны быть исключены репрессивные меры. Это соответствовало духу времени и личным склонностям Абесоломона Нартовича.

— Я внимательно ознакомился с вашей запиской в ЦК, — наконец приступил к делу Абесоломон Нартович. — Вы знаете, что это такое?

Он с доброжелательным лукавством взглянул на Заура. Заур не знал, как понимать его слова, и слегка пожал плечами.

— Это взгляды современных социал-демократов, — добавил он сокрушенно и, приподняв над столом послание Заура, слегка отбросил его. Оно шлепнулось на стол. Абесоломон Нартович, проследив за падением его, взглянул на Заура. Он

как бы убеждался сам и давал убедиться Зауру в полном отсутствии воздухоплавательных способностей у его рукописи.

— Социал-демократов? — невольно переспросил Заур, чувствуя и обнажая свою неготовность быть атакованным с этой стороны.

— Да, социал-демократов, — повторил Абесоломон Нартович, не скрывая удовольствия по поводу растерянности Заура, и добавил, словно увеличивая дозу этого удовольствия: — А если углубиться в историю, то это типичное высказывание бухаринцев...

— Почему бухаринцев? — деревенеющим языком проговорил Заур.

— Потому что Бухарин развивал подобные взгляды, — сказал Абесоломон Нартович.

Заур взял себя в руки.

— Я не знаю, какие взгляды развивал Бухарин, — сказал он, — но я убедился, что все крестьяне, которые арендуют землю у колхозов, получают на ней урожай в три раза выше, чем на колхозной земле...

— Ползучий эмпиризм, — с удовольствием пояснил Абесоломон Нартович, — но мы, большевики, всегда боролись с ползучим эмпиризмом.

— Я не знаю, как это называется, — сказал Заур, — но я убедился в одном: что это выгодно крестьянам, колхозу и, значит, государству.

— Сегодня выгодно, а завтра из этих арендаторов вырастут оголтелые враги нашего строя.

— Но почему?! — вырвалось у Заура.

— Логика классового сознания, — улыбнулся Абесоломон Нартович наивности его восклицания.

Этого Заур никак не мог ни понять, ни принять.

— Но почему сознание людей, которые плохо работают на колхозном поле, выше сознания людей, которые хорошо работают на арендованной земле?! Мы ведь повсюду трубим о высокой производительности труда...

— Мы добивались этого и добьемся в конце концов, но не таким путем, — перебил его Абесоломон Нартович, и в голосе его, помимо собственной воли, послышался металл. Но он быстро вспомнил, что эти интонации Москвой не рекомендованы, и убрал их из своего голоса.

Так они разговаривали с полчаса, и каждый раз, когда логика разговора подходила к такому месту, где, как казалось Зауру, оппоненту только и остается, что согласиться с его выводами, Абесоломон Нартович выставлял железную формулу, которая наглухо перекрывала живое русло беседы. Нескольким раз Абесоломон Нартович недоуменно спрашивал у Заура, почему он, историк по профессии, занимается вопросами сельского хозяйства. Отчасти в этом он усматривал источник заблуждения Заура.

В конце беседы Абесоломон Нартович шутливо заметил, что ложные взгляды Заура он сейчас только критикует, но в свое время за такие взгляды люди надолго исчезали в Сибири. И уже когда Заур пожал протянутую через стол руку, Абесоломон Нартович что-то вспомнил.

— Да, — сказал он, — это правда, что ваш сосед захватил часть вашего участка?

— Правда, — ответил Заур, удивляясь осведомленности Абесоломона Нартовича и с трудом воспринимая переход на эту новую тему.

— Будьте уверены, — с удовольствием сказал Абесоломон Нартович, — он вам возвратит отобранную землю и получит по рукам за наглость.

— Что вы... Стоит ли... — растерялся Заур, все еще с трудом воспринимая такой крутой поворот от столь общей темы к столь частной.

— Нахала надо проучить, — пригрозил пальцем Абесоломон Нартович, — и мы его проучим...

Он многозначительно посмотрел в глаза Заура, как бы давая знать, что вопрос этот не такой уж частный, как кажется Зауру, и, помогая ему в этом вопросе, он лишь защищает справедливость, как и во всяком вопросе, только не всегда и не всем это сразу заметно.

Заур покинул обком партии. Он возвращался на работу, чувствуя полную опустошенность. Если бы за его взгляды ему грозили бы ссылкой или арестом, он, разумеется не желая этого, все-таки чувствовал бы себя не таким разочарованным.

Он думал, с его взглядами будут беспощадно бороться или их примут на вооружение. В обоих случаях, по крайней мере, признавалась бы их существенность. А сейчас получалось, что наблюдения, которые он так тщательно собирал и анализировал, которым он придавал такое большое значе-

ние, ничего и никого не могут сдвинуть с места... Так себе... Поговорили...

Часа через два, когда он возвратился с работы домой, он с каким-то грустным удивлением заметил, что несколько рабочих, стоя возле каменной стены адвокатского забора, рушат ее ломами. Мать Заура, выйдя на крыльцо, с явным удовольствием прислушивалась к звуку ломов с той стороны стены. Он взглянул в открытое окно адвокатского дома и встретился глазами с хозяином. Тот не только не выразил глазами неприязни по отношению к Зауру, но, наоборот, впервые с заискивающим уважением поздоровался с ним. Вся его импозантная фигура в полосатой пижаме выражала благожелательность, готовность услужить, он даже махнул рукой в сторону ломающих стену рабочих, дескать, пусть ломают, не принимай близко к сердцу, я нисколько не обижен. Заур догадался, что адвокат благодарен ему за то, что хотя бы дом его, по-видимому, не будут трогать. Сила — вот единственное, что уважают и во что верят в этой стране, подумал Заур с бесконечной грустью.

В тот вечер, встретившись с Викой, Заур бродил с ней по ночным улицам, потом они зашли в парк, выбрали самый глухой уголок его и уселись на скамейке. Заур впервые рассказал ей о своей идее, о встрече с секретарем обкома и обо всем, что его угнетало и давило на протяжении всей его сознательной жизни.

Вика сочувственно вздыхала, глядела на Заура своими большими глазами, гладила ему руку, и Заур понимал, что она впервые в жизни сталкивается со всеми этими прокля-

тыми вопросами, о существовании которых никогда не по-дозревала.

Они так сидели, позабыв о времени, когда, неожиданно выйдя из кустов самшита, росших позади скамейки, к ним подошел милиционер. Увидев его, Заур не придал этому большого значения, он только посмотрел на часы и едва различил в тусклом свете, что уже одиннадцать часов и что милиционер их, вероятно, прогонит.

Милиционер подошел к ним и спросил у них документы. Заур сказал, что у них нет документов. Тогда милиционер потребовал, чтобы они прошли с ним в милицию.

— За что, — спокойно спросил Заур, не сдвигаясь с места, — что мы сделали?

— Не оправдывайся, — сказал милиционер, — я видел, что вы делали...

Заур понял, что милиционер их шантажирует. Он слышал, что милиционеры иногда вылавливают в укромных уголках ночные парочки и выуживают у них деньги.

— Мы ничего не делали, — повторил Заур, преодолевая отвращение к самому себе за эту попытку объяснить, — мы просто сидели и разговаривали.

— Я видел, как вы разговаривали, — насмешливо сказал милиционер, — идемте со мной.

— Мы никуда не пойдем, — твердо ответил Заур, — мы ничего не делали, и вы об этом знаете сами...

— Если ничего не делали, чего боитесь идти в милицию? — спросил милиционер.

— Мы не боимся, — ответил Заур, — нам нечего там делать.

Глядя на губастое, с широким расплюснутым носом лицо милиционера, Заур вдруг подумал, что это возмездие за их счастливые, ничем не омраченные ночные встречи.

— Добровольно не пойдете — силой заставлю, — сказал милиционер, глядя то на Заура, то на его спутницу, словно стараясь определить, кто из них первым поддастся.

По голосу его и по упорному взгляду Заур понял, что он их так не отпустит. Заур решил откупиться от него, но не знал, как это сделать. Он считал, что было бы ужасно, если бы их привели в милицию. Он представлял наглые, унижительные расспросы и никак не мог согласиться на то, чтобы Вика объясняла всем этим хамам, что между ними ничего не было. Нет! Что угодно, только не это!

— Если мы задержались в парке... то оштрафуйте нас, — сказал Заур, преодолевая омерзение к собственному голосу и собственным словам.

Милиционер выжидательно молчал.

— Я готов заплатить, — выдавил из себя Заур и полез в карман.

Молчанье.

Заур вынул из кармана все свои деньги. У него было в кармане семь рублей, и все семь рублевками. Он вынул из кармана полную горсть бумажных денег и протянул милиционеру. Руки их встретились, и, когда Заур перекладывал деньги в его ладонь, он старался сделать это поаккуратней, так, чтобы они не выскользнули у того из ладони.

Было что-то омерзительное в том, что он старается поаккуратнее втиснуть свои деньги в ладонь милиционера. Милиционер, приняв деньги, сейчас же стал по одной бумажке перекладывать их из ладони в ладонь, каждый раз приподымая руку на свет, чтобы определить стоимость каждой бумажки.

Заур, зная, что каждая из этих бумажек представляет из себя рублевку, почувствовал тревогу. Он ощущал все возрастающее с перекладыванием бумажки разочарование милиционера.

Милиционер в самом деле был разочарован. Конечно, если бы он знал, что у Заура больше нет денег, он бы успокоился на этом. Но Заур слишком небрежно сунул руку в карман и слишком небрежно вытащил руку с деньгами. Он сознательно сделал этот небрежный жест, потому что стыдился того, что собирался сделать, и невольно думал, что и милиционер стыдится того, что он ему сейчас будет всучивать деньги. Поэтому его небрежные движения как бы означали, что ничего в этом особенного нет, что он сунул руку в карман и, из большой суммы денег отделив небольшую, небрежную горсть, сунул ее милиционеру. И потому милиционер сейчас, вспоминая этот его небрежный жест, решил, что у него в кармане больше денег, чем те, которые он ему дал.

— Нет, — сказал милиционер, протягивая Зауру его деньги, — пойдете в милицию.

— Но у меня больше нет денег, — сказал Заур, поняв милиционера и вставая перед ним.

— Ничего не знаю, — ответил милиционер, не веря Зауру, — пойдете в милицию и там все выясним...



И вдруг Заур принял решение. Он вспомнил свои юношеские занятия боксом. У него был сильный удар справа. Главное — точно попасть, сквозь пелену волнения подумал он.

— Но мы же ничего не сделали! — повторил Заур, сам не понимая для чего: то ли для того, чтобы прорваться к совести милиционера, то ли для того, чтобы усыпить его бдительность.

— В милиции все выясним, — думая, что Заур торгуется с ним, протягивая ему деньги, сказал милиционер.

Заур без подготовки ударил его в подбородок. Но тело его и рука его были слишком напряжены, удар получился недостаточно резким.

Милиционер упал, но не потерял сознание, как надеялся Заур, а тут же присел на землю и, мотая головой, старался прийти в себя. На мгновение Заур замешкался: то ли нападать, пока тот не пришел в себя и не вытащил пистолет, то ли бежать. Когда он ударил милиционера, Вика вскочила и вцепилась в него. И сейчас Заур почувствовал, что решение напасть на милиционера грозит кровью и преступлением, и, понимая, что оставаться здесь больше нельзя, он схватил за руку свою девушку и побежал.

Они отбежали уже метров на сорок, когда услышали сзади выкрик:

— Стой! Стой!

Сразу же за выкриком раздался выстрел. Заур, продолжая держать Вику за руку, метнулся в сторону и припустил изо всех сил. Они выскочили из парка и, пробежав несколько темных улиц, наконец убедились, что за ними никто не гонится.

Но вот показался дом Вики. Нырнули в подъезд и взбежали на четвертый этаж, где была расположена ее квартира. Заур почувствовал вспышку радости, когда за ней захлопнулась дверь (теперь ничего не страшно, даже если милиционер его поймает), однако эта вспышка радости была тут же омрачена какой-то глухой обидой, источник которой он не сразу осознал.

И только через некоторое время, уже на улице, а потом уже дома в постели, он еще и еще раз вспоминал то, что причинило ему смутную боль.

Он вспоминал жест, с которым она захлопнула за собой дверь. Она закрыла за собой дверь, как будто не только радовалась избавлению от гнусного милиционера, но и от него, вернее, от обоих, что было особенно неприятно.

Он пытался себе внушить, что это ему только показалось, но отчетливость ее движения не оставляла никаких сомнений, что она с каким-то жадным удовольствием отсекала его вместе с милиционером. Она закрыла дверь с поспешностью, которой уже не требовали обстоятельства. Почему-то, извиваясь в постели, он мучительней всего осознавал не содержание ее жеста, а его внешнюю физическую форму, вульгарность этой формы: так и потянула дверь, словно боясь, что он в нее вцепится с другой стороны! Жест этот напоминал жест цыганки, запикивающей под кофточку украденную или отданную по глупости вещь: скорей, скорей, пока хозяин не очухался!

Дней десять после этого вечера Заур, боясь столкнуться с милиционером, не виделся с Викой и ходил на работу, над-

винув кепку на глаза. Наконец они встретились, но встреча получилась нехорошей.

Видимо, Вика в тот роковой вечер очень сильно испугалась и многое передумала о своих отношениях с Зауром. Она рассказала отцу о его встрече с секретарем обкома, и тот сильно взволновался и велел передать Зауру, чтобы он немедленно написал письмо секретарю обкома, в котором признал бы ошибочность своих позиций. Он сказал, что без этого Зауру в будущем закроют все дороги для служебного роста.

Он хотел сам встретиться с Зауром, но Вика его отговорила, боясь, что непосредственный разговор с отцом будет для Заура, может быть, оскорбительным. Но Заур почувствовал себя смертельно оскорбленным и в ее пересказе отцовского совета. Он был оскорблен и тем, что она об этом рассказала отцу, и, главным образом, тем, что ему предлагали сделать нечто, по его мнению, в высшей степени унижительное.

— Как же я ему напишу письмо, когда он мне ничего не доказал? — с усмешкой сказал Заур, стараясь не выдавать своего раздражения.

— Подумаешь, Заур, большое дело, — сказала она и, махнув рукой, поцеловала его в щеку. Заур, сдерживая раздражение, слегка отстранился от нее. Впервые ему захотелось оттолкнуть ее от себя.

Больше они об этом не говорили, и Заур из патриархально-го уважения к ее отцу старался не показывать, как он оскорблен этим предложением. Он боится за собственную карьеру, за

собственные заграничные поездки, язвительно думал Заур, а делает вид, что боится за меня.

Отец Вики и в самом деле думал о том, что с таким упрямым зятем, если они женятся, с таким доморощенным реформатором хлопот потом не оберешься. Но разумеется, отец Вики думал и о самом Зауре, о непосредственном будущем своего будущего зятя.

Через неделю Заур позвонил ей, с тем чтобы вывести ее из дому и погулять с ней. Он считал, что уже достаточно времени прошло и навряд ли милиционер, даже если и увидит их, вспомнит, кто они такие.

— А ты написал письмо? — спросила она у него.

Ах, мне ставят условия для свидания, вспыхнуло в мозгу Заура, и он задохнулся от чувства оскорбленности.

— Не писал и писать не собираюсь, — сказал Заур твердо и твердо положил трубку на рычаг. Несколько раз после этого раздавался звонок, но Заур, приподняв трубку, давил его, нажимая на рычаг.

Недели через две он неожиданно увидел ее у кинотеатра, стоящую рядом с чернявым парнем, с которым он ее когда-то видел. Не чувствуя никакой ревности, а только чувствуя прилив нежности, он думал: никогда, никогда не поверю, что ты променяла меня на него. Он вспомнил смешное объяснение ее дружбы с этим парнем: для кино.

Через день Зауру на работу позвонил его двоюродный брат, работавший в редакции местной газеты, которую возглавлял Автандил Автандилович. Заур любил своего двою-

родного брата, но не был с ним близок. Либеральные намеки в его статьях раздражали Заура. Ему казалось, что брат слишком погружен в местную политическую жизнь. Ему хотелось видеть от него чего-нибудь покрупней. Брат знал о его послании в ЦК, но относился к этому скептически и, увы, оказался прав. Он знал и о его вызове в обком.

— Слушай, Заур, — сказал он ему по телефону, — мой редактор сильно настроен против вашего института. Он говорил на летучке, что многие работники института заняты не своим делом. Он даже упомянул тебя лично. Что ты с ним не поделил?

— Диван, — ответил Заур.

— Какой диван? — удивился брат.

— Обыкновенный, — добавил Заур.

— Ничего не понимаю, — сказал брат, — яснее не можешь?

— Ладно, когда-нибудь потом, — ответил Заур.

— Да, кстати, ты понял, почему секретарь обкома велел разрушить адвокатскую стену? Я только сегодня узнал...

— Понятия не имею, — ответил Заур, — решил, видимо, показать, что он все знает и в силах наводить порядок.

— Дело гораздо сложнее, — ответил брат, — у него со вторым секретарем тайная война. Первого поддерживает Москва, а второго цеховики. И это почти уравнивает их силы. Твой сосед тоже связан с цеховиками. Понял, в чем дело?

— Нет, — сказал Заур.

— Разрушение адвокатской стены — это удар по сопернику. Самоутверждение. Следует ожидать ответного удара.

— Ты хочешь сказать, что стену могут восстановить?

— Не думаю, — рассмеялся брат, — надеюсь, соперник найдет другой плацдарм. Но ты на всякий случай будь осторожней... У него на подхвате милиция и медицина.

— В каком смысле? — спросил Заур.

— А черт его знает, — ответил брат, — эти люди непредсказуемы. Но и мы еще живы вместе с Абесоломоном Нартовичем. Вот тебе для настроения последний анекдот из его бессмертной жизни. Оказывается, Хрущев во время отдыха в Пицунде вдруг спросил у него: «А сколько машин в день поднимается на озеро Рица?» — «В среднем тысяча двести пятьдесят машин», — не задумываясь, ответил Абесоломон Нартович, и эта четкость очень понравилась Никите Сергеевичу. Другой бы занудил: «Мы не подсчитывали. Может, подсчитать, Никита Сергеевич?» Нет, все подсчитано, и, следовательно, вопрос не случаен. Потрясающий мужик. Пока. Если что — звякну.

Брат положил трубку, видимо довольный, что хорошо чувствует пульсацию местных событий. Зауру вдруг показалось, что он сходит с ума: его послание в ЦК, его разговор с Абесоломоном Нартовичем (та же четкость, как и эти тысяча двести пятьдесят машин), эта несчастная адвокатская стена, эти невидимые, становящиеся все сильнее цеховики.

Какое-то чудовищное сплетение чудовищных глупостей и ясное сознание, что вот-вот все рухнет и наступит хаос. Неужели наверху ничего не чувствуют? А может, все это и есть нормальная жизнь со всеми ее противоречиями и только у него поползла крыша? Ведь, помнится, и раньше, еще при Ста-

лине, ему казалось, что дальше так не может идти, что все обрушится. Но вот годы идут и идут, а все почему-то держится.

Самое удивительное, что через неделю после разговора с братом он встретился в одной домашней компании со знакомым психиатром. Заур виделся с ним всего три-четыре раза, но чувствовал к нему симпатию и знал, что эта симпатия взаимна. Такого рода взаимосклонность наступает довольно быстро, когда люди угадывают друг в друге истинную близость духовного уровня. Впрочем, близость духовного уровня не обязательно совпадает с направлением духовных усилий. Это совсем другое.

Заур заметил, что во время вечеринки психиатр несколько раз бросал на него грустно-внимательные взгляды. Как будто он что-то знал о нем. Или хотел сказать что-то сочувственное. Заур несколько раз ловил эти взгляды и вдруг, не выдержав, брякнул:

— Это правда, что у нас политических иногда сажают в психушку?

Слухи об этом ходили, но Заур точно ничего не знал.

— Самая плохая психбольница, поверьте, лучше лагеря, — ответил тот несколько уклончиво и как-то гостеприимно.

— Да, но человек, посаженный в лагерь, по крайней мере знает, что он наказан за свои взгляды, — вразумительно сказал Заур, — а у вас он морально унижен.

— Когда речь идет о лагере, — твердо ответил психиатр и посмотрел в глаза Зауру теперь уже с выражением сурового гостеприимства, — не до жиру.

— К тому же, говорят, какие-то препараты против них используют, — добавил Заур, — пытаются свести с ума...

— Все это сплетни, — покачал головой психиатр, — поверьте, если бы мы могли нормального человека сделать шизофреником, мы бы умели и вылечить шизофреника.

— А что, не можете? — спросил Заур.

— Сейчас психиатрия сделала колоссальный скачок, — пояснил тот, — появились новые лекарства. Мы можем как никогда облегчить состояние больного... А что это вас так заинтересовало? Сверхценная идея появилась?

Он расхохотался и вдруг, потянувшись через стол к Зауру и ухватив его руками за предплечья, как бы дружески потряс его. Услышав его добродушный хохот, Заур облегченно вздохнул, но одновременно ему показалось, что тот облапил его руки с каким-то диагностическим оттенком. Пальцы психиатра, обхватившие его предплечья, на миг хищно и властно что-то проверили в его мышцах. Но что?

Ему вдруг показалось, что этот жест имеет какой-то отдаленный намек на удар, который он нанес милиционеру. И опять же непонятно, то ли: молодец, хорошо врезал! — то ли: да, пожалуй, мог свалить милиционера.

Черт его знает, подумал Заур, так и в самом деле свихнуться можно. Психиатр сейчас убогоулыбчиво поглядывал на него — не то довольный, что Заур от неожиданности не успел стряхнуть его руки, не то довольный самим результатом этого маленького осмотра, если, конечно, это имело место.

Застолье продолжалось. Все-таки Зауру казалось странным, как столь интеллигентный человек может защищать психушку. Или он кого-то спас при помощи психбольницы или водворе-



ние политических в психушку столь строгая тайна фирмы, что он не может выдавать ее и в самом дружеском кругу? Впрочем, возможно и то и другое, подумал Заур и вдруг успокоился.

Все это время, сам себе в этом не признаваясь, он тосковал по Вике. Однажды вечером он бродил по городу, выбирая самые темные, самые малолюдные улицы, и вдруг, заметив в полутьме двух идущих навстречу людей, мгновенно в одном из них угадал ее и в то же мгновенье почувствовал, что и она его угадала в темноте и остановилась, а спутник ее, тактично пройдя дальше, остановился в стороне.

Они поздоровались. Но что он мог сказать ей? Что она могла сказать ему? Говорить о главном было неловко ввиду ожидающего поблизости этого парня. Кстати, это был все тот же парень, но Заур на этот раз почувствовал, что тот расширил свои обязанности ее спутника по кино. Они обменялись несколькими ничего не значащими фразами и разошлись. Теперь Заур понял, что весь вечер гулял по темным улицам в надежде случайно встретить ее где-нибудь.

Через несколько дней он уехал в месячную командировку в Москву. Однажды на одной из московских улиц он увидел девушку, стоящую на другой стороне улицы у газетного стенда. Это была она! На ней было легкое светлое пальто, в котором она проходила с ним всю весну. Наверно, отец в командировке, а она приехала с ним, мелькнуло у него в голове.

Задыхаясь от волнения, он едва дождался зеленого света, перебежал улицу, подбежал к стенду и, чувствуя, что здесь, в Москве, их размолвка стала далекой и бессмысленной, хо-

тел сзади закрыть ей глаза ладонями, но потом решил, что надо встретиться поспокойней, шагнул и, как в страшном сне, увидел профиль совсем другой девушки.

После приезда из командировки в первое время он ее нигде не встречал. Однажды на «Амре» он столкнулся со студентом, которого когда-то встретил на избирательном участке, и тот тогда рассказывал ему о ней.

— А ты знаешь, что Вика замуж вышла? — спросил студент, здороваясь с Зауром.

— Нет, — ответил Заур, чувствуя, что у него внутри все остановилось: сердце, кровь, дыхание.

— Да, — отхлебывая кофе, кивнул студент головой. — А я думал, у тебя с ней роман... Многие так думали...

— Нет, — сказал Заур, изо всех сил сдерживаясь, стараясь не показать, что у него внутри все остановилось, — у нас с ней ничего не было...

— Недавно встретил их на пляже, — продолжал студент, — с ума сойти, какая фигура! И такая девушка досталась такому вахлаку... А я думал, у тебя с ней роман...

— Нет, — сказал Заур, изо всей силы сдерживаясь. — Давай выпьем по коньяку.

— Но у меня денег нет, — сказал студент.

— Я гощаю, — сказал Заур и дал ему деньги, — возьми два по сто пятьдесят.

Студент взял два стакана коньяку, две чашечки кофе и вернул Зауру сдачу. Они выпили коньяк, допили свой кофе и разошлись.

Заур шел домой и никак не мог понять, почему ясный солнечный день потускнел, хотя на небе не было ни одной тучки. После выпитого коньяка то, что окаменело внутри у него, размягчилось, стало легче дышать, и тем более казалось странным, что ясный солнечный день потускнел. Жить в этом потускневшем дне стало как-то странно и неудобно.

## **красота нормы, или мальчик ждет человека**

Здесь, на «Амре», один наш молодой историк, из тех, что не рвет рубашку на митингах, а упорно роется в архивах, показал мне недавно удивительный документ. Это была записка моего отца. Конечно, не в подлиннике, перепечатанная на машинке. Показания отца на допросе в городском жандармском управлении о том, что он видел на пристани. Местные события 1905 года.

Пристань — теперешняя «Амра». Раньше ресторана и второго яруса вообще не было. Это сравнительно недавняя пристройка. Во времена моей юности пристань кончалась вышкой для прыжков в воду, и мы с ребятами, гуляя, часто сюда захаживали.

Оказывается, в начале века, во времена доплеснувшей сюда революции, отец тоже, тогда еще совсем молодой человек, гулял по этой пристани. Скорее всего, не один. И вот к пристани причалил катер, и вместе с пассажирами из него вышел полицейский. Его тут же арестовали и увели подошедшие

к приходу катера представители так называемой народной милиции. Вот и вся событийная часть записки, скорее всего написанной после того, как порядок был восстановлен.

Боже, боже, начало века и конец века! И ничего не разрешилось. Записка, написанная две империи тому назад. В ней еще можно уловить тончайший налет иронии и по отношению к полицейскому, и по отношению к народной милиции, из чего неминуемо следует такое же отношение к власти предрежащим.

Кроме гимназии, кажется неоконченной, у отца никакого формального образования не было. Я удивился его прекрасному русскому языку. Значит, это тогда уже было возможно здесь, на окраине империи.

Голос отца, которого я не слышал с детства, веяньем далекой нежности коснулся моей души. Поразительно, что в интонациях записки я почувствовал родственность своему стилю. Исток. Это было так странно ощущать. Хотелось записку погладить по голове, как ребенка, поцеловать. Ребенок-отец. Но я воздержался от этого сентиментального жеста, пожалуй, только потому, что в руках у меня была машинописная копия.

Отец, конечно, никогда ничего не писал, но, оказывается, у меня бессознательно, как черты лица, повторились особенности его духовного почерка. Вот вам и голос крови, генетический нажим пера.

Потом я эту записку куда-то сунул и потерял, как растерял все на свете. Универсальная неряшливость. Может, и к лучшему. Чем больше потерь, тем чище взлетная полоса вдохновения. Хочется так думать.

...Сначала взяли брата отца, дядю Ризу, потом выслали в Иран отца, вспомнили, что дед родом оттуда. Потом, во время войны, добрали еще одного брата отца, дядю Самада, горького пьяницу.

Об отце и дяде Ризе я уже писал все, что помнил, а дядю Самада упоминал редко. На то были свои причины. Сейчас, когда и мамы нет в живых, хочется думать, что они с отцом встретились там. Но вот что удивительно. Когда я говорю: «Мама!» — горячая волна крови ударяет в сердце, и я чувствую, что соответствую своему возгласу. Но, мысленно обращаясь к отцу, я не могу сказать: «Папа!» — чувствую, что это фальшиво, потому что та самая горячая волна крови не бьет.

Годы, и годы, и годы разлуки высосали из меня эту кровь. Слишком часто в детстве и в юности я с тоской повторял: «Папа!» — и слово это в конце концов сточилось, исчезло. Осталось печальное: отец. Но и тут нет сил, и потому нет права на прямое обращение.

Вижу мальчика. Он бежит. Он всегда куда-нибудь бежит. То цепенящая боль, то взрывы восторга. Хохочет. Всегда присматривается к смешному. Запоминает смешное, как будто собирает аргументы против грусти. Помнит о смешном, как о созревшей черешне в чужом саду. Смешное, как та самая черешня в чужом саду, кажется крупнее всего.

За миг до драки вдруг окатывает волна спокойствия. Позор глупого волнения на контрольных. Остатки самообладания уходят на сокрытие этого позора.

Вижу мальчика. Он куда-то бежит. Куда? Где этот мальчик? Иногда снится золотой от солнца и крови черновик прекрасного рассказа о жизни, о детстве. Детство — пусть незаконченный, но самый талантливый набросок жизни. Но жизнь, как безумный автор, переписывает и переписывает его и с каждым разом безнадежно ухудшает. Надо все восстановить!

И приходит во сне тот самый золотой от крови и солнца набросок. То вчитываюсь, то лихорадочно пробегаю глазами, чтобы не забыть текста, хотя во сне, как бы про запас, думаю: в крайнем случае, запомнить гибкость его звука, плотность его плоти. Главное — он уже есть. Остается самая сладостная работа: проснуться и слегка почистить его, как снять кожуру с инжира. Проснувшись, ничего не помню. Но знаю, что он был. И это немало.

\* \* \*

Мальчик сидел на каменных ступенях у парадной двери своего дома. Он почти все время не отрываясь смотрел в конец улицы, ведущей в сторону рынка. Он ждал и сильно волновался. Ему казалось, что он никогда в жизни так не волновался. Он уже два часа так сидел и ждал. Оттуда должен был появиться человек, но он не появлялся. А вдруг не придет? Если не придет сегодня, думал мальчик, значит, он никогда в жизни больше не придет.

Его любимая собачка Белка уткнулась мордой ему в живот, а он ее поглаживал. Белка понимала, что ему плохо, и потому не отходила от него.

Он ее гладил, и ему было легче оттого, что она рядом, что ее можно потрогать, что они друг друга любят и нет в мире силы, которая их могла бы разлучить. Иногда собачка торкалась ему мордой в живот, что означало: не унывай! еще все будет хорошо!

Иногда, забывшись, он переставал ее гладить, и тогда она опять толкала его мордой в живот: гладь! И тебе будет легче, и мне приятней. Мальчик всегда знал, что она умнейшая собака в мире. Но сейчас он думал не об этом.

Слева от того места, где он сидел, если взглянуть через улицу, на берегу безымянной речки, которую почему-то обидно называли канавой, рос огромный тополь. Мальчик никогда в жизни не видел такого тополя. По наблюдениям мальчика, это было самое большое дерево из всех, которые он видел в городе.

Мальчик любил этот тополь за его огромность и прямоту. Он даже гордился этим тополем, как если бы тополь был его собственным деревом. Отчасти он это чувствовал, потому что тополь никому не принадлежал.

Если бы он рос в соседском дворе, можно было бы считать, что у него есть свой хозяин. Если бы он рос на тротуаре, можно было бы считать, что это государственный тополь. Но он рос в овраге на самом берегу речушки, гораздо ниже уровня окружающих дворов и улицы и потому никому не принадлежал и как бы никому не подчинялся.

Мальчик считал, что тополь вымахал в такую невероятную громадину, потому что вырос у самого берега и могучие корни пьют и пьют воду из этой речушки.

Он любил этот тополь и гордился его огромностью. И еще он замечал, что другие пацаны совсем не любовались этим тополем просто потому, что он никаких плодов не дает. Но мальчик любил этот тополь за его прямую громадность, за его мощь, прочность, надежность.

И сейчас, когда он временами отводил глаза от конца улицы, он машинально поднимал взгляд на великое дерево, любовался его высоченной зеленой кроной, озаренной солнцем, всеми своими миллионами листьев процеживающей свежий ветерок, которого здесь, на улице, нельзя было почувствовать. Иногда из его кроны внезапно выпархивало множество воробьев, как будто бы их кто-то оттуда вытряхивал.

Полюбовавшись тополем, хотя и не задумываясь над этим, мальчик снова с освеженной надеждой вглядывался в конец улицы, откуда ждал появления этого человека. Придет или не придет?

В двух кварталах от его дома время от времени грохотал стадион. Там играла местная команда с тбилисским «Динамо». Стадион иногда взрывался радостным грохотом, иногда как бы смущенно гудел. В первом случае означало, что наши забили гол. Во-втором случае означало что гол забили динамовцы Тбилиси. Увы, как всегда, стадион чаще смущенно гудел, чем взрывался радостным грохотом. Иногда оттуда доносились пронзительные свистки, и это означало, что публика недовольна судьей или поведением какого-то игрока. Мальчик все это слышал, но сейчас и не думал о любимом футболе и нисколько не болел за свою команду. Он ждал человека. Но человек не появлялся.



Справа от мальчика в пяти шагах от него двое его друзей Анести и Бочо играли в расшибаловку. Они пригласили его поиграть с ними, но он уже ждал этого человека, и поэтому играть в деньги сейчас было бы глупо и неинтересно.

Мальчик так резко отказался, что они не пытались его уговаривать, а стали играть сами. Они играли внакидку. Столбик монет устанавливался на плоском камне, а играющие с определенного расстояния, шагов десять, накидывали свои тяжелые старинные монеты — расшибалки. Чья расшибалка упадет ближе к столбику денег, тот и бьет первым. Сколько монет перевернется с решки на орел, столько и выиграл. Первый потом бьет столько раз, сколько монет перевернется на орла после его первого удара. Перевернулись на орла — твои. И так до неудачи, тогда начинает бить второй. Первый удар по серебряному столбику монет обычно бывал самым урожайным.

Мальчик изредка рассеянно бросал взгляд на играющих и снова переводил его туда, откуда он ждал человека. Хотя он и не задумывался о ходе игры, но по возгласам и выкрикам мальчиков, особенно разгоряченным у Бочо, он понимал, что тот проигрывает. И еще он угадывал, что в их игре есть какая-то неуловимая несправедливость, из-за которой Бочо медленно проигрывает. Но он не хотел отвлекаться и напрягать голову из-за этой ерунды. Все это было мелко по сравнению с тем, что сейчас происходило с ним.

Мальчик ждал человека по имени дедушка Вартан. Это был высокий, красивый старик из деревни Эшеры. Тетушка говорила, что он очень красивый старик. Но мальчик и сам

знал это. И дело было не в его аккуратной бородке, курчавых, седых волосах или ясных, кротких глазах.

Скорее, мальчик за красоту помимо внешности принимал что-то другое. В старике была какая-то правильность, точность. Почти все люди, которые открылись мальчику за последние годы, были неточными. Они как-то расплывались, размыливались или расплющивались, чтобы втиснуться в безопасность. Дедушка Вартан оставался таким, каким был всегда. И мальчик знал, что он даже не задумывается о том, каким ему быть. И мальчик считал это красотой.

Когда дедушка Вартан приходил, садился, пил чай, вставал, улыбался, говорил, он всегда был точным. И хотя он с тетусшкой обычно говорил по-турецки и мальчик мало чего понимал, он знал по его тихому, ровному голосу, что дедушка Вартан продолжает быть точным, правильным.

Тетушка быстро сходилась с людьми, она их оглушала шумной любовью, щедрой распахнутостью, и люди сами распахивались ей навстречу, удивленные ее любовью, ее открытием в них собственной ценности, о которой они до этого только смутно догадывались.

Но потом эти люди надоедали тетусшке, она довольно-таки резко охлаждалась к ним, и бедные люди никак не могли понять, за что она их разлюбила и куда делась та самая ценность, которую она же в них открыла. Но такая уж она была от природы, это даже не зависело от нее. И мальчик это понимал.

За многие и многие годы прихода в их дом дедушки Вартана мальчик заметил, что тетусшка по своей привычке несколько раз

пыталась навязать ему шумные, родственные отношения, но дедушка Вартан, до того он был точным, с какой-то мягкой твердостью каждый раз отстранялся от ее родственного шума.

И к великой радости мальчика, тетушка в конце концов привыкла быть с дедушкой Вартаном в ровных, добрых отношениях. И ей это даже понравилось. Наверное, он был единственным в мире человеком, с которым у нее были такие отношения.

Мальчик знал, что, если бы дедушка Вартан расплылся бы, распахнулся бы навстречу ее шумной распахнутости, он бы ей обязательно надоел. И она бы, завидев его сверху со второго этажа, идущего к ним, однажды обязательно сказала бы:

— До чего же надоел этот деревенщина! От своих некуда спрятаться, а этот еще прет со своей корзиной!

Мальчик, конечно, не помнил, когда дедушка Вартан стал появляться в их доме. Он стал появляться еще до революции. Примерно раз в месяц или реже, возвращаясь с базара, он приносил в остроугольной плетеной корзине, прилаженной к спине ремнями, деревенские отборные фрукты. Разные фрукты в зависимости от сезона.

Тетушка говорила, что он и в революцию, в самую неразбериху и путаницу властей, вот так же приходил с фруктами, может быть, в этой же самой неизносимой плетеной корзине. То большевики займут город, говорила тетушка, люди боятся носа высунуть, а он тут как тут со своей корзиной. То меньшевики ворвутся в город, люди опять боятся носа высунуть, а он тут как тут.

Конечно, тетушка отдаривала его чем придется, когда он уходил. Какие-то платочки для его домашних, какие-то но-

сочки для его внучат, или конфеты, или печенье, или халва — все, что под руку попадет. Тетушка была щедрой, и мальчик ее за это любил. И многое прощал.

Дело в том, что когда-то давным-давно его дядя Самад был настоящим адвокатом. И он в каком-то несправедливом суде сумел защитить этого крестьянина. Другие не смогли, а он смог. Это было еще до революции. Мальчик спрашивал у тетушки, что это было за дело, которое дядя Самад сумел защитить? Но она и сама не могла вспомнить, так это было давно.

— От обидчиков защитил. Какая тебе разница! — раздраженно ответила она, когда он у нее спросил об этом.

Мальчик понял, что она рассердилась именно потому, что не могла вспомнить, что это было за дело. А у дедушки Вартана как-то неудобно было спрашивать. Ведь он столько лет приходил с фруктами, и всё так складно получалось, как будто все всё помнят. Мальчик понимал, что, если он об этом спросит у дедушки Вартана, станет ясно, что в доме никто не помнит, что это было за дело.

Но так оно и было. В доме никто уже не помнил, что там случилось до революции и от чего дядя спасал дедушку Вартана. И было грустно и довольно смешно, что самого дядю, благодаря которому дедушка Вартан приносил фрукты, он почти никогда не заставал дома. Дядя приходил гораздо позже и всегда был пьян. Он давным-давно стал тихим алкоголиком, и мальчик всегда его помнил только таким.

По домашней версии дядина юная, красивая жена во время революции сбежала на пароходе в Стамбул. Он не хотел поки-

дать родину, а она уехала, да еще с его другом. Это надломило его. Он стал пить. Правда, он попробовал еще раз жениться и бросить пить. Но у него ничего не получилось. Он не мог забыть ту, первую жену. И он не мог жить со второй женой, да еще и не пить. И он решил, что лучше уж быть одному и пить, чем жить с новой женой и не пить. И они расстались.

Мальчик подумал, что, если бы его первая жена-красавица просто одна сбежала бы в Стамбул, может быть, он еще и выдержал бы. А она не просто уехала, а уехала с его другом. И это его сломало. Мальчик долго никак не мог понять, как это друг мог жениться на жене друга. Он до того этого не понимал, что раньше, когда был поменьше, думал, что дядин друг просто поехал сопровождать, охранять его жену до Стамбула.

И только потом, гораздо позже, когда тетушка всю эту историю рассказывала при нем своим подругам, он понял, что слова о том, что она уехала в Стамбул с его другом, одновременно означали и женитьбу друга на дядиной жене. Мол, если ты так привязан к Абхазии, оставайся со своей Абхазией, а я поеду в Стамбул с твоей женой. Мальчика почему-то занимала и техническая сторона этой женитьбы. Он знал, что они бежали в панике, и никак не мог понять, где именно они женились, еще на пароходе или уже в Стамбуле.

Мальчик вспомнил, что однажды дедушка Вартан задержался в их доме и они встретились с дядей Самадом.

Дядя пришел, как всегда, под хмельком. Он вежливо поздоровался с дедушкой Вартаном, но, конечно, его не узнал. Дядю посадили пить чай, и тетушка долго ему объясняла,

как он, дядя, еще до революции защитил этого человека от злых людей.

Мальчик надеялся, что кто-нибудь вдруг вспомнит, в чем именно заключалась дядина защита, но до этого так и не дошло. Дядя только понял, что этого человека он когда-то защищал в суде. Но кто он такой и что это было за дело, он так и не вспомнил. Мальчику стало стыдно, что дядя так и не вспомнил дедушку Вартана.

— Да, были и мы рысакими, — сказал он по-русски и что-то добавил по-иностранныму. Это была латинская поговорка, но мальчик об этом догадался позже, когда уже стал студентом.

А тогда было ясно, что дядя остался равнодушным ко всему, что говорилось за столом. Тем более что на столе не было выпивки. Дядя вяло пил чай.

Мальчик подумал, что, если бы на столе были водка или вино, дядя, может быть, оживился бы и вспомнил про этот случай. Но выпивки не было, и он ничего не вспомнил и только вяло попивал чай.

Дедушка Вартан и здесь вел себя правильно, точно. Он никак не показал своего огорчения или обиды. Да, скорее всего, он и не почувствовал никакой обиды. Наверное, дядя давно, очень давно перестал узнавать дедушку Вартана. Он ведь столько лет пьет и столько лет приходит домой позже дедушки Вартана. Когда дядя ушел спать, дедушка Вартан, взглянув на дверь, захлопнувшуюся за ним, сказал:

— Эх, этот мир...

Он это сказал по-турецки, но мальчик его понял. Потом он еще что-то добавил по-турецки, и мальчик смутно догадался о чем: когда-то клиенты ходили за дядей по пятам, а теперь вот такое. Тетушка что-то безжалостно ответила ему по-турецки, и мальчик опять уловил смысл ее ответа: они же, то есть клиенты, его и споили.

Как же так, с обидой подумал мальчик, она же, тетушка, сколько раз говорила, что он спился из-за своей красавицы-жены? Она же сама рассказывала такую чудовищную подробность. Накануне отхода последнего парохода на Стамбул его друг ворвался сюда, в их дом, и сказал дяде, бесстыдно показывая рукой на его жену:

— Скажи ей, чтобы она ехала со мной. Завтра последний пароход.

— Это пусть она сама решает, — ответил дядя, — но я никому не советую уезжать. Эта власть больше двух-трех лет не продержится.

Разговор шел в дядиной комнате, но они так громко говорили, что домашние все слышали. И дядина жена, видимо, не сразу, но потом все-таки решила и на следующий день уехала с его другом в Стамбул. Где же именно они женились? В городе они явно никак не могли успеть жениться. Один день. Переполох. Надо же свадьбу устраивать. На пароходе, переполненном беженцами? Или уже в Стамбуле? Тогда как он ее называл, знакомя ее с другими людьми на пароходе?

Рассказывая эту историю, тетушка приходила в ярость.

— Вместо того чтобы убить этого мерзавца на месте, он еще ему советы давал, — возмущалась она и язвительно добавляла: — Два-три года... все они тогда так говорили... Образованные! Начхала я на ваше образование, если голодранцы оказались умнее вас! Они еще тысячи лет будут царствовать!

А теперь она же говорит, что дядя спился из-за клиентов. Он ее много раз ловил на таких противоречиях и не уставал удивляться им. Но ярость тетушки по поводу того мерзавца он полностью разделял. Он бы сам его убил, хотя он еще пацан! Он бы долбанул его по голове чем-нибудь тяжелым и убил. Это надо же — прийти к ним в дом и сказать дяде:

— Скажи ей, чтобы она поехала со мной! Завтра последний пароход!

Гадина, гадина, думал мальчик, вспоминая об этом человеке. Но почему же дядя не постоял за себя? Мальчик много раз мучительно об этом думал. Нет, он не был трусом. Мальчик это точно знал. Он и сейчас иногда про власть говорил такое, что взрослым становилось не по себе. Они пугливо озирались. Они объясняли это тем, что он пьяница и сам не знает, что говорит.

Но почему же он тогда не постоял за себя перед этим мерзавцем? Мальчик много раз мучительно думал об этом. Может, потому, что этот человек раньше был его другом? Нет, решил мальчик, если этот человек сказал такое, значит, он в это же мгновение перестал быть его другом и он имел право разделиться с ним.

Мальчик много раз об этом думал и остановился на такой мысли. Адвокатов тогда чаще называли защитниками. И если



дядя был таким хорошим защитником, что клиенты ходили за ним по пятам, и если он защитил дедушку Вартана, когда его уже никто не мог защитить, значит, у него все силы уходили на защиту других людей, а на собственную защиту сил не оставалось. У него просто не было привычки защищать себя. У него была привычка защищать других.

Вот в чем дело! Он и сейчас был такой худенький, хрупкий, беззащитный. И как он теперь был не похож на свои до-революционные фотографии, где он гляделся таким гордым, таким красивым, таким франтом в каких-то галстуках, которых сейчас никто не носит. И были пляжные снимки с его красавицей женой, которая и в самом деле казалась ему красивой, хотя купальник на ней был довольно смешной, скорее похожий на платье. И они на этом снимке так хорошо улыбались и сидели так тесно обнявшись, что казалось, никогда не расстанутся. Правда, мальчик заметил по этому снимку, что у дяди и тогда с мускулами было плоховато.

Но с другой стороны, мальчик знал по многим прочитанным книгам, что в те времена не было моды на мускулы. Физкультуру тогда никто не славил. Только в наше время пришла мода на мускулы. И мальчику нравилось это. И он думал иногда, окажись у дяди покрепче мускулы, он, может, и бывшего друга двинул бы по челюсти, и жену удержал бы дома. Но такое ему в голову приходило редко, и он, очнувшись, сам понимал, что тут все сложнее, и сам с тяжелым вздохом отвергал свою мечту.

Другой дядя мальчика, сумасшедший дядя Коля, с пустыми ведрами в руках вышел со двора и, напевая бессмыслен-

ную песню собственного сочинения, пошел в ту сторону, куда глядел мальчик, ожидая дедушку Вартана. Песенки дяди были бессмысленны, но зато ясно показывали, что ему весело.

За два квартала от их дома был двор, где была колонка с ручным насосом, при помощи которого из-под земли выкачивали особенно холодную и вкусную воду «соук-су».

Дядю посылали за этой водой, и он сам любил за ней ходить и гордился, что ему поручали такое важное дело. К тому же тетушка давала ему не десять копеек, стоимость двух ведер воды, а любую подвернувшуюся мелочь. И конечно, никогда не спрашивала сдачи. Так что дядя всегда оставлял сдачу себе, а потом, накопив немного денег, сам шел в магазин, покупал бутылку лимонада и гужевался. Он обожал лимонад. И хотя он был сумасшедшим, понимал выгоду. Мальчик много раз задумывался над этим и решил, что понимание выгоды вообще не требует большого ума.

Глядя на удаляющуюся фигуру дяди с ведрами в руках, он вдруг с пронзительной тоской подумал, что его сумасшедший дядя Коля теперь единственный мужчина, оставшийся в их доме.

За предвоенные годы на их семью обрушилось столько горя: арестовали любимого дядю Ризу, выслали в Иран отца. Дед мальчика по отцовской линии был родом оттуда, но приехал в Россию еще в девятнадцатом веке. Дед давно умер, еще в двадцатые годы, до рождения мальчика. И вдруг вспомнили про отца: поезжай туда, откуда приехал твой отец в девятнадцатом веке. Какая-то подлая чушь! Отец родился здесь, и никакой другой родины у него не было.

А тут началась Отечественная война с Германией, и почти все мужчины из их рода ушли на фронт. Из дома ушел старший брат мальчика и муж тетушки. В доме оставался сумасшедший дядя Коля и никому не нужный алкоголик дядя Самад. Он, как всегда, отправлялся по утрам в кофейню, расположенную на базаре, где за выпивку и небольшую еду писал крестьянам всякие прошения.

Мальчик думал, что аресты с войной кончатся. Сейчас не до этого, сейчас надо родину защищать. И вдруг дядю Самада взяли прямо из кофейни. Пришли двое в серых плащах и взяли его. Так рассказывал человек, который хорошо знал дядю и сам в это время сидел в кофейне.

— Плохи дела, — сказал он, — раз они добрались до кофейни. Значит, немцы будут здесь. Это точно.

Он ушел, а мальчик долго думал над его словами. Получалось, что нашим неприятно сдавать города, в которых есть алкоголики. Может быть, наши хотели показать врагам, что в Советском Союзе не может быть пьяниц? Глупо! Глупо!

Мальчик, конечно, переживал потерю любимого отца и любимого дяди (об этом рассказано в другом месте), хотя он никогда не переставал верить, что рано или поздно они вернутся.

Может быть, еще горестней было, что постепенно перестали приходиться в дом друзья дяди и отца. До войны еще оставался тетушкин муж, так что нельзя было сказать (мальчик и об этом подумал), что вот, мол, в доме не осталось мужчин и неловко заходить в этот дом.

Мальчик точно знал, что они перестали приходить от страха. Он знал, что никто из них не верит, что дядя или отец враг народа, но он знал, что все они боятся к ним заходить.

Правда, мальчик слышал, что некоторых из них тоже арестовали. Но кое-кого мальчик иногда встречал на улицах. Были и такие, что останавливались и гладили его по голове. Спрашивали об отце и дяде — что пишут, здоровы ли?

Мальчик отвечал им в суровой зависимости от того, кто дольше продержался, кто дольше продолжал приходить к ним домой. Не продержался никто, но мальчик хорошо помнил, кто из них раньше перестал заходить, а кто хоть и сдался, но не сразу.

Конечно, он никому не грубил, это было бы все равно что навязываться. Но ему казалось, что по сухости ответов, по нетерпению уйти от них худшие должны были понять, что они довольно-таки жалкие людишки.

А некоторые из них при виде него смешно отворачивались (трусы! трусы! взрослые отворачиваются от пацана!), а если не успевали отвернуться, как-то виновато улыбнувшись, промывали мимо. У многих из них он с раннего детства сиживал на коленях и рисовал войну. И как они хохотали над его рисунками! И как ему было стыдно теперь это вспоминать! И как сиротливо опустел их дом, такой многолюдный когда-то, такой шумный, веселый!

И только дедушка Вартан в любую погоду продолжал приходить со своей остроугольной корзиной, наполненной свежими фруктами. Мальчик подумал: как странно, что до сегодняшнего дня он никогда их не сравнивал, не сопоставлял.

Друзей дома с дедушкой Вартаном. Его приход был маленьким праздником, который начался до рождения мальчика и будет продолжаться вечно. И он до сегодняшнего дня не ощущал никакого геройства, никакой смелости в том, что дедушка Вартан продолжает к ним приходить. Он был уверен, что и сам дедушка Вартан об этом никогда не задумывался. Он был из какой-то другой жизни, и мальчику было бы странно вообразить, что дедушка Вартан, приходя к ним, проявляет какую-то смелость. Это было все равно что луна, дерево или море вдруг испугались бы, что их арестуют.

Но вот дедушки Вартана нет уже больше месяца. И тайная тревога вползла в мальчика. Если бы дядю Самада за это время не взяли, ему бы и в голову не пришло беспокоиться. Никто никогда точно не знал, в какой день придет дедушка Вартан. Обычно, приезжая на базар торговать фруктами, он заходит и к ним заглядывал.

С каждым днем мальчик тревожился все сильнее и сильнее. Но конечно, никому об этом не говорил. А вдруг он больше никогда не придет? А вдруг он решил: раз того, ради которого он множество лет приносил фрукты, арестовали, не имеет смысла к ним приходить? Но откуда он мог узнать, что дядю взяли?

В той же кофейне, вдруг догадался мальчик. Она на том же базаре. Нет, бодрил он себя надеждой, не может быть. Не может быть. А вдруг те, в серых плащах, подошли к нему на базаре и сказали, мол, если еще раз войдешь в этот дом, мы тебя самого арестуем! И он решил больше не заходить.

Но ведь если те, что в серых плащах, напряженно соображал мальчик, следят за их домом, они бы это ему сказали после ареста дяди Ризы и высылки отца? Почему они ему раньше об этом не сказали?

Мальчик напряженно соображал и вдруг, холодея, догадался. Они все знают. И поэтому они знали, что он приходит не ради отца или дяди Ризы, а ради его спившегося дяди Самада, который помог ему в каком-то деле еще до революции. А теперь, когда взяли и этого дядю, они предупредили дедушку Вартана, чтобы он больше к ним не заходил.

И вдруг совсем неожиданно мелькнуло в голове: раз они все знают, значит, они знают, чем именно дядя помог когда-то дедушке Вартану? А что, если спросить? Мальчик вздрогнул от омерзения к самому себе: как это ему могло прийти в голову! Ни черта они не знают, и никто не следит за их домом! Если бы кто следил за их домом, он давно бы это заметил. Чушь. Чушь. Чушь.

С тех пор как взяли дядю Ризу, выслали отца, а друзья их, гурьбой собиравшиеся в доме, перестали приходить, взрослый мир стал таким ненадежным, но он не должен брать в голову всякие глупые подозрения.

Мальчик устал глядеть на конец улицы и снова перевел взгляд на могучий тополь. Солнце уже близилось к закату и золотило его огромную, дышащую крону.

Справа раздавался звон монет, по которым били своими расшибалками Анести и Бочо. Казалось, два неумолимых кузнеца куют монеты. Они снова положили на камень сереб-

ряный столбик монет и, отойдя на отведенное расстояние, стали накидывать на сверкающий кон свои расшибалки.

Мальчик снова рассеянно взглянул на играющих и вдруг сразу понял, почему в долгой упорной игре Бочо проигрывает. Его расшибалка была поменьше и полегче, чем у Анести.

Когда расшибалку накидывают на столбик монет, она обычно слегка отскакивает в сторону или вперед. Хотя иногда, если уткнется в землю под определенным наклоном, может и остаться на месте. Тогда все решает точность броска. Но так бывает очень редко, обычно расшибалка отскакивает от земли, скользит и останавливается. Чем тяжелее расшибалка, тем меньше она отскакивает и скользит. В короткой игре это не приносит заметного преимущества, но в долгой игре сказывается выгода более тяжелой расшибалки. Она чаще ложится точнее, и поэтому Анести чаще пользовался правом первым ударом разбрызгать монеты. Обычно первый удар бывал самым урожайным.

— Бочо, — сказал мальчик, — ты что, не видишь, что у него расшибалка тяжелей? Это же мухлевка. Или играйте одной расшибалкой, или играйте в орла-решку.

Бочо посмотрел на него очумелыми от азарта глазами, стараясь прийти в себя и понять его. Анести резко обернулся и бешено заклокотал:

— А ты чего вмешиваешься в чужую игру? Грешь свою Белку на пузе, вот и грей. А то получишь расшибалкой по зубам!

Руки мальчика, гладившие собаку, остановились. Он сам не знал, что злая боль возмездия за все, что случилось с его домом, вдруг сосредоточилась на Анести. Он еще сам не знал,

что будет, но Анести по его глазам понял, что драка начнется сейчас же и будет беспощадной.

И тот отступил, хотя и был драчун. Он почувствовал силу ярости мальчика и никак не мог понять ее причины. Не такой уж это было мухлевкой — играть более тяжелой расшибалкой. У некоторых пацанов пальцы так привыкли к собственной расшибалке, что они и сами не хотели пользоваться чужой, даже если она тяжелее.

— Ладно, будем играть моей, — согласился Анести и добавил: — А ты вроде своего дяхоза — псих.

И они стали по очереди накидывать на столбик денег расшибалку Анести. А туда, где она ложилась, ставилась расшибалка Бочо, чтобы было видно, кто ближе к столбику монет. Игра пошла ровней, но мальчик больше туда не смотрел. Он опять смотрел на конец улицы. Он ждал.

Сегодня все решится, думал он. Сегодня. Дело в том, что именно сегодня тетушка посылала его на базар за покупками и он там случайно увидел дедушку Вартана. Тот продавал фрукты.

Мальчик замер. Сердце его так заколотилось, что даже стало больно в груди. Он не подошел к нему. Нет, только не это! Он машинально попятился, боясь, что дедушка Вартан его заметит и мальчик тем самым навяжет ему приход в свой дом. Он попятился, не сводя с него глаз, боясь, что дедушка Вартан может узнать его со спины, а узнав, догадается, что мальчик его уже видел и тем самым навяжет ему приход к ним домой. Он впятился в толпу. Дедушка Вартан его так и не заметил.



И вот он сидит на ступеньках и ждет. Смотрит в конец улицы, откуда должен появиться дедушка Вартан.

Солнце уже близилось к закату. И когда по их немощеной улице проезжала машина, поднятая пыль долго и красиво золотилась. Вскоре в конце улицы появилось много людей, и мальчик понял, что футбол кончился и они возвращаются со стадиона. И было ясно, почему футбол кончился так тихо.

Люди шли, громко обсуждая упущенные возможности нашей команды, в очередной раз проигравшей тбилисскому «Динамо». Мальчику все они показались ужасно глупыми и скучными. Сколько можно говорить одно и то же! Сколько можно надеяться, что наша команда проиграла случайно! Да и как ей не проигрывать, когда чуть ли не каждый год наших лучших игроков переманивают туда.

Один из любителей футбола, друг того дяди, которого арестовали первым, проходя мимо их дома, вдруг бросил взгляд на второй этаж, туда, где раньше жил дядя. И что-то тоскливое мелькнуло в этом взгляде. Мальчик хорошо помнил, что именно он дольше всех держался, отпал последним.

Мальчик вздохнул и снова посмотрел в конец улицы. Там появился дядя Коля с ведрами, полными воды. Мальчик ожидал, что дедушка Вартан завернет на их улицу в конце квартала. Но он мог появиться и оттуда, откуда появился дядя. Но чаще всего он приходил, заворачивая из ближайшего квартала, и потому у мальчика екало в груди, когда кто-нибудь появлялся из-за угла. Нет, опять не он. Дядюшка шел с полными ведрами, и даже издали видно было, как он свирепо озирается, чтобы, не

дай Бог, какая-нибудь собака или кошка не оказались поблизости от его ведер. Он был страшно брезглив и мог прийти в неслыханную ярость, если бы собака пробежала мимо его ведра.

Поэтому он заранее зычным голосом отпугивал всякую четвероногую тварь, если она появлялась на улице или вдруг выскакивала из подворотни.

Впрочем, и человеку могло не поздоровиться, если он проходил слишком близко от его ведра или тем более по глупому любопытству заглядывал в него. Мальчик знал эту особенность дяди и считал, что излишняя физическая брезгливость тоже не признак большой ясности ума.

— Собаки! — грозно предупредил дядя, приблизившись к калитке и заметив Белку на коленях у мальчика. Он с такой предупредительной воинственностью взглянул на нее, словно Белка собиралась прямо с колен мальчика прыгнуть в ведро.

На самом деле Белочка, услышав голос дяди, не только не проявила странного желания прыгать в ведро с водой, но, наоборот, еще сильнее прижалась к мальчику. Дядя исчез в калитке.

Мальчик вспомнил, как его сумасшедший дядя разговаривает с портретами своих братьев, висевшими в доме. Иногда бабушка, стоя перед этими портретами, подолгу молила Бога вернуть своих сыновей.

А сумасшедший дядя не понимал, что его братья арестованы и высланы. Он только понимал, что они куда-то уехали и не возвращаются, а бабушка очень хочет, чтобы они вернулись. Это он понимал.

И он порой сам подходил к портретам и начинал с ними разговаривать, просил их быстрее приезжать, не обижать бабушку. Обычно он с ними разговаривал очень ласковым голосом. Видно, ему казалось, что, если поласковее с ними говорить, они быстрее вернутся. Но иногда он терял терпение и начинал их ругать за то, что они не жалеют бабушку, не возвращаются. Тут он, бывало, припоминал им и собственные старые обиды. И бабушке приходилось отгонять его от портретов, заставляя замолкнуть. Но объяснить ему, что случилось с его братьями, было невозможно.

Мальчик снова взглянул в конец улицы. Любители футбола отшумели и прошли. Никого не было видно. Мальчик стал думать о своем государстве. Это уже стало привычкой. Довольно прилипчивой привычкой. От нее спасали только многочасовые игры, купание в море или запойное чтение книг.

Но здесь не было ясности, а он любил ясность. Он терпеть не мог все двоящееся, расплывающееся, извивающееся. И он думал, думал, чтобы все стало ясно.

Мальчик обожал революционные песни. Он любил всякие песни, но революционные обожал. Ему становилось сладко, когда он слышал эти песни. Он в такие минуты готов был умереть, чтобы другие люди были счастливые, веселые, здоровые. Чтобы все смеялись, шутили, вечно зазывали к себе гостей и щедро угощали их.

И самая сладкая мечта была такая. Что будет, когда революция полностью победит? А будет вот что. На пристани, возле которой пацаны купались в море, иногда с катеров раз-

гружали арбузы. Целая гора рябящих арбузов, бывало, вышлась на пристани. Потом их вывозили на базар. Иногда продавали прямо на пристани. И он был уверен, что, когда окончательно победит мировая революция, взрослые дяди будут швырять ребятам в море арбузы. Швырять и хохотать. А ребята будут со всех сторон подплывать к арбузам. Кто первым доплыл, ему первый арбуз. Множество арбузов, взрывая воду, будет лететь в море. Бултых! Бултых! Бултых!

А пацаны, вдосталь наигравшись арбузами и охладив их в воде, наконец подплывут к берегу, головой подталкивая арбузы перед собой. А на берегу будут разбивать арбузы камнями и вгрызаться в сладкую мякоть, обмазывая лица красным соком.

И мальчику было приятно, но и немножко грустно это воображать, потому что он себя видел взрослым, швыряющим арбузы в море, а не пацаном, вылавливающим их в воде, впрочем, иногда в мечтах забывалось, что это будет не так уж скоро, и он видел себя среди пацанов, вылавливающих арбузы. Цвет революции в его мечтах обращался в цвет сочной, сладкой мякоти арбуза.

Мальчик был уверен, что раз революционные песни такие красивые, значит, революция была правильная и нужная всем людям земли. Это же ясно. Если бы это было не так, песни не могли быть такими сладостными. Революция была прекрасна. Но потом произошли какие-то ошибки, появились какие-то шпионы, вредители, а власть запуталась и поглупела.

Например, в его родной дедушкиной деревне все не любили колхоз. Иногда смеялись над ним, иногда проклинали.

Они революцию не называли революцией, и это было довольно обидно. Они забыли или нарочно делали вид, что забыли, как она называется.

— Когда пришло колхозное время, — говорили они, а имели в виду, когда пришла революция и новая власть. И мальчик догадывался, что все они в душе считают, что у новой власти никакого другого замысла не было, кроме колхозов, и если они их не сразу ввели, то только для того, чтобы временно усыпить людей, укрепиться, а потом уже всех загнать в колхозы. Обидно было за революцию, но мальчик любил ясность и хотел понять, что случилось.

И мальчик, вглядываясь в деревенскую жизнь, старался понять, почему они проклинали колхоз. Он, конечно, знал, что крестьяне здесь как пахали до революции на быках, так и пашут. Как махали мотыгами, так и машут. Получалось, что если крестьяне на общем колхозном поле машут мотыгами, то работа должна идти лучше. Но почему? Он же видел своими глазами, что все наоборот. Если они на своих усадьбах и в самом деле в охотку махали мотыгами, то на общем поле они, скорее, помахивали ими.

Правда, до революции в Чегеме не было школы. А новая власть построила школу, и дети учились в ней. И мальчик считал, что это очень хорошо. Но почему власть не сказала честно и ясно:

— Мы для вас школу, а вы для нас колхоз. Согласны?

Однажды он с дедушкой стоял в кустах орешника над котловиной Сабиды. Дедушка рубил молодняк для фасолевых подпорок, а мальчик очищал его от веток. Вдруг дедушка разогнул-

ся, вытянул руку, сжимающую клювоносый топорик, и ткнул в сторону моря, где в сиреновом туманце виднелся Кенгурск:

— Вон там еще до Большого Снега ваш Сталин пароход ограбил.

«До Большого Снега» означало — до первой мировой войны. «Ваш Сталин» означало — не наш, деревенский, а ваш, городской.

— Как так, дедушка? — удивился мальчик.

— Так, — твердо сказал дедушка и одним ударом топора наискосок подрезал ореховое деревце, — ограбил пароход со своими головорезами. А потом перестрелял их и ушел по Нижнечегемской дороге.

Мальчик тогда не поверил дедушке, хотя он знал, что дедушка никогда не врет. Мальчик решил, что дедушка от ненависти к Сталину спутал его с какими-то абреками. В Чегеме все ненавидели Сталина, считая, что это он загнал их в колхоз.

И так как мальчик любил революцию, а из чудесных песен о революции было ясно, как божий день, что она совершена для народа, ему пришлось пожертвовать Сталиным. Да он его и сам не любил. Он его видел и слышал в киножурналах, и ему было ясно, что Сталин никак не похож на революционные песни. Пришлось его разжаловать из вождей. Но он знал, что в городе вслух об этом еще нельзя говорить.

Кто там еще оставался? Ворошилов. Он его тоже видел в киножурналах. Пожалуй, Ворошилов напоминал революционные песни, особенно когда на коне скакал по Красной площади и принимал парад. Остальные были такой мелочью,

о которой и думать не стоит. Как можно было сравнивать козлобородого Калинина с революционной песней? Смешно.

Мальчик обожал революционные песни. Но он хотел, чтобы все было честно. Сталиным пришлось пожертвовать. Колхозами, во всяком случае горными, пришлось пожертвовать.

Шпионы и вредители, конечно, были и есть. Из-за них арестовывают таких невинных людей, как его дядя. Но куда смотрит Сталин?

Нет, он не может быть вождем. Он даже по-русски плохо говорит. Даже у нас здесь в Мухусе лучше говорят по-русски, чем он. А ведь он живет в Кремле. В какой-нибудь бедной сакле в горах еще можно так говорить по-русски. Но не в Кремле... Мальчик тогда не знал, что в Кремле все плохо говорят по-русски, потому что слышал одного Сталина.

Но что же удалось революции кроме прекрасных песен и могучих электростанций? Бесплатная школа, в которую он ходит, как и все ребята. Даже завтраки бесплатные. Правда, всего лишь кусочек хлеба с джемом. Глотнул — и нет. Но ведь идет такая война. Из-за этих завтраков мало кто уроки пропускал.

А что в странах капитала? Полным-полно безработных. А рабочий человек, не говоря о неграх, не может своего ребенка отдать в школу. Денег нет. А насчет завтраков в школе они даже не слышали. Шамать захотел? Закуси промокашкой.

Тетушка прекрасно пела. Он любил ее за это и многое прощал. Она пела по-русски, по-абхазски и даже по-турецки. Больше всего она пела по-русски. Чаще всего романсы. Но и революционные песни иногда прихватывала. И вот что уди-

вительно. Революцию всегда ругала, правда, дома, при своих. А революционные песни пела так задушевно, как будто жизнь готова была отдать за революцию.

Но мальчик точно знал, что тетушка не готова отдать жизнь за революцию. Да не то что жизнь, она даже кирпича с кирпичного завода дедушки не отдала бы революции добровольно. Пожалуй, она могла бы звездануть кирпичом по голове какого-нибудь зазевавшегося революционера, если, конечно, в те времена бывали зазевавшиеся революционеры. Она не была жадной, но она не признавала революции и ничего не хотела ей отдавать.

Так что революции пришлось отобрать кирпичный завод дедушки со всеми его кирпичами. Мама говорила, что у отца глаза повреждены (хотя мальчик этого не замечал) от того, что он день и ночь стоял там над какими-то раскаленными печами. Когда вернется отец, хотя неясно, когда это будет, надо узнать, что случилось с его глазами.

Нет, мальчику не было жалко кирпичного завода дедушки, который отобрала революция. Он даже конфетную фабрику отдал бы ей, если бы она у него была. Дедушкин кирпичный завод находился недалеко от города. Мальчик даже ни разу не полюбопытствовал взглянуть на него, до того ему было не жалко отдать его революции. Но от людей он слышал, что завод этот давно заброшен и никто там не работает. Тогда зачем его надо было отбирать? Опять неясность.

Мальчик давно, еще до войны, заметил, что Сталин хитрит и этим унижает революционные песни. Он с мучительной ревностью ловил правительство на этих хитростях.



Когда началась война с Финляндией, он ни на секунду не поверил, что финны напали на Советский Союз. Финляндия была такая маленькая, а Советский Союз был такой огромный, и он точно знал, что Финляндия не могла напасть на нашу страну. Из революционных песен ясно следовало, что все народы равны, что революция защищает слабых от сильных.

Ему было жалко Финляндию, и он однажды ночью вдруг вспомнил школьную карту с изображением огромного Советского Союза и маленькой Финляндии и заплакал. Никто никогда не мог узнать об этих его слезах, но сам он о них никогда не забывал. Может быть, эти слезы были не только по Финляндии, но и по отцу и по дяде, которых к этому времени он уже потерял, но он тогда этого не знал. Перед его глазами была маленькая Финляндия, и он плакал от бессилия перед подлостью.

А когда началась Отечественная война и немцы как бешеные поперли по нашей земле, мальчик слушал Сталина по радио. И мальчик с удивлением заметил, что Сталин теперь говорит по-русски гораздо лучше, чем раньше в киножурналах. Многие это заметили. Некоторые взрослые злорадно перешептывались: «Это он со страху».

А когда газеты заговорили о зверствах немцев на захваченных землях, мальчик поверил, что это правда. Но он тут же приметил и хитрость. Газеты должны были сначала написать, что немцы захватили наши земли, а потом уже говорить о зверствах. Но они сразу заговорили о зверствах, чтобы оглушить людей этими зверствами и чтобы люди меньше думали о захваченных землях. А ведь до войны обещали воевать на

чужой территории. Нет, тут его перехитрить не удалось. А потом он вдруг на стадионе услышал разговор двух взрослых людей о войне. Один из них сказал другому:

— Какие там могут быть зверства? Вранье. Пропаганда. Немцы культурная нация.

Мальчик был сильно смущен. Неужели он напрасно поверил? Ему нравились антифашистские песни. Они были похожи на революционные песни. И опять противная неясность в голове. Но тут, к его счастью, появился на их улице первый бравый фронтовик с лихо перебинтованной рукой. Он сидел на цементном парапете моста через речушку, и все покуривал, и все пошучивал с проходящими девушками, а они ему хорошо улыбались.

Мальчик с ним заговорил об этом. Фронтовик уверенно сказал, что про зверства немцев пишут правильно, он своими глазами это все видел. И вдруг ни к селу ни к городу добавил:

— Немцы храбрые. Одного эсэсовца при мне расстреливали. Его расстреливают, а он себе курит.

Мальчику это неприятно было слышать, но он каким-то безошибочным чутьем угадал, что фронтовик говорит правду. Но разве фашисты могут быть храбрыми? Не должны, но, оказывается, могут. Неприятно, но правда.

Мальчик очнулся от своих мыслей. Дедушку Вартана все не было видно. Несколько соседских мужчин вышли со двора и, устроившись на крыльце своего дома, стали играть в нарды. Двое играли, а остальные, стоя возле них, курили и переговаривались. До мальчика доносилось цоканье костей по игровой доске и шлепанье передвигаемых фишек. Иногда мерное

шлепанье сменялось резкими, щелкающими ударами. Это означало, что кости удачно легли и тот, кто их выбросил, передвигая фишки, азартно бьет ими по доске: вот тебе! вот тебе! вот тебе! Впрочем, такие удары могли быть и хитрым притворством, чтобы сбить с толку противника: мол, тебе не кажется, что мои кости хорошо легли, но это как раз то, что нужно моему тайному замыслу. Мальчик умел играть в нарды, но ему это сейчас было неинтересно. Просто слух его машинально улавливал удары фишек и переход везенья или того, что игрок хотел выдать за везенье, от одного играющего к другому.

Солнце опустилось еще ниже, и невероятный тополь, весь прозолоченный теплыми лучами, замер от удовольствия. Но в конце улицы никого не было.

Мальчик вдруг вспомнил то, что было давным-давно. Он думал, что забыл об этом, но вдруг все, что было, ясно припомнилось.

У тетушки за праздничным столом сидели гости. Было шумно, весело. Вдруг пришел дядя Самад, как всегда выпивший. Оттого что он всегда был выпившим, все знакомые относились к нему как-то несерьезно. Вроде они гораздо умнее его. Хотя мальчик и тогда чувствовал, что это совсем не так. Но ему, как и всем домашним, было неприятно, что дядя всегда под хмельком и гости сейчас его видят таким.

Дядю пригласили к столу. Тетушка подала ему тарелку с закуской. Даже поставила стопку рядом с его тарелкой и ушла на кухню. Дядя встал и пошел мыть руки. И тут вдруг один из гостей, веселый дядя Митя, подмигнул мальчику на графин с водой, чтобы он налил дяде воду вместо водки. Мальчику

понравилась эта шутка. Она показалась ему даже полезной. Сам дядя ничего не заметит и от этого будет трезвей, а гости повеселятся от того, что он выпьет воду, думая, что это водка.

Мальчик даже почувствовал гордость, что именно ему поручил это дядя Митя. Выходило, что даже он, еще совсем-совсем пацаненок, оказался среди взрослых, которые чувствуют себя умнее дяди.

Графин с водой как раз стоял возле него. Мальчик осторожно и быстро наклонил его, подставил дядину стопку и наполнил ее водой. Пока он это проделывал, он все время с гордостью думал, что взрослые поручили ему исполнить взрослую шутку и надо быть достойным этого поручения. И он очень старался, боясь расплескать воду, наклоняя тяжелый графин, или неловким движением опрокинуть и разбить стопку. И все получилось удачно. Он даже сам переставил стопку к дядиной тарелке. Он был до того горд, что ему поручили эту взрослую шутку, что всеми своими движениями и видом своим намекал взрослым, что и раньше он сам проделывал с дядей такие шутки, хотя такое ему и в голову никогда не приходило.

Вымыв руки, дядя пришел и сел на место. Все как-то с повышенным вниманием смотрели на дядю, ожидая действия шутки. Обычно к нему относились небрежно-снисходительно. Да и тетушка его далеко не всегда сажала за стол, когда бывали гости.

Сегодня она его посадила за стол, потому что сразу заметила, что он был под легким хмельком. Нет, он никогда не скандалил, правда, иногда начинал спорить, когда к нему слишком

уж приставали с упреками, что он слишком много пьет и этим позорит семью. Сейчас мальчик заметил, что дядя почувствовал к себе всеобщее внимание и это ему приятно.

Он поднял стопку и произнес тост. Он говорил что-то важное о судьбе народа и темных временах. Мальчик тогда ничего не понял из того, что говорил дядя. Но он уже понимал, что есть опасные разговоры, которые не должны слышать чужие люди.

Дело происходило на веранде второго этажа. Здесь были все свои. Но когда дядя начал говорить, один из гостей захлопнул окно веранды, как будто снизу дядю мог услышать какой-нибудь сексот. Но снизу его никто не мог услышать, тем более что дядя вообще всегда говорил не очень громко.

Некоторые гости посмеивались глазами, когда дядя говорил: мели Емеля, твоя неделя. Некоторые полушутливо хватались за головы, как бы боясь, что он своими речами всех посадит в тюрьму.

Наконец дядя выпил, запрокинув голову, и поставил стопку на стол. В первое мгновение мальчику показалось, что дядя ничего не понял. Дядя даже взял вилку, чтобы начать закусывать. И вдруг его худое длинное лицо посерело, и он затравленными глазами оглядел застольцев. Вилка, звякнув о стол, сама выпала из его руки. Мальчик похолодел от ужаса. За столом все замолкли, и все почувствовали, что шутка не получилась.

— Вы хотели этой водой меня унижить, — тихо сказал дядя, оглядывая гостей, — но меня унижить нельзя. Меня эта жизнь уже так унизила, что ниже некуда... Топтать растоптанного... Что я вам сделал? За что?

К счастью, тетушка в это время была на кухне. Она вообще ничего не заметила. Хотя она сама поедом ела дядю за то, что он пьет и тем самым позорит семью, но гостям могла и не простить такое. И тогда черт знает что могло случиться! Она могла сдернуть скатерть со стола, все перевернуть и всех прогнать.

Но она была на кухне. Сказав несколько слов, которые сотрясли душу мальчика, дядя молча оглядел всех, молча встал, отодвинул стул и ушел в свою комнату.

Мальчик сидел ни жив ни мертв. Нет, он не боялся, что дядя узнает о том, что именно он налил воду в его стопку. Ему бы это никто не сказал. Он ужаснулся тому, что сделал.

И он никак не мог понять, почему то, что казалось невинной шуткой, обернулось такой омерзительной подлостью.

И сейчас, вспоминая об этом, он с яростной ненавистью подумал о дяде Мите, который до этого случая казался ему самым веселым и самым приятным из гостей, приходивших к ним в дом. Гадина! Гадина! Гадина! Ему бы только повеселиться! И он один из первых, хотя и не самый первый, перестал приходить к ним в дом.

И то, что раньше так нравилось мальчику в этом человеке, постоянном заводиле всякого веселья, сейчас казалось ему какой-то слюнявой, противной обжираловкой. И как он этого раньше не замечал? Дядя Митя всегда обжирался весельем и сейчас, наверное, где-нибудь в безопасном доме обжирается весельем.

Дядю никто не любил, с болью подумал мальчик. Никто, кроме бабушки. И я не любил, безжалостно подумал он о се-

бе. Только иногда, когда он по ночам кашлял, жалел его. Как долго, как невыносимо долго он кашлял по ночам! А утром вставал как ни в чем не бывало и уходил в кофейню.

Когда арестовали дядю Ризу, тетушка сдала жильцам комнату дяди Самада, а кровать его переволокли в залу, где раньше жил арестованный дядя. Это была самая большая комната в доме. Там спала бабушка, спал дядя Коля, и там спал мальчик на кровати любимого дяди, когда оставался ночевать у тетушки. И туда переволокли кровать дяди Самада, когда тетушка сдала жильцам его комнату.

Дядя и слова не сказал, что остался без комнаты. Тогда-то мальчик, ночуя на кровати любимого дяди, и стал слышать по ночам его долгий, невыносимый кашель. Но тетушка и на этом не остановилась. Через некоторое время кровать дяди переволокли на верхнюю площадку парадной лестницы.

С тех пор как арестовали любимого дядю, парадной лестницей никто не пользовался и парадная дверь была наглухо закрыта. Мальчик считал, что парад и праздник — это почти одно и то же. Значит, парадная лестница и парадная дверь — это праздничная лестница и праздничная дверь. Но какой может быть праздник, если арестовали любимого дядю? Парадную дверь навсегда закрыли, и лестницей никто не пользовался.

И вот на верхнюю площадку неугомонная тетушка переволокла вместе с дядей Колей кровать дяди Самада. Тетушка говорила, что от него дом пропах алкоголем. Мальчик этого не замечал, но, возможно, дядин кашель доносился до ее спальни

и раздражал ее. Дядя и тут никому ничего не сказал. Ему было все равно, тем более что зимой топили только кухню, а во всех остальных комнатах было одинаково холодно.

Он так всем надоел тем, что пил, что его никто не любил. Его любила только бабушка, хотя она же больше всех его ругала. Но только она заставляла его надеть что-нибудь теплое в холодную погоду и старалась заставить его поужинать, когда он приходил по вечерам. Ей все казалось, что он только пьет и ничего не ест. Наверное, почти так оно и было. Он был такой худенький, непонятно в чем душа держалась.

Уже солнце садилось. Соседские женщины, глядя из окон домов или стоя у калитки, звали своих детей домой. Мальчик вспомнил о маме, которая вместе с сестрой уехала в деревню менять вещи на продукты. Они уехали на несколько дней. Неужели дедушка Вартан так и не придет, думал мальчик, с безнадежным упорством глядя в конец улицы.

Вдруг из-за угла появился дядя Алихан, живший у них во дворе. Он шел, катя перед собой лоток с восточными сладостями, которые он продавал на базаре. Сердце у мальчика упало. Он понял: все кончено.

Дядя Алихан возвращался с базара только тогда, когда его закрывали. Если он торговал на базаре, а не на Портовой улице. Но мальчик точно знал, что, если дядя Алихан торговал на Портовой улице, он возвращался с противоположной стороны квартала.

Сейчас он возвращался с этой стороны, и значит, базар уже закрыт и ждать нечего. Катя перед собой лоток на коле-



сиках, он приближался, как вестник конца. Дойдя до калитки, он остановился, чтобы передохнуть и повернуть лоток в сторону калитки. Клейкие от меда козинаки тускло золотились под стеклом лотка. Мальчик посмотрел на дядю Алихана, и они встретились глазами. Дядя Алихан что-то почувствовал.

— Хочешь козинаки? — устало улыбнулся дядя Алихан и, не дожидаясь ответа, стал открывать свой лоток.

— Нет, нет! — поспешно ответил мальчик. Ему сейчас было бы просто противно есть липучие козинаки.

— Не хочешь? — удивился дядя Алихан. — Хорошие козинаки. Мед цебельдинский.

— Дядя Алихан, — спросил мальчик, сдерживаясь изо всех сил, чтобы себя не выдать, — вы дедушку Вартана не видели?

— Как не видел, — удивленно приподнял брови дядя Алихан, — он идет.

— Куда идет? — почти выкрикнул мальчик, забыв, что надо сдерживаться.

— К вам идет. Куда он еще пойдет? — понимающе улыбнулся дядя Алихан, думая, что мальчик соскучился по свежим фруктам.

И не успел дядя Алихан вправить свой лоток в узкую калитку, как на углу появился дедушка Вартан. Мальчик сразу узнал его сутуловатую от корзины за плечами высокую фигуру, его неизменные в любое время года белые шерстяные носки, заправленные в них галифе, его мерную, правильную походку человека с поклажей.

Мальчик любовался, любовался его приближающейся фигурой, чувствуя, как все его тело наполняется восторгом, и, словно боясь, да и в самом деле боясь, что этот восторг его сейчас разорвет, сорвался с места и побежал во двор. Его собачка, едва успев слететь с его колен, с радостным лаем помчалась за ним. Она поняла, что ему стало хорошо и он сейчас своей бегомной вызывает ее на игру.

Он пробежал двор, вымчал по лестнице на второй этаж, пробежал длинный коридор, конец которого сворачивал налево и расширялся до размеров веранды. Там тетушка сидела у окна, как обычно наблюдая оттуда за жизнью двора и иногда сверху властно внося поправки в эту жизнь.

— Те! — закричал мальчик. — Он идет!

Белка, уже в коридоре догнавшая его, залилась радостным лаем. Тетушка вздрогнула от неожиданности и тут же, по своей артистической привычке преувеличивая последствия его неожиданного вторжения, испуганно спросила:

— Кто идет?!

— Как кто?! — закричал мальчик, пораженный ее недогадливостью. — Дедушка Вартан!

Тетушка посмотрела на него, изобразив на лице грустную покорность судьбе: еще один сумасшедший назревает. От судьбы не уйдешь.

— Ну и что, — сказала она, продолжая оставаться покорной судьбе, но стараясь быть внятной, — разве ты его в первый раз видишь?

— Но ведь...

Мальчик запнулся. Он понял, что она не поймет его. Он вдруг понял, что все-таки было стыдно так сомневаться, как он. Он опустил голову, стараясь отдышаться и успокоиться.

Тетушка почувствовала его смущение и решила, что он теперь кается за такое шумное, неожиданное вторжение. Взгляд ее смягчился, показывая, что еще не все потеряно по части умственного состояния племянника.

— Ты слишком много читаешь, — наконец сказала она наставительно, — так можно свихнуться. Ты или целыми днями читаешь, или целыми днями бегаешь сломя голову.. Белочка, замолчи сейчас же!

И Белочка перестала лаять. Легко усмирив это небольшое восстание, тетушка пришла в равновесие и посмотрела в окно.

— А вот и дедушка Вартан идет, — сказала она так, как будто именно она его первая заметила и никто ничего подобного ей не говорил, — как раз и чай готов!

Легко вскочив с места, она быстрой походкой пошла встречать дедушку Вартана. Она шла, напевая:

*И в тот час упоительной встречи  
Только месяц в окошко глядел.*

Она весело и доброжелательно встретила дедушку Вартана:

— Хочь гяльди!

— Сафа гяльди!

Полилась турецкая речь. Дедушка Вартан подошел к столу на веранде, повернулся к нему спиной, чуть нагнувшись,

уткнул в него кончик остроугольной корзины и, придерживая ее, освободился от ремней. Потом он осторожно положил корзину на бок и стал вместе с тетушкой опорожнять ее.

Хотя в их одичалом садике были кое-какие фрукты, но все равно с этими нельзя было сравнить.

Сверху лежали треснутые от полноты красной мякоти темные, нежные инжиры. Под ними лежали кисти желтого, просвечивающегося до косточек винограда. Под виноградом лежали крупные, как их только ветки выдерживают, медового цвета груши «дюшес». А под грушами лежали крепкие, смугло опаленные солнцем яблоки. Фрукты, как всегда, лежали в корзине по возрастающей твердости от поверхности к днищу. Фрукты лежали правильно.

Только тетушка усадила дедушку Вартана на свое почетное место у окна, как на веранде появились бабушка и дядя Коля. Они вышли из дома. Видно, они сидели на балконе и видели, как дедушка Вартан вошел во двор.

— Деда Вартан, деда Вартан, — как ребенок залопотал дядя Коля, хотя сам уже был довольно пожилым человеком. Он жадно оглядывал фрукты, но не смел к ним притронуться, потому что тетушка еще не разрешила.

Тетушка наполнила фруктами огромную вазу, не обращая внимания на степень их твердости. И мальчик знал, что она тут права: рядом с дядей Колей они недолго будут громоздиться в вазе. Остальные фрукты убрала в буфет.

Потом она достала припрятанную где-то наливку и стала угощать дедушку Вартана. Она и сама выпила, и бабушка вы-

пила, моля Бога вернуть домой ее сыновей. Потом пили чай с хлебом, джемом и сиропом. Сироп вместо сахара наливали в стакан. Мальчик даже не притронулся к надоевшему джему. Он ел хлеб с инжиром, запивая его чаем. Жирная сладость инжира была вкуснее любого довоенного повидла. Он ел, он наворачивал с таким аппетитом, которого давно не чувствовал.

Сейчас все изменилось, и ему было странно вспоминать, что он отказался от козинаков, которые предложил ему дядя Алихан. Может, напомнить ему завтра? Напомнить о том, что тот сам предлагал, а не попросить. Это же разные вещи. Одно дело напомнить, а другое попросить.

За ужином выяснилось, что дедушка Вартан в самом деле, как и догадывался мальчик, узнал об аресте дяди Самада в кофейне. И именно сегодня. Сейчас мальчик был уверен, что все будет хорошо. Он был уверен, что все вернутся из тюрем и с войны. От еды и ровной радости прихода дедушки Вартана он почти опьянел, хотя и не пил наливки.

У него вдруг мелькнуло в голове, что дядя Самад в тюрьме-то как раз и отучится пить. Он точно знал, что в тюрьме никому не дают ни вина, ни водки. И он вернется совсем непьющим человеком. И вся семья будет гордиться его силой воли. И его снова полюбят, как, наверное, любили когда-то, когда он был молодой-молодой. И он наконец вспомнит, как и от каких злых людей он защитил дедушку Вартана. И они опять заживут большой семьей и будут сидеть за одним столом, и время от времени к ним в гости будет приходить дедушка Вартан. И это будет всегда.

Мальчик вспомнил, как в прошлом году они с дедушкой Варганом ходили по скобяным лавкам города. Дедушка Варган хотел купить гвозди и никак не находил.

— Посмотри на этот дом, — вдруг сказал дедушка Варган и показал на двухэтажный дом, каких в городе было много.

— А что, дедушка Варган? — спросил мальчик, оглядев дом и ничего особенного в нем не найдя.

— Потом узнаешь, а сейчас запомни, — важно сказал дедушка Варган, и они пошли дальше. Мальчик ничего не понял. Потом они заходили в разные лавки по разным улицам и дедушка Варган время от времени ему говорил:

— Посмотри на этот дом.

Мальчик смотрел и ничего не понимал. Это были двухэтажные, трехэтажные обыкновенные старинные городские дома. Мальчик никак не мог понять, что этим хотел сказать дедушка Варган. Но что-то же хотел сказать? Когда они заходили в лавку, гвоздей нигде не было, дедушка Варган приглядывался и приценивался ко всяким другим товарам, и тогда казалось, он совсем забыл о том, что показывал на дома и что-то этим хотел сказать мальчику. Но потом они покидали лавку, ходили по улицам в поисках другой лавки и вдруг дедушка Варган опять говорил:

— А теперь посмотри на этот дом.

И мальчик смотрел и ничего не понимал, потому что это опять был обыкновенный старинный дом. Но мальчик понимал, что хотя дома, на которые показывает дедушка Варган, вполне обыкновенные, но они явно для дедушки Варгана имеют какую-то особую примету. Но какую?

— Все эти дома построены из кирпичей твоего деда, — наконец сказал он важно, — и таких домов в городе сорок, не считая вашего дома. Ты можешь гордиться своим дедом.

— Дедушка раздавал кирпичи бесплатно? — вдруг всколыхнулась душа мальчика красивой революционной догадкой.

— Почему бесплатно? — спокойно поправил его дедушка Вартан. — Люди покупали кирпич и строили себе дома. Этот кирпич еще двести лет будет держать эти дома. Этот кирпич звенел, как в горах вода. Его покушать хотелось, такой был кирпич. Запомни!

Но мальчик погас, как только дедушка Вартан сказал, что кирпич продавался. Чем же тут гордиться? Нет, тут нечем было гордиться, скорее всего, тут было чего стыдиться. Все это было никак не похоже на революционные песни. Можно ли составить революционную песню из кирпичей, которые продают? Получится одна глупость.

Но с другой стороны, мальчику было приятно, что дедушка Вартан восхищается его дедом. Что-то в голове его раздваивалось, но он не дал себя долго раздваивать. Нет, гордиться тут нечем. Но дедушка Вартан старый человек, добрый человек. И то, что он восхищается дедом, это старинная радость. Пусть старый человек дорадуется старинной радостью. Мальчик сделал тогда для дедушки Вартана исключение, как в школьной грамматике.

Сейчас, вспоминая об этом, он вдруг подумал: а ведь то, что дедушка Вартан приходит к ним в дом, это тоже напоминает старинную верность? Значит, старинное тоже бывает хо-

рошим. Как тут быть? Он знал, что потом когда-нибудь он будет думать над этим, но сейчас не хотелось. Сейчас он был слишком сыт для этого. Мальчик и дядя Коля почти вдвоем опорожнили вазу.

Дедушка Вартан попрощался со всеми, надел на плечи свою опустевшую корзину и ушел ночевать к родственникам.

Потом бабушка, помолившись Богу, легла в свою кровать. Дядя Коля лег в свою. Сейчас от сытного ужина он напевал песенки собственного сочинения. Они были бессмысленные, но радостные.

Мальчик тоже разделся и лег в кровать любимого дяди. Белка легла на турьей шкуре рядом. Хотя дядя и пел свои беззаботные песни, но время от времени он подымал голову и в тусклом свете, падающем из окон, старался разглядеть Белку и бдительно напомнить ей, что дела ее будут плохи, если она подойдет к его кровати, потянет зубами одеяло или что-нибудь еще. Белочка, конечно, ничего этого не собиралась делать, она и близко не подходила к кровати дяди Коли, но объяснить это ему было невозможно.

— Собаки! — грозно окликал он Белочку и на некоторое время погружался в сладостное песнопенье.

Наконец, после особенно грозного окрика, нервы у Белочки не выдержали и она от греха подальше вскочила на кровать к мальчику. Он укрыл ее одеялом и прижал к груди. И мальчику было хорошо рядом с посапывающей, теплой, любимой собакой. И он уже сквозь сладкую дрему думал, что все вернутся из тюрем и с войны и дедушка Вартан будет



к ним приходиться, а на пристани, где громоздятся горы арбузов, взрослые будут с хохотом швырять в море бухающие арбузы. А пацаны, обгоняя друг друга, молотя ногами воду, будут грести на арбузы со всех сторон: кроль! кроль! кроль! Мальчик уснул.

...Прошли годы. Война оказалась добрее тюрьмы. С войны хоть и не все, но многие вернулись. Из тюрем не вернулся никто. И отец не вернулся.

А дедушка Вартан до самой смерти приходил к ним домой с остроугольной плетеной корзиной за плечами, наполненной отборными деревенскими фруктами. Но мальчика уже не было в городе. Он был студентом и учился в Москве. И он всю жизнь помнил дедушку Вартана. И в самые подлые, в самые размазанные времена, когда стоило положить руку на плечо близкого человека и плечо вдруг дрябло оседало или, что еще хуже, юрко умыливалось, он внезапно вспоминал дедушку Вартана и откуда-то сама подымалась сила жить и выстаивать.

Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром помнить об этом. Мир рушится там, где эта связь разомкнулась, где сделавший добро назойливо памятливым, а согретый добром впадает в беспомыслие.

Мир, в котором ты видел хотя бы одного человека, всю жизнь благодарно помнившего о сделанном добре, даже тогда, когда сделавший добро начисто забыл о нем да и сам сгнил, отдав свое легкое тело вечной мерзлоте, этот мир еще не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить и быть человеком.

## звезды и люди

Эту историю в звучных стихах описал поэт Акакий Церетели. Но он не знал, чем она закончилась. И мне захотелось довести ее до конца так, как я слышал в народных пересказах, и так, как она мне представилась.

...Молодой абхазский адвокат князь Сафар сидел за столиком в прибрежной кофейне, покуривая и почитывая местную газету, нервно обсуждавшую радужные возможности крестьянских реформ Александра Второго. Дело происходило в Мухусе.

Был теплый осенний день. Молодой адвокат был одет в легкую черкеску с начищенными газырями, на ногах у него были мягкие и не менее начищенные азиатские сапоги. Сафар был хорош собой, у него было узкое породистое лицо, густая шевелюра и надменный бархатистый взгляд, который, как он знал, очень нравился женщинам и заставлял осторожничать многих мужчин. А так как человек почти все время имеет дело с мужчиной или с женщиной, Сафар почти всегда держал свой взгляд в состоянии бдительной надменности. Недалеко от него за сдвинутыми столиками кутили турецкие матросы, ловцы дельфинов. Сафара раздражал и дельфиний запах, долетавший до него от них, и то, что они ловили дельфинов у берегов Абхазии. Это было неприятно с патриотической точки зрения, но запретить было нельзя. Как юрист, Сафар знал, что такого закона нет. И напрасно! Впрочем, если бы и был такой закон, ловили бы дельфинов контрабандой.

Один из матросов подошел к его столику и попросил по-турецки свободный стул. Сафар сделал вид, что не понимает по-турецки, хотя прекрасно знал турецкий язык.

Он никак не ответил на его вопрос, но окинул матроса одним из самых своих надменных взглядов, пытаясь отбросить его испытанным способом. Однако на турецкого матроса не подействовал его надменный взгляд, или если подействовал, отброшенный матрос успел подхватить стул и присоединиться к своим.

Но у Сафара и без матроса было испорчено настроение. Вчера на скачках в Лыхны его прославленного скакуна обогнала лошадь безвестного крестьянина из села Атары. Хотя крестьянская лошадь явно ничего не знала об освобождении крестьян (реформы Александра Второго), впрочем, как и ее хозяин (в Абхазии крепостного права не было), но в голове у Сафара каким-то образом соединились эти бесконечные статьи о реформах и дерзостная резвость крестьянской лошади.

Дерзостную резвость крестьянской лошади, хотя бы учитывая, что в Абхазии никогда не было крепостного права, при некоторой доброжелательности можно было простить, но Сафар не чувствовал в себе этой доброжелательности.

Впрочем, скачки в Абхазии всегда носили демократический характер, но лучшие скакуны всегда были у дворян, а вот сейчас оказалось, что не всегда. И Сафар злился по этому поводу. По этому же поводу он вспомнил своего брата по аталычеству. Звали его Бата. Они были однолетки. Аталычество — воспитание дворянских детей в крестьянских семьях от рож-

дения до отрочества — было широко распространено в Абхазии. Кто его знает, чем был вызван этот обычай. Возможно, играли роль социальные соображения, то есть дворянин, воспитанный в крестьянской семье, будет лучше понимать истинные нужды народа, будет лучше чувствовать близость к нему. Возможно, и более здоровое молоко крестьянских матерей играло свою роль. А может, так поняли эмансипацию дворянские жены и навязали ее своим мужьям? Все может быть.

К своему молочному брату, с которым они изредка встречались в городе, Сафар испытывал сложное чувство. Он ценил его силу, ловкость, веселый характер, даже, как это ни странно, своеобразное остроумие. Но что-то в его облике раздражало Сафара. Пожалуй, это можно было назвать сдержанным чувством собственного достоинства, как бы тихо, но упорно не дающее никакого преимущества своему высокородному молочному брату. Кстати, об остроумии. Года два назад они встретились в городе, кутили в небольшой дворянской компании под открытым небом в этой же кофейне. Ночь была прекрасная, небо густо вызвездило, и Сафар, вдохновленный выпитым и зная, что он самый образованный человек в этой компании, решил подблеснуть и стал объяснять Бате названия звезд и созвездий, сияющих в небесах. Бата внимательно его слушал, молодые дворяне притихли, по-видимому, они тоже недалеко ушли от Баты в знании звездной карты. И вдруг Бата в конце его пылкого обращения к небу спросил, показывая на звезды:

— А они знают, что они так называются?

Сафар не успел осознать смысл этого нелепого вопроса, как раздался неприятный гогот компании. Бата тоже заулыбался ему своими белоснежными зубами, особенно выделявшимися на его загорелом лице.

— Умри, Сафар, он тебя убил! — сказал один из молодых дворян.

Сафар почувствовал, как его что-то больно кольнуло: неуважение деревенского пастуха к знаниям? Нет, что-то более глубокое. Он это чувствовал по силе укула. Крестьянский практицизм: как можно звездам давать клички, на которые они не могут обернуться, как лошадь или собака? Нет, даже еще глубже и оскорбительней. Он это чувствовал по силе укула. Кажется, истина смутно забрезжила: бесстыдно уходить к таким далеким знаниям, за которые не можешь нести земной ответственности. Сафар разозлился: да откуда ему знать об этом! И какое ему дело до этого?! Однако промолчал. Все-таки молочный брат. Одну грудь сосали. Конечно, при всем при том он его по-своему любил, во всяком случае, чувствовал к нему привязанность. Он помнил, как в детстве они с Батой собирали в лесу каштаны. Им было лет по десять. Вдруг из каштанового дерева вывалился медведь, он, видимо, лакомился теми же каштанами, сидя на ветке. Медведь рухнул в пяти шагах от них. Взревев и встав на дыбы, обдал их зловонным дыханием, из чего неминуемо следовало, что питается он не только каштанами. Мальчики стояли рядом, и вдруг Бата сделал шаг вперед и заслонил Сафара от медведя. Как истинный маленький горец, с молоком матери впитавший, что в случае

опасности хозяин должен умереть раньше гостя, он сделал этот шаг. Впрочем, относительно молока матери получается дурная игра слов, ибо Сафар питался тем же молоком.

Конечно, если б медведь по-настоящему разъярился, ни один из них не уцелел бы. Но медведь, видимо, решил не связываться с ними из-за каштанов, опустил на передние лапы и неожиданно утонул в глубину леса. По-видимому, пошел искать более укромное дерево. Сафар с детства был таким гордецом, что этот шаг в сторону медведя, заслонивший его, он Бате никогда не мог простить. Он не был трусом, но тогда же, в детстве, мучительно почувствовал, что сам, заслоня кого-то, не мог бы сделать этого шага навстречу разинутой, страшной, зловонной пасти медведя. И какой-то частью души, никогда ясно не осознавая этого, он навсегда возненавидел Бату. И все-таки была какая-то привязанность к своему молочному брату и странная любовь.

Начальное образование Сафар получил в селе Анхара. Там жил некий народный учитель по имени Астамыр. Он собирал у себя дома крестьянских и дворянских детей и обучал их грамоте и всем наукам, доступным их возрасту. Учитель любил Сафара, потому что тот был самым способным мальчиком. Позже Сафар блестяще окончил гимназию и затем Московский университет, вернулся на родину и работал в Мухусе адвокатом. Любил лошадей, играл на скачках. Женщины искали тайну в бархатной наглости его взгляда.

И вот его прославленный скакун проиграл на скачках обыкновенной крестьянской лошади, хозяин которой жил

в деревне, расположенной недалеко от деревни его молочного брата. Сафар решил уговорить Бату украсть эту лошадь, с тем чтобы сбыть ее куда-нибудь подальше от Абхазии, чтобы она никогда не появлялась на местных скачках.

В те времена воровство лошадей поощрялось как удаль и никакой моральной проблемы в себе не содержало. Хозяин лошади, если накрывал или догонял конокрада, мог стрелять без предупреждения. По-видимому, существует сладость в стрельбе без предупреждения, не уступающая сладости увода лошади без предупреждения. Но рискующий своей головой за голову лошади считался более удалым и даже зрелым человеком, чем тот, кто, тоже отчасти рискуя своей головой, чтобы повернуть в сторону дома голову своей лошади, убивал лиходея. Такое убийство с некоторой натяжкой горестно признавалось здравым поступком, но никакой славы не приносило. Убийство конокрада хозяином лошади вызывало цепную реакцию конокрадов, нацеленных именно на эту лошадь. Кровь неудачливого конокрада повышала ценность лошади. Однако если хозяин лошади, устав дежурить возле нее или убивать конокрадов, решал продать ее, ценность лошади резко падала, потому что никто не хотел связываться с лошастью, приворожившей конокрадов. Про иного молодого человека говорили: «Еще ни одной лошади не украл, а уже жениться вздумал», — так подчеркивалась его незрелость, неготовность к семейной жизни. Даже некоторая смехотворная неготовность. Поневоле пойдешь воровать лошадь. Не отсюда ли вообще пошло известное философское понятие: унылый коно-

крад. Но мы здесь не будем касаться этой слишком обширной темы. И вот Сафар решил съездить к Бате и попросить его увести лошадь этого крестьянина. К тому же он слышал, что Бата женат на очень красивой женщине, и ему хотелось посмотреть на нее в лучшем случае умеренно-бархатистым взглядом.

Решив так, он отодвинул допитую чашку турецкого кофе, бросил на стол газету, полную нервно-радужных рассуждений о реформах Александра Второго, и пошел домой. Он сам оседлал своего каурого жеребца, вывел его из конюшни и со свойственной ему соразмерной легкостью вскочил на него.

\* \* \*

К вечеру он подъезжал к дому Баты, где он провел свое детство. Тогда живы были и отец и мать Баты — сейчас их нет, они умерли. Были еще два брата и сестра. Но братья женились и жили своими домами неподалеку, сестра вышла замуж и жила в другой деревне. В доме оставались только Бата с женой-мингрелкой. Звали ее Назиброла.

Окинув глазами дом и стоявшую наискосок от него кухню, Сафар почувствовал струйку нежности, плеснувшую в его душу, но одновременно неожиданно осознал убогость дома, жалкую низкорослость кухни, покрытой папоротниковой соломой. «Боже, неужели я здесь столько лет жил и не замечал этой бедности», — подумал он и, наклонившись, сам себе открыл ворота и въехал во двор.



Залаяла собака, привязанная цепью к яблоне. Он доехал до середины двора, когда в дверях кухни появилась молодая женщина в сером домотканом шерстяном платье. Он понял, что эта юная женщина — Назиброла, но не успел ее разглядеть. Навстречу ему из козьего загона вышел Бата с ведром молока.

— С полным встречаю брата! — зычно крикнул он издали и, поставив ведро на землю, улыбаясь, пошел ему навстречу, время от времени свирепо цыкая на собаку, чтобы она унялась. И снова улыбался своей белозубой улыбкой на очень смуглом лице.

Он был чуть выше среднего роста, сухощавый, широкоплечий человек крепкого сложения. На нем были темная домотканая рубаха, подпоясанная тонким ремнем, галифе и чуваки из сыромятной кожи. Он подхватил коня под уздцы, помог спешиться брату и поцеловал его. Потом крикнул жене:

— Встречай моего брата Сафара! Целуй его!

Молодая женщина легко перебежала травянистый двор, смело обняла Сафара за шею и поцеловала в лицо. Поцелуй ее он ощутил, как прикосновение легкого пушка к щеке. Такого прикосновения поцелуя он никогда не знал, а если и знал, то давно забыл. Юная женщина отпрянула от него, покраснела и улыбнулась гостю красивыми, ровными зубами. Сафару на миг показалось, что Бата и Назиброла по зубам нашли друг друга.

Назиброла схватила ведро с молоком и почти вбежала в кухню. Привязав жеребца к коновязи, Сафар и Бата последовали за ней. Не спрашивая о цели приезда, Бата усадил Сафара у открытого очага, придвинул головешки и, сказав: «Сейчас вер-

нусь!» — вышел из кухни. Гость не успел перевести дух и оглядеться, как Бата вошел в кухню с прирезанным козленком. В одной руке он держал длинный пастушеский нож. Теперь только Сафар разглядел, что чехол этого ножа болтается у Баты на поясе.

Пока Сафар соображал, каким образом за такое короткое время Бата мог успеть дойти до загона, выбрать козленка, прирезать его и принести, тот успел освеживать тушку, нанизать мясо на вертел и, приладившись у очага на низеньком стуле, щурясь от дыма, уже поверчивал нежное, свеженанизанное мясо.

Назиброла приготовила мамалыгу, достала откуда-то кувшин с вином, и они сели за низенький кухонный столик. Вино показалось гостю превосходным, козлятина была нежна и горяча, алычовая подливка приятно кусалась. Сафар охотно пил и ел, послеживая за бесконечными передвижениями юной хозяйки по кухне, и находил в ней все больше и больше обаяния. Наконец Сафар изложил брату свою просьбу. Тот рассмеялся, опять сверкнув белоснежными зубами. Он знал, о какой лошади идет речь.

— Что, крестьянская кобылка ногастей твоего жеребца оказалась? — сказал он. — Ладно, сегодня же ночью пригоню ее сюда, если хозяин ее не спит на конюшне, привязавшись к ее хвосту.

После ужина Бата нарезал куски мяса и рассовал их по карманам.

— Это для собак, — пояснил он.

Он подпоясался уздечкой, сунул за пояс пистолет, накинул бурку и крикнул с порога, не оборачиваясь:

— Ложитесь спать. Если повезет, к утру с лошастью буду здесь.

И ушел в ночь.

\* \* \*

Сафар сидел на кухне перед огнем открытого очага и, потягивая вино, следил за женой своего молочного брата. Назиброла убрала со стола, вымыла посуду, вышла накормить собаку, а потом грела молоко и, закатав рукава, окуная голые гибкие руки в котел с молоком, выцеживала из него и лепила ладонями свежий, сочащийся сыр. Сафару она все больше нравилась.

Ему показалось, что и он ей нравится. Она рассказала ему несколько смешных анекдотов из начала ее жизни с Батой. Они женаты были уже три года. В начале их совместной жизни она по-абхазски почти ничего не понимала, и племянники Баты иногда, чтобы повеселиться, заставляли ее заучивать не вполне пристойные слова, выдавая их за правильные и необходимые. Так, однажды перед обедом один из племянников нашептал ей сказать отцу Баты:

— Высокочитимый дармод, пожалуйста к столу!

Дед нисколько не обиделся на нее, но огрел палкой по заднице хохочущего племянника. Сафар много пил, а она много говорила, беспрерывно оборачивая к нему свое смеющееся лицо. Ему казалось, что он ей нравится. Он знал, что он нра-

вится и нравился многим женщинам, уж более высокородным, чем эта крестьяночка. Он много пил, и ему казалось, что она много говорит, чтобы он пил еще больше и делался смелей. Сафар вдруг до конца осознал, что он один на один с юной женщиной, и ему вдруг до изнеможения захотелось оказаться с ней в одной постели.

Еще за ужином Бата договорился с Сафаром утром зайти на семейное кладбище, чтобы навестить могилу молочной матери и отца Баты. Назиброла достала из сундука восковые свечи, протерла их тряпкой, чтобы они выглядели поприглядней, когда завтра понесут их на могилы.

Наконец дела ее на кухне были закончены, она загребла жар очага в золу, взяла в руку керосиновую лампу, и они отправились в дом, стоящий рядом с кухней. Она постелила Сафару постель в большой комнате, придвинула стул к кровати, чтобы он скинул на него свою одежду, и Сафару эта ее последняя услуга показалась приятно нескромной и многозначительной. Держа лампу перед лицом, она в последний раз ослепительно улыбнулась ему и перешла в маленькую комнату, где у нее с мужем была спальня.

Он обратил внимание на то, что она, закрывая дверь в спальню, не набросила крючок на петлю. Нет, он не мог ошибиться — этот металлический звук он обязательно услышал бы. И ему это показалось далеко идущим намеком с ее стороны. На самом деле никакого крючка на дверях давно не было. Но когда-то, когда он жил здесь, он жил как раз в той комнатке, и дом был полон людей, и дверь закрывалась на крючок.

Он слышал за дверью шорох ее одежды, слышал, как она дунула в лампу и легла в деревянную кровать. Он тоже разделся и лег.

Заснуть он не мог и не хотел. Страсть все сильнее и сильнее распалила его. Прошло часа два, и он наконец решился. Он подумал, что, если она станет его прогонять и поднимет крик, он просто уйдет, сославшись на то, что опьянел и потерял голову. Но ведь она весь вечер так мило поглядывала на него и теперь даже крючок не накинула на петлю. И сама же ему подливала весь вечер.

В таком случае ей хватит здравого смысла ничего не рассказывать мужу. Какая женщина захочет, чтобы пролилась кровь? Нет, она ничего не скажет мужу. А если она не согласна, он сдержит свою страсть и просто уйдет, и все будет хорошо. Он просто уйдет, и она ничего не расскажет мужу. Постыдится рассказать.

Он тихо встал и босой подошел к дверям. Еле слышно доносилось ее дыхание. Уснула или притворяется? Он тихо приоткрыл дверь и вошел в спальню. Он подошел к кровати. Поставил. Потом протянул руку и нежно погладил ее по щеке. Она что-то пролопотала во сне и вдруг, обдав его наспанным теплом, приоткрыла одеяло, приглашая к себе. Весь напрягшись от неистовой страсти, он все еще тихо, воровато лег рядом с ней и тихо обнял ее. Она спросонья сунула ему руку под рубашку и вдруг, словно притронулась к змее, отдернула руку и вскрикнула. По форме спины она угадала, что это не муж.

Но теперь сопротивление ее придавало ему особую, неоставляемую ярость. Несмотря на ее крики и отчаянную борьбу, он

овладел ею, и в последний миг ему вдруг показалось, что она поделила его страсть. Вероятно, он тут так же ошибся, как тогда, когда решил, что она нарочно не заперлась. Во всяком случае, это придавало ему надежды, что она ничего не скажет.

— Скажешь что-нибудь мужу — и он нас обоих убьет, — вразумительно, как бы намекая, что вину придется делить поровну, сказал он.

Она молчала и лежала, как мертвая.

— Такое рано или поздно случается с каждой женщиной, — добавил он, — не ты первая, не ты последняя.

Она молчала и лежала, как мертвая. Он встал и, аккуратно прикрыв за собой дверь, лег в свою кровать, прислушиваясь к спальне. Но оттуда ничего не раздавалось. Она даже не плакала, и он успокоился, удивляясь, что каждый раз после огненной страсти ничего не остается, кроме пустоты, равнодушия и легкой брезгливости. И он уснул.

На рассвете Бата вернулся верхом на украденной кобылице.

Он привязал лошадь рядом с жеребцом Сафара, который стал проявлять признаки волнения от близости кобылицы. Бата с такой силой ударил кулаком жеребца по спине, что тот на миг рухнул на задние ноги. Признаки волнения, кажется, улетучились. Бата тихо вошел в дом, кинул беглый взгляд на спящего Сафара и, стараясь не шуметь, проскользнул в свою спальню. В рассветном сером свете, лениво льющемся из оконца, он увидел, что жена его сидит на кровати в разодранной рубашке и постель хранит следы ночного побоища. Назиброла, словно не замечая его, а может, и вправду не замечая,

смотрела куда-то в пустоту. Ей казалось, что жизнь ее навсегда кончилась.

Бата, разумеется, сразу понял все, что здесь случилось. Он сел рядом с женой на кровать и, обхватив голову руками, надолго задумался. Так он неподвижно сидел больше часа. Петухи раскричались по всему селу. Вскоре поднялось солнце. Бата поднял голову. Нет в мире человека, сдержанней горца, если он решил быть сдержанным! И нет в мире человека страшнее горца, если ему по какой-либо причине отказывают тормоза.

— Вставай, готовь завтрак, и чтоб он ничего не почувствовал, — сказал Бата тихо, но с такой властной силой, что жена встрепенулась и вскочила.

Через час Сафар и Бата сидели за завтраком, а жена его молча обслуживала их. Мрачность Назибролы была понятна Сафару, но мрачность ее мужа его слегка тревожила. Он был уверен, что она ничего не сказала, но, может быть, Бата что-то заподозрил? Впрочем, тот сам за утренним стаканом вина объяснил свою мрачность тем, что устал за эту бессонную ночь. Когда они встали из-за стола, Бата вызвался проводить его до ближайшего леска. И это несколько смутило Сафара. Ведь они собирались утром сходить на могилу его матери-кормилицы. Неужели Бата об этом забыл или он все-таки все знает и теперь считает клятвопреступным идти с ним на могилу матери? Но и сам напомнить он не решился. Если Бата ничего не знает, то Назиброла все знает, и нельзя ручаться за женщину, что ей там придет в голову в последний миг перед могилой. И он промолчал, не напомнил.

Сафар сел на своего жеребца, даже взлетел на него — так ему хотелось сейчас быть подальше от дома своего молочного брата. Но он сдерживал себя. Рядом вышагивал Бата, держа за поводья украденную кобылу.

Когда они вошли в лес, Бата остановился. Дернув за поводья, и Сафар остановил своего жеребца. Бата передал поводья кобылы Сафару.

— Сафар, — тихо и грозно сказал Бата, и Сафар вздрогнул. Он понял: все, конец! И он вспомнил ту необыкновенную быстроту, с которой Бата прирезал козленка и внес его на кухню, и краем глаза заметил, что длинный черный чехол от ножа висит у Баты на боку.

— Я знаю, что ты сделал этой ночью, — продолжал Бата, — но между нами молоко моей матери. Я не хочу мешать с кровью молоко моей матери. Я тебя не убью. Но ты должен выполнить два моих условия.

Сейчас по дороге заедешь к своему учителю и расскажешь ему о том, что случилось этой ночью. Я хочу спросить у твоего учителя: чему он тебя учил? У меня большой интерес к этому. Я думаю, не пропустил ли он чего-нибудь по дороге к звездам? Я приеду к нему завтра и спрошу об этом. Если ты не расскажешь учителю о том, что случилось здесь этой ночью, я тебя найду и убью. И ты знаешь об этом.

И еще. По нашим обычаям, на поминках, на праздничных пирах и на других сборищах могут встретиться и такие, как ты, дворяне, и такие, как я, крестьяне. Берегись! Мы больше никогда не должны сидеть под одной крышей одного дома. Ес-



ли случайно мы окажемся под крышей одного дома, тихонько встань и под любым предлогом уходи. Я тебя не трону. Поэтому отныне, оказавшись при большом сборище людей, озирайся: нет ли меня там? Забудешься, не заметишь меня — на месте убью! А теперь езжай! Все кончено между нами!

С этими словами он презрительно шлепнул ладонью по спине жеребца Сафара, и украденная лошадь зарысила рядом.

Бата вернулся домой, вошел в кухню, молча взял деревянное ведро-подойник и пошел доить коз. Подоив коз, он внес ведро в кухню, вышел из нее, не глядя на жену, подхватил на кухонной веранде легкий пастушеский топорик и, не оглядываясь, крикнул жене:

— Забудь о том, что случилось! Ты ни в чем не виновата! Только вымойся как следует!

С этими словами он погнал своих коз в лес.

\* \* \*

Покачиваясь в седле, Сафар обдумывал сказанное Батой. Он знал, что тот ни в чем не отступится от поставленных условий. Относительно встречи за пиршественным столом он мало беспокоился. Такая встреча при известной осторожности была почти исключена. Но как быть с учителем? Не сказать ему нельзя и сказать страшно трудно. Сафар был любимым учеником, и учитель им всегда гордился.

И как быть с этой украденной лошадей? Явиться с ней к учителю — гроздить вину на вину. Придется объяснять,

почему он ведет в поводу вторую лошадь, и это усугубляло его грех: послал молочного брата увести лошадь, а сам овладел его женой. Лошадь мешала. Завести ее в чащобу и убить? Это было бы правильной всего — тогда она больше никогда не появится на скачках. Но он подумал, что это слишком кровавое решение, да и слишком он любил лошадей. Бывает так, что человек, не обремененный любовью к людям, любит животных. Сафар любил лошадей за красоту, никогда не претендующую на соперничество с хозяином.

На лесной тропе, не сходя со своего жеребца, он снял с кобылицы уздечку, огрел ее этой же уздечкой и загнал в чащобу. Уздечку забросил в кусты. Или она найдет дорогу домой, лошади это умеют, или ее поймает случайный охотник, или ее волки загрызут, если ее не спасут ее проклятые ноги, из-за которых все это случилось. Из-за них ли? Но нет, об этом он не хотел думать.

Избавившись от лошади не самым худшим образом, он почувствовал, что на душе у него полегчало. Он скажет всю правду учителю о том, что произошло ночью, повинится во всем и не забудет уточнить, что был пьян и не смог совладать со своей страстью.

Когда Сафар въехал во двор учителя, старый Астамыр стоял на ступеньках веранды своего обширного дома и чистил шомполом ружье. Старик собирался на охоту. Кругом раздавались крики и смех ребятни. Старик воспитал уже трех надежных учителей, и теперь в основном они занимались с детьми.

Старый Астамыр обрадовался своему любимому ученику, который спешил среди двора. Учитель подошел к ученику и обнял его.

— Что тебя привело в наши края? — спросил учитель.

Сафар хотел действовать решительно и точно. Придерживая коня за повод и низко склонив повинную голову, он сказал, что у него случился грех с женой молочного брата. Учитель хорошо знал историю его аталычества и потемнел лицом.

— Зачем ты мне об этом говоришь? — тяжело вздохнул старый учитель. — Поезжай в церковь и исповедуйся перед священником.

— Мой молочный брат велел рассказать именно вам, учитель, — отвечал Сафар. — Я был пьян и сам не знаю, как это случилось.

— Если б трезвому это дело не пришло тебе на ум, — жестко ответил учитель, — пьяным ты бы его не совершил... Но почему он тебя направил ко мне, может, он решил, что я тебя не тому учил?

— Не знаю, — сказал Сафар, — может быть, и так. Однажды я ему открыл названия звезд и созвездий. Помните, как вы нас учили этому?

— Конечно, помню, — сказал учитель.

— Я думал, он обрадуется названиям звезд, — продолжал Сафар, — но он вдруг спросил у меня: «А звезды знают, что они так называются?» Это было в Мухусе, в открытой кофейне. Там была большая компания, и все стали смеяться надо мной... Мне было очень обидно...

— И ты затаил на него злость?

— Не знаю...

— Езжай домой, Сафар. Ты сделал черное дело. Постарайся отомстить свой грех, если это возможно... Но и я виноват. Этот пастух не дурак. Он понял, что учитель отвечает за своего ученика, и потому послал тебя ко мне. Езжай, езжай, я виноват, как и ты...

Князь Сафар, не поднимая головы, сел на своего коня и уехал.

Учитель мрачно дочистил ружье и стал собираться на охоту. Он терпеть не мог менять решение на ходу. Он собирался поохотиться на зайцев недалеко отсюда на опушке леса.

Сорок лет назад он, сын богатого помещика, решил посвятить свою жизнь просвещению своего народа. У себя дома он организовал первую абхазскую школу и сам преподавал в ней все предметы. И вдруг сейчас, после истории с Сафаром, ему показалось, что рухнуло все, на чем стояла его жизнь. Его гордость, его лучший ученик, блестяще окончивший Московский университет, оказался обыкновенным мерзавцем. И почему склонность к этому мерзавству он никогда за ним не замечал? Почему он думал, что знания сами по себе усиливают в человеке склонность к нравственной жизни? Как он не понимал, что шаг, сделанный в сторону знания, должен сопровождаться совестью, шагнувшей вместе со знаниями? Соблазн знания не является ли для большинства людей тем же, чем и соблазн чинов и неожиданно свалившихся богатств, ради которых человек забывает свою совесть, как бедного родственника?

А что, если душа от природы уже устроена так, что в одном случае она готова плодоносить, все равно где — на крестьян-

ской ли ниве или на ниве знания, а в другом случае она пустоцветом родилась и пустоцветом умрет, и знания только расширяют разлет пустоцвета? И какая горькая, может быть, неосознанная ирония в словах пастуха: «А звезды знают, что они так называются?»

Учитель покинул свой двор, прошел мимо дома соседа-крестьянина, который в это время чинил свой табачный сарай. Они поздоровались, и он, неожиданно почувствовав свой возраст, тяжело ступая, пошел дальше. Он вошел в лес и у самой лесной поляны влез на сильно склоненный карагач, сидя на ветке которого можно было наблюдать за лесной полянкой, куда иногда выскакивали из леса зайцы попасть и поиграть. Это было его любимое место.

Он продолжал думать о том, что рассказал ему Сафар, и все больше и больше мрачнел. Пока он думал, из лесу выскочили два зайца, поиграли, попрыгали на полянке, а он, не в силах оторваться от своих мрачных мыслей, просто следил за ними, забыв, что пришел охотиться. Кстати, Сафар ему сказал, что его молочный брат хочет прийти к нему и поговорить с ним. Понятно было, о чем он хочет с ним поговорить. Но что он ему мог ответить? Он думал, думал, но не находил достойного, убедительного ответа.

Он пробыл здесь часа два, но зайцы больше не появлялись. Слезая с наклоненного ствола карагача, он уже в метре от земли вдруг потерял равновесие и, вынужденный спрыгнуть со ствола, чтобы не упасть, оперся прикладом о землю. Он с такой силой, с таким раздражением ткнул прикладом

в землю, словно пытался вернуть не только телесное равновесие, но и равновесие подкосившейся жизни. Ружье от сотрясения выстрелило. Пуля попала в живот и резанула огненной болью в сторону груди.

\* \* \*

На следующее утро, поручив коз своей юной жене, Бата отправился в село Анхара к учителю. Жена его отговаривала, боясь каких-нибудь столкновений, но Бата был непреклонен.

— Я хочу узнать, передал Сафар учителю все, что здесь было, или нет, — отвечал он, — а от учителя мне ничего не надо. Я только хочу, чтобы мы друг другу в глаза посмотрели. Мне это интересно. Мне интересно, зачем человеку запоминать сотни выдуманных названий звезд, если он в доме брата ведет себя, как озверевший гяур? Меня очень интересует, не пропустил ли учитель чего здесь, на земле, по дороге к звездам.

Он вышел на тропинку, ведущую в село Анхара. Минут через двадцать он встретил путника, идущего оттуда. Поздоровались, остановились, закурили.

— Что нового у вас? — спросил Бата.

— Я горевестник, — сказал путник. — У нас вчера на охоте случайно погиб наш учитель! Сорок лет учил наших детей грамоте и погиб на охоте. Хоть бы охота была настоящая!

— Как было? — спросил Бата, весь похолодев от волнения, но не подавая вида.

— Я его ближайший сосед, — сказал путник, — я видел, как вчера к нему заезжал князь Сафар, его бывший ученик. Я в это время перекрывал дранью крышу табачного сарая, и мне весь двор учителя виделся как на ладони. Так вот, Сафар заехал к нему во двор, спешил среди двора и остановился. Учитель подошел к нему и обнял его. Князь Сафар, склонив голову, начал ему что-то говорить. И чудно как-то мне показалось: стоят посреди двора, а учитель его в дом не приглашает. Потом Сафар уехал, а учитель пошел на охоту. Он с ружьем прошел мимо моего дома и мимо табачного сарая. Мы поздоровались, и он пошел дальше. Клянусь моими детьми, я почувствовал, что предстоит что-то плохое. У учителя было черное лицо. Готовый мертвец. Я так думаю, что разговор с Сафаром был очень неприятный. Я же знаю: он его раньше всегда хвалил, а сейчас даже в дом не позвал. Я так думаю, что Сафар казенные деньги проел. Он же в городе какая-то шишка. Может, он у учителя деньги просил. Не знаю. Но только в том, что ему учитель ничего не дал, могу поклясться своими детьми. Мне же все сверху видно было как на ладони. Так и уехал ни с чем, свесив голову.

— Свесив голову, говоришь? — в нетерпении спросил Бата.

— Да, голову свесил. Наверное, думал, к кому же поехать за деньгами, если учитель и денег не дал и так рассердился, что даже в дом не пригласил.

— Рассердился, говоришь? — переспросил Бата.

— Сильно осерчал. Я даже так думаю, что Сафар в карты большие деньги проиграл и теперь на нем долг. А учитель

осерчал: мол, этому ли я тебя учил, чтобы ты в карты играл? Этому ли тебя учили в Москве?

И вот прошло не знаю сколько времени, в лесу раздался выстрел. Наш учитель слегка баловался охотой. Ну, какая там охота! Выйдет здесь рядом на лесную полянку и подстрелит зайца.

Но я вспомнил его лицо, когда он проходил мимо, и мне как-то стало не по себе. Выстрел какой-то глухой, нехороший. И я все оглядываюсь на лесок. И вдруг вижу... Чтоб твоему врагу такое привиделось! Учитель, шатаясь, выходит из леса. Идет, как пьяный. Ружье волочит за ствол. Иногда остановится возле дерева или большого камня и колошматит по нему ружьем. Пройдет еще немного, увидит дерево и давай молотить о него свое ружье. Я понял, что дело плохо. Прыг с крыши сарая, бегу к нему. Подбежал. К этому времени он свое ружье совсем измолотил.

«Что с тобой, учитель?» — крикнул я ему.

Он посмотрел на меня. Не сразу узнал, но потом признал и говорит: «Спрыгнул с кривого карагача. Случайно ударил прикладом о землю. Ружье выстрелило, и пуля попала в живот». Вот, думаю, отчего такой глухой, нехороший выстрел был. Он же дулом ружья уперся себе в живот. Я отшвырнул ружье его, которое сейчас не стоило хорошей палки, взвалил учителя на плечи и приволок к нему во двор. Тут собрались родные, соседи. Дети плачут, женщины режут. Послали в город за доктором.

Учитель то придет в сознание, то помертвеет. Когда был в сознании, велел родным постелить ему постель под яблоней, которую он сам когда-то посадил. Там и умер. Доктор к нему не успел.

— Ничего перед смертью не сказал? — спросил Бата.



— Он бредил. Иногда ясность к нему возвращалась. В бреду мы несколько слов разобрали: «Оставьте звезды... Займитесь собой...» Он это несколько раз повторил, но никто ничего не понял.

— Он так и сказал: «Оставьте звезды, займитесь собой»? — переспросил Бата.

— В точности так и сказал. Но никто ничего не понял. Да и кто у нас звездами занимается? Есть гадалка в селе Тамыш, она иногда по звездам гадает. Но он всегда смеялся над гадалками, дурным глазом и прочей нечистью. А теперь вдруг про звезды вспомнил. Но никто ничего не понял.

Потом он пришел в себя и в ясной памяти сказал, чтобы подвели его к стволу яблони. Несколько раз повторил — очень ясно и разумно. Мы, двое мужчин, осторожно приподняли его и поднесли к яблоне. Он обхватил ее руками и так простоял, наверное, с час. Казалось, что он по стволу хочет взобраться на макушку дерева или куда повыше.

Но он только стоял и обнимал яблоню, которую тридцать лет назад сам посадил. И яблоня эта, надо сказать, плодоносила, как ни одна яблоня в нашем селе. Потом он ослаб, стал сползать по стволу, хотя изо всех сил цеплялся за кору, обнимая яблоню. Мы снова уложили его в постель под яблоней. Потом он опять потерял сознание. Снова пришел в себя, но про яблоню не забыл.

«Здесь, под яблоней, похороните меня, если умру, — сказал он, — мне приятно будет знать, что осенью спелые яблоки будут падать на землю вокруг меня».

Женщины ревут. Ученики плачут. Одним словом, умер наш учитель, так и не дождавшись доктора. Да и доктор потом сказал, что рана была смертельная.

Будут большие похороны. Горевестников разослали по многим селам, где живут его родственники и ученики. Шутка ли, учил наших детей грамоте сорок лет и ни с кого копейки не взял.

— Яблоня его и в самом деле хорошо плодоносила? — спросил Бата, углубляясь в какую-то свою мысль.

— В жизни не видел такой плодоносной яблони, — отвечал сосед учителя.

— Да, — сказал Бата, — а я хотел поговорить с ним об одном червивом яблоке. Но теперь не придется. Но я и так вижу, что он был хорошим садовником, потому и умер.

— Ты с ним хотел о чем-то посоветоваться? — спросил горевестник. — К нему многие приезжали советоваться. Теперь не с кем нам советоваться...

Бата вернулся с горевестником в свое село, показал, как пройти к людям, которых надо было известить о смерти учителя, и ушел к своим козам.

\* \* \*

...Прошли годы, и годы, и годы. У Баты теперь было большое хозяйство, большой дом. У него родились трое сыновей и дочь. Дочь вышла замуж в другое село, а сыновья со своими семьями жили вместе с ним и вели грузное хозяйство зажиточного крестьянина.

Бата много раз вспоминал предсмертные слова учителя относительно звезд. Ему казалось, что он один понял значение его слов, но не хотел ни с кем делиться этим. По его разумению, это было признанием ошибки учителя, но он никому не говорил об этом. С годами, вспоминая учителя и его предсмертное поведение, он пришел к выводу, что во всей его жизни только эта яблоня его не подвела. Вот почему он ее так обнимал. И он жалел учителя и уважал его, расплатившегося жизнью, как он догадывался, за один червивый плод, вылепленный его руками. И часто вздыхал по ночам, жалея учителя.

Однако он почему-то полюбил смотреть на ночное небо, мерцающее тысячами звезд, удивляясь непостижимости его величия и одновременно чувствуя ничтожность и гибельность всякой попытки постичь его.

Однажды ему приснился сон: золотые яблоки, как падающие звезды, падали с яблони учителя на землю вокруг его могилы, отскакивали и весело ныряли в землю, как в воду. Сон был сладок. Проснувшись, Бата понял, что там учителю хорошо.

Но каково живущим? С годами Бата стал уважаемым стариком. Он не пропускал ни одной крестьянской сходки, ни одного пиршества, ни одних поминок. Так как слава его как мудрого, много знающего крестьянина широко распространилась, его приглашали и в такие дома, куда по отсутствию даже самых дальних родственников могли и не пригласить.

Он всегда и везде бывал, и никто, кроме него, не знал, что он ищет князя Сафара, проверяет его верность, его подчинен-

ность давнему наказанию. Но князь все не попадался. Бата жил, работал, смеялся, пил, обзаводился детьми, но и дня не проходило, чтобы случившееся больно не кольнуло его. Заноза никуда не уходила. И только жена одна догадывалась по его внезапным помрачнениям, что делалось у него в душе, и жалела его. Но вслух они никогда не говорили об этом. Жена его рожала детей и с каждым ребенком как бы очищалась от Сафара, как бы, в муках рожая детей и тем самым приобретая право на молчаливый вопрос, глазами спрашивала: «Ну теперь ты успокоился?» И он, смущаясь, глазами же отвечал: «Не в тебе дело, дуручка». И она, жалея его, грустнела.

Наступил двадцатый век. Отголоски революции 1905 года прокатились и по Абхазии. Но абхазцы в этой революции не принимали никакого участия, присматриваясь к соседним народам, чтобы делать наоборот. И это дошло до царя Николая Второго, и это ему понравилось. И царь Николай Второй снял с абхазцев клеймо «виновного народа», кажется полученное ранее за слишком упорное участие на стороне горцев в Кавказской войне. Наказание, насколько нам известно, выражалось в том, что абхазцев не брали в армию. Если у них тогда и были какие-то обиды по этому поводу, то они до нас не дошли.

Началась первая мировая война. Теперь абхазцы обязаны были служить, и одни делали это охотно и возвращались в родные села нередко с Георгиевскими крестами. Что не мешало другим дезертировать и уходить в леса, ссылаясь на то, что они родились до милости Николая Второго и предпочитают жить по старым законам.

После первой мировой войны пришла революция, а потом в Абхазии укрепилась советская власть. Старый, но все еще крепкий старик Бата упорно продолжал посещать народные сборища по праздничным и печальным поводам.

И наконец Сафар и Бата встретились на одном пиршестве. Несмотря на советскую власть, тысячелетняя народная традиция оказалась сильнее, и князь сидел на более почетном месте. Но и Бата, учитывая его личные заслуги и частые посещения всевозможных народных сходок, подобрался близко к нему. И хотя со времени их последней встречи прошло шестьдесят лет, они могли узнать друг друга.

Во всяком случае, Бата его сразу узнал. Он проявил огромное терпение по отношению к Сафару, он несколько раз бросал на него многозначительные взгляды, но Сафар его не узнавал. Зло не злопамятно по отношению к своим злодействам, это было бы для него слишком обременительно. Уже выпили по три стакана вина, и Бата решил, что все сроки исчерпаны. Он встал из-за стола и спокойно подошел к Сафару.

— Сафар, ты меня узнаешь? — спросил Бата.

— Нет, — твердо сказал Сафар, и его теперь склеротический взгляд казался еще более надменным.

— Приглядишься как следует, Сафар! — терпеливо напомнил ему Бата. Теперь он знал: дичь никуда не уйдет.

Сафар долго на него смотрел честным склеротическим взглядом, но так и не узнал. Окружающие что-то почувствовали и стали прислушиваться к ним.

— Нет, не узнаю, — повторял Сафар, начиная ощущать какую-то опасность, но решив, что правильной будет настаивать на своих словах. Ему бы до конца придерживаться этой версии, но он не выдержал.

— Я твой молочный брат Бата, — напомнил Бата, спокойно продолжая выжидать. Сафар, бледнея, узнал его наконец. Возможно, как юрист, он надеялся на прощение за давностью лет. Но он как-то позабыл, что Бата далек от таких понятий.

— Узнаю тебя, Бата, — сказал он примирительно и вдруг с необыкновенной ясностью припомнил свой далекий приезд к нему, когда Бата с непостижимой быстротой вошел на кухню с прирезанным козленком. И он сжался в предчувствии взрыва от соприкосновения невероятного терпения и невыносимой быстроты. Однако он все еще пытался барахтаться...

— ...Но ведь с тех пор прошло столько времени, — напомнил он, — мир перевернулся, а ты вспомнил о своем слове...

— Мир перевернулся как раз в ту ночь, — ответил Бата и, выхватив кинжал, традиционно висевший на поясе, с такой силой вонзил его в Сафара, что острие кинжала, пробив тело, на два пальца вошло в деревянную стену.

Бату арестовали. На все вопросы следователя он отвечал спокойно и вразумительно:

— Сафар сделал черное дело. Я его не убил на месте, потому что между нами было молоко моей матери. Но я его предупредил, что отныне мы не можем никогда сидеть под одной крышей. Пришел на пиршество, скажем, поозирайся — если меня нет, спокойно ешь и пей. Но если я там, встань под лю-

бым предложением и уйди. Я тебя не трону. А здесь мы уже выпили по три стакана, да и тамада на редкость говорливым оказался. А Сафар в мою сторону даже не взглянул.

Я ему назначил такую тюрьму, а он, оказывается, пытался бежать из моей тюрьмы. Вы же убиваете людей, если они пытаются бежать из вашей тюрьмы? Вот и я его убил.

— Говорят, ты упорно дознавался, узнает он тебя или нет? — поинтересовался следователь. — Зачем это тебе надо было?

— Если б он меня не узнал, — отвечал Бата, — значит, это уже не человек, а чучело. Вонзать кинжал в чучело — смешить людей. Я бы мог только плюнуть в него и отойти. Но он узнал меня и побледнел, значит, я имел право добраться своим кинжалом до его злодейской души. И добрался. А теперь вы судите меня, как хотите...

И тут вдруг суровый горец расплакался, стыдясь своих слез и стараясь скрыть их от следователя. Но не сумел скрыть. Стыд за слезы оказался сильнее стыда за причину слез.

— Моя старушка, — сказал он, всхлипывая, — умерла в прошлом году... Прожить бы ей год еще, и она узнала бы, что я не пощадил ее осквернителя. Но Бог не дал...

Бату судили и дали ему всего четыре года. Судья приплел входящие в ту пору в моду слова о классовой ненависти, но его мало кто понял. Во всяком случае, не крестьяне, сидевшие в помещении. Они радовались сравнительно небольшому сроку наказания и гордились Батой, который шестьдесят лет стерег своего обидчика и устерег наконец.

Впрочем, как всегда, нашелся скептик.

— Да перестаньте петушиться, — говорил он, вместе с другими крестьянами покидая здание суда, — я же лучше знаю! Бата десятки раз мог отомстить Сафару за его грех, но он все ждал такую власть, которая его за это не накажет. И вот, когда пришла советская власть, он встrepенулся и вздернулся! Она, родная! Теперь он решил, что за убийство князя его не накажут, а, наоборот, отвезут к Ленину, чтобы Ленин порадовался на него и выдал ему всякого добра.

Но тут Бата немного промахнулся. Советская власть хоть и люто ненавидит всяких там князей, но не настолько, чтобы их убивал кто ни попадя. Этим она любит заниматься сама. Вот в чем Бата промахнулся, хоть и срок получил не больший, чем за угон чужой кобылы. Выходит, кобылу угнал еще до Николая, а срок за это получил при советской власти. А князь как бы ни при чем. К слову сказать, хозяин той самой кобылы еще, слава Богу, жив, и он всю жизнь хвастается, вспоминая ее. Говорит, что однажды ее увел злой конокрад и он все утро рвал на себе волосы, а в полдень глядь — кобыла целехоньякая стоит у его ворот! Сбросила злого конокрада и вернулась домой. Он еще, бывало, добавлял: «Не поручусь, что не растоптала его, сбросив на землю». А оно, оказывается, вон как было. Надо ему все рассказать, чтобы он перестал хвастаться своей кобылой. Никого она не сбросила! Да что толку! Ему хоть верни сейчас ту кобылу, он не то что на кобылу — на кушетку сам взгромоздиться не может. Эх, время, в котором стоим! Да и князя наши хороши, чтоб они своих матерей поимели! Пока они, выпучив глаза, скакали верхом



на чужих женах, Ленин вскочил на трон и камчой посвистывает! Джигит! А вы говорите — Бата!

...Ничего не поделаешь, так уж устроен этот мир. В нем всегда найдется скептик, который любого героя хоть волоком, да втащит в толпу — на всякий случай, чтобы не высывался.

## рукопись, найденная в пещере

*(Вольный перевод с древнеабхазского)*

*Феодосий.* Здравствуй, Сократ. Не знаю, помнишь ли ты меня?

*Сократ.* Здравствуй, Феодосий. Как же мне тебя не помнить? Много лет назад мы проходили мимо твоего дома и попросили напиться. Был жаркий день. Нас было шесть человек. Ты пригласил нас в дом, раб обмыл нам ноги, и мы возлегли у пиршественного стола. Мы долго у тебя кутили. Алкивиад, как обычно, перебрал и куда-то вышел. Потом явился, похлопывая носом. Не сделал ли он чего непристойного, не набедокурил ли он?

*Феодосий.* Прекрасная память у тебя, Сократ. Нет, Алкивиад ничего непристойного не сделал. Во всяком случае, не успел сделать. Он забрел в комнату, где спала моя старшая дочь. Но я тихо проследовал за ним и, взяв его за плечи, повернул к дверям. Он оглянулся на постель моей дочки и ска-

зал: «Я, как собака, по нюху вышел на гнездо перепелки». После этого я его проводил обратно к пиршественному столу, и он уж тут так напился, что потерял всякий нюх, хоть уложи его рядом с перепелкой. Но какова память у нашего Сократа! Столько лет назад Алкивиад, хлюпяя носом, возлег на свое место, и ты это заметил и не забыл.

*Сократ.* Сдается мне, что бедный Алкивиад получил по нюхалке за свое нескромное любопытство. Не от тебя ли?

*Феодосий.* Если б от меня! Но я поклялся, Сократ, молчать об этом. Моя дочь давно замужем. У нее прекрасная семья и прекрасные дети.

*Сократ.* А кто это с тобой, Феодосий? И как вас ко мне пропустили?

*Феодосий.* Драхма — великий греческий пропуск, Сократ. Стражник, как водится, поверил ему. А этот молодой человек приплыл из далекой Апсилии. Мы с ним уже несколько лет торгуем. Он привозит из Апсилии самшит и золото и увозит маслины. Он ученик апсильского мудреца Джамхуха. Сократ, он готов взять тебя в Апсилию с собой, корабль сегодня ночью отчаливает из гавани.

*Сократ.* Это пустой разговор, Феодосий. С этим ко мне уже приходили. Было бы трусливо удирать от смерти, как будто я точно знаю, что там хуже, чем здесь. Это недостойно философа. Как зовут молодого человека и знает ли он греческий?

*Навей.* Великий Сократ, зовут меня Навей. Рядом с нами в Апсилии живет столько греков, что я даже не помню, когда научился говорить по-гречески.

*Сократ.* Широковато раскинулись греки, как бы им потом слишком сузиться не пришлось.

*Навей.* Мне кажется — я сплю. Неужели я с самим Сократом беседую, и неужели афиняне не отменят свой чудовищный приговор?

*Сократ.* Это их забота. Когда народ подымает руку на своего философа, это значит, народу предстоит гибель. Необязательно телесная, но обязательно духовная. Он будет столетиями владеть жалкое существование не потому, что меня казнят. Наоборот, афиняне меня приговорили к смерти, потому что уже заражены чумой распада. Они не хотят слышать справедливые речи.

*Феодосий.* Сократ, еще раз умоляю. Кое-кому из правителей я драхмами прикрою глаза, а другие сами сквозь пальцы посмотрят на твой побег. Я это точно знаю.

*Сократ.* Нет, друзья. Я им не дам себя опозорить. Они скажут потом: «Вот видите, Сократ бежал от нашего приговора. Разве праведник бежит?» И не будем больше об этом.

*Навей.* Сократ, я вот что у тебя хотел спросить. Я в свободное от мореплавания и торговли время занимаюсь иногда философией, иногда гимнастикой. И вот я замечаю, когда усиленно занимаюсь гимнастикой, мне хочется задраться с кем-нибудь. А когда не занимаюсь гимнастикой, мне не хочется ни с кем задраться. Я чувствую, что тут есть какая-то связь. Но в чем?

*Сократ.* Ты и сам не знаешь, на след какой интересной проблемы ты вышел. Человек есть существо и телесное и духовное одновременно. Когда у тебя укрепляются мышцы, тебе хочется с кем-нибудь задраться. И ты задираешься?

*Навей.* Нет, Сократ. Я сдерживаю себя. Но мне очень хочется.

*Сократ.* Вот в том-то и дело. Значит, твой дух все-таки управляет твоей телесностью. Телесность — это огонь, на котором варится похлебка нашей жизни. Наш дух, как хорошая хозяйка, следит за этой похлебкой: вовремя перемешивает ее, то убавляет огонь, то прибавляет. Словом, наш дух делает нашу жизнь съедобной для нашей совести.

Так происходит, когда телесность и дух в правильных отношениях, когда телесность подчинена духу. Но у многих, слишком у многих людей телесность диктует духу, как ему быть, а не наоборот. Так, пьяный слепец вдруг начинает кричать своему поводырю: «Иди, куда я тебя веду!» Так афиняне пытаются учить Сократа мудрости. Ими теперь управляет мясистая телесность.

*Навей.* Когда я усиленно занимаюсь гимнастикой, мне кажется к тому же, что я становлюсь храбрый. Ложное это чувство или истинное?

*Сократ.* Безусловно, ложное. Это продолжение моей мысли. Мужество, молодой человек, это всегда следствие духовного решения. Бездуховное существо не может быть мужественным: как мулица не может родить муленка. Телесность может быть наступательно-яростной или отступательно-трусливой. Но она, согласно моему разумению, не может быть мужественной, ибо мужество человеку внушает только дух. Даже моя старческая телесность в моем теперешнем бедственном положении говорит мне: «Сократ, надо бежать, что-

бы сохранить меня». Но мой дух отвечает ей: «Нет, сиди, где сидишь! Я не могу опозорить философа бегством». Внешне от ярости мужество отличается тем, что всегда выглядит спокойным. Терпение — статическое мужество. Чтобы додумать мысль до конца, надо обладать большим статическим мужеством. Если меня настигает мысль, которую надо додумать, я могу десять часов неподвижно стоять на одном месте, не замечая ни дня, ни ночи.

*Навей.* Но, Сократ, многие знаменитые разбойники были очень храбрыми. Этого у них не отнимешь.

*Сократ.* Сейчас я у них это отниму. Телесность — хитрая вещь. Она внушает человеку путать ярость и свирепость с мужеством. Мужество — это храбрость, открытыми глазами глядящая на опасность. Ярость — это храбрость с пеленой на глазах, скрывающей опасность. Но что же это за храбрость, если она не видит опасности и не одолевает ее?

Разбойник доводит себя до иступленной ярости и в этом состоянии нередко действительно рискует жизнью. И сам он, и окружающие его люди воспринимают это как истинное мужество.

Но это не истинное мужество. Это похоже на игру актера, который изображает нам героя. Но я не могу сказать, что эта игра неискренна. Она почти искренна или даже просто искренна.

Разбойники воспитывают в себе презрение к землешапкам, к ремесленникам, к торговцам и так далее. Они как бы аристократы низа. Постоянно воспитывая в себе презрение к обычным людям, они легко воспламеняются яростью и алчностью, когда идут на грабеж. Соппротивление жертвы приво-

дит их в еще большее исступление, как если бы овца, поваленная для заклания, вдруг укусила человека.

*Навей.* Но разве разбойники не проявляют мужество, когда вдруг начинают враждовать между собой и нередко идут на смерть, оспаривая добычу? Тут же нельзя сказать, что они презирают своих соперников, как землепашцев или торговцев?

*Сократ.* И тут, милый Навей, нет никакого мужества. Разве жеребцы, яростно кусающие друг друга, чтобы овладеть кобылицей, проявляют мужество? Их действиями движет телесная жажда, воспламеняющая ярость. Кстати, знаменитые разбойники часто бывали мощными жеребцами, и это не случайно. И не случайно землепашцы оскопляют буйных животных, и те успокаиваются. Так же следовало бы поступать с императорами, царями, военачальниками. Тогда войны бывали бы гораздо реже...

Кстати, склонные к насилию и излишествам сладострастья сами похожи на детородный орган. Природа метит таких...

*Навей и Феодосий переглядываются. Сократ тихо смеется.*

Нет, вы непохожи.

*Навей.* Удивительные ты вещи говоришь, Сократ. Надо присмотреться к своим знакомым.

*Феодосий.* А что это тебе даст?

*Навей.* Не знаю, но может пригодиться в торговых делах. Или вдруг придется выбирать царя. Не мешало бы присмотреться к его внешности...

*Феодосий.* У тебя не спросят, кого выбирать.

*Навей.* Выходит, Сократ, разбойник вообще не способен на мужество?

*Сократ.* Человек — сложное существо. Иногда и разбойник оказывается сложнее, чем он кажется себе и другим. Можно представить, что разбойник повздорил с другими разбойниками и те решили уничтожить его мать и его сестер. И он узнал об этом.

И в такой миг в нем может проснуться истинное мужество и истинная доблесть. И он говорит: «Свою мать и своих сестер я буду защищать, пока жив!» И защищает. Не исключено, что его душа, вкусив сладость чистой доблести, больше не захочет возвращаться в состояние ярости и свирепости. Не исключено, но не обязательно.

*Феодосий.* Сократ, как всегда, режет правду. Когда пьяный Алкивиад забрел в комнату, где спала моя дочь, и я услышал ее крик: «Папа, что надо этому пьянице!» — я вбежал в комнату, чтобы защитить дочь. Я испытал истинную доблесть истинного эллина! Я готов был убить этого знаменитого вояку, если бы он успел себе что-нибудь позволить.

Но он только стоял у постели моей дочки с расквашенным носом. Он сунулся к ней, и она ему влепила оплеуху. Я дал ему слово никому не говорить об этом, но теперь снимаю с себя клятву. Я его провел в заднюю комнату, сам помог ему умыться, чтобы не позорить его перед рабами. Сам приложил к его носу мокрое полотенце, пока он лежал. Он сначала что-то молол про перепелку и собаку, а потом стал хвастаться, что

он первый красавец в Афинах и что он никогда не знал отказа ни от одной женщины и ни от одного мужнины. Говорить так все! «Только Сократ, — сказал он, — был единственный мужчина, который не дрогнул перед моей красотой, хотя я его пытался соблазнить». Правда ли это, Сократ?

*Сократ.* Да, со стороны красавца Алкивиада, оказывается, были поползновения, но я об этом не знал. Потом он сам об этом сказал. Как-то он предложил мне бороться. Я согласился. Мы разделись и стали бороться...

*Феодосий.* Умоляю всеми богами, Сократ, кто оказался сверху?!

*Сократ.* То я был сверху, то он. Но, оказывается, он хотел борьбой разгорячить меня для других целей. А я не подзревал.

*Феодосий.* Вот змея! И до Сократа дополз! Моя дочка имела глупость кому-то из подруг рассказать, что расквасила нос знаменитому вояке. И это до него дошло. И что же он на это сказал? «Кровь за кровь!» Какой намек бросил! Как это люди могут понять? А моя дочь давно замужем, у нее прекрасная семья, дети.

*Сократ.* Оставь беднягу Алкивиада, Феодосий. Он уже давно в аиде.

*Феодосий.* Он давно в аиде, а язык его еще здесь болтается. Кровь за кровь! Я этого ему никогда не забуду!

*Сократ.* Скоро я его встречу в подземном царстве. Я заставлю его душу просить у тебя прощения. И она попросит. Но как тебе об этом передать? Не вызывать же тебя туда?



*Сократ тихо смеется.*

*Феодосий.* Не надо мне его прощения. В самом деле у него нюх, как у собаки. Сколько комнат, а он вынюхал именно комнату моей дочки и получил оплеуху. Вот и все, что было. А он: «Кровь за кровь!»

*Навей.* Сократ, я вижу, ты большой враг телесности. Но если люди последуют твоей философии, род человеческий иссякнет.

*Сократ.* Я не отрицаю телесность. Но телесность должна быть верной рабой духа. А дух, в свою очередь, должен время от времени пускать на волю свою телесность, чтобы не впасть в гордыню. У меня трое детей.

Младший совсем младенец, хотя мне семьдесят лет. И я сиживал за пиршественными столами, пивал редкие вина и едал вкусную снедь за веселой беседой с друзьями.

*Феодосий.* Я ли не видел этого своими глазами! Как красиво Сократ говорил, как красиво ел и пил! Видно было, что философ снисходит, опускается до еды и питья. Не то что этот пьяница Алкивиад! Дорвался до питья и пил, как скиф! А ведь он был богат, а Сократ всегда был беден. Вот что значит настоящий философ!

*Навей.* Прости, Сократ, за нескромный вопрос. Бывал ты когда-нибудь пьян?

*Сократ.* Бывал, милый юноша, бывал! И не раз! Но я никогда в жизни в пьяном виде не терял нить беседы и не путал свою постель с чужой.

*Феодосий.* Не то что этот дурень Алкивиад! Великий воин, великий воин! Еще надо хорошенько проверить, какой он был воин! Моя дочка потом, когда узнала, что Алкивиад считается первым красавцем Афин, долго смеялась и говорила: «Вот уж не подумала бы! Хоть бы меня предупредили! Я бы, может, удержалась от оплеухи!»

*Навей.* Теперь я понимаю, почему, когда я увлекаюсь гимнастикой, мне очень хочется кого-нибудь стукнуть. А когда не увлекаюсь, не хочется. Следует ли из этого, что телом совсем не надо заниматься, чтобы не омрачать свой дух яростью?

*Сократ.* Нет, этого не следует. Два, три раза в декаду гимнастика или борьба полезны. Два, три часа в декаду стоит подумать о теле, чтобы остальное время о нем не думать, чтобы все остальное время оно свободно и легко подчинялось духу.

Отношения духа и телесности не так просты. Боги захотели, чтобы дух находился в телесной оболочке. Тело — это как бы наглядное пособие того, что должен делать дух в этом мире. Он должен проповедовать истину и справедливость в этом мире. И дух должен начинать свою проповедь с самого ближайшего тупицы. А самый ближайший тупица для нашего духа — это наше собственное тело.

Сильная страсть тела имеет право на существование, когда она подчинена еще более сильной страсти духа. Могучий раб прекрасен, когда он полностью подчиняется хозяину.

Но если раб необуздан, мы бы предпочли видеть его хилым. С таким рабом легче справиться. Однако и слабосильное тело может быть необузданным при еще более слабосильном духе.

Наши глупые политики и глупые поэты любят проповедовать любовь к народу. Разумеется, только к одному афинскому народу. Афиняне слушают их и мурлыкают себе: какие мы хорошие, какие мы мудрые. Жаль только, лень думать, а то бы мы превзошли всех философов.

Своими льстивыми речами и песнями поэты и политики окончательно развратили афинский народ.

А что такое бессмысленная любовь к народу? Это продолжение любви к нашему собственному телу. Когда мы с Алкивиадом разделились, чтобы бороться, он, взглянув на свою оголенную руку, чмокнул ее от избытка любви к собственному телу. Это и есть любовь к народу наших глупых политиков и поэтов.

*Феодосий.* Разве это мужчина! Мужчина, который сам себя называет первым красавцем Афин, это не мужчина! Шел в комнату — попал в другую!

*Сократ.* Когда человек проявляет доблесть, я люблю его, я восхищаюсь им. Точно так же, когда народ проявляет доблесть, я люблю его, я восхищаюсь им. Но афинский народ молчал, когда афинские правители, поверив в клевету, вынесли мне смертный приговор.

*Феодосий.* Алкивиад это еще не народ! Учти, Сократ!

*Сократ.* Алкивиад тут совершенно ни при чем. Это Мелит подал на меня клеветническую жалобу, что я развращаю своими философскими беседами афинскую молодежь. А когда я спокойно произносил речь в свою защиту, афинский народ шумел, мешал мне говорить, кричал: «Казнить его! Надоед Сократ со своими поучениями!»

Сократ им надоел! Клянусь Зевсом, если Афины не погибнут! Поверить такой безумной клевете! Впрочем, так было всегда. Величие человека определяется величиной клеветы, которая сопровождает его жизнь. Лучше пофилософствуем на вольную тему.

*Навей.* Сократ, как бы ты определил настоящего мужчину?

*Сократ.* Настоящий мужчина — это мудрость, мужество, милосердие.

*Навей.* А что такое настоящая женщина?

*Сократ.* Настоящая женщина — это такая женщина, ради которой мужчина стремится стать мудрым, мужественным и милосердным.

*Навей.* Эх, если б можно было заранее узнать такую женщину, ради которой стоило бы стать мудрым, мужественным, милосердным. А то полюбишь злую ветреницу, а там милосердствуй всю жизнь.

*Сократ.* И такое случается.

*Навей.* Скажи, Сократ, всегда ли змею надо убивать?.. Но перед этим, если можешь, догадайся, почему я именно сейчас вспомнил про змею?

*Сократ.* Потому что, говоря о ветренице, ты вспомнил, вероятно, свою возлюбленную, а от нее легко перешел на змею.

*Навей.* До чего ж ты прав, Сократ! Так всегда ли надо убивать змею?

*Сократ.* Всегда.

*Навей.* Но ведь есть неядовитые змеи, Сократ. Следует ли их тоже убивать?

*Сократ.* Змея есть продолжение зла. Внешне красива, а внутри яд.

*Феодосий.* Другими словами — Алкивиад! Кровь за кровь! Какой намек бросил, сукин сын!

*Сократ.* Существование неядовитых змей тоже в замысле злых демонов. Оно призвано запутать простого человека. Того самого, кому, видите ли, надоел Сократ!

*Сократ тихо смеется.*

Пока он будет разбираться, что это за змея, она его укусит и уползет.

*Навей.* Но в чем вина неядовитой змеи?

*Сократ.* В том, что она — неядовитая часть ядовитого замысла. Неядовитая часть служит ядовитой части, как неядовитый хвост ядовитой змеи служит его ядовитой пасти. Вот если бы змея стала неядовитой в результате нравственных усилий бывшей ядовитой змеи, тогда наш долг отличать неядовитую змею от ядовитой. А пока она хитрая часть замысла злых демонов.

Но боги здесь перехитрили их. Через облик змеи боги воспитывают человека. Сверкать красивой чешуей, извиваться, ползать, шипеть, тайно жалить — вот что должно внушать и внушает человеку нравственный ужас и отвращение. И в облике многих людей мы часто угадываем змеиность.

*Феодосий.* Алкивиад! Чистый Алкивиад!

*Навей.* В чем печаль мудрости, Сократ?

*Сократ.* В том, что, пока мы рассуждаем о змее, она делает свое дело: жалит.

*Навей.* Есть ли у мудрости грех, Сократ?

*Сократ.* Есть высокий, но промежуточный грех мудрости. Мудрость не учит побеждать в жизни. Познавший мудрость молча переходит в стан беззащитных. Но когда все люди, которых можно назвать людьми, перейдут в стан беззащитных, защищаться, в сущности, будет не от кого и боги благословят нашу землю. Но это слишком громадный вопрос. Для его решения, видимо, придет другой человек. Но достаточно ли быть человеком для его решения — я не уверен.

*Навей.* Что такое поэзия, Сократ?

*Сократ.* Поэзия — это капля жизни в чаше вечности. Размер капли и размер чаши должны соответствовать друг другу. Если слишком большая чаша вечности и слишком маленькая капля жизни — холодно. Если слишком большая капля жизни и слишком маленькая чаша вечности — мутно. Гомер величайший греческий поэт, потому что поэзия его подчинена этому закону. И хотя у него чаша вечности величиной с Эгейское море, но соответственно и капля жизни нешуточная — Троянская война. Читая Гомера, мы чувствуем, как волны вечности перекатываются через головы его героев.

*Навей.* Сократ, что ты думаешь об Эпикрате, столь популярном поэте в сегодняшних Афинах?

*Сократ.* Эпикрат — это умное насекомое. Но насекомое не может быть умным, умным может быть только человек. Как нам выйти из этого противоречия?

*Сократ тихо смеется.*

Попробуем. В человеке заложены два вида ума: сноровистый ум и этический ум. Сноровистый ум хорош в торговле, в скотоводстве, в кораблестроении и так далее. Этический ум склонен целиком погружаться в сущность добра и зла. Такой ум важен для поэта и для философа. Со сноровистым умом в поэзии нечего делать. У Эпикрата как раз сноровистый ум. Он легко подхватывает сегодняшние страсти афинян и, не сопрягая их с вечностью, излагает в ловких стихах. Афиняне в восторге: он знает, чем мы живем! Но как только схлынут сегодняшние страсти афинян, Эпикрата забудут. Кто такой Эпикрат, как он мог быть популярен, будут удивляться завтрашние афиняне. Впрочем, это не помешает им увлекаться новым, собственным Эпикратом. Эпикрат слишком политичен.

*Навей.* Что такое политика, Сократ?

*Сократ.* Политика — это такая точка жизни, которая более всего удалена от вечности и потому более всего приближена к дуракам. Политика — вино для дураков.

Политики — игроки в кости. Народ с азартом следит за ними. Иногда часть народа соединяет свои надежды с одним игроком, а другая часть народа соединяет свои надежды с другим игроком. Иногда весь народ соединяет свои надежды только с одним игроком. Но это не меняет сути дела.

Если игрок, с которым народ соединяет свои надежды, проигрывает, он, обернувшись в сторону народа, разводит ру-

ками. Он хочет сказать: мол, мне не повезло. Если бы мне повезло, вы бы стали лучше жить.

Если же он выигрывает, к нему немедленно подсаживается другой игрок вместо выбывшего, и он опять разводит руками: мол, придется продолжать до нового выигрыша. И так до бесконечности.

Народ, потерявший терпение в ожидании окончательного выигрыша, может в ярости растерзать обоих игроков. Но это ничего не меняет. Следующие игроки, которых сам же он сажает играть, повторяют то же самое.

И чем более кровавый бунт устраивает народ, потерявший терпение, тем более долгое терпение проявляет он после бунта. Чем больший интерес к политике проявляет народ, тем глубже он развращается, ибо, вместо того чтобы созидать своими силами, он чего-то ждет от политиков.

*Навей.* Когда же это все кончится, Сократ?

*Сократ.* Очень нескоро. Это случится, когда народ перестанет ожидать от политиков направления своей жизни и улучшения своей жизни. Тогда политика превратится в обыкновенное ремесло, каких тысячи. Ведь мы от ремесленника, сооружающего нам колесницу, не ждем, чтобы он указал нам, куда ехать. Или от кораблестроителя мы не ждем указания, куда плыть. А от ремесленника, занимающегося государственным управлением, ждем, что он укажет, куда нам ехать или плыть. От того, что мы ждем от него такого указания, он сам начинает верить, что знает, куда нам плыть или ехать. На самом деле он ничего не знает.



*Навей.* Что движет человеком, Сократ?

*Сократ.* Человеком движут тысячи страстей. Но все эти страсти можно объединить в две страсти: страсть к чистой совести и страсть к наслаждению. Человек есть существо, которому время от времени приходится выбирать между бараниной, зажаренной на вертеле, и чистой совестью.

Самые страшные люди — это не те, кто по простодушию чревоугодия предпочтут совести баранину, зажаренную на вертеле. Самые страшные люди — это те, кто после внутренних борений все-таки предпочли баранину, зажаренную на вертеле. Они поедают ее, но со всей полнотой не могут наслаждаться ею из-за тайного знания своей неправоты. И тогда, съев баранину, они с особой жестокостью начинают ненавидеть тех, кто твердо и спокойно предпочел чистую совесть. Они обрушивают на них самую злобную клевету, как бы вырывая съеденную баранину. На такую клевету неспособны те, кто в простоте чревоугодия сразу ее предпочли.

Но есть во всем этом и забавная особенность. Лучше всех оценить вкус шипящей на вертеле баранины может как раз человек с чистой совестью. Почему?

В отличие от того, кто ел ее, зная, что предал совесть, он ее ест вдумчиво, со спокойной душой. А тот ее невольно ест, стараясь поскорее запихивать в рот, все-таки понимая, что ест уворованное у совести.

А в отличие от человека, который простодушно предпочел совести баранину, он ее ест гораздо охотнее, хотя бы потому, что она ему гораздо реже перепадает. Так пахарь, распрягаю-

щий своих быков в полдень и припадающий к холодному ручью, чувствует сладость воды гораздо сильнее, чем ленивец, просидевший все утро над этим же ручьем.

*Навей.* Сократ, у меня к тебе великая просьба. Скажи, как мне быть? Я влюблен, как ты догадался, в одну знатную девушку и жить без нее не могу. А она то приблизит меня, то отдалит. То приблизит, то отдалит. Она очень красива. Вокруг нее много поклонников. А я чувствую, что с ума по ней схожу. И это длится уже пять лет.

*Сократ.* Подобное надо лечить подобным. Ты пробовал завести себе другую девушку?

*Навей.* Пробовал, Сократ. Ничего не получается. Мне скучно с ними. Я даже ударил одну гетеру после близости. До того мне стало противно и горько, что со мною не та, которую я люблю.

*Сократ.* Рукам воли давать не следует. Видно, ты в это время усиленно занимался гимнастикой?

*Навей.* Врать не буду. Не помню, Сократ.

*Сократ.* В молодые годы я знал умнейших гетер. Сейчас они повывелись и поглупели, как и все греки Афин. Раньше как было? Юная гетера для соблазна умело приоткрывает свое тело. А зрелая гетера для соблазна умело прикрывает свое тело, зато распахивает свой опытный ум.

А сейчас зрелая гетера приоткрывает свое дряблеющее тело, забыв, что ей не двадцать лет. А юная гетера так без умолку тараторит, что не дает сосредоточиться на своем красноречивом теле. Только настоящая мудрость никогда не стареет и не нуждается ни в каком прикрытии.

*Навей.* Ну их, гетер. Но как мне быть со своей любимой? Я с ума схожу, а она кокетничает со всеми.

*Сократ.* А ты пытался показаться в ее обществе с другой девушкой?

*Навей.* Что ты, что ты, Сократ! Я пять лет схожу по ней с ума! Я хочу, чтобы в конце концов, потрясенная моей верностью (гетеры не в счет), она остановилась на мне.

*Сократ.* Милый юноша, с твоей Пенелопой надо было действовать совсем по-другому. Ты найди себе девушку по красивей и как можно чаще вместе с ней попадайся на глаза своей возлюбленной. Вот тут-то она, потрясенная ревностью, падет тебе на грудь. Если надо, найми такую красивую девушку, пусть сыграет роль твоей возлюбленной. Ты же богат? Кстати, как вы, апсилы, добываете золото?

*Навей.* Да, мой отец богат. У нас две тысячи овец и коз. Около ста овечьих шкур, распяленных на распялках и закрепленных камнями, мы выставляем поперек течения нашей великой реки Кодор. В овечьей шерсти застревают золотые песчинки, вымытые из горных пород. Потом эти шкуры сушатся, и женщины выбирают из них золотые песчинки. У нас их так и называют: «искательницы золотых блох».

Три года назад у нас нашелся гениальный умелец. Он выдолбил длинное корыто с крутым стоком. Теперь овечьи шкуры промывают в лохани с водой, а эту воду сливают в корыто с крутым стоком. Золотые песчинки раньше оседают на дно, а всякий мусор и песок уносятся дальше. Тут дело пошло гораздо быстрее. Но искательницы золотых блох взбунтова-

лись. Они решили, что теперь их будут меньше уважать. Они сожгли первое корыто с крутым стоком, не понимая, что главное — это гениальная мысль нашего умельца — крутой сток. Вот так мы теперь добываем золото.

Но самое страшное — воры. Сколько не выставляй дозоров, они подглядывают, кто, где, когда заложил в реку овечьи шкуры, а потом по ночам вытаскивают их и сами промывают.

Война с ворами — хлопотное и дорогое дело. Но самые подлые из них что делают? Они достают со дна шкуры, смыывают с них золотые песчинки и снова закрепляют их на дне. Хозяин приходит снять свой урожай, а на шкурах почти ничего нет. И если это повторяется два-три раза, он думает, что это место перестало плодоносить, и ищет новое место на реке. А воры тихонько занимают его место. Хуже этих воров я ничего не знаю! Но я отвлекся. Значит, ты мне советуешь...

*Сократ.* Всюду свои страсти... Да, я тебе советую почаще показываться с красивой девушкой в обществе твоей возлюбленной. Этот женский тип хорошо известен. Она от ревности обязательно падет на твою грудь.

*Навей.* Надолго ли?

*Сократ.* Это от тебя зависит. Вали ее на постель! А потом громко скажи: «Как? И это все, что я ожидал пять лет?» Такое восклицание на красавиц действует отрезвляюще. Благодаря лести влюбленных дураков они сильно преувеличивают медоносность своего дупла. Но в дом ее не вводи. Если б она была благородным существом, она бы давно полюбила тебя

или прямо и навсегда отвергла. А так ты насытишься ею, и вы тихо отдалитесь друг от друга.

*Навей.* Сократ, у меня голова кружится от твоих речей. Неужели я смогу ею насытиться? Не представляю! А если вдруг она захочет выйти за меня замуж? У нее такие знатные родственники, они будут в ярости!

*Сократ.* А ты на этот случай усиленно займись гимнастикой. Тут-то она будет кстати. Даже если демоны зла привязали твою страсть к ее телу, помни, что тела взаимозаменяемы. Незаменяемы только души.

*Навей.* Как так, Сократ?

*Сократ.* Очень просто, Навей. Я, например, скажу про свою Ксантиппу. Она такая крикунья, даже в постели не перестает верещать. Я, восходя к ней, тайно, чтобы она не видела, залепляю себе уши воском. После этого лежу с ней в темноте, в тишине и представляю, что лежу с Афродитой. Она верещит, а я ничего не слышу. Так у нас родилось трое детей. Не скажу, чтобы кто-нибудь из них походил на Афродиту. Природу не обманешь, но похоть легко обмануть. А если ты спишь со злой, глупой, вздорной женщиной, сколько про себя ни повторяй: «Моя мудрая Афина! Моя мудрая Афина!» — ничего не получится. Будет еще хуже. Из этого следует, что тела взаимозаменяемы, а души заменить нельзя. Гниющее взаимозаменяемо, бессмертное заменить нельзя!

*Навей.* Клянусь, Сократ, ты говоришь великие и страшные вещи! Но если ты имеешь право, лежа со своей Ксантиппой, представлять, что лежишь с Афродитой, значит, и она имеет

право представлять, что на нее взгромоздился, прошу меня простить, Геракл.

*Сократ.* Вполне возможно. Но моя бедная Ксантиппа и лежа с Гераклом будет думать, о чем она всегда думает: чем я завтра буду кормить своих детей?

*Феодосий.* Я так понял, Сократ, что душа вообще не имеет никакого отношения к постели?

*Сократ.* И ты прав, Феодосий. Душа не имеет никакого отношения к постели, но, чтобы добраться до постели в семейной жизни, нужно расположение души. И ты, Навей, вдумайся в мои слова, прежде чем жениться. Из двух несовпадений — несовпадения душ или несовпадения телесной страсти, лучше выбрать последнее, ибо отсутствие близости душ ничем не заменишь, как я тебе доказал, а телесную страсть можно мысленно восстановить.

*Навей.* Я подумую над твоими словами, Сократ. Хотя это печально, ох как печально, Сократ. Я думал, только бы мне обнять ее крепко, и у нас все совпадет. Душа войдет в душу, как тело в тело!

*Сократ.* На этом основаны все несчастные браки. Страсть отхлынет рано или поздно, и обнажится, как при отливе, берег ее души, заляпанный дохлыми медузами и хамсой.

*Феодосий.* Прости меня, но время идет. Может, ты передумаешь и этой ночью уйдешь в Апсилию? Попробуешь их винца, посмотришь, как они моют золото. Соглашайся, Сократушка, а я сбегаю, звеня драхмами, и кое с кем поговорю.

*Сократ.* Нет, друзья, нет... Да и попутного ветра ночью не предвидится...

*Навей.* А мы на веслах уйдем в открытое море. Соглашайся, Сократ!

*Сократ.* Нет, друзья, нет. Мое старое тело не стоит таких долгих перемещений. Лучше я вас попытаюсь развеселить. Спросите у меня: «Что тебя больше всего беспокоит в твои последние дни, Сократ?»

*Феодосий.* Что тебя больше всего беспокоит в твои последние дни, Сократ?

*Сократ.* Баран!

*Феодосий и Навей.* Баран?!

*Сократ.* Да, баран. Мы с женой должны Леонтию барана. Мы его должны уже полгода. Незадолго до этого дурацкого суда я, будучи дома и слегка под хмельком, лег и заснул. И приснилось мне, что ко мне домой пришел Леонтий и спрашивает: «Сократ, когда же ты мне вернешь барана? Сколько можно напоминать?» И мне было ужасно стыдно перед ним, потому что с тех пор, как мы съели барана, прошло много времени. Будь у нас тогда ягненок, он бы уже сам стал бараном. Но не было у нас ягненка и нет.

— Леонтий, — сказал я ему, — не успеют афинские петухи трижды объявить рассвет, как я тебе верну барана, даже если для этого мне придется продать свой плащ.

— Как знаешь, Сократ, — отвечает он, бросив недоверчивый взгляд на мой плащ, висевший на стене, — но я жду своего барана.

По его взгляду на мой старый плащ было видно, что он сомневается в его равноценности барану. Было очень неприятно.

И я проснулся с тяжелой душой, думая, как хорошо, что это все-таки сон. Надо скорее вернуть барана, а то Леонтий и в самом деле придет за ним, как уже приходил не раз.

Тут в дом входит Ксанטיפпа, и я ей рассказываю свой сон. И вдруг мой сын начинает хохотать.

— Ты чего хохочешь? — спрашиваю я у него.

— Это не сон, папа, — отвечает он. — Леонтий и в самом деле приходил за бараном. Я тебя разбудил, ты поговорил с ним и снова лег спать.

Тут Ксанטיפпа взвилась, проклиная Леонтия и, как всегда, путая варваров с людоедами, пожелала, чтобы варвары сварили его в котле и съели, как мы барана. Ну и мне досталось сверх меры. Она кричала, что я окончательно спятил и уже не могу отличить явь от сна. Вот как было.

*Сократ тихо смеется.*

Не прошло и трех дней, как начался суд, и мне уже было не до барана. Выходит, если мою жизнь разделить на мою философию, в остатке будет баран, которого я задолжал Леонтию. В сущности, у правителей Афин было бы больше оснований казнить меня за этого барана, чем за клеветнические наветы.

В будущем люди могли бы сказать: «Сократа казнили за неуплату бараньего долга. Слишком строги были законы Афин, но это были законы».



Но я не хочу, чтобы афинские правители имели хотя бы такое оправдание. Поэтому, Феодосий, верни за меня Леонтию барана, ради всех богов.

*Феодосий.* Не тревожься, Сократ, хотя, я думаю, и здесь ты шутишь! И о семье твоей я позабочусь, и барана получит Леонтий, разорви его демоны на ломти. Хорошо, что он еще в тюрьму не явился за бараном.

*Навей.* Говорят, когда ты был в походе на Потилею, вас настиг сильный мороз. А ты босой ходил по снегу, не замечая холода. Правда ли это?

**СОКРАТ.** Это легенда, но она имеет некоторые основания, как и всякая легенда. В ту морозную ночь мы со многими воинами стояли в одном доме. Утром, когда я проснулся, в доме никого не было. Мне надо было выйти по нужде. Смотрю, нет моих сандалий, сперли мои сандалии. Что же мне оставалось делать? Я завернулся в плащ и босой вышел из дому. На обратном пути меня поразила внезапная мысль, и я остановился и в самом деле забыл, что стою на снегу.

Я понял, что мудрость все может. Но она не может только одного — защитить себя от хама. В этом смысле мудрость обречена на многие тысячелетия. Но собственная незащищенность и есть единственное условие, при котором истинно мудрый человек посвящает себя служению мудрости.

Проверяя варианты этой мысли, я три часа простоял на снегу. Оказывается, за это время собрались воины и, гогоча, смотрели на меня. Но я ничего не замечал. Наконец один старый воин принес мне свои запасные сандалии, и я надел их на ноги.

Я и в Афинах не раз цепенел на много часов, когда меня осеняла мысль. При этом птицы, особенно голуби, принимая меня за статую, садились мне на голову и плечи. Но я ничего не замечал. И только Ксантиппа начинала ругать меня, заметив птичий помет на моем плаще.

— Опять остолбенел! — кричала она. — На тебя мыла не напасешься!

*Сократ тихо смеется.*

*Феодосий.* Клянусь Посейдоном, это Алкивиад нарочно спрятал твои сандалии. Он же был с тобой в этом походе. Он хотел посмеяться над тобой.

*Сократ.* Нет, сандалии у меня в самом деле стащили. Но Алкивиад в самом деле был большой шутник. Он уверял моих добрых друзей, что видел однажды в Афинах, как голуби совокуплялись на моей голове, когда я стоял в оцепенении. Думаю, что он шутил. Но может быть, демоны иронии сыграли шутку с моей головой, которая всегда пыталась поставить телесность на свое место: мол, телесность оказалась выше головы Сократа.

*Сократ тихо смеется.*

*Феодосий.* Всем известно, что ты под градом стрел вынес раненого Алкивиада из боя. А награду получил он. Как это понять?

*Сократ.* Зачем философу награда? Я сам хлопотал за него, пусть, думаю, потешится.

*Входит стражник.*

*Стражник.* Феодосий, вам пора уходить.

*Феодосий.* Я не пожалею драхму, чтобы положить ее тебе в рот, когда ты умрешь! Мало ты получил от меня?

*Стражник.* Я впустил тебя сюда с чужестранцем из далекой Апсилии. А он не только чужестранец, но и чужеродец, молящийся неведомым богам. За это и меня по голове не поглядят. А у меня тоже семья.

*Феодосий.* Но я же поручился за него. Тем более он говорит по-гречески, как мы. Ты мог не знать, что он чужестранец и чужеродец.

*Стражник.* В случае чего, я так и собирался говорить. Но, Феодосий, не один ты хочешь попрощаться с Сократом. Половина Афин хочет попрощаться с ним.

*Сократ.* Выходит, другая половина Афин голосовала за казнь Сократа, пока эта отсиживалась дома. Теперь та половина отсиживается дома, а эта половина пришла со мной прощаться. Справедливость по-афински.

*Сократ тихо смеется.*

Прощайте, друзья. Я был рад познакомиться с далеким апсильцем.

*Навей.* Прощай, Сократ. Я сдерживаю слезы, потому что по нашим обычаям мужчина может плакать только ночью или в полном одиночестве. Если ты разрешишь, я запишу нашу беседу.

*Сократ.* Если хочешь, записывай. Мой лучший ученик Платон тоже, кажется, записывает за мной. Но он такой целомудренный, что, боюсь, очищает мою речь от слишком жизнеподобной корявости.

*Навей.* Почему мудрецов не ценят при жизни? Наш правитель тоже косо смотрит на нашего мудреца Джамхуха.

*Сократ.* А какова форма вашего правления?

*Навей.* Монархия, ограниченная ограниченными старцами.

*Сократ.* Незатейливо. Но и наша демократия, как видишь, не лучше. Такова жизнь, мой молодой друг. Народ не любит мудрецов при жизни и восхваляет их после смерти. Почему? Потому что каждый человек тайно греховен.

И если он видит, что есть человек, который неуклонно всю жизнь стремится к истине, ему мерещится, что этот человек рано или поздно доберется до его тайного греха. Поэтому живой философ неприятно тревожит свой народ. А после смерти философа каждый тайно вздохнет, что его грех остался нераскрытым. Философа прославляют, потому что через него сами возвышаются: вот какого мудреца мы родили.

*Прощаясь, они обнялись. Феодосий громко рыдал. Навей, кажется, держался.*

*Феодосий.* Почему, почему наш великий Сократ должен умереть?! Боги Олимпа, вы несправедливы! Боги Олимпа, даже вы завидуете мудрости Сократа!

\* \* \*

Вот все, что я записал о доблестном Сократе. Дела в Апсильи смутны и плохи. Ходят упорные слухи, что наш царь связан с ворами золота. Такого падения нравов еще не бывало. Амазонки разгуливают по нашим лесам, хватая зазевавшихся охотников и насилая их. Сноровка насилия мне не вполне ясна.

Искательницы золотых блох вновь возроптали, желая возвращения к старому способу добычи золота и призывая к публичному сожжению золотопромывочных корыт. Царь, находящийся под сильным влиянием амазонок, склоняется их поддерживать. Вышел указ, по которому апсильский корабль не может уйти в чужие страны без государственного чиновника на борту.

Ученик Джамхуха Самсон Самба оказался предателем и лазутчиком царя. Будь проклят Самсон Самба и весь его род во веки веков! Аминь! Жизнь Джамхуха в опасности. Хорошо бы вывезти его на Крит. Там сейчас живет мой друг Феодосий. При этом государственного чиновника следует утопить, разумеется, еще до того, как Джамхух взойдет на борт. И пока правит этот безумец, не возвращаться с Крита. Боже, спаси Апсилью!

Заливаю воском и закапываю слезами (меня никто не видит) этот пергамент. Я прячу его в самой сухой пещере Чегема.

## море обаяния

— Тебе хорошо, — сказал мне как-то один мой московский коллега, — ты пишешь о маленьком народе. А нам куда трудней. Попробуй опиши многомиллионную нацию.

— Ты же из Смоленщины, — ответил я, — вот и пиши, как будто все начала и концы сходятся в Смоленской области.

— Не получится, — сказал он, немного подумав, и с придыханием добавил: — Тебе хорошо, хорошо... Все горы, все детство, все Чегем... Да и редакторы к тебе снисходительней... Мол, все это там, где-то на далекой окраине, происходит, ладно, пусть пишет.

Это ко мне снисходительны?! Лучше оставим эту тему. Но как объяснить, что у меня свои дьявольские трудности? Тем более эта несчастная склонность к сатире. Маленький народ... Как бы все друг друга знают, все приглядываются друг к другу: кого он изобразил на этот раз? И обязательно кого-нибудь угадывают или придумывают. А там жалобы, угрозы и тому подобное.

Я разработал целую систему маскировки прообразов. Деятелям районного масштаба сам лично перекрашиваю волосы, наращиваю усы или, в редких случаях, начисто сбрываю. Деятелям крупного калибра — пластическая операция, не меньше!

Полная рокировка должностных лиц. Партийного бюрократа перевожу на место хозяйственного бюрократа, отчего некоторым образом проигрываю качество, но укрепляю собственную живучесть.

Все равно узнают или, что еще хуже, внушают кому-нибудь, что он узнан и оклеветан при помощи правды. Моих эндурцев тоже неправильно понимают. Это же не какая-нибудь определенная народность или жители определенного местечка — все мы порой бываем эндурцами. Иногда подолгу. Я, например, был чистейшим эндурцем, когда связал свою жизнь с писательским делом.

А что, если перейти на Москву? Для пробы опишу один случай, а там посмотрим.

В тот день я был приглашен на литературный вечер. Я пытался было уклониться, но директриса студенческого клуба несколько раз повторила:

— Вас, именно вас больше всех ждут.

И я дрогнул: слаб человек, тщеславен. Каждый раз вот так заманивают, а потом видишь, что и писателей больше чем достаточно, да и тебя, собственно говоря, никто особенно не ждал.

Я сунул стихи в кожаную папку, застегнул молнию и вышел на улицу. Теплый августовский день близился к закату. Сидя на скамейке возле нашего дома, лифтерши мирно беседовали, время от времени рассеянно поглядывая на свои подъезды. Так пастухи в наших краях поглядывают на свое стадо: не слишком разбрелось? Нет, не слишком.

Наша лифтерша, заметив меня, спросила глазами: не поздно ли вернуться? Я мотнул рукой, сжимающей папку, показывая, что с такой штукой надолго не разгуляешься.

Я миновал переулочек и вышел на нашу узкую, но бойкую улицу. С машиной мне сразу не повезло. Все такси оказывались

заняты, а леваки почему-то не брали. Впереди, шагах в двадцати от меня, стояла компания из четырех человек. Они тоже, ожидая попутной машины, голосовали, но и их никто не брал.

Вдруг я поймал радостный взгляд человека, идущего навстречу мне по кромке тротуара. Взгляд его был настолько родственно-узнающим, требующим немедленного общения, что я растерялся. Я никак не мог припомнить этого человека. Писатель из наших домов? Поэт? Прозаик? Мне ничего не оставалось, как выразить взглядом не менее радостное узнавание, одновременно стараясь не промахнуться и не выдать, что я не могу его припомнить.

По его возбужденному взгляду и нарастающему счастью приближения я понял, что дело рукопожатием не ограничится. Так и оказалось. Мы расцеловались, и тем горячее я ответил на его поцелуй, чтобы скрыть свое постыдное неузнавание. Отчмокавшись, он откинул голову и посмотрел на меня с поощрительной радостью. Тут я догадался, что этот человек прочел только что опубликованный мной рассказ и сейчас будет делиться со мной впечатлениями. Я приготовился проявить мудрую снисходительность к похвалам.

— Видал? — спросил он. — Гришу в «Известиях» напечатали.

— Да? — кисло удивился я. — Очень приятно.

Какой Гриша? Что за Гриша? Сын! — мелькнула догадка. Видно, одна из модных в наше время писательских династий. Вывел сына на орбиту и радуется.

— Ты представляешь! — воскликнул он. — Опубликовали, и так широко!



— А сколько ему лет? — спросил я, полагая, что такую подробность его семейной жизни я имел право не знать.

— Грише? — удивился он. — Сорок семь!

Видимо, лицо мое что-то выразило, но он это не так понял.

— Да ты что, думаешь, Гриша все еще пьет?! — воскликнул он победно. — Бросил! Бросил! Два года в рот не берет — и вот тебе результаты! Я так рад за него, так рад! Сейчас иду лечить Джуну, Джуну подзаболела...

— Так вы экстрасенс! — сказал я, как бы окончательно вспоминая его.

— Почему экстрасенс? — удивился он и с улыбкой добавил: — Экстрасенсу лечиться у экстрасенса — все равно что цыганке гадать у цыганки. Я обыкновенный врач... Да вы что, забыли? Мы же десять лет назад сидели у Гриши. Он тогда у себя в коммуналке выставил свои картины. А сегодня четыре репродукции дали в «Известиях». Я так рад за него, так рад!

И тут я все вспомнил. Да, да, так оно и было. Действительно, десять лет назад я сидел у этого милого художника, и там в самом деле был этот врач. Меня так и обдало теплом. Какое счастье, что в мире существуют люди, способные так радоваться чужим успехам! Наконец мы распрощались с этим человеком, и он полетел дальше.

Настроение у меня значительно улучшилось. Я решил, что такая встреча к добру. Однако машина все не попадалась. Боясь опоздать на вечер, я решил обойти компанию, стоявшую впереди меня, благо никакой стоянки тут не было. Лег-

ко преодолевая легкие укоры совести, я прошел мимо них, пересек квартал и почти на самом углу остановил пустое такси.

Водитель согласился меня взять, но кивком головы показал, что ему надо переехать перекресток. Светофор мигнул, таксист переехал перекресток и остановился. Теперь он был гораздо ближе к тем парням, которые стояли впереди меня. Один из них стал подходить к такси.

Я тоже двинулся к такси и вдруг почувствовал всю сложность своего положения. С одной стороны, я уже договорился с таксистом, а с другой стороны, я обогнал тех, что стояли впереди меня. Но с третьей стороны, здесь вообще никакой стоянки нет и я мог оказаться впереди них, если б дом мой был в следующем квартале. Если б...

И я решил уступить: все-таки они стояли впереди меня. Тогда зачем я продолжал идти? Возможно, надеялся, что таксист их не возьмет, если место, куда они едут, его не устраивает. И такое бывает. А возможно, подсознательно я хотел насладиться скромным благородством своего отказа.

Когда я поравнялся с такси, большой мордатый парень из этой компании, наклонившись к шоферу со стороны улицы, что-то ему говорил. По-видимому, шофер ему ответил, что машина уже занята.

— Ничего, шляпа подождет, — громко сказал мордатый, явно имея в виду меня, хотя я был без шляпы и никогда ее не носил.

Тут что-то вспыхнуло во мне, что со мной бывает крайне редко. Видимо, сыграло роль, что я готовился к благородно-

му акту передачи такси. Я сказал, что за хамство можно и в морду схлопотать. Парень молча обошел машину и сел рядом с шофером, даже не взглянув на источник угрозы, что источнику угрозы было довольно обидно.

Такси тронулось, и парень отъехал к своим друзьям. Я снова перешел перекресток и в начале следующего квартала стал дожидаться попутной машины. Но не дождался и пошел вперед. Я боялся опоздать. Метрах в тридцати от меня на краю улицы стоял какой-то парень и голосовал. Такси по-прежнему проходили с пассажирами. Леваки порой останавливались возле этого парня, но, не договорившись, ехали дальше. Они останавливались и передо мной, но и меня не брали. Черт его знает, куда они ехали!

Я понял, что опаздываю, и опять решил пройти вперед. Навряд ли этот парень спешил так же, как я. И вообще, какое тут может быть правило, если нет стоянки? Но неприятно. А что делать, если спешишь?

Так или иначе, я обогнал этого парня и решил остановиться подальше от него, чтобы он меня не видел. Но только я обогнал его шагов на двадцать, как появился частник в пустой машине. Я не удержался и проголосовал. Левак остановился, но, узнав, куда я еду, не взял меня. Машина отъехала, и вдруг с тротуара раздался женский голос:

— Вы некрасиво поступили! Вон человек ожидал раньше вас, а вы его обошли! Некрасиво!

— Я спешу! — бросил я в ее сторону и зашагал вперед. Женщина шла по тротуару и продолжала ворчать.

Видя, что она не смолкает, я убыстрил шаг. Но и она поспешила, стараясь ворчать параллельно моему ходу. Если я приостанавливался и голосовал, она тоже останавливалась и, дождавшись моего очередного провала, продолжала меня уличать. Начинался какой-то кошмар. Я подумал, не побежать ли, но и бежать было стыдно. Именно перед ней.

И вдруг рядом со мной неожиданно остановились «Жигули». Я даже не голосовал. Я заглянул в окно. За рулем сидел мой давний институтский приятель, знаменитый Борис Борзов.

— Тебе куда? — спросил он, сверкнув на меня своими лучистыми карими глазами.

Я назвал место.

— Садись, я в тот же район, — сказал он.

Я оглянулся на женщину, не зная, как она будет действовать дальше. Но она только взглянула на меня, молча перенесла кошелку в правую руку, которой до этого жестикулировала в мою сторону, и пошла дальше.

Я открыл дверцу. На переднем сиденье стояли бутылка с шампанским и коробка с тортом. Он взял в руки и то, и другое и переложил на заднее сиденье, позаботившись так уложить бутылку, чтобы она не скатилась.

— Что, в гости? — спросил я, усаживаясь рядом с ним.

— В гости к любовнице, — сказал он, ослепив меня белозубой улыбкой и стараясь понять впечатление, которое произвело это известие. Поняв или скорее не поняв, добавил: — Можешь поздравить меня. Диссер защитил.

За последние двадцать лет мы с ним несколько раз встречались в кафе «Националь», куда он заходил с друзьями. Я знал, что он кандидат биологических наук и работает сейчас в каком-то научно-исследовательском институте.

— Так ты же давно кандидат наук, — сказал я.

— Докторскую, балда, докторскую! — воскликнул он, полыхнув на меня своими яркими, как в юности, глазами. — Если бы не враги, я бы уже был академиком!

— На какую же тему у тебя диссертация? — спросил я.

— Сейчас узнаешь, — ответил он. — Кстати, чтобы не забыть. Ты можешь мне устроить постоянный пропуск в ЦДЛ?

— Нет, — сказал я, — даже временный не могу устроить.

— А в Дом кино? — спросил он.

— Тем более, — сказал я, — я к ним не имею никакого отношения.

— Ладно, — тряхнул он своей аккуратной головой, — найдем нужного человечка и без тебя!

— Так на какую же тему у тебя диссертация? — спросил я снова.

— «Бесскорлупные яйца — революция в продуктивности яйценосок». опыты нашей лаборатории имеют огромное народнохозяйственное значение!

Он бросил на меня одну из своих двусмысленных улыбок, приглашая порадоваться его достижениям и одновременно намекая, что эти достижения — следствие открытого лично им тайнства общечеловеческой глупости. Он приглашал по-

радоваться за него в обоих направлениях, стараясь угадать, улавливаю ли я чудо их сочетания.

— Как так — бескорлупные яйца? — спросил я и мельком с некоторой тревогой подумал, что тема козлотура, видимо, будет преследовать меня всю жизнь.

— Ну, ты витаешь в облаках, — сказал он, поглядывая то на меня, то на дорогу и начиная весело заводиться, как, бывало, в студенческие времена, — а мы делом заняты, делом! Вот вкратце суть проблемы на доступном тебе языке. В настоящее время хорошая несушка дает около двухсот пятидесяти яиц в год. Если в редких случаях триста — bravo! Bravo! Когда мы доведем свои опыты до конца, курица будет нести яйца, правда, бескорлупные, в три раза больше, чем сейчас! Мы зальем страну бескорлупными яйцами! И тогда закапает наконец над моей усталой головой золотой дождь. И горе той руке, которая попытается в этот момент водрузить надо мной зонтик! В чем суть? Яйцекладка подчинена строгому ритму. Яйцо проходит по яйцеводу не менее двадцати одного часа, и овуляция не наступает, пока не снесено очередное яйцо. Ты, дикарь, конечно, не знаешь, что такое овуляция. Запомни: выход яйцеклетки из яичника! А нельзя ли ускорить формирование яйца и тем самым уменьшить интервалы между снесенными яйцами? Вот вопрос, поставленный нашей лабораторией, а точнее, твоим, как ты знаешь, непокорным слугой. И ответ на него уже частично получен. Напомню тебе то, чего ты никогда не знал, — путь яйца по яйцеводу. Яйцо относительно быстро проходит воронку (у Борзова никаких претензий), белковый отдел и пе-

решеек, но надолго, трагически долго задерживается в матке. Девятнадцать часов! Почему? Потому что здесь, именно здесь, оно проходит сложный процесс образования скорлупы.

...Я слушал его и вдруг вспомнил наше первое знакомство. В институте мы учились с ним на разных факультетах и жили в разных комнатах общежития. Лично мы еще не были знакомы, но я, конечно, как и весь институт, знал о нем: Борзов-гуляка, Борзов-пижон, Борзов-хохмач.

Летом я его встретил в родном городе при довольно необычных обстоятельствах. Поздно вечером я гулял по набережной. И вдруг вижу: толпа подростков окружает какого-то человека с явно недоброй целью. Было довольно темно. Внезапно из толпы раздался знакомый голос:

— Борзов задний ход не дает! Налетайте, шакалы!

Я подбежал, протиснулся в толпу и увидел Борзова, стоящего с воздетым кулаком. Остекленевшие глаза, бешеное лицо. Юнцы, смутно узнавая меня как местного человека, неохотно расступились. Я вывел его из толпы. Они бы его, конечно, растерзали.

Борзов был вдребадан пьян. Таким я его видел в первый и последний раз. Обычно он почти не пьянел. К нам подошла плачущая девушка. Оказывается, он был с ней. Она сказала, что Борзов сам первым стал задирается с этой компанией.

Вместе с девушкой я проводил его до гостиницы «Рица», удивляясь, как ему удалось в летний сезон снять там номер. Позже я таким вещам перестал удивляться: он мог все.

После этого я проводил девушку. Она была приезжая и жила на частной квартире. Она мне сказала, что Борзов ку-

пил на базаре бутылку чачи и с этого все началось. Девушка была хороша и так трогательно переживала случившееся! Я уверил ее, что он, видимо, отравился, что он никогда в жизни не был таким. Кажется, она немного успокоилась.

На следующий день свежий, подтянутый, хорошо одетый, он гулял со мной и моими друзьями по набережной. О вчерашнем дне он ничего не помнил — ни девушки, ни выпивки, ни возбужденных юнцов. Сейчас он очаровывал нас рассказами о своих спортивных достижениях. Кстати, Борзов сказал, что он мастер спорта по плаванию.

— Каким стилем ты плаваешь? — спросил я.

— Всеми, — сказал он, на миг замешкавшись.

— А в каком стиле ты мастер?

— Во всех! — радостно ответил он.

Мне это показалось странным. Но ведь мы на следующий день собирались встретиться на пляже! Не мог же он не знать, что коренные черноморцы как-нибудь разберутся, насколько человек хорошо плавает.

И мы в самом деле на следующий день встретились на пляже, и я первым вошел в воду и отплыл, дожидаясь его в море. Стройный, крепкий, он вошел в воду и поплыл ко мне, выворачивая голову то налево, то направо, честными континентальными саженками. Ни о каком стиле не было и речи.

— А как же мастер спорта? — спросил я, когда он подплыл.

В море как-то легче пренебречь деликатностью хозяина местности. Море смывает земные условности.



— А-а-а! — воскликнул он, сверкнув на меня своими яркими глазами, и так бесшабашно ударил рукой по воде, что я тут же простил ему эту наивную ложь.

Веселый компанеец, рассказчик фантастических историй, он за четыре-пять дней обаял всех моих друзей и знакомых. В застолье он обычно ревниво следил, не остался ли кто-нибудь не охваченным его обаянием. Если такой оставался, он работал исключительно на него, пока тот не сдавался. Кстати, за это время он усвоил двадцать-тридцать грузинских и абхазских слов, которые он, ко всеобщему удовольствию, очень уместно употреблял. Пока мои друзья обсуждали, куда бы его вывезти, чтобы подвергнуть более длительным застольным испытаниям, он вдруг исчез. Как потом выяснилось, он очаровал капитана теплохода «Грузия», и тот его пригласил на рейс до Одессы.

На следующий год мы жили в одной большой комнате общежития, и я мог к нему поближе присмотреться. Конечно, он был отчаянный врун. Но самое фантастическое в его фантастических историях заключалось в том, что они иногда точно подтверждались.

Он был года на два старше нас, а выглядел еще более зрелым молодым человеком. По его словам, он эти два года проплавал юнгой по северным морям. Возможно, именно там он научился травить байки, если вообще не придумал себе этой романтической части своей биографии.

Однажды он сказал, что прекрасно владеет гипнозом и может загипнотизировать любого человека.

— Загипнотизируй меня, — сказал я мастеру гипноза.

— Ложись на койку, — кивнул он мне.

Дело происходило в общежитии. Я лег на свою койку. Ребята шумной толпой окружили нас. Он приказал всем притихнуть и начал колдовать надо мной, утробным голосом произнося успокаивающие слова. Я лежал с закрытыми глазами и изо всех сил подавлял волны смеха. Наконец я ровно задышал, делая вид, что уснул.

— Готов! — сказал он ребятам и приказал мне встать. Я встал, якобы безвольно подчиняясь ему.

— Ты потерял письмо от любимой, — сказал он плотоядным голосом, — она тебе этого никогда не простит. Пролезь под всеми койками и найди его, иначе ты погиб!

Под приглушенный смех ребят и сам давась от смеха я пролез под всеми койками, стараясь запомнить, кто что при этом говорит, чтобы потом, когда буду его разоблачать, приводить эти реплики как доказательство.

Следующее задание было куда трудней. По предложению одного из студентов он заставил меня хлебать немыслимую бурду, которую готовил себе один наш студент. Было подозрение, что он нарочно готовит себе такую мерзость, чтобы никто не посмел притронуться к егостряпне.

— Ты голоден, — воскликнул Борзов, — ты три дня ничего не ел. Перед тобой прекрасное кавказское харчо! Ешь! Только дуй, дуй на ложку! Харчо горячее!

Мне ничего не оставалось, как сесть за стол и, дуя на ложку, хлебать холодную баланду, причмокивая переваренной морковкой и похрустывая недоваренной картошкой. Даже

сейчас, вспоминая об этом, я вздрагиваю. Уже под общий хохот ребят, давась, я съел полкотелка, но тут он надо мной сжалился и велел снова лечь на койку. Я лег, прислушиваясь к действию баланды на мой желудок.

Он приказал двум студентам так расставить стулья, чтобы я, опираясь пятками на край одного стула и упираясь затылком в край другого стула, мог, не прогибаясь и не проваливаясь, возлегать между двумя стульями.

Этим же студентам он велел поднять меня и водрузить между стульями. Меня действительно водрузили, и я чувствовал невероятную боль в затылке и животе. Не от баланды, конечно, а от напряжения этой ужасной позы. Но я решил играть до конца и с минуту терпел это чудовищное напряжение. Я боялся одного: как бы он еще не уселся на мой живот, демонстрируя силу гипноза. Но, слава Богу, этого не произошло, и он, наконец мазанув меня рукой по лбу, приказал:

— Просыпайся, ты в кругу друзей!

Я с удовольствием провалился между стульями и вскочил под хохот и аплодисменты.

Растопырив руки и лучась своими яркими глазами, Борзов неподвижно стоял посреди комнаты, как на арене цирка.

— Твой гипноз липа, — воскликнул я, — я все делал нарочно!

— Вот как, — ответил Борзов, нисколько не смущаясь и еще ярче залучившись глазами, — тогда вытянись между стульями сам!

Я придвинул стулья приблизительно так, как они стояли. Зацепился пятками за край одного сиденья, придерживая се-

бя руками, уперся головой в край другого сиденья, отпустил руки и рухнул между стульями. Что за черт! Нестерпимая боль в затылке и пояснице не давала мне продержаться и несколько секунд. Я попробовал удержаться подольше и каждый раз проваливался между стульями.

Ребята хохотали.

— Если не было гипноза, — кричали некоторые, — пусть доест баланду Кузнецова!

Но ведь не было, не было никакого гипноза! Я ведь это точно знаю! Тогда почему же я не сумел повторить опыт? А черт его знает! Может, я исчерпал свои силы, стараясь подыграть Борзову.

Кстати, в связи с гипнозом. Забавный случай рассказал один наш студент. Они с Борзовым ехали в троллейбусе, держась за поручни. Вдруг Борзов чихнул, и так неловко, что брызнул на затылок мужчины, который, тоже держась за поручни, стоял впереди него.

И тот стал ругать Борзова и всю современную молодежь, которая не умеет себя вести в общественных местах. Обычно языкатый, Борзов на этот раз молчал. Мужчина ругается и ругается, а Борзов молчит и молчит.

И вдруг он наклонился к мужчине, что-то шепча ему на ухо. Мужчина мгновенно замолк, и лицо его приняло выражение доброжелательного любопытства. Только что полыхал — и вдруг выражение доброжелательного любопытства.

Студент этот, удивленный такой странной метаморфозой, наклонился и сбоку глянул на шепчущего Борзова. О, ужас!

Борзов не шептал мужчине, а, прикусив его ухо, замер над ним. Прошло, может быть, пять, может быть, десять томительных секунд. Борзов отпустил ухо мужчины и стал задумчиво глядеть в окно. А мужчина как замер с выражением доброжелательного любопытства, так и остался. До самой остановки, где Борзов и этот студент выскочили из троллейбуса, мужчина ни разу не взглянул на своего обидчика. Кажется, никто ничего не заметил.

— Ты что, офонарел?! — крикнул студент, очутившись на земле и корчась от смеха.

— Я понял, что он иначе не замолчит, — спокойно ответил Борзов.

— А если б он скандал поднял, если б люди возмутились?

— Никогда! — ответил Борзов, улыбаясь. — Борзов знает свое население.

Борзов говорил, что отец его — виднейший казанский адвокат. Вероятно, так оно и было. Возможно, от него он унаследовал ироническое красноречие. Бывая в ударе, он потешал нас лекциями на общественные темы, уснащенными цитатами, вырванными из газет с необычайной комической ловкостью. Мы покатывались от хохота. Он и над собой иронизировал, но, маленькая слабость, ужасно не любил, если кто-нибудь пытался направление этой иронии поддержать.

В общежитии он патронировал и подкармливал двух студентов — Штейнберга и Сучкова. Штейнберг перед экзаменами накачивал его лекциями по истории и литературе. А Сучков, начинающий поэт, от его имени писал стихи, посвящен-

ные одной студентке, за которой Борзов ухаживал. Борзов эти стихи переписывал своей рукой, громко зачитывал нам, а потом дарил своей красавице. Меня потрясло, как он не боится того, что история происхождения стихов дойдет до его девушки. И в самом деле, так и не дошла! Позже он на ней женился.

Экзамены он сдавал хорошо, иногда даже блестяще, хотя к учебникам почти не притрагивался. Информированность его была огромна. Что скрывать, в те годы я им восхищался. Мне казалось: стоит ему повернуть в себе какой-то рычаг — и его невероятная жизненная энергия, расплескивающаяся вширь, пойдет вглубь, и он тогда станет... Но кем? Я не знал.

Однако в зимнюю сессию случился неожиданный прокол.

Преподаватель западной литературы уличил его в незнании подлинников литературных памятников и велел ему пересдать экзамен.

Борзов несколько дней мрачно сидел на своей постели, заново прослушивая расширенный курс лекций Штейнберга, в голосе которого появились истерические интонации.

— Запомните, ребята, — говорил Борзов, — Борзов такие штучки не хавает. Ответный удар сокрушит эту цитадель мракобесия.

Вскоре он сдал экзамен по западной литературе, и мы обо всем этом забыли. Но в один прекрасный день как гром среди ясного неба грянула в молодежной газете его статья об идейно-воспитательной работе в нашем институте. Статья была острая и абсолютно демагогическая. Суть ее сводилась к тому, что в институте слишком много внимания уделяется западной литературе и слишком мало — общественным наукам.

Институт дрогнул. Комиссия за комиссией проверяли работу кафедр, а он в это время ходил по коридорам общежития, задрав свою симпатичную голову, с выражением идейного превосходства над всеми кафедрами. Почему-то хотелось восторженной ладонью мазануть его по крутому затылку и посмотреть, останется ли на его лице это очаровательное шарлатанское выражение идейного превосходства. Но некому было мазануть, некому!

Комиссия продолжала работать (гром грянул во время весенней сессии), а Борзов сдавал экзамены по шпаргалкам, которыми на наших глазах начинал себя в комнате общежития.

Ректор института читал нам историю, и по возможности тех времен читал живо, увлекательно. Мне, во всяком случае, нравились его лекции. И я чувствовал жалость к нему, попавшему в такую передрягу. И все-таки я, как и большинство студентов, был на стороне Борзова. Он нас всех охмурил. Конечно, и студенческая корпоративность сказывалась: пусть подрожат наши преподаватели. Но было и еще что-то.

Тогда шла кампания по борьбе с тлетворным Западом, которая нам, студентам, не без основания казалась глупой. Именно в те времена появился анекдот: Россия — родина слонов.

Никакого серьезного влияния Запада, разумеется, не было. Любители красивых тряпок действительно гонялись за чужеземными вещами, — так ведь и сейчас гоняются! А поскольку Борзов сам был первым пижоном института, статья его приобрела для нас характер пародийного возмездия за

глупую кампанию, затеянную взрослыми людьми. Может быть, мы этого не осознавали, но чувствовали.

Через год мы оба перевелись в другие учебные заведения, и я надолго потерял его из виду. Он перешел в Московский университет на биологический факультет. И вдруг через много лет я узнаю от одного писателя, пропагандиста генетики, что молодой талантливый ученый Борис Борзов с безумной смелостью выступил в своем институте против лысенковцев, но силы были слишком неравны. У молодого ученого большие неприятности. Этот пропагандист генетики предложил мне написать коллективное письмо протеста в Академию наук, если Борзова выгонят из института. О, если б я не знал Борзова! Впрочем, судя по всему, такого письма тогда не понадобилось. Борзов сам удержался в своем институте.

И вот мы с ним в одной машине, и он мне рассказывает о грандиозном преимуществе бескорлупных яиц перед обыкновенными. Забавно было, что он, рассказывая, успевал бросить взгляд на каждый магазин, мимо которого мы проезжали, иногда проборматывая что-то по этому поводу.

В одном месте мы увидели длинный хвост очереди, выходящей из магазина.

— Что дают? — крикнул Борзов, остановив машину и выглядывая в окно.

— Кроличьи шапки, — хмуро ответил кто-то из очереди.

— Кроличьи, — пробормотал Борзов и, секунду подумав, поехал дальше.



В другой раз в переулке его взгляд привлекла тигриная рябь арбузов в железной клетке. Он опять остановил машину.

— Куплю арбуз и позволю любовнице, — бросил он мне, легко переходя от бескорлупных яиц к крепкокорым астраханским арбузам.

Он вышел из машины, стройный, моложавый, в велико-лепной синей рубашке и в черных вельветовых брюках. Он шел к телефонной будке мелкими шажками, как бы придерживая избыток ликования, как бы исполняя брачный танец внебрачной связи.

Набрав номер, он повернулся в сторону улицы и говорил, весело подмигивая неизвестно кому. Стекло телефонной будки было разбито, и некоторые слова доносились до меня. Несколь-ко раз повторялась одна и та же загадочная фраза:

— Я тебе звоню из дому!

Что он хотел этим сказать? Однажды мы с ним встретились в кафе «Националь» и вдвоем провели чудный вечер. Он был мягок, предупредителен, гостеприимен. Как бы это представить образно? Картина тридцатых годов — «Вождь укрывает шинелью известного летчика, доверчиво уснувшего на его диване. Привет из Сочи!». Нет, надо поскромней. Примерно так: патриарх идейных боев сам нарезает огурцы и подкладывает лучшие куски мяса товарищу юности. Кстати, я у него спросил тогда, владеет он все-таки гипнозом или нет.

— Нет, конечно, — сказал Борзов, склонив голову с обезоруживающей улыбкой, — просто верил, что ты мне подыграешь, и ты вполне оправдал мои надежды.

— Но почему же я не мог потом вытянуться между стульями? — спросил я.

— Очень просто, — ответил Борзов, оживляясь от необходимости поделиться долей разума. — Когда я тебя уложил между стульями, ты боялся подвести Борзова и терпел. А когда сам лег, ты не чувствовал ответственности перед Борзовым и рухнул.

Мы оба одновременно расхохотались. Отрицая, что он владеет научным гипнозом, он как бы утверждал, что владеет более глубоким, личностным гипнозом.

Мы прекрасно провели вечер и, прощаясь, договорились через неделю встретиться у памятника Пушкину и где-нибудь посидеть.

— Если не приду, — тихо сказал он, — значит, Борзов умер. Приезжай меня хоронить.

В назначенное время я минут сорок проторчал у памятника, дожидаясь его. Погода была промозглая. Я ооченел и зашел в ближайшее кафе подкрепиться. Я, конечно, не думал, что Борзов умер, но и никак не предполагал, что встречу его именно в этом кафе. Увидев его, я почувствовал странное смущение, как если бы он меня изобличил в неаяке на его похороны.

Он сидел в большой компании и напористо витийствовал. Заметив меня, он издали кивнул мне сухим отсекающим кивком, показывая, что обстоятельства круто изменились, что само появление мое тут — достаточная бестактность и было бы убийственной пошлостью доводить ее до выяснения причин случившегося.

Скорее всего, он просто забыл о нашем свидании, но я понял, как опасно предаваться сентиментальным воспоминаниям. За все приходится платить.

...Борзов покинул телефонную будку и, резко изменив походку, на глазах у очереди бесстрашно шагнул в тигриную клетку, выбрал огромный арбуз, взвесил, расплатился с укротительницей-продавщицей и быстро-быстро, словно боясь, что арбуз истечет, дотащил его до машины.

Только тут очередь, обращенная им в зрителей, очнулась и раздались одиночные протесты. Но было уже поздно. Борзов поставил арбуз на пол перед задним сиденьем. Сел на свое место и стал тщательно протирать руки платком.

— Долго же вы будете его есть, — сказал я.

— С любовницей? — удивленно спросил он. — Арбуз — домой! Семья — опора общества! Запомни: настоящий джентльмен женится только один раз!

Он бросил мне как бы уже промытую арбузом улыбку. Странно, при всех его мужских качествах, когда он вот так улыбался, облик его порой двоился, и казалось, что рядом с тобой женщина. Магия обольщения.

Машина тронулась, и снова полилась лекция о бесскорлупных яйцах.

— Сама по себе скорлупа прекрасна. Она замечательное приспособление классов рептилий и птиц к размножению на суше. Она крепость, она защищает яйцо от вредного воздействия внешней среды. Но так ли она необходима для яйца как пищевого продукта?.. Куда, дура, лезешь, под колеса! Жить на-

доело? Совсем нет! В яйце все съедобно, кроме скорлупы, или ты употребляешь его вместе со скорлупой? Скорлупу можно рассматривать лишь как тару для ее содержимого. Скорлупа у кур составляет всего десять процентов общей массы, а на ее образование затрачивается четыре пятых времени пребывания яйца в яйцеводе. Мы должны победить этот физиологический бюрократизм, и мы его уже побеждаем! А сколько минеральных веществ и энергии расходуется несушкой! Только на этих минеральных веществах мы могли бы поднять наше сельское хозяйство. Но это впереди! Сейчас везде пишут: ускорение, перестройка! А я еще до нашего времени работал в духе времени! И я решил: что, если заставить кур нести бесскорлупные яйца, как это бывало у дальних предков птиц, у чешуйчатых рептилий? Мы же с тобой знаем, или я один должен нести бремя знаний, что эволюция часто приводит к регрессу целых систем организма. Например, киты! Они — довожу до твоего сведения — потомки сухопутных млекопитающих, но давно вернулись в море, поэтому у них исчезли задние конечности. Почему бы не повернуть эволюцию несушек, изъяв процесс образования скорлупы? Долой кальций! Вот лозунг, который можешь повесить над своим письменным столом. В ближайшее время он будет самым актуальным. Через два-три года наши трудолюбивые несушки будут давать в сезон около тысячи яиц!

...Я вспомнил, как однажды летом мы с ним встретились на Ленинградском вокзале. В белом заграничном плаще, в дымчатых заграничных очках, с редким тогда кейсом в руке он выглядел как знатный иностранец.

— Еду читать лекции о генетике, — победно сообщил он, ухитряясь сверкать глазами даже через дымчатые стекла, — во всей стране один я пробил эти лекции! Надо взбодрить ленинградскую интеллигенцию, а то она там закисает!

Я пожаловался ему, что озабочен трудностями с билетом на «Стрелу».

— Иди за мной, — сказал он. — Борзову билет приносят.

Он двинулся в сторону кабинета начальника вокзала, как бы рассекая невидимое сопротивление косной среды. Я поплелся за ним, впрочем, у самых дверей кабинета приотстал. Не замечая этого, он рванул дверь и исчез. Через двадцать минут мы вышли на перрон и сели в мягкий вагон.

Борзов скинул плащ, аккуратно повесил его, снял очки и опустил на диван. Я сел напротив, чувствуя, что статичность наших поз его явно не устраивает.

— Ну что, так и будем сидеть? — спросил он, строго взглянув на меня.

В это время вошла проводница за нашими билетами. Борзов вынул из кармана платок, мазанул им по столику и, показывая проводнице, что платок потемнел, приказал:

— Девушка, я Борзов. Я сейчас иду за шампанским. Чтобы к моему приходу каюта была в полном порядке. Стаканы промыть питьевой содой!

Он был в белоснежном костюме и, вероятно, вошел в роль адмирала. Молодая проводница замерла. Он молча проследовал мимо нее и, оглянувшись, подмигнул мне.

— Какой интересный дядечка и какой строгий, — восторженно протянула проводница. — Кто он?

— Великий человек, — сказал я.

В купе был наведен влажный, сверкающий порядок. Вскоре появился Борзов с молодым негром, прихваченным где-то по дороге. Оба были утыканы бутылками с шампанским.

— Познакомься, аспирант университета Лумумбы, — сказал Борзов, мягко приземляя бутылки на стол.

Такого большого салюта по поводу предстоящего воодушевления ленинградской интеллигенции я не ожидал.

Африканец уселся на край дивана, явно комплексуя и не вполне понимая, что от него хочет этот хоть и советский, но белый господин. Борзов открыл бутылку, и мы выпили по стакану за его предстоящие лекции в Ленинграде. Африканец вместе с нами выпил свой стакан, но вел себя очень сдержанно, стараясь все время контролировать обстановку. Борзов вынул из кейса целлофановый пакет с бутербродами, намазанными черной икрой, и щедро разложил их на тарелке.

Разливая по второму стакану, он вдруг спросил у африканца:

— Буламуто жив?

Африканец встрепенулся, словно услышал родной клич родных саванн.

— Зив! Зив! — воскликнул он. — Буламуто подполья! Ви знайт Буламуто?

— Кто же не знает Буламуто, — спокойно ответил Борзов, давая осесть пене и доливая в стакан. — Выпьем за Буламуто.

Когда Буламуто придет к власти, — добавил он, ставя на столик пустой стакан, — надо его предупредить, чтобы он не доверял вождям племени така-мака... Они испорчены американскими подачками...

— Буламуто знай! — восторженно перебил его африканец. — Така-мака коварна!

Установив, что молодой африканец занимается медициной, Борзов стал рассказывать о своей великой борьбе с лысенковцами в собственном институте. Шампанское лилось и лилось, рассказ длился и длился, времена перепутались, и в конце концов молодому африканцу могло показаться, что Борзов последний вавилонец, чудом уцелевший после знаменитой сессии ВАСХНИЛ.

Полностью обаяв африканца, Борзов пошел за проводницей и привел ее в наше купе. Она сначала очень стеснялась, но потом, выпив стакан шампанского, освоилась и не сводила с Борзова обожающих глаз.

Видимо, под влиянием этих взглядов тема непримиримого борца перешла в адажио одиночества борца, отсутствие понимания в родном доме, невозможность расслабиться, смягчить судьбу женской лаской. Он продолжал говорить, медленно, но неотвратимо склоняясь к проводнице, которая замирала и замирала в позе загипнотизированной курицы, хотя Борзов в те времена, может быть, еще и не занимался несущками.

Я не знал, чем кончится эта сцена, исполненная, как я думал, тайного комизма, как вдруг африканец захохотал. При этом он достал откуда-то непомерно длинную руку, легко пе-

ресек этой рукой пространство купе и, хлопнув Борзова по плечу, воскликнул:

— Ви шут!

Я так и ахнул. Борзов посмотрел на африканца бешено стекленеющими глазами. Я почувствовал, что африканец хотел сказать явно не то, и, опережая гнев Борзова, пояснил:

— Он хотел сказать — шутник!

— Шутник! Шутник! — простодушно заулыбался африканец, явно не понимая разницы между обоими словами.

— Пораспустились, пользуясь тем, что Буламуто в подполье, — пробормотал Борзов, всматриваясь в африканца и стараясь обнаружить на его лице следы тайной иронии. Но не было тайной иронии, не было! Или была?

Мир был восстановлен, но адажио кончилось, и Борзов больше не склонялся к проводнице. Через некоторое время он встал, открыл дверь и выглянул в коридор, ища, как мне показалось, новой добычи. Но была уже поздняя ночь, и коридор явно пустовал.

Вдруг Борзов обернулся. Лицо его выражало трезвый, надменный холод.

— Уберите бутылки, — сказал он проводнице голосом адмирала, уставшего общаться с местными племенами.

Проводница начала поспешно убирать со стола, и африканец стал ей помогать, однако сильно загрустив лицом.

— Бывает, бывает, — прощаясь, кивнул я африканцу в сторону Борзова, как бы намекая, что причины внезапного омрачения великого человека никак не связаны с какими-либо особен-



ностями компании, в которой на него снизошло это омрачение. Но африканец не внял мне и вместе с бутылками унес выражение стойкой обиды на лице. Они ушли. Я закрыл дверь купе.

— Далековато им до европейских стандартов, — кивнул Борзов в сторону ушедших, как бы сожалея о своих цивилизаторских усилиях. И было непонятно, имеет он в виду представителей обоих народов или одного.

— А Буламудо? — спросил я.

— Что Буламудо, — вздохнул Борзов и неожиданно добавил: — Буламудо одинок, как я.

Но недолго он пребывал в минорном настроении. Мы начали раздеваться, и вдруг он, кстати очень заботливо укладывая брюки, ожил, мотор цивилизации заработал вновь, и он стал излагать некоторые подробности битвы с лысенковцами, якобы до этого из высших соображений утаенные от ушей иностранца. Мне захотелось уйти в глубокое подполье, как Буламудо, но уйти я мог только под одеяло. Я слушал его, бесплодно соображая: смог бы я его оглушить бутылкой из-под шампанского, если бы не пил на его счет и если бы бутылки не были убраны? И вдруг на полужизне о самой вероломной проделке его научных оппонентов Борзов уснул, и я провалился в тартарары.

— Вставай, ленивец, проспичь Ленинград! — услышал я над собой его голос.

Он тряс меня, как в детстве брат. Я открыл свинцовые веки. Надо мной стоял Борзов — милый, свежий, элегантный, уже выбритый и явно готовый взбодрить приунывшую ленинградскую интеллигенцию.

— ...Хорошо, — сказал я, прерывая его лекцию, — допустим, ваши опыты увенчаются блестящим успехом. В таком случае нам, гражданам страны, по-видимому, раздадут по курице, которую мы по утрам будем выдавливать над сковородкой? Как еще обращаться с бескорлупными яйцами?

— Как? Как? — поощрительно улыбнулся он, бросив на меня быстрый взгляд. — Выдавливать курицу над сковородкой? Неплохо. Доложу шефу. Были, были у наших оппонентов сомнения такого рода, но мы их с негодованием отвергли. Главное — создать кур, несущих бескорлупные яйца, а затем разработать технологию сохранения яиц... Куда мчится этот остолоп? Выскочил из своего ряда... Представь себе птицефабрику, где несутся куры бескорлупными яйцами. Содержание клеточное. Пол клеток мягкий, однако с уклоном к яйцесборочному транспортеру. Снесенное яйцо выкатывается к нему, но не на жесткую ленту, как тебе, дилетанту, кажется, а в воду, в воду! Помнишь, как мы бултыхались в Черном море, когда я приехал туда в первый раз? Золотые годы! Вася Сванидзе — великолепный парень! Стал он начальником порта? Не знаешь? А кстати, наш Сучок вышел в поэты? Тоже не знаешь. Чего у тебя ни спросишь, ты ничего не знаешь! Как ты только пишешь? Так вот, водная среда, в которую попадает яйцо, будет озонирована, будет содержать раствор антибиотиков, обеззараживающих его поверхность. Способность бескорлупных яиц впитывать водные растворы позволит обогащать их витаминами и другими веществами, улучшающими вкусовые качества яиц. С потоком воды —

плывите, яйца! — они будут попадать в цех упаковки, где их будут переключивать в синтетическую тару.

— Твои бесскорлупные яйца, — сказал я, — не вызывают у меня аппетита. Но как вы внушите курице забыть о скорлупе?

— Мы разрабатываем гормональное воздействие на нервную систему птицы, — ответил он, поглядывая то на меня, то на дорогу, — создаем сильную перистальтику в отделе яйцевода, где образуется скорлупа, и яйцо пролетит через отдел быстрее, чем она может образоваться. В моей группе есть подопытная несушка, которая уже каждое третье яйцо сносит без скорлупы. А в группе моего шефа лучшая несушка сносит примерно каждое пятое яйцо без скорлупы. Предстоит драчка с шефом.

— Почему? — спросил я.

— Он пошел по американскому пути, — сказал Борзов, — он пользуется сульфамидными препаратами. А я нашел более безвредные гормональные вещества, которые скармливаю курам... Драчка определит, кому быть заведующим лабораторией...

— Неужели и американцы этим занимаются? — спросил я, как бы теряя последнюю надежду.

— С моей подачи! — захохотал Борзов, и глаза его вспыхнули шельмовским блеском такой силы, который явно мог досверкнуть и до Америки. — Амстердамская конференция! Я соблазнил янки! Они теперь завалили меня письмами и приглашениями. Скоро еду в Штаты!

Мне вдруг стало ужасно жаль несушек. Какие-то питательные сопли вместо великолепного крутобокого яйца. Я подумал, что сульфамидные препараты и на меня плохо

действуют, я пару раз глотал их по ошибке. Но я взял себя в руки и припомнил давний источник своего горестного оптимизма: козлотуры провалились? Провалились!

— Мне жаль кур, — сказал я Борзову, — но у меня есть твердая уверенность, что в конечном итоге у вас ничего не получится.

Как раз в это время мы подъехали к зданию клуба, где я должен был выступить, из чего, конечно, не следует, что мое дерзкое заявление было вызвано этим обстоятельством. Я думал, он обидится или будет спорить. Нет, он блаженно бросил руль и улыбнулся одной из своих самых жизнелюбивых улыбок.

— Не важен результат, важен процесс, — сказал он и подмигнул мне своим бесовским глазом. — Если будет интересный вечер в ЦДЛ, позвони!

— Хорошо, — сказал я, и мы распрощались.

Если иначе не получается, пусть хоть так, пусть хоть Борзов будет счастлив, утешал я себя мысленно, входя в клуб.

...Директриса провела меня за сцену. Оказывается, вечер уже начался. Но сейчас выступал популярный певец. Скрежещущий грохот рок-музыки вонзился в меня, как тысячи ржавых стрел. Бесскорлупные яйца каким-то образом соединились с этой музыкальной скорлупой, лишенной мелодической мякоти, и мне стало совсем муторно.

За внутренним занавесом было видно полсцены. Певец иногда выбегал на открытую сторону, брякался на колени с микрофоном в руке, ложился на спину, быстро-быстро сучил ногами и пел. Музыка грохотала, зал выражал буйный вос-

торг. Господи, подумал я, дай пережить это, и я больше никогда не буду обходить людей, ждущих машину впереди меня.

Десяток поэтов сидели за сценой перед низеньким столиком, уставленным чашечками кофе и бутылками с минеральной водой. Они оглядывали меня с некоторой тусклой неприязнью. Хотелось думать, что имелась в виду не моя сущность, а угрожающее количество выступающих. Я подсел к ним. Председатель вечера, тоже поэт, мельком, но нехорошо взглянул на мою папку и произнес:

— Ребята, много иностранных студентов. Поаккуратней выбирайте стихи.

И вдруг уставился на мою папку скорбным взглядом, словно стараясь проникнуть в ее содержимое и воздействовать на него в смягчающем смысле. Ужасно неприятный взгляд: смотрит и смотрит.

Наконец под влиянием этого взгляда я почти интуитивно приоткрыл папку, как бы показывая, что кобра оттуда не может выпрыгнуть на иностранных студентов по причине отсутствия таковой. И он, наклонившись (хамский наклон), действительно в нее заглянул, словно по внешнему виду рукописи можно было определить степень ее ядовитости. И мы с ним на несколько секунд застыли в немом диалоге. «Кобра?» — «Уж». — «Кобра?» — «Уж! Уж!» — «Уж?!» — «Да, да!» — «Ну, не обязательно уж...»

И он в самом деле успокоился. Мы как бы договорились: раз я приоткрыл папку, а он в нее заглянул, значит, все будет в порядке.

Все-таки это было нехорошо. А я еще с ним приятельствовал, прогуливался по аллеям Дома творчества, неизвестно для чего коллекционируя россыпи его афоризмов, правда необычайно самобытных в своей глупости.

Однажды я выходил из нашего клуба, а он окликнул меня. Он сидел в такси. Я не поленился подойти и поздороваться с ним. Я был весело настроен и подумал, успеет ли он за те две-три секунды, пока мы здороваемся, выдать какой-нибудь перл.

Я подошел к такси. Он, сидя на переднем сиденье, протянул мне руку в окно, но только я хотел ее пожать, как он с ужасом отдернул ее.

— Через порог не здороваются, — сказал он и, выйдя из такси, поздоровался со мной.

Я бы никогда не обнаружил эту сцену, если б не его заглядывание в папку. Будет знать, как заглядывать в чужие папки.

Мы с поэтами договорились читать не более трех стихотворений, независимо от аплодисментов. Оговорили также, чтобы под видом крупного стихотворения никто бы не вздумал выступить с поэмой. Только миниатюристу позволили не ограничиваться тремя стихотворениями, не указав, сколько именно ему можно читать. И заплатились за свою либеральную неряшливость. Он этим воспользовался и прочел штук сто своих миниатюр, черт бы его забрал! Все надо заранее оговаривать.

Певец все еще пел. Наконец он сделал сальто, приземлился на приоткрытой половине сцены, швырнул кому-то микрофон и удалился, догоняемый морем рукоплесканий.

Мы вышли на сцену. Молодежь нас хорошо принимала. Даже миниатюриста. Прочитав очередную миниатюру, он блудливо на нас оглядывался, напоминая взглядами, что он не нарушил слова, что количество миниатюр не было оговорено.

Нашего ведущего тоже неплохо встречали. Если я скажу, что, в отличие от певца, который бедность голоса великолепно восполнял богатством телодвижений, он, ведущий, отсутствие мысли отлично восполнял мощью голоса, читатель решит, что я продолжаю мстить. Поэтому промолчу.

Отчитавшись и насладившись рукоплесканиями, он оглядел аудиторию и вдруг произнес:

— Я вижу, в зале присутствует наш замечательный испанский поэт Мануэль Родригес! Попросим его почитать стихи!

Буря, буря аплодисментов! Знакомая сухощавая фигура со смущенной улыбкой на лице уже выбиралась из рядов. Я вспомнил, что несколько раз в жизни выступал с ним на вечерах и именно так, как бы случайно обнаружив в зале, его приглашали на сцену. Сильный прием.

После вечера так получилось, что мы с испанским поэтом вдвоем шли к метро. Он весело жаловался на одного нашего редактора, предложившего ему напечататься в своем альманахе:

— Он думает, что говорит со мной по-испански. А я ему говорю: «Это не испано! Это итальяно! Говоли со мной по-люски! Не хочу я в твоём альманахе печататься! Там слишком много стихов о смелти! Смелть! Смелть! Не хочу я там печататься!»

В метро мы с ним распрощались. Я поехал домой, дивясь мощи нашей литературной пропаганды, заставившей славного Мануэля Родригеса с добровольным негодованием отказаться от столь традиционной для испанской поэзии темы.

## палермо — нью-йорк

Тоскливые газетные статьи, тоскливые рассказы в свежих журналах, а настроение и без них неважное. Хочется работать, но с таким настроением можно только прибавить ко всеобщей тоске еще одну, свою. Но для чего? Этого и так много, это не нужно ни мне, ни другим.

Я встал из-за машинки, походил по комнате, зачем-то зашел в кухню. Никого. Горит маленький огонек газовой конфорки. Целый день горит, потому что нет спичек. Вернее, экономия последних спичек. Посреди Москвы экономим каждую спичину, как заблудившиеся в тайге.

Я смотрю на огонек конфорки и вдруг вспоминаю нечто похожее, но, в сущности, совсем другое. Я вспоминаю, как в родном Чегеме каждую ночь гасили огонь в очаге, но пурпурные, пульсирующие жизнью угольки загребали в золу. Огонь спал до утра.

А утром эти угольки снова выгребали из золы и, подкладывая хворост, раздували огонь очага. В детстве мне всегда казалось необъяснимым, радостным чудом — как это может быть, чтобы все эти дотлевающие угольки могли сохранить



свой жар до утра? Греют они друг друга и потому не упускают жар, думал я, или главное — это зола, которая спасает их от холода, как одеяло?

Я и сейчас не знаю, по какому закону природы держались эти угольки до утра, но я точно знаю, что они держались. И еще я точно знаю, хотя никогда не проверял на опыте, что, если бы угольки утром не разгребли и не раздули, они до следующего утра не дотянули бы.

Почему-то ясность этого знания прояснила и мое настроение. Значит, держаться можно долгую, но нормальную ночь, не переходящую в полярную. Как держатся люди в полярную ночь, расскажут вам полярники. А я вам расскажу об одной поездке времен начала перестройки. Чувствую, что не только в голове, но и в груди яснее. Вот что значит вспомнить Чегем!

Итак, знаешь ли край, где цветут апельсины? На этот далекий, из школьного учебника, вопрос Гете я наконец могу положительно ответить.

Меня пригласили на всемирный конгресс, посвященный нашей перестройке, в город Палермо, Сицилия. Почти одновременно пригласили в Америку (не было ни гроша — да вдруг алтын), куда я должен был ехать с делегацией наших писателей.

А до этого случилось вот что. В один прекрасный день я решил написать письмо Горбачеву. Тогда я и вообразить не мог того, что случилось потом. Думаю, и он, начиная перестройку, не знал, как далеко она пойдет. Но и тогда сквозь удручающе-банальный партийный словарь его я почувствовал, что он искренне стремится к смягчению нравов в нашем государстве.

Сама усыпляющая банальность его привычных словосочетаний, думалось мне, призвана усыпить бдительность вождей. Так мне казалось, и, возможно, так оно и было на самом деле.

Я решил подсказать ему способ ослабить пригляд цензуры, но сделать это как бы в рамках системы. Зная, что критическому духу реформ будут повсюду оказывать сопротивление, я предложил подчинить районную газету обкому партии, освободив ее от власти райкома. Областную газету подчинить республиканскому ЦК, а республиканскую газету подчинить Центральному комитету КПСС. На этом я остановился, ибо логически получалось, что центральную газету «Правда» надо было бы подчинить Господу Богу.

Еще я хотел написать ему, чтобы он обзавелся гвардией личного подчинения. Я предчувствовал вспышки насилия озверевших от свободы дураков. Но покряхтел, покряхтел над машинкой и не решился. Я смутно понимал, кто именно воспользуется этой яростью дураков. И поэтому не решился. Это было бы слишком нахально и даже опасно. Я не знал, в чьи руки попадет письмо. Таким образом, с предложением скромно перехитрить партию я скромно обратился к ее генеральному секретарю.

Опустив свое короткое послание в почтовый ящик, я почти забыл о нем. Примерно через месяц, когда я был за городом, мне позвонила теща и рыдая сказала, что звонили из ЦК, там какое-то мое письмо обсуждали. Надо срочно приехать в город и позвонить туда по телефону, который они дали. Я приехал домой. Теща, причитая о том, что мой малолетний сын теперь останется сиротой, дала мне телефон.

Я позвонил. Человек, взявший трубку, сказал мне, что письмо дошло до адресата. Он заверил меня в том, что на предстоящем съезде будет поставлен вопрос о переподчинении районных газет. Я пытался не ограничивать разговор районными газетами, но человек на той стороне замкнулся на них.

Мне показалось, что он ограничил разговор районными газетами, опасаясь подслушивающего устройства. Возможно, опасаясь за меня. А если предположить многоходовую комбинацию политической карьеры, то, может быть, и за себя. Голос его был очень доброжелательный. Голос его как бы посматривал на причитающую тещу и успокаивал ее.

Через несколько дней я вдруг услышал, как дикторша телевидения, передавая прогноз погоды, назвала мое имя и процитировала шуточные строчки моего рассказа о том, как москвичи, затаив дыхание, слушают прогноз погоды, словно все они собираются на охоту или полевые работы.

Слышать это было странно и очень приятно. Если я иногда и чувствовал взгляд государства на себе, это всегда был сумрачный или подозрительный взгляд. И вдруг государство устами женщины улыбнулось мне.

Это был знак, хотя я и не сразу поверил в него. Мы все еще жили в знаковой системе. Вскоре редакции газет и журналов ворчливо, по-домашнему удивлялись, что я к ним перестал обращаться (я перестал!..), стали просить у меня дать им что-нибудь. Засим последовали приглашения на разные международные конференции. Скорее всего, такие приглашения бывали и раньше, но до меня они не доходили. Государство

поверило: не сбежит, не оклеветает. Я стал ездить. На этот раз я выразил начальству желание прямо ехать в Америку, но мне сказали, что вопрос уже решен: надо заехать в Палермо, а оттуда самостоятельно добираться до Америки.

Возможно, в планы начальства входило проверить меня на сицилийской мафии, а там, если уцелею, уже закаленного, отправить в Америку. Но как раз к нашему приезду часть мафии выловили и судили, возможно, именно ту, на которой меня хотели испытать, потому что ни одного мафиози я не встретил на улицах Палермо.

Зато посреди этого прекрасного города меня чуть не задушили выхлопные газы. В Палермо слишком много машин, а рельеф города, по-видимому, не выдерживает такой загазованности. Я еле унес ноги из центра, тем более что наша гостиница была расположена на берегу моря и климат вокруг нее был средиземноморский.

...И вот мы с генералом, членом нашей делегации, прогуливаемся по косоугру гостиничного двора, обрывом спускающемуся к морю. Весь косогор в апельсиновых деревьях, обильно усеянных светящимися плодами.

Несколько дней я остерегался рвать апельсины, потому что в саду похаживали карабинеры. В конце концов один из них, видимо утомившись от моих взглядов, направленных на деревья, кивнул головой: можно. Я сорвал первую пару апельсинов и вдруг догадался: карабинеры охраняют не апельсины, а нас, участников конгресса. Он проходил в здании рядом с гостиницей.

Когда ты приезжаешь из страны, где люди не так высоко ценятся, как апельсины, возможны такие ошибки. Гуляя с генералом, человеком во всех отношениях приятным, я допустил еще одну ошибку, которая, в свою очередь, оказалась не последней.

Дело в том, что в Москве я его видел в военной форме, а здесь он оказался в штатском костюме, который, правда, сидел на нем красиво и плотно, как военная форма. Мне подумалось, что такое переодевание довольно опасное занятие, а генерал, как ни в чем не бывало, гулял себе в штатском.

Некоторым образом чувствуя свою бестактность, но оправдывая себя тем, что я озабочен исключительно судьбой генерала, я не выдержал и спросил у него:

— А они знают, что вы генерал?

— Конечно, — рассмеялся генерал.

Я тут же успокоился. Главное, чтобы все было законно. Гуляя с генералом по косогору апельсинового сада, я обратил внимание на одинокую фигуру официанта нашего ресторана, который, стоя над обрывом, ловил рыбу на спиннинг. Рыба плохо клевала, вид у официанта-рыбака был столь одинокий и многозначительный, что я в конце концов мысленно взял его под мышки и вместе со спиннингом переместил в один из рассказов Хемингуэя. Так будет лучше, решил я, каждый должен стоять на своем месте.

Генерал стал рассказывать о ядерных ракетах, которые мы уничтожали в согласии с Америкой. Между делом он сообщил, что в каждой ракете по десять килограмм золота. Я понял, что дядя Сандро никогда мне не простит, если я хотя бы

не попытаюсь узнать, где именно взорваны эти ракеты. Шутка ли — в каждой по десять килограмм золота! Даже если после взрыва уцелеет пять килограмм — неслыханная добыча.

— Далеко от Москвы взрывают ракеты? — спросил я с оттенком экологической тревоги за судьбу москвичей.

— Далеко, — успокоил он меня, но не стал уточнять место.

Я прикинул в уме, где бы это происходило, и решил, что наиболее вероятное место Урал или Казахстан.

— Интересно, в горной местности взорвали ракеты? — спросил я, как бы озабоченный судьбой окружающих хребтов.

— Нет, — сказал он, пытаясь вернуться к своему рассказу. Но я не дал.

— Значит, степь. Самая большая и самая многострадальная степь в Советском Союзе? — заметил я, некоторым образом впадая в сентиментальность, якобы навеваемую большими незащищенными пространствами.

— Может, и степь, — сухо сказал он. — А зачем вам?

— Хочется знать, как это все происходило. Хочется представить конкретную местность.

— Так по телевизору показывали, — признался он.

— А я пропустил, — вздохнул я. — Значит, местность не засекречена?

— А зачем она вам? — вдруг насторожился генерал.

— Знаете, — сказал я, раздуваясь пафосом пацифиста, — приятно взглянуть в яму, куда сбросили войну.

— Обычно такие места охраняются, — сказал он, как бы одобряя мой пафос, но вынужденный его смягчить.

Я решил больше не настаивать на уточнении места взрыва ракет, а дяде Сандро вообще не рассказывать об этом.

Я вдруг подумал, что современные золотые прииски, быть может, только следы исчезнувших цивилизаций, которые тоже взрывали свои ракеты, а потом сгнули сами, а через многие тысячи лет новые цивилизации открывали золотоносные жилы, чтобы в конце концов использовать их в новейших ракетах, а потом взорвать их, слава Богу, еще не над головой людей.

Я рассказал генералу историю, которую слышал в Чернобыле от одного журналиста. Мы там были через полгода после катастрофы.

Будучи в армии простым солдатом, он вместе с одним капитаном перевозил в поезде атомные боеголовки. На какой-то станции вблизи города с миллионным населением (он не назвал город, видимо, из соображений военной тайны) их вагон спустили с горки.

В нужном месте железнодорожник должен был подставить тормозные башмаки под колеса бегущего вагона, чтобы тот сбавил ход. Однако железнодорожник оказался пьян и ничего не сделал.

На огромной скорости вагон с размаху врезался в состав. В одной из атомных боеголовок началась реакция. Через минуту или две город со всеми людьми взлетит в воздух и испарится. Капитан спрыгнул с вагона, чтобы перед всеобщей гибелью казнить железнодорожника, который недалеко от вагона валялся пьяный. Капитан его пристрелил.

А солдат не растерялся. Он стал жидким графитом гасить в боеголовке реакцию. Видимо, предусматривалось, что в каких-то случаях может начаться реакция. И ему действительно удалось погасить ее.

После этого он несколько месяцев пролежал в госпитале. Ему трижды делали переливание крови, и он выжил. По его словам, хотя он получил очень сильную дозу облучения, но она длилась недолго, и это его спасло. Оказывается, лучше схватить большую дозу радиации сразу, чем малые дозы в течение долгого времени. Так что, если вам предстоит выбирать, выбирайте большую дозу и бегите в больницу.

Когда он выздоровел, его пригласили к начальству. Поблагодарив за умелые и бесстрашные действия, ему сказали, что готовы были представить его к награде, но, увы, капитан убил железнодорожника и это несколько искажает героическую картину.

— С тех пор прошло более пятнадцати лет, — весело закончил свой рассказ бывший солдат, — я женат. У меня двое детей. Облучение не оставило никаких следов.

Генерал благожелательно выслушал меня, но сказал, что этого не могло быть, потому что в таких условиях не перевозят атомные боеголовки. Я почему-то сразу же поверил рассказу журналиста, а генерал не поверил, хотя уже и случился Чернобыль. Возможно, по своему высокому положению он должен был знать об этом случае, но ему не доложили. Возможно, он знал, но это все еще считалось военной тайной. Впрочем, пусть каждый судит в меру понимания предмета. Я точно рассказал то, что я слышал.



Тут во двор из ресторана стали выходить участники нашего конгресса. Они мирно прогуливались под апельсиновыми деревьями. И что удивительно, ни один из них не наклонил ветку и не сорвал апельсин. Может быть, они все еще ошибочно думали, что карабинеры охраняют апельсины, а не нас?

С тех пор как я узнал, что карабинеры охраняют не апельсины, а нас, я каждый день рвал несколько плодов и съедал их, терпя оскомину. Конгресс назначили явно дней на десять раньше, чем следовало бы.

Я в последний раз оглянулся на море, на косогор, усеянный участниками конгресса и апельсиновыми деревьями, как бы являя собой тихую символику мира, где люди и апельсиновые деревья вполне взаимозаменяемы. И если хорошие идеи первых навевали некоторую сонливость своей тавтологией, то плоды апельсинов хотя и набивали оскомину, зато взбадривали своей животворной кислотой. Другое дело, если бы конгресс был назначен дней на десять позже. И доклады были бы не такими скороспелками, и апельсины дозрели бы. Но так уж устроен мир. Когда конгресс назначается в стране, где не слишком ценят апельсины, организаторам и в голову не приходит, как было бы патриотично и символично приурочить конгресс к полному вызреванию этих могучих плодов.

Я пошел в гостиницу собирать чемодан. Мне предстояло лететь в Америку. Я слегка волновался, потому что впервые летел в Америку, да еще один, да еще без денег, да еще без знания языка. Правда, переводчик нашей группы заверил меня,

что он уже звонил в Москву и там подтвердили, что они уже связались с Нью-Йорком и меня обязательно встретят.

Я еще в Москве прихватил свой самоучитель английского языка, чтобы в долгой дороге через океан изучать английский язык. Не то чтобы я совсем не знал английский, немного знал.

Лет десять тому назад, когда у нас стало совсем плохо, я купил самоучитель и начал тайно изучать английский язык на случай, если вдруг будут выгонять из страны. Месяца через три за столиком писательского ресторана я услышал своими ушами случайный разговор, из которого явно следовало, что в Союзе писателей знают о моих занятиях английским. Нет, сказал я себе, не будем подталкивать руку, намечающую насильственный маршрут нашей будущей жизни, и перестал изучать английский язык. Не исключаю, что мою бдительность, в свою очередь, подталкивала моя лень.

А еще через два месяца я узнал от одного писателя-шустряка, вечно околачивавшегося в коридорах Союза писателей, что я перестал изучать английский язык и перешел на турецкий. Тут уж я ничего не мог поделать. Турецкий язык я не изучал. Я только вспомнил, что на одном большом банкете в честь прекрасного турецкого писателя-юмориста подблеснул турецкой фразой, которую я неоднократно слышал в детстве на абхазо-греческих полях:

— Ещекькиби чалишиор, ама пара ёк. (Работаю как ишак, а денег нет.)

Такова история моего изучения английского языка. Когда самолет поднялся, я вынул самоучитель, надел очки и не спе-

ша занялся английским. Часа полтора я усердно занимался, но тут меня подтолкнул сосед-итальянец и показал бутылку виски. Я решил принять угощение и одновременно поупражняться в английском языке с этим итальянцем, который, как я понял, не очень далеко ушел от меня.

Люди, хорошо знающие язык, в разговоре с человеком, плохо знающим язык, почему-то всегда бестактны. Нет чтобы упростить свой язык до уровня неподготовленного собеседника, они шпарят и шпарят, как хотят. Мало ли что собеседник аккуратно кивает головой, ты сам пойми, что он ни черта не понимает. Зато как деликатен человек, плохо знающий язык. Почти каждое слово подтверждается жестами, понятными без слов.

Итальянец, вернее, сицилиец дважды предложил мне выпить, и я, каждый раз мгновенно схватывая смысл его слов, выполнял его желание. Он объяснил мне, что уже пять лет живет в Нью-Йорке, работает таксистом, хорошо зарабатывает.

Сейчас он гостил в родной сицилийской деревне и возвращается домой. Он меланхолично заметил, что Италия эксплуатирует Сицилию. Но если это не кончится, добавил он, Сицилия отделится от Италии и присоединится к Соединенным Штатам Америки. Это прозвучало так: не хотелось бы, но придется наказать Италию. Я попытался было пошутить на тему: какими средствами они отбуксируют остров Сицилию к берегам Америки в случае присоединения, но потом понял, что сам не смогу отбуксировать эту тяжеловесную остроу на английский язык.

Кстати, я такие угрозы уже слышал в Сицилии. Я спросил у него:

— В чем заключается эксплуатация?

Он подумал, подумал и сказал:

— В Сицилии бензин дороже, чем в Италии.

В Палермо я одному итальянцу рассказал о жалобах и угрозах сицилийцев. Тот рассмеялся:

— Они наши иждивенцы, как и весь Юг. Никуда не уйдут.

Покончив с родной Сицилией, мой попутчик спросил у меня относительно перестройки. С большим трудом подбирая слова, я рассказал ему о том, что у нас делается. Он внимательно выслушал меня, а потом спросил:

— Вот если я русский крестьянин, могу я продать свою землю и переехать куда-нибудь?

— Пока нет, — сказал я, чувствуя, что моя лекция проваливается.

— Э-э-э, — протянул бывший крестьянин и махнул рукой. Да, как бывший крестьянин он хотел выяснить главное — свободен ли крестьянин. И выяснил.

Тут к нам подошла очаровательная девушка в модно подырявленных джинсах и, к моему изумлению, села таксисту на колени. Сицилиец поощрительно улыбнулся, заглядывая девушке в лицо, а потом во избежание кривотолков сказал:

— Дочь.

Все-таки для бывших сицилийцев это было слишком смело. Дочь попросила выпить, и отец налил ей виски, правда, чуть-чуть. Мы выпили втроем, а потом закурили. Я спросил

у нее, чем она занимается. Сверкнув глазами по-сицилийски, она затараторила на хорошем английском языке, который я очень плохо понимал. Я только понял, что она собирается поступать в университет, чтобы изучать политику, а в будущем хочет заниматься революцией.

— В Соединенных Штатах? — спросил я у нее, не слишком уверенный, что я ее правильно понял. Оказывается, правильно понял.

— Нет, — сказала она, — там нет пролетариата.

— В Италии? — спросил я.

— Нет, — сказала она, — в Италии тоже нет пролетариата.

— Может, на Кубе? — спросил я.

Она ослепительно улыбнулась и ласково притронулась к моему затылку.

— Юмор, — сказала она.

— Так где же вы будете делать революцию?

— В Южной Америке, — пояснила она, — но надо спешить. Я боюсь, что к моему окончанию университета там не останется пролетариата.

— Еще будет, — заверил я ее, как пожилой социолог с небольшим опытом.

Вскоре пустили кино, и девушка пошла и села на свое место. В картине действовали два непримиримых космонавта. Очень злой и беспощадный наш космонавт и очень добрый и храбрый американский космонавт. От их встреч молнии разбрызгивались по Вселенной. Рушились небольшие, уютные планеты.

Иногда, в горячке сражения, они залетали и на нашу планету. И если добрый космонавт на минуту выпускал из виду нашего злого космонавта, наш с демоническим хохотом успевал взорвать какой-нибудь цветущий поселок. Но полностью взорвать его он не успевал, потому что тут настигал его добрый американский космонавт и после короткой борьбы со страшной силой извергал его в космическое пространство.

Уцелевшие жители поселка, замирая от волнения следившие за этой схваткой, от всей души аплодировали космонавту-спасителю. Аплодисменты жителей поселка горячо поддерживались пассажирами самолета. Смотреть на их лица было забавно. Они внимательно следили за сюжетом. Радовались и печалились вместе со своим любимым героем. Ни одной иронической улыбки я не заметил. Все ловили кайф.

Многое дает демократия человеку, но она, к сожалению, не дает человеку ума. Демократия дает человеку возможность расти в любую сторону, но свободный человек в большинстве случаев предпочитает расти в сторону глупости, потому что так ему жить легче. (Мал умок — зрит, что у ног. Хил умком, да крепок задком. Вот вам принцип народных пословиц.)

Когда люди в массе своей едят лучше нас, живут в более благоустроенных квартирах, зарабатывают больше нас, то нам, по все еще живучей схеме прогресса, кажется, что они должны пользоваться и более высоким искусством. Разумеется, в их мире есть и прекрасное искусство, но огромное большинство пользуется таким.

У нас глупое искусство навязывалось идеологией, а здесь глупое искусство навязывается рынком как ходкий товар. Однако, надо сказать, всегда была существенна разница по отношению к человеческому уму. Свободный ум, свободно оценивающий окружающую жизнь, при буржуазной демократии может и не поощряться, но и не преследуется. В идеологическом государстве свободный ум — враг. Он всегда преследуется.

После кино пообедали. Мой сосед уснул, и не будем будить его до самого Нью-Йорка. Я снова взялся за самоучитель и часа два зубрил английские слова. Надоело. В самолете время явно растягивается. Время в поезде или в автомобиле — это не то, что время в самолете. По-видимому, нашей природе вредны высокие самолетные скорости, и она, растягивая ощущение времени, сама для себя создает иллюзию более долгого преодоления расстояния.

Кстати, я давно заметил: чем динамичней, чем целенаправленней наш образ жизни, тем относительнонее делается наша нравственная полноценность. Чем быстрее человек идет по дороге, тем неохотнее он останавливается, чтобы дать прикурить другому человеку. И уж совсем чаплинской сценой выглядело бы, если бы мы вдруг попросили прикурить у человека с сигаретой в зубах, мчащегося навстречу нам в открытой машине. Он был бы возмущен, он, может быть, даже притормозил бы, чтобы выразить свое возмущение.

Скорость движения к цели сама становится аргументом правильности цели. Представьте себе такую картину. Сидит веселая компания и выпивает. Я беру наши российские усло-

вия. У нас, как известно, выпивают не до определенного состояния, а пока есть что выпить. Но вот кончилась водка, а людям хочется пить. Когда это было возможно, хозяин в таких случаях должен был пойти и купить еще выпивки.

Представим, что у хозяина сомнения: стоит ли еще покупать, не будет ли новая выпивка перебором? Если он пешком идет к винному магазину, то эти сомнения его продолжают беспокоить. Если он боится при этом, что магазин вот-вот закроют, он ускоряет шаги, и сомнения его ослабевают. Но если же он сел в машину и поехал за водкой, сомнения его исчезают. Скорость движения к цели сама становится аргументом ее правильности.

Человек, конечно, может ускорить свою жизнь, но до определенного предела. Скорость, вероятно, нормальна, пока не смазываются лица людей, пока мы видим отдельного человека с его неповторимыми чертами, пока мы можем про него сказать: этот.

На слишком быстрых скоростях жизни человеку некогда быть человеком. Тогда зачем скорость? Не в этом ли тайна вырождения слишком целенаправленных натур или слишком целеустремленного общества? Природа мстит погонялам за нарушение естественных ритмов.

Истинная вина фанатика не в том, что он раздавил или отбросил человека, живя на большой скорости. Это, пожалуй, его беда, потому что он действительно уже не видел человека и не мог остановиться. Его истинная вина состоит в том, что он позволил себе эту скорость.

Если бы он был нравственно полноценным человеком, ему бы сразу разодралась скорость движения к цели, как только



он перестал бы различать человеческие лица. И он потерял бы вкус к цели: нет механизма ее человеческого достижения.

Преступность фанатика в том, что в нем была слишком снижена потребность в антропологической теплоте, потребность в прикосновении к живой душе, что позволило ему дать волю азарту цели. Природа любви ветвиста.

Все это в высшей степени относится и к искусству. С какой бы скоростью и куда бы ни катился мир, искусство не должно спешить, как хороший врач или священник. Поэтому мне противны всякие новаторские кривляния, как бы поспевающие за ритмами века. Они упускают главное.

А главное в искусстве, так я думаю, о чем бы ни говорило искусство, это подробности Нежелания Расставаться. И чем значительней то, о чем рассказывает искусство, тем точнее сокрыта в нем эта вечная страсть любящей души — Нежелание Расставаться. Сама значительность содержания — есть следствие, есть тайное красноречие Нежелания Расставаться. И мы, читая хорошую книгу, чувствуем это, как обаяние стиля, чувствуем, хотя и не всегда, и не сразу осознаем, что это Нежелание Расставаться имеет отношение и к нам. Да ведь мы не так уж плохи, наконец благодарно догадываемся мы, раз автор медлит с нами расставаться. И в самом деле, не так уж плохи.

...Нью-Йорк. Самолет стал. Пассажиры пооплодировали пилотам или собственному благополучному приземлению, но, как я заметил, несколько вяло. Когда мы из Москвы прилетели в Италию, раздался такой шквал рукоплесканий, ко-

того я никогда не слышал. Я тогда решил, что это свойство итальянского жизнелюбия.

Но вот те же итальянцы после гораздо более длительного перелета аплодируют кое-как. Значит, тогда они радовались прибытию на родину? А может, дело в том, что наш перелет был слишком длительным и у людей мало осталось сил для благодарности?

Условия успеха в жизни, увы, напоминают условия успеха эстрадного номера: он должен быть коротким и выразительным. Кто жаждет аплодисментов, ничего не должен затягивать. Он не должен затягивать даже героические усилия, даже благородное дело, даже время написания хорошей книги. Особенно последнее. Но если ты действительно не жаждешь аплодисментов, можешь затягивать и время героических усилий, и время благородного дела, и время написания ненаглядной книги.

Я попрощался со своим сицилийским американцем и его милой дочкой в надежде (да что в надежде!), в полной уверенности, что ее перехватит на пути к революции какой-нибудь пылкий поклонник, а там, глядишь, и южноамериканский пролетариат рассосется.

— Есть деньги более пяти тысяч долларов? — спросил у меня таможенник.

— Ни цента! — ответил я, стараясь обрадовать его полной невозможностью подорвать американский бизнес. Но он остался равнодушным.

В самом деле, у меня не было ни цента. Правда, у меня еще оставалось некоторое количество итальянских лир. В багаж-

ном отделении я поймал свой уползающий по конвейеру чемодан, даже, вернее сказать, прервал его неуклюжую попытку скрыться от меня. Мне показалось, что я понял его чувство, как чувство любого советского чемодана, оказавшегося в буржуазном мире. Вероятно, такое чувство испытывал бы дряхлый удав, которому вместо кролика пытались бы затолкать в пасть небольшого быка. И в конце концов затолкали бы.

Взяв чемодан, я влился в толпу, идущую к выходу, и оказался в странном помещении, где увидел много людей, увешанных плакатами. Я сначала решил, что это политическая демонстрация, но, прочитав несколько плакатов, понял, что на них имена тех, кого встречают. Я лихорадочно читал плакаты, ища свое имя, но так и не нашел. И в лицо меня явно никто не собирался узнавать, хотя, глядя на встречающих, я проявлял сильную и даже навязчивую попытку быть узнаваемым. Однако склонностью узнать никто не ответил. Вернее, один из встречающих на мгновение оживился, встретив мой провоцирующий взгляд, но потом опомнился и долго не мог мне простить свое краткое затмение. Что же делать?

От волнения я закурил и несколькими затяжками выкурил сигарету. Увидев нечто вроде цилиндрической урны, я хотел туда забросить окурок, но кто-то вдруг вцепился в мою руку. Лицо человека выражало ужас, как если бы эта урна могла взорваться.

— А куда же? — в отчаянье спросил я по-русски.

Он бросил выразительный взгляд на пол и растер ногой невидимый окурок. Тут только я заметил, что пол усеян окур-

ками. Я поблагодарил этого человека и воспользовался его советом, удивляясь простоте местных нравов.

Прошло около часа, но меня так никто и не встретил. За это время ко мне подошел какой-то сердобольный негр и спросил, нет ли у меня долларов. Я сказал, что долларов нет, но есть лиры. Негр кивнул и растворился в толпе.

Что делать? Я вынул записную книжку с адресом и телефоном, куда должен был сегодня явиться. Ищу очки и не нахожу. Вывернул все — нет очков. Явно сунул в кармашек самолетного сиденья, когда захлопнул самоучитель, да так и забыл там. Теперь и адреса не могу прочесть. А что толку — прочесть адрес, если нет монетки позвонить?

Перечисляю свои бедствия, чтобы оправдать то отчаянье, в которое я впал: полуглухонемой из-за незнания языка, полуслепой из-за потери очков и просто-напросто нищий из-за отсутствия долларов.

Что делать? Надо искать помощи у американцев, встречающих гостей. Я хищно окинул глазом встречающих, стараясь выбрать среди них человека поубрей. Я остановил взгляд на одном высоком юном американце с добродушным, как мне показалось, лицом. Я подошел к нему, протягивая бумажку с адресом с видом малограмотного провинциала.

— Очки разбил в самолете, — сказал я сокрушенно, — позвонить.

Почему я сказал, что очки разбил, а не забыл в самолете? Только сейчас догадываюсь, что это был подсознательный намек на сложность моего бедствия. Вероятно, намек на неболь-

шую катастрофу, в результате которой я разбил очки и, как в дальнейшем выяснится, рассыпал все свои монеты. Он взял у меня бумажку с телефоном и пошел к телефонному аппарату. Я потащился со своим чемоданом за ним. Он подошел к телефону и обернулся на меня, вернее, на мою руку, чтобы принять из нее монету. Внимание! Тут самое главное.

— Ай хев нот мани, — сказал я с оттенком классовой обиды и кивнул куда-то в пространство, то ли в сторону своей катастрофы, то ли в сторону Уолл-стрит.

Он помедлил секунду и улыбнулся:

— О'кей!

Вынул монету из кошелька, всунул ее в щелочку аппарата, набрал номер и вручил мне трубку, как победительный приз.

Голос женщины. Я рванулся навстречу доброму голосу. С обеих сторон судорожные объяснения в любви. Последовали сведенья о непрерывных звонках в Москву и в Палермо, упорнейшие, хотя и безуспешные, попытки выяснить, где я, в воздухе, на земле или в океане. С тем большей жизнестойкостью отвечал ей мой рвущийся к очному общению голос. Кроме голоса женщины из трубки выбулькивал звон бокалов и шум веселящейся компании.

— Ждите, за вами приедет девушка, говорящая по-русски!

Так сказал голос на чистейшем русском языке. Я положил трубку, и сразу же помещение озарилось светом надежды и веселья. Мой спаситель скромно удалялся. Я не успел его поблагодарить. Хотелось догнать его, повиснуть на его руке и проволочиться, как в детстве.

Тут ко мне подошел негр, с которым мы до этого смутно объяснялись. Оказывается, он нашел разменную кассу и теперь предлагал мне пойти туда. Хотя после телефонного разговора я мог обойтись без долларов, но состояние мое было столь возвышенным, что я почувствовал себя обязанным разменять лиры и вознаградить комиссионными за старания этого доброго человека.

Я бодро потащился со своим чемоданом за ним. Но вот толпа встречающих осталась позади, мы идем и идем каким-то сумеречным коридором, где ни одного живого человека, и намеренья этого негра мне начинают казаться зловещими. А он, между прочим, все убыстряет и убыстряет шаги, чтобы подальше завлечь меня. При этом он совершенно фальшиво несколько раз вскидывает руку, чтобы посмотреть на часы. Коварство и любовь!

Дорого, дорого решил я продать свою жизнь, а может быть, и честь российского писателя. Не отступать, решил я, а продумать метод активной защиты, и я его продумал. Значит, в случае чего, нож там или газовый пистолет, я неожиданно вскидываю чемодан, подхватываю его обеими руками и обрушиваю на голову негодяя. Чтобы прием оказался особенно неожиданным (он иногда оглядывался), я делаю вид, что еле еле волочу свой чемодан. Хотя чемодан мой и так не слишком тяжел, сейчас от волнения он мне кажется совсем легким.

Вдруг мой провожатый остановился и, кивнув на стену, уныло произнес:

— Опоздали.

Я сделал несколько шагов и заметил окошечко закрытой кассы. Тут я понял, что бедняга — всего лишь неудачник вро-

де меня. Мы пошли назад. Чемодан сразу отяжелел. Сквозь шум приближающейся толпы мне показалось, что я по радио услышал свою фамилию. Слуховые галлюцинации? Мания величия? Нет! Нет! Я не ошибся! Америка знает обо мне!

Забыв о своем спутнике, я ринулся туда, где шумела толпа. Не знаю, сколько времени прошло. Я все забыл. Вдруг из толпы вырывается девушка и кричит:

— Где вы были? Я уже по радио объявляла о вас!

Я что-то лепетал, а грустный негр, наконец догнавший меня, почему-то стоял рядом и чего-то ждал. Девушка вынула из сумочки пятидолларовую, как я позже узнал, бумажку и сунула ему. Она вывела меня из помещения, а негр почему-то не отставал, и в глазах у него застыло выражение тысячетлетней печали.

Мы уже сели в машину, а он все не отставал и теперь стоял рядом с машиной и ожидал чего-то. Но чего? Может, он считал, что я должен передать ему свои лиры, которые все равно теперь не понадобятся мне?

— Что ему надо? — спросил я у девушки.

— Это подпольный таксист, — сказала она, и мы поехали.

Ночной Нью-Йорк мелькал, как в кино. Девушка пыталась обратить мое внимание на выдающиеся здания, но я всегда к этому был равнодушен. Зато позже, увидев очаровательные пригороды и маленькие города Америки, я навсегда в них влюбился. Вот где уют, вот где здоровье нации!

— Вы прекрасно говорите по-русски, — благодарно сказал я девушке, чтобы смягчить свое равнодушие к небоскрегам.

Для американки она очень хорошо говорила по-русски. Легкий акцент только украшал ее язык.

— А я русская, — улыбнулась она.

Машина остановилась возле какого-то дома. Мы вышли из нее и вошли в подъезд. Поднялись на лифте. Звонок в дверь — и мы оказались в огромной комнате. В разных концах комнаты стояли маленькие низкие столики. За некоторыми из них сидели наши писатели, иногда знакомые не только по речам, но и по книгам. Громкие голоса и взрывы смеха говорили о том, что компания на хорошем взводе. Меня посадили за столик, где уже сидели двое мужчин и одна женщина.

Девушка куда-то исчезла, зато появилась стройная женщина, с лицом слегка стареющей гимназистки, и вручила мне большую тарелку, на которой дымились кругляки картошки и лежал огромный, как черепаха, кусок мяса: нешуточная награда за мои страдания. Неужели все это может съесть один человек, подумал я и, взяв в руки вилку и нож, приступил к честному эксперименту.

Вдруг один из мужчин, сидевший за моим столиком, которого я по его огромности принял за американца, протянул руку и, взяв дымящийся кругляк картофелины из моей тарелки, отправил его в свой пещерный рот. Я понял, что он наш. Это был знак братства.

Сочное мясо, запиваемое джином с тоником, легко елось, и я вдруг убедился, что вполне могу справиться со всей непомерной порцией. Разговор постепенно принимал общий, охватывающий все столики характер. Говорили о судьбе пере-



стройки. Американцы проявляли осторожное и не слишком осторожное недоверие и принимали наш достаточно критичный оптимизм за попытку перехитрить их новой пропагандой. Но никакой пропаганды не было, это была действительно наша последняя надежда.

*Мы:* Смотрите, сколько запретных книг опубликовано.

*Они:* Подумаешь, украденное у народа вернули народу.

*Мы:* Украли одни, а возвращают другие.

*Они:* Демократия — это многопартийность. Где она у вас?

*Мы:* Не все сразу. Будет и многопартийность.

*Они:* Ваша гласность не закреплена законом о печати и о частной собственности. Такую свободу можно прикрыть за одну ночь.

*Мы:* Такие законы готовятся.

*Они:* Не даст аппарат. Обманет.

Недоверчивость американцев хотя, конечно, имела основания, но была неприятна. Это было похоже, как если бы люди, живя в своих удобных квартирах, следили бы оттуда за окнами тюрьмы, где заключенные, пусть даже крышками от унитазов, пытаются разбить решетки на окнах. А те, что следят из окон комфортабельных квартир, машут руками: «Ничего не получится! Зря стараетесь!»

Иногда от обиды и от выпитого хотелось встать и, вежливо заплатив за угощение, уйти неизвестно куда. Но тут я вспоминал, что долларов у меня еще нет, а втягивать в этот конфликт нейтральные итальянские лиры было как-то неловко. Да и не было уверенности, что их хватит. Искусственно погасив благо-

родный порыв, я с яростным отчаяньем налегал на еду и питье: пропадать так с музыкой! Мясо было удивительно нежным, и вскоре то, что было огромной черепахой, превратилось в лягушонка, которого я, однако, не собирался щадить.

Американка, сидевшая рядом со мной, протянула бокал, мы чокнулись и выпили. После этого она у меня спросила:

— Как вы относитесь к движению феминисток?

Я посмотрел на своего огромного застольца. Я уже успел убедиться, что он одинаково хорошо говорит и по-русски, и по-английски. Он кивнул головой, мол, буду переводить.

— У нас совсем другая задача, — сказал я. — Будь моя воля, я бы всех работающих женщин отправил домой к детям. Но к сожалению, мы сегодня этого не можем сделать. Бедность.

По мере перевода лицо моей соседки леденело. Больше она со мной не чокалась и не смотрела в мою сторону. Оказывается, здесь с феминистками не принято говорить шуточным тоном. А я тогда этого еще не знал. Эта маленькая дамская идеология, как и всякая идеология, не терпит юмора.

Обиженная соседка недолго меня расстраивала. Джин с тоником продолжали подавать. Многие грехи западной цивилизации можно простить за изобретение этого чудесного напитка. Я сказал многие, а не все. Не ловите меня на слове.

Вдруг за разными столиками раздалось:

— Джаз! Джаз! Джаз!

Некоторые вскочили с мест. Все решили ехать слушать джаз. Мне подумалось: вот так в добрые старые времена

в России после ужина, возлияния и политических разговоров кто-нибудь говорил: «Поехали к цыганам!» — и все ехали.

Мы вместе с хозяевами гурьбой вышли из дому, разместились по машинам и поехали. В такие минуты всегда кажется, что именно этого не хватало для полноты счастья.

Мы приехали в какой-то клуб, расселись и вскоре услышали джаз. Он был громким. Он был очень громким. Он был неимоверно громким. И тем более удивительно, что, когда я в этом грохоте пару раз что-то сравнительно тихо (учитывая грохот) спрашивал у соседа, все на меня укоризненно оглядывались, как если б я на концерте Баха громко заговорил. Как они меня могли услышать — до сих пор для меня остается тайной.

Утром я проснулся в номере американской гостиницы и сразу же удивился ясности своей головы. Вот что значит чистый напиток! Я долго удивлялся ясности своей головы и только гораздо позже понял, что преувеличивал ясность своей головы по причине ее неполной ясности.

Я вскочил с постели и пошел умываться в ванную. Обливая лицо свое водой, я почувствовал, что мои босые ноги мокнут. Моя вера в американскую технику была столь велика, что я, продолжая умываться, принял ощущение мокнущих ног за похмельное явление, связанное с новым напитком, и несколько снизил свою оценку джина с тоником.

Однако, неторопливо умывшись и уже утираясь полотенцем, я вдруг заметил, что ванна залита водой и мои босые ноги в самом деле мокнут. Я пустил в умывальнике воду и, на-

гнувшись, заглянул под раковину: труба протекала. Совсем как у нас! О, родная Америка, проявляй маленькие слабости, так ты нам ближе!

Но недолго длилась моя радость. Я закрыл кран и вспомнил кошмарные сцены, связанные с собственной ванной. То засор, то вот так труба вдруг начинает протекать, то собственная небрежность.

Вспомнив об этом, я быстро оделся, взял с собой ключ и, не закрывая номера (полное неверие в технику), стал искать горничную. Вскоре нашел ее. Это была пожилая полная негритянка. Показав на то, что случилось в ванне, я ткнул пальцем в пол в сторону администратора, сидевшего на первом этаже:

— Позвоните. Ремонт!

— Позвоните вы! — ткнула она пальцем в меня.

— Нет, позвоните вы! — ткнул я пальцем в нее.

Так мы некоторое время тыкали друг в друга пальцем, и в конце концов она куда-то ушла. Я решил, что переспорил ее и она сама сейчас пошла за слесарем. Вскоре она вернулась, но вместо слесаря привела южноамериканскую горничную, которая еще издали заговорила со мной по-испански. Видимо, первая горничная решила, что я испанец и только поэтому не могу найти с ней общий язык. Тут уж я ничего не понимал и перевел разговор на несколько более присущий мне английский язык.

— Позвоните вниз! Ремонт! — сказал я по-английски.

— Позвоните вы! — гневно ответила она мне по-английски и что-то обидчиво добавила по-испански, видимо задетая в национальном чувстве за то, что я не хочу с ней говорить по-испански.

Так мы препирались некоторое время, когда раздался стук в дверь и в комнату вошел мой давний знакомый, известный одесский писатель. Когда-то мы с ним сотрудничали в «Неделе» и вместе поднимали ее тираж. Сейчас он живет в Нью-Йорке. Узнав, что делегация советских писателей приехала сюда, он решил повидаться со мной. Мы обнялись, и я ему поведал о своих маленьких ваннных горестях. Мгновенно оценив обстановку, он, совершенно на американский лад выпятив нижнюю губу, сказал им несколько резких и точных слов. Обе горничные мирно притихли.

— Сами справятся, — сказал он и повел меня вниз.

— Как это ты так хорошо наловчился говорить по-английски? — спросил я.

— Позанимался бы, как я, по четырнадцать часов в сутки, говорил бы не хуже, — просто ответил он.

О, могучее, вдохновенное упорство сынов Израиля! Когда же мы научимся этому? Или когда они нас научат? Мы же научили их пить.

Оказывается, он десять лет назад, обложенный со всех сторон в родной Одессе, рванул в Америку. Здесь он невероятно бедствовал, но упрямо продолжал заниматься литературой. И его наконец признали. На это ушло десять лет. Но и признали хорошо. Сейчас он заключил несколько договоров на несколько книг.

В ближайшей аптеке он заказал мне очки, а потом повез обедать в китайский ресторан, где мы обо всем поговорили, как дети одного Черного моря, и другого у нас явно не будет.

Уже после обеда, примеряя в аптеке новые очки, придававшие Америке четкую честность, я сказал:

— Как жаль, что мы уже пообедали в китайском ресторане. В этих очках я сумел бы рассмотреть все особенности затейливых китайских блюд.

— Не хочешь ли ты сказать, что мы должны поужинать в китайском ресторане? — спросил он.

— Ты сказал, — пошутил я, намекая на его одесские бедствия, начавшиеся дерзким, по тем временам, откровенным увлечением Библией.

— Никаких проблем, — согласился он и, посадив меня в свою машину, повез показывать Нью-Йорк. По дороге он время от времени крыл многоэтажным русским матом всех неловких или небрежных водителей.

С такой же молодой беспощадностью написаны его американские рассказы, где досталось всем — от жестких чиновников до еврейских богачей, скудных на помощь и щедрых на советы. Я их не видел, так пишет он.

О дальнейшем моем пребывании в Америке я расскажу в другой раз. А вы ждите, старайтесь создать для этого спокойную обстановку и помните, что слова о Нежелании Расставаться остаются в силе.

...Я отстучал на машинке последнюю фразу и попытался закурить, но, оказывается, в моей зажигалке кончился газ. Его хватило как раз на этот рассказ, чтобы я, прерывая его, не бегал на кухню. В сущности, повезло. Я восстановил настроение. Прикурить можно и на кухне.

Уподобляясь неведомым богачам, даю совет. Если у вас плохое настроение, возьмитесь за какое-нибудь дело и сделайте его. В крайнем случае напишите рассказ или ловите рыбу, как тот официант, над которым я напрасно иронизировал. Ведь я не видел, каким он возвращался с рыбалки. А это главное.

Я пошел на кухню и прикурил от конфорки газовой плиты, как от головешки чегемского очага. Радио передавало «Персидскую песню» в исполнении Шаляпина. И это был подарок мне.

И я вспомнил дедушкин дом, вспомнил, как дядя Кязым прикуривал от очага. То сунет руку с сигаркой в самый жар, а чаще вытащит дымящуюся головешку, распрямится, большой, красивый, сумрачный, длинной затяжкой вытянет огонь в сигарку и небрежно забросит головешку в пыхнувший, вызвездивший искры огонь очага. И угадывались в этом жесте то спокойная точность хозяина-сеятеля, то вдруг усталое презрение ко всему, что подтачивало и хозяйство, и дом, и всех его обитателей. А Шаляпин поет «Персидскую песню». И кажется, все живы, потому что жили, шумели, смеялись, плакали вокруг этого очага... О, если б навеки так было... А почему бы нет, почему бы?

## ласточкино гнездо

— Ты никогда не решишься на это, — вдруг сказала она сонным голосом и погладила ему голову сонной рукой.

— Но почему? — спросил Николай Сергеевич после некоторой удивленной паузы, но она уже безмятежно спала.

Они впервые в жизни приехали в Абхазию из Москвы и жили на летней даче его друга, художника Андрея Таркилова. Сам Андрей Таркилов, передавший ему ключ от дачи и начертивший ему план местности, чтобы он не запутался и точно попал куда надо, сам Андрей Таркилов редко бывал здесь. Может быть, это и послужило всему первоначальной причиной.

Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к морю, лепились ласточкины гнезда. Под некоторыми крышами — три, четыре или даже больше ласточкиных гнезд.

Они часто любовались ласточками, приносящими корм своим желтоклювым птенцам, тянущимся из гнезда, самой ласточкой, отдавшей корм и вертикально прикогтившейся к гнезду, время от времени поворачивающей свою головку то налево, то направо, не грозит ли что-нибудь моим птенцам? Кажется, нет. И как бы падая, слетая с гнезда, ласточка пускалась в путь, чтобы снова добывать корм. Иногда она слетала на ветку близ растущего дерева и начинала петь. Какая из ласточек самец, какая самка, они разобрать не могли.

На веранде одного из крестьянских домов они увидели ласточкино гнездо, прилепившееся на электрическом счетчике. Что бы это могло значить? — гадали они. Казалось, ласточки смело наметили условия примирения с цивилизацией: сверху гнездо, а снизу электрический счетчик. Казалось, ласточки хотели сказать: при доброжелательности обеих сторон у нас нет противоречия.

Николай Сергеевич с женой гадали: почему на карнизах некоторых домов всего одно или два ласточкиных гнезда, а на



карнизах других домов их много? Обращенность дома в сторону юга? Нет, как будто от этого не зависит. Может, от возраста дома это зависит? Непохоже. Тогда от чего? Может, есть дух дома более уютный, более мирный и ласточки чувят это и охотнее лепят гнезда под крышами таких домов? Кто его знает.

Странно, но под крышей дачи Андрея Таркилова не было ни одного ласточкиного гнезда, хотя дача была выстроена более десяти лет тому назад. Старый сельский учитель, большой поклонник Андрея Таркилова, много раз приглашавший их к себе домой, так им объяснил это:

— Андрей здесь редко бывает. Ласточки вьют гнезда под крышей человеческого дома, потому что ищут у человека защиты. Я так думаю. Я никогда не видел, чтобы ласточка свила гнездо под крышей амбара. Там человек редко бывает. Ласточки вьют гнезда или на диких малодоступных скалах, или под крышей человеческого жилья.

И вот жена Николая Сергеевича как-то сказала, что никогда в жизни не просыпалась под пеньем ласточек. Она сказала, что для нее было бы счастьем проснуться под пеньем ласточек. И она потом об этом вспоминала бы всю жизнь.

И он вдруг ответил, что это можно устроить. Он, никогда в жизни ничего не устраивавший, сказал, что это можно устроить. Но он это сказал, и сказал именно потому, что никогда в жизни ничего не устраивал. И вообще в жизни ничего не переступал. Так совпало. Он чувствовал, что когда-нибудь в жизни надо переступить. И он пришел к этому старому учителю и попросил разрешения перенести одно

ласточкино гнездо из-под крыши его дома под крышу Андрея Таркилова.

— Как перенести? — не понял старый учитель.

Но Николай Сергеевич уже кое-что обдумал по дороге.

— Ночью, когда ласточки спят, — сказал он, — отлепить гнездо и пристроить его под крышу Андрея.

В глазах старого сельского учителя мелькнул суеверный ужас. Но он быстро взял себя в руки. Несмотря на учительство, он был еще очень патриархальным человеком: надо гостю подарить то, что он просит.

— Пожалуйста, — сказал учитель, — берите... Но это как-то не принято...

— Разве ласточки не будут жить на новом месте?

— Почему не будут, — сказал учитель раздумчиво, — куда им деваться?.. Им же надо кормить своих птенцов... Но это у нас не принято... Я такого не слышал...

— Надо же один раз в жизни сделать неслыханное...

Учитель криво усмехнулся и разлил по стаканам мягко струящуюся, пунцовую «изабеллу», как бы скромно возражая ему, как бы показывая, что предпочитает делать слышанное.

Физик Николай Сергеевич Аверин считался и, что гораздо важнее, был талантливым ученым. При этом он признавал, что плохо разбирается в людях.

— Это две необъятные области, — говаривал он шутливо, — нельзя одновременно хорошо разбираться в физике и в людях. Даже нельзя одновременно хорошо разбираться в физике и в физиках.

Из ненависти к российскому дилетантству он целиком сосредоточился на своей области науки. Разумеется, не только из ненависти. Настоящее наслаждение, настоящий азарт в поисках истины давала ему только наука. Клещами логической интуиции медленно вытянутая из космоса новая закономерность — вот сладость жизни, вот упоение!

Но и это было: ненависть к дилетантству. Любовь к универсальным идеям обрекала его быть наивным человеком, из чего следует, что ненаивным людям нечего делать в области универсальных идей, а это им обидно. Николай Сергеевич знал о своей наивности, но не подозревал о ее масштабах.

Он долго любил людей своей профессии, но любовь эта почти всегда была безответна.

— У Бога нет такой задачи — хороший физик, — говаривал он. — Бог такими мелочами не занимается. Он ценит приближенность человека к его, Бога, задаче. За этим он следит ревниво.

Это было хорошим утешением плохим физикам, но они этого не понимали и злились на него, тем самым, по-видимому, удаляясь и от задачи Бога.

Недавно в институте, где он работал, возникла невероятная в своей подлости ситуация. Он отдыхал с одним физиком из своего института в Прибалтике. Каждый занимался своим делом, хотя на подножном уровне их работы исходили из общей идеи.

Во время долгих прогулок вдоль мелкого моря они много говорили, и, к несчастью Николая Сергеевича, он этому ученому подсказал кое-что, имеющее цитатное сходство с его собственной работой.

Внезапно уже в Москве этот физик умер, а потом почти одновременно их работы появились в двух научных журналах. И вдруг поползли слухи, что и работа Николая Сергеевича принадлежит умершему физику, что тот ему дал ее посмотреть и умер, а Николай Сергеевич присвоил эту работу.

Чем фантастичней клевета, тем реальней злость, которая за ней стоит. Слух был чудовищен по своей нелепости. Это было все равно что поющего басом спутать с поющим тенором. Однако желающих поверить оказалось достаточно, будет знать, как говорить: «У Бога нет такой задачи — хороший физик».

Положение особенно осложнялось тем, что мнимый соперник его умер. Не мог же он вслух произнести, что покойник вообще не тянул на работу такого класса. И только один молодой физик, Николай Сергеевич давно заметил его, сам подошел к нему и высказал именно эту мысль.

Этот молодой физик предложил устроить суд чести. Подозревался приятель покойного, работу которого Николай Сергеевич когда-то забраковал. Сам Николай Сергеевич об этом начисто забыл, а тот не забыл.

Тут была обидная тонкость. Николай Сергеевич слишком легко и быстро нашел ошибку в этой долгой и потной работе. По отсутствию стройности мысли он догадался, что работа ошибочна, а догадавшись, быстро нашел ошибку.

В сущности, Николай Сергеевич нанес ему двойной удар, сам того не заметив. Мало того что он забраковал работу этого физика, о чем быстро забыл, он еще, как бы приблизив к себе его друга, поехал с ним работать и отдыхать. И вот грянуло возмездие.

Все люди братья, но не все люди — люди. Николай Сергеевич этой истины не знал и потому был выше нас, знающих эту истину, но и ранимей нас. В сущности, по своему профессиональному рангу он не должен был брать на рецензию работу малоизвестного физика. Но он пожалел его и взял и оплатился за это. Он приподнял слабого над землей и вынужден был бросить его, и тем больней тот ударился о землю, над которой сам своими силами никогда не мог воспарить.

Николай Сергеевич отказался от предложения молодого физика устроить суд чести. Его ужасала сама скандальность ситуации, сама необходимость публично окунуть человека в грязь, даже если тот вполне заслужил это. Однако на душе было тяжело. В тот вечер он пришел в мастерскую Андрея Таркилова, и они напились. Он ему обо всем рассказал.

— Ты дурак, — сказал ему Андрей Таркилов, — а дуракам везет. Ты дурак, которому повезло на хорошую голову. Вот тебе и завидуют. Я бы ему просто врезал как следует. Но ты? Алкоголик-дилетант.

Подтрунивая над его нелюбовью к дилетантству, он кивнул на недопитую рюмку Николая Сергеевича. После чего бесцеремонно снял с него очки и поцеловал его в глаза. Этими двумя действиями он как бы продемонстрировал отношение жизни к Николаю Сергеевичу и собственное отношение к нему. Николай Сергеевич молчал, наивно дожидаясь, когда Андрей Таркилов водрузит на место очки. И когда он их водрузил, Николай Сергеевич взмолился:

— Но за что? Я никогда в жизни никому дорогу не переходил!

— И за это тоже, — безжалостно поправил его художник, — смотри, какой гордый: никому дорогу не переходил. Значит, презираешь.

Не переходил, не переступал, и так всю жизнь. С Андреем Таркиловым они познакомились давно. Тогда Андрей Таркилов мало выставлялся и был почти нищим. Николай Сергеевич очень рано стал доктором наук и имел возможность покупать картины Андрея. Они подружились.

Внешне трудно было представить людей более непохожих друг на друга. Небольшого роста, широкоплечий, взрывчатый Андрей Таркилов и высокий, нескладный, близорукий Николай Сергеевич, почти всегда уступчивый, как бы цепенеющий перед возможностью скандала.

И кажется, только Андрей Таркилов понимал, что он цепенеет от пошлости, а не от чего-то другого. И кажется, только Андрей Таркилов ценил его волю к творчеству и духовное мужество.

Это духовное мужество заключалось, по мнению Андрея Таркилова, в том, что Николай Сергеевич пренебрегал основным законом человеческого сообщества — повелевать или подчиняться. Николай Сергеевич демонстративно отказывался повелевать и мягко уклонялся от подчинения. И это раздражало и склонных подчиняться и склонных повелевать. Пожалуй, готовых подчиняться его авторитету раздражало больше.

Он как бы приглашал окружающих людей свободно, по велению разума и совести определяться в каждом вопросе. Но человеку утомительно свободно, по велению совести и разума определяться в каждом вопросе. Ему приятней или подчи-

ниться авторитету, или подчинить своему авторитету других, пользуясь старыми заслугами, иногда, впрочем, надуманными.

Здесь, на юге, вспоминая эту безумную клевету относительно присвоения чужой работы, он иногда думал: а может, я не прав? Может, надо было пойти на этот проклятый суд чести? Но как это невыносимо — вдыхать смрад человеческого бесчестия!

Он родился в Курской области, в маленьком районном городе, в семье учителя. Однажды ребята с его улицы предложили устроить набег на совхозный яблоневый сад. И он отказался. Не потому, что там был сторож с ружьем, заряженным солью, а потому, что ему уже тогда было противно брать чужое. Но объяснить это ребятам было невозможно, потому что кругом воровали, и взрослые воровали больше, чем дети.

А может, все-таки главным было ружье сторожа, заряженное солью? Говорили, что рана от соли причиняет невыносимую боль. Он выдержал насмешки ребят, но, придя домой, взял спички, заперся в комнате, закатал рукав рубашки и приставил зажженную спичку к своей руке ниже локтевого сгиба. Он превозмог боль и навсегда запомнил запах собственного горелого мяса. Боль стала совершенно невыносимой, когда пламя добралось до пальцев, сжимавших спички. Но почему? Он подумал, что мозг его, усилив боль от огня в пальцах, посылает им сигнал разжаться, перестать жечь собственное тело. Но он не разжал пальцев и, глядя на черный, скорчившийся трупик спички, сам перестал корчиться от стыда. Нет, убедился он, дело не в ружье сторожа, заряженном солью. Но кто его знает, до конца ли он убедился в этом?

И вот теперь жена ему говорит, что он никогда не решится перенести ласточкино гнездо, хотя он уже решился, и они обо всем договорились, и она, казалось, поверила ему.

И вдруг сейчас она почти сквозь сон выражает сомнение. Было особенно обидно, что она сразу после этого заснула. А ведь он уже прибил дощечку под тем местом, где должен был прилепить ласточкино гнездо.

Он еще раньше заметил, что на карнизах некоторых домов под ласточкиными гнездами были прибиты дощечки, куски фанеры или драни. Он считал, что хозяева этих домов таким образом подстраховывали ласточкины гнезда, чтобы они не упали на землю, если вдруг отлепят от ветра или еще по какой-нибудь причине. На самом деле, эти дощечки под некоторыми ласточкиными гнездами были прибиты, чтобы птичий помет не падал вниз на веранду. Но он этого не знал и повышенную брезгливость принял за повышенное милосердие.

Услышав слова засыпающей жены, он решил это сделать сегодня же ночью, хотя собирался сделать это завтрашней ночью. Старый учитель вместе с домочадцами уехал на несколько дней в город к сыну, и он не мог никого побеспокоить.

Он тихо встал, нащупал свои очки, лежавшие на тумбочке, и вооружил глаза. После этого он в полутьме тихо оделся в шерстяной спортивный костюм, обулся в кеды и вышел на кухню.

Когда он выходил из спальни, он обратил внимание на то, что дверь в нее распахнута и проем странно зияет, словно дверь вырвана взрывом. Его охватила какая-то тревога. Он оглянулся на жену. Она безмятежно спала.



Лет десять назад с Николаем Сергеевичем случилось вот что. Возвращаясь из института, он, как говорил в таких случаях, поймал мысль и находился в необычайном возбужденно-восторженном состоянии. Впрочем, каждый раз, когда ему удавалось поймать мысль, решить сложную задачу, он приходил в такое состояние. Пойманная мысль казалась ему настолько значительней его самого и окружающих людей, что он забывал обычную свою сдержанность и ему хотелось поиграть с людьми, как с детьми. Впрочем, обычно такое случалось в тиши кабинета или во время творческой бессонницы, так что рядом не оказывалось людей, с которыми хотелось поиграть, как с детьми.

Скорее всего, дальнейшее объясняется именно этим. У одного уличного перехода, дожидаясь зеленого света, он вдруг заметил стоящую рядом женщину. Она была с двумя маленькими детьми и большой собакой. И женщина, и дети, и собака показались ему необычайно яркими. Молодая женщина была действительно хороша, и дети были хороши, и собака была под цвет ее рыжеватых распущенных волос.

Женщина, как заметил Николай Сергеевич, была несколько обеспокоена необходимостью перевести через улицу и детей, и собаку. Во всяком случае, она несколько раз переносила поводок с одной руки в другую, по-видимому не зная, рядом с каким ребенком вести собаку, с тем, что помладше, или с тем, что постарше. Обоих детей она держала за руки,

и длинный, рыжеватый хвост собаки забавно гармонировал с ее распущенными волосами.

— Собаку, которую вы подобрали с таким вкусом, я взять на руки не могу, — вдруг неожиданно для себя сказал Николай Сергеевич, — а ребенка возьму, если собака позволит.

С этими словами он подхватил ребенка, стоявшего рядом с ним. Собака вопросительно посмотрела на женщину, а потом на поднятого ребенка. Женщина тряхнула длинными волосами и, взглянув на него, рассмеялась.

Зажегся зеленый свет, и они перешли улицу. Дальше начался сквер, где женщина с детьми и собакой собрались гулять. Он поставил малыша на ноги. Женщина поблагодарила его и так гостеприимно улыбнулась, что он пошел рядом с ними, тем более что ему было по пути.

Это был необыкновенный случай, и поведение его было необыкновенным. Никогда в жизни он не заговаривал со случайно встреченной женщиной. Позже, вспоминая все, что случилось, он уверился, что его невероятно возбужденное состояние было предвестником этой встречи. То, что возбужденное состояние было вызвано, как он говаривал, пойманной мыслью, он забыл, хотя мысль, конечно, помнил.

Он радостно удивлялся, что ему так легко и просто с этой незнакомой женщиной, и чем больше он радовался и удивлялся этому, тем легче и проще ему становилось.

Узнав, что он физик, женщина сказала, что и ее муж физик, и вдруг застенчиво поинтересовалась его именем. Он назвал себя.

— О! — тихо воскликнула она с каким-то необыкновенно сдержанным горловым звуком и взглянула на него, как бы сдерживая блеск своих больших зеленых глаз, отчего они еще сильнее заблестели. — Мой муж в восторге от ваших работ.

Он знал, что известен в кругу физиков-теоретиков, но она так лично обрадовалась, что душа его наполнилась благодарным теплом. Они дошли до конца сквера и попрощались. Она сказала, что почти каждый день в это время прогуливается здесь с детьми, а иногда и с собакой. И она снова улыбнулась ему, протягивая руку, и снова, казалось, она сдерживает блеск своих ярких глаз, отчего они еще сильнее блестели.

Николай Сергеевич чувствовал себя опьяненным. Он уже влюбился, хотя еще не знал об этом. И они много раз в течение месяца встречались в этом сквере. Она была здесь всегда с детьми, но без собаки. Он видел в этом проявление тонкого, далеко идущего такта: собаку, как хранительницу домашнего очага, она исключила из их общения. И когда после первой встречи он снова увидел ее здесь, он заметил, нет, ему не показалось, что она слегка покраснела и так нежно потянулась к нему, что он совсем потерял голову.

У них оказалась общая страсть — классическая музыка. И боже, боже, как все поздно приходит! С юношеских лет у него была теперь уже полузабытая мечта о счастье: сидеть на концерте любимой музыки, держа в руке руку любимой девушки.

Но так получилось, что, когда он влюблялся в девушку летучей студенческой влюбленностью, ему было не до музыки. А когда он добивался права приходить с ней на концерт, выяснялось,

что ей до лампочки его классическая музыка. Так получилось и с женой, в которую он позже влюбился и так упорно добивался ее, что и ему тогда было не до музыки, а когда они позже стали ходить на концерты, выяснилось, что она равнодушна к музыке.

Жена его преподавала в институте английский язык и, как это ни странно, испытывала ревность к его успехам в науке. Когда кто-нибудь из наших или иностранных физиков, которые стали наезжать в горбачевские времена, высказывали ее мужу свое восхищение, лицо ее принимало грустное выражение хорошенькой обезьянки, вывезенной в северные широты.

Бедная феминистка! Николай Сергеевич даже английский язык знал лучше нее, вернее, у него был больший запас слов. Она считала, что и сама могла сделать хорошую филологическую карьеру, если бы ее целиком не поглощали заботы о семье. Он эти заботы действительно мало разделял. И она брала реванш, всячески подчеркивая его неспособность к практической жизни.

И вот он влюбился. Ему вдруг стали сниться томительные юношеские сны, где он был с этой женщиной. Он просыпался и краснел в темноте. И в темноте, движением, исполненным невероятного комизма, если бы, зная все это, можно было бы все это видеть со стороны, так вот, в темноте он подымал голову над подушкой и близоруко смотрел на кровать жены, как бы стыдясь, что она во сне догадается о его снах.

Он уже знал, что эта молодая женщина с двумя чудесными детьми ради него готова на все, и ему думалось, что и он теперь не сможет жить без нее и готов порвать со своей семьей.

Было необыкновенно тревожно, больно, счастливо! Однако мысленно он представлял, что все это будет не так уж скоро.

И вдруг она решила познакомить его со своим мужем. За чем она это решила, он точно не знал. Видимо, так она готовила мужа к неизбежной разлуке, и Николай Сергеевич счел это достаточно честным, смягчающим удар решением.

Они встретились в консерватории, но, увы, не так, как он об этом мечтал: один на один. Он был со своей женой, она была со своим мужем. Правда, Николай Сергеевич к ним подошел, когда жена его отправилась в буфет пить лимонад. В консерватории она всегда оживлялась при виде буфета.

Он подошел к любимой женщине и ее мужу. Видимо, она ему уже что-то сказала или он сам обо всем догадался. Муж ее был красив и окинул его гордым, почти надменным взглядом. Николай Сергеевич даже слегка растерялся. Но когда они протянули друг другу руки, муж ее с такой судорожной силой сжал его ладонь, — так, вероятно, выброшенный с лодки хватается за руку выбросившего его, — и он увидел в гордых за мгновение до этого глазах ее мужа такое страдание, такую мольбу, такую неуверенность в себе и одновременно с этим такое жадное, страдальческое любопытство: «А была ли близость?» — что Николай Сергеевич, внезапно оглушенный этой болью, забыл о себе, забыл о своей любви, забыл обо всем и, взглянув ему прямо в глаза, крикнул ему своими близорукими, но теперь всевидящими глазами: «Ничего не было и не будет!»

И кажется, муж ее понял это. А внешне все выглядело так, словно молодой ученый своим затянувшимся рукопожатием

выражает мастеру почтительный восторг. Ни его собственная жена, ни тем более чуть позже подошедшая жена Николая Сергеевича ничего не заметили.

Потом они расселись по своим местам, и была трагическая музыка под управлением знаменитого дирижера, и он всласть упивался страстными, прощально-примиряющими звуками, одновременно стыдясь слез, наворачивающихся на глаза, и несколько раз подносил платок к лицу, якобы убирая пот, чтобы украдкой промокнуть глаза, а потом очнулся под гром аплодисментов, когда стали подносить цветы дирижеру и пианисту.

— Какая бравурная музыка, — вдруг сказала жена.

— Бравурная? — переспросил он.

— Живая, — поправила ее она.

— Живая?! — повторил он, но она уже не слушала его, а здоровалась с супружеской парой, работающей в ее институте.

В ту ночь он не спал до утра. Через тот раздирающий душу разряд боли и жалости к ее мужу он почувствовал будущую боль собственного мальчика, он почувствовал боль ее детей, которые останутся без отца, и менее всего он чувствовал боль собственной жены.

Он никогда не давал повода к ревности, но если б он ушел от нее, это было бы грандиозным возмездием за ее постоянную, иногда злорадную уверенность, что он не способен ни на какой практический шаг.

Больше юношеские сны его не тревожили. Да, он не смог переступить. Она ему несколько раз звонила на работу, но он и с ней говорил уклончиво (и тут не мог сразу переступить),

и вскоре звонки заглохли. Он мучился. И только Андрей Таркилов знал об этой истории. И с гневной грубостью пытался утешить его:

— Не горюй! Неизвестно, кто бы перенес через дорогу ее ребенка в следующий раз!

...Музыка... Ладонь в любимой ладони... Ласточкино гнездо...

\* \* \*

Так вот он, подлец! И нельзя об этом сказать, и нельзя его ударить, и нельзя его убить! Слишком сложный клубок при этом разматается, да он и неспособен размотать этот клубок. И подлец об этом знает и потому так спокойно, так интеллигентно, время от времени поправляя очки, разговаривает со своим собеседником, зная и видя, что Николай Сергеевич стоит от него в десяти шагах.

Звали подлеца Альфред Иванович, и сейчас Николаю Сергеевичу казалось, что в этом имени уже заключена мировая пошлость и человек с таким именем не может не быть подлецом.

Невыносимо было видеть это породистое, почти красивое лицо с выражением агрессивной готовности к благородному поступку. Николаю Сергеевичу вдруг представилось, что такие лица, вероятно, бывают у истинных карточных шулеров, хотя сам он в карты не играл и никогда близко не видел картежников.

Хотелось бежать, бежать от него подальше! Но сколько можно бежать от него! Надо перешибить в себе это чувство невероятной неловкости, надо забыть о его существовании.

Легко сказать! Николаю Сергеевичу становилось все хуже и хуже. Они сейчас стояли у входа в театр в ожидании начала спектакля. Они случайно встретились здесь. Но так ли уж случайно? Николай Сергеевич, когда ему предложили в институте билеты на этот нашумевший спектакль, в глубине души предчувствовал, что Альфред Иванович может оказаться здесь, и как бы желал этой встречи, чтобы перешибить манию брезгливого ужаса, которую он испытывал в последнее время при виде этого человека.

Жена отказалась идти на спектакль, и он оказался один перед этим человеком со своей манией брезгливого ужаса. Ему становилось все хуже и хуже. До начала спектакля оставалось минут пятнадцать, и он сдался. Перестал пытаться перешибить эту манию, вошел в театр и сел на свое место, все еще преодолевая накатывающие на него волны дурноты. Дурнота не проходила, и он вдруг испугался, что, если во время спектакля ему станет совсем нехорошо, будет ужасно неудобно пробираться из ряда, вызывая у зрителей раздраженное беспокойство.

Он встал и вышел из театра. Альфреда Ивановича у входа уже не было, он, видимо, уже сел на свое место. Николаю Сергеевичу сейчас было так плохо, что он даже почувствовал к Альфреду Ивановичу некоторую благодарность за то, что тот исчез. При этом он про себя успел отметить странность этой благодарности. Тут ему повезло. И сразу же повезло еще раз. К театру подкатило такси с пассажирами, которые спешили на спектакль, и он сел в такси, и шофер не стал морочить голову, что ему некогда и тому подобное, а повез его домой по названному адресу.



...Но что же было, что произошло? Два месяца назад Альфред Иванович ворвался к нему в кабинет, исполненный какой-то карающей решимости. Он принес письмо-протест по поводу суда над правозащитниками. Дело было шито белыми нитками, и суд был, по существу, закрытым, хотя это противоречило всем законам.

— Если согласен и не боишься, подпиши, — с вызовом сказал Альфред Иванович, стоя над ним, пока он читал письмо в правительство.

Читая письмо, Николай Сергеевич автоматически взял ручку и поднес ее к письму.

— Ни слова не менять, — воскликнул Альфред Иванович, — или ты подписываешь, или отказываешься! Третьего не дано!

— Отсутствие запятых тоже знак протеста? — спросил у него Николай Сергеевич, подымая голову над письмом.

— Запятые можно, — не чувствуя юмора, согласился Альфред Иванович, заглядывая в текст и нисколько не смущаясь. По-видимому, отсутствие некоторых запятых он относил за счет слепящего гнева, который владел им во время составления письма.

Николай Сергеевич прочел письмо, расставил недостающие запятые и расписался. Уже расписавшись, он отметил про себя, что его подпись слишком полемически большая и отчетливая и это не только и даже не столько знак протеста против суда, сколько знак насмешки над составителем письма, который слишком преувеличивал героизм своей общественной активности.

Николай Сергеевич вручил Альфреду Ивановичу подписанное письмо, и тот долго и внимательно рассматривал его подпись, словно не слишком доверяя ее подлинности. Скорее всего, он был несколько разочарован в том, что Николай Сергеевич письмо подписал. Скорее всего, он предпочел бы, чтобы Николай Сергеевич отверг письмо, а он произнес бы жаркую речь о тех, кто уткнулся в свои формулы, когда страна катится в пропасть.

— Только как бы это письмо не оказалось в заграничной прессе раньше, чем правительство его прочтет, — сказал Николай Сергеевич.

— Как это может быть? — оскорбился Альфред Иванович.

— Полиция может по своим каналам передать его на Запад, чтобы иметь аргумент против подписавших письмо, — пояснил свою мысль Николай Сергеевич.

— Волков бояться — в лес не ходить, — торжественно заявил составитель письма и довольный, что последнее слово осталось за ним, удалился из кабинета.

Всего шесть физиков подписали письмо. Альфред Иванович тоже был физиком, но работал в другом институте. По мнению гуманитарной интеллигенции, он был крупным физиком, а по мнению физиков, он был крупным знатоком современного искусства. Николай Сергеевич считал, что достижения Альфреда Ивановича в физике достаточно скромны, но он удивлялся даже этим скромным достижениям, поскольку Альфред Иванович всегда был на людях и непонятно было, когда он успевал работать.

Николай Сергеевич как в воду глядел. Через неделю письмо было прочитано по радиоголосам, и всех подписавшихся стали вызывать в прокуратуру, где с ними говорил явно следователь КГБ.

Следователь, разговаривая с Николаем Сергеевичем, имел неосторожность спросить у него:

— Откуда вы взяли, что мы могли отослать ваше письмо на Запад?

Сердце у Николая Сергеевича на миг сжалось, но в следующий миг он нашелся.

— Откуда вы взяли, что я мог высказать такое предположение? — смело спросил он.

— Мы все знаем. Стены имеют уши, — ответил следователь, — а за клевету можем привлечь и к судебной ответственности.

Самое главное в разговоре со следователем было это. И Николаю Сергеевичу стало совершенно ясно, что выдал его сам Альфред Иванович. Просто струсил и выдал. Возможно, зная, что он составитель и распространитель письма, на него чуть сильнее надавили.

Но как следователь мог оказаться столь неосторожным? По-видимому, размышлял Николай Сергеевич, следователю просто в голову не могло прийти, что это предположение он высказал один на один с этим человеком. Обычно они преувеличивают заговорщический характер подобного рода протестов и думают, что люди, подписавшие письмо, долго обсуждают все варианты судеб письма и собственных судеб. Николай Сергеевич не исключал и то, что следователь мог

нарочно бросить этот камушек, чтобы люди, подписавшие письмо, перессорились и перестали доверять друг другу.

Самое забавное, что Николай Сергеевич давно предполагал, что Альфред Иванович трусоват. Слишком часто тот поднимал разговоры о своей общественной и личной лихости. Эта назойливость была подозрительна. Николай Сергеевич считал, что Альфред Иванович самому себе и другим доказывает существование того, чего нет. Николай Сергеевич был уверен, что истинно мужественный человек меньше всего занят своим мужеством.

Трусость — скорее всего, эстетически малоприятное свойство человека. В конце концов трусить — личное дело труса. Но трус становится безнравственным, когда берется за дело, требующее мужества. Альфред Иванович, будучи слишком честолюбивым, взялся за это дело и в решительный момент не выдержал. Вообще-то он всегда был общественно активным человеком, но до разговора со следователем у него дело никогда не доходило. А тут дошло.

Через некоторое время после всех этих вызовов они встретились в одном застолье, где все крепко выпили, а Альфред Иванович, по своему обыкновению, по мере опьянения, и даже несколько опережая его, либеральничал и вольничал.

Николай Сергеевич, предварительно хорошо потеснив алкоголем свою природную деликатность, рассказал ему о диалоге, который у него произошел со следователем. И вдруг Альфред Иванович с маху отрезвел и уставился на него глазами, остекленевшими под стеклами очков.

— И что же тебе следователь на это сказал? — спросил Альфред Иванович.

— Мы всё знаем. Стены имеют уши, — повторил Николай Сергеевич без всякой иронии, чтобы успокоить его. Он сам облегченно вздохнул, давая Альфреду Ивановичу облегченно вздохнуть. Тут выпитый алкоголь был потеснен природной деликатностью Николая Сергеевича.

— Они и в самом деле слишком много знают! — не моргнув глазом, воскликнул Альфред Иванович и, поняв, что скандала не будет, облегченно опьянел, предварительно успев посмотреть по сторонам.

После этого вечера, когда Альфред Иванович так внезапно отрезвел, словно прохваченный лубяньским сквозняком, Николай Сергеевич окончательно и бесповоротно убедился, что тот выболтал его слова.

И что-то замкнулось внутри. Они и раньше встречались достаточно редко, но теперь при каждой встрече Николай Сергеевич испытывал чудовищную неловкость. Однажды, увидев его в коридоре своего института, он с каким-то шоковым ужасом юркнул в кабинет. Иногда, если он заранее видел его, он брал себя в руки и кое-как выдерживал его присутствие. Альфред Иванович что-то новое заметил в его поведении, но понял это по-своему. Он несколько раз глядел на него со снисходительной улыбкой, дескать, прости, я втянул тебя в нашу диссидентскую жизнь с ее неприятностями, но больше не буду.

Так можно было понять его улыбочку. Возможно, он вообще забыл о том пьяном признании Николая Сергеевича. До-

пустим, забыл. Но сам-то он не мог не помнить о том, что сказал следователю, не мог не помнить, что виноват перед Николаем Сергеевичем. Нет, ничего не было заметно.

Необъяснимость такой бессовестности ставила в тупик Николая Сергеевича. Им овладела какая-то мания ужаса и брезгливости.

Однажды, издали увидев его на улице, тот шел навстречу, и поняв, что тот его еще не заметил, он рванул через улицу и чуть не угодил под машину.

Ко всему еще и директор института вызвал его к себе в кабинет. В свое время директор был хорошим физиком, но уже много лет все его умственные силы уходили на то, чтобы удержаться на своем высоком посту. Впрочем, профессионального ума ему еще доставало, чтобы высоко ценить Николая Сергеевича.

Директор встретил его с руками, растопыренными над огромным столом в сокрушительном недоумении. Черная, западная сигара, откровенно нарушая законы физики — не падая, — небрежно торчала из угла его рта.

Взглянув на Николая Сергеевича, директор вдруг вспомнил далекие времена, когда он работал в Абхазии в физико-техническом институте. Тогда у его дочери был незадачливый жених, который написал в правительство дерзкое письмо о перестройке сельского хозяйства. Пришлось отдалить дочь от этого доморощенного реформатора. Интересно было бы узнать, вышло из него что-нибудь или нет? Директор попытался припомнить его имя, но не смог.

Вдруг перед его глазами всплыл теплоход «Адмирал Нахимов». К чему бы это, тревожно подумал он, но, догадавшись, успокоился: дочь, живущая сейчас в Одессе, на этом теплоходе туда уехала.

— Как вы, аристократ мысли, могли подписать это глупое письмо? — начал он. — Я знаю, это Альфред Иванович сбил вас с толку. Ну как вы могли подписать письмо вместе с этим вечно раздутым павлином, с этим прохиндеем, с этим трусом? Ну признайтесь, здесь никого нет. Этот любимец московских салонов — прохиндей.

И в самом деле, вечно раздутый павлин, и в самом деле, прохиндей, думал про себя Николай Сергеевич, но сейчас соглашаться с директором было как-то неприлично, и он промолчал. Когда директор, пытавшийся свой монолог превратить в диалог, закончил, он только спросил у него:

— Откуда вы взяли, что он трус? — Тут он не мог не попытаться удовлетворить свое любопытство.

— А разве павлин может не быть трусом? — со странной логикой удивился директор.

Но откуда он, директор, знает не только о существовании Альфреда Ивановича, но и о некоторых свойствах его натуры? Это было столь же необъяснимо, как и тяжелая сигара, торчавшая из угла его рта, с цинической откровенностью пренебрегающая законами всемирного тяготения.

На самом деле, директор звонил в институт, где работал Альфред Иванович, и у своего коллеги получил на него характеристику.

— Видел вашу подпись под письмом, — улыбнулся директор в конце разговора. — Буквы больше моей сигары. Прямо — «Быть по сему»!

Он расхохотался.

— Где вы это видели? — спросил Николай Сергеевич, стыдясь, что он слишком крупно, как-то неинтеллигентно расписался.

— В ЦК, где еще? — ответил директор. — И там я вас отбивал от этого прохиндея.

В конце концов они договорились, что, если уж ему вздумается поправлять курс правительства, он это будет делать сам.

— Быть по сему, — на прощанье сказал ему директор и, пыхнув сигарой, склонился к телефону.

...И вот эта ужасная встреча у входа в театр, его бегство, его облегченный вздох, когда он рухнул на сиденье такси. Они поехали, но ему становилось все хуже и хуже. Он теперь страстно мечтал добраться до дому. К тому же таксист оказался чудовищно словоохотливым. Он стал рассказывать ему, что держит дома породистых собак, что этим он зарабатывает на жизнь. А такси — это только так, на прокорм собакам. Случка — главная статья дохода.

И это длилось минут двадцать, а ему становилось все хуже и хуже, и он не мог прервать таксиста. И вдруг таксист сам себя прервал, и ему стало совсем плохо.

— Надо доехать до заправки, бензин кончается, — сказал таксист.

— Пожалуйста, прямо домой, — попросил Николай Сергеевич, — я очень плохо себя чувствую.



Шофер быстро посмотрел на него и, что-то поняв, молча поехал дальше. Николай Сергеевич с невероятным трудом выговорил эти слова. Язык почти не ворочался во рту, и сейчас он почувствовал, что его левая нога и левая рука как-то отяжелели и почти не подчиняются ему.

Инфаркт — мелькнуло в голове. Но он тут же отбросил эту мысль. Он знал, что при инфаркте бывает боль. Никакой боли он не чувствовал и поэтому решил, что это инсульт.

Ему становилось все хуже и хуже. И он подумал: приближается смерть. Да, смерть. Это было так странно и неожиданно. Гораздо неожиданней, чем приближение смерти, показалось ему почти полное отсутствие страха перед ней. Возможно, дело было в том, что смерть освобождала от общения с утомительными хамами. Но прямо об этом он не думал. Было ощущение неловкости и даже некоторой нечистоплотности, если это случится здесь в дороге и с его трупом придется возиться ни в чем не повинному шоферу такси.

Он вдруг вспомнил, что у него недостаточно денег, чтобы расплатиться с шофером. Это показалось ему ужасным. Он, конечно, знал, что дома есть деньги, но он боялся, что, если это случится в дороге, таксисту никто не оплатит за его проезд. Ему вдруг пришло в голову предложить таксисту часы. Но как? Снять с трупа или заранее ему отдать? Говорить об этом было неловко даже в том смысле, что язык у него все чувствительней онемевал во рту. Левая рука и левая нога становились все тяжелей и тяжелей и все меньше ему подчинялись.

Минут через десять он вдруг понял, что они уже близко от дома, и его оставила мысль о смерти в дороге. Он подумал, что это, скорее всего, произойдет дома и надо во что бы то ни стало не забыть сказать жене, когда она откроет дверь, чтобы она расплатилась с таксистом.

Шофер все чаще и все тревожней поглядывал на него. Николай Сергеевич чувствовал, что кожа на его лице как-то стянулась и лицо, вероятно, застыло в малоприятной гримасе. Он подумал, что, если шофер проводит его такого или еще худшего до двери, может быть, он сам постесняется попросить у жены деньги. А жена, увидев, в каком он состоянии, конечно, не догадается сама о том, что надо расплатиться с таксистом. Не забыть напомнить. Странно, подумал он с некоторой дозой потустороннего юмора: перед смертью надо расплатиться с таксистом.

Он еще больше сосредоточился на этой мысли, и тревога по поводу предстоящей смерти, и без того небольшая, совсем отодвинулась.

Потом он опять вспомнил о ней. И опять удивился почти полному отсутствию страха. Он подумал о всей своей жизни. Он подумал, что жизнь была неловкой. Он подумал, что неловкая жизнь и должна была кончиться вот такой неловкой смертью.

Но что было первичным? Неостановимая тяга к гармонии науки отнимала жизненные силы и делала его жизнь неловкой или страсть к науке была компенсацией за неловкость жить? Он не мог сейчас ответить на этот вопрос. Он только

твердо знал, что ловкость жить есть бесстыжесть по отношению к самой жизни и это делает по высшему счету бессмысленной самую эту ловкость. Все дело в уровне брезгливости, смутно подумал он и, почувствовав, что сейчас не сможет до полной ясности довести эту мысль, оставил ее.

Он вдруг вспомнил, что в школе на уроках военного дела ему никогда не давалась шагистика. Все смеялись над ним, когда он неловко, очень неловко вышагивал своими длинными ногами и делал всякие повороты. И он вместе со всеми подсмеивался над собой, чтобы скрыть смущение. Но ему было больно, что он такой неловкий.

Зато учебную гранату, как это ни странно, он кидал дальше всех. Намного дальше. Значит, в нем была какая-то природная вспышка мышечной силы? Там, где все, как и он, не проходили особой тренировки, он оказался сильнее всех. Впрочем, подумал он, и шагистикой никто не занимался вне уроков. Но некоторым она сразу хорошо давалась. А ему — никогда. Возможно, подумал он, дело в иронии. В нем всегда было развито чувство иронии. Шагистика не выносит иронии. Попытка преодолеть внутреннюю иронию делала шаги его деревянными. Как странно, подумал он, что я сейчас вспомнил об этих далеких школьных делах.

Они уже подъезжали к дому, и он решил попросить шофера проводить его до самых дверей. Надо было подняться на шестой этаж. А вдруг лифт перестал работать? — с тоской подумал он. Но это редко бывает, успокоил он себя. Он хотел попросить шофера проводить его не только потому, что был

неуверен — сможет ли подняться сам. Здесь была и уловка по поводу денег. Чтобы не объясняться с таксистом в машине, удобней будет там сразу в дверях сказать жене о деньгах. Вот и я проявил ловкость жить, подумал он про свою хитрость. И уточнил — чтобы удобней умереть.

Но таксист сам вдруг взялся его проводить. Они поднялись на лифте. У дверей он еще смог позвонить в привычном ритме жизни, как звонил обычно. Жена распахнула дверь.

— Что с тобой? — вскричала она, взглянув на его лицо. По ее лицу, искаженному страхом, он понял, насколько ужасно его лицо. Но он не дал себя отвлечь.

— Расплатись, — с трудом выговорил он и кивнул на таксиста. Жена побежала за деньгами. Он вошел в комнату и рухнул на диван. И подумал: хорошо, что я не забыл жене напомнить о таксисте, хорошо, что я позвонил в дверь в привычном ритме жизни. Немного беспокоило, что жена слишком мало даст на чай. Она была прижимиста. Но исправлять ее именно теперь было поздно.

Жена вбежала в комнату.

— Боже, что с тобой случилось? — крикнула она.

— Расплатилась? — с трудом спросил он, чтобы довести дело до конца. Язык почти не подчинялся. Левая рука и левая нога очугунели. Но теперь он лежал у себя на диване.

— Да! Да! — закричала жена. — Что с тобой случилось?

— Плохо, — сказал он, выбрав самый короткий ответ. Жена вызвала по телефону «скорую помощь». Ему было все так же плохо, но не хуже. Он подумал о странной, бессмысленной комедии

жизни. Жизнь страшна не своей трагичностью, а своим ничтожеством, подумал он. Если бы Альфред Иванович был профессиональным провокатором, это было бы понятно, попался. Но Николай Сергеевич был уверен, что тот, ничтожно испугавшись, выдал его, чтобы показаться им достаточно лояльным, своим.

Взгляд его случайно остановился на дверце бара в книжном шкафу. А что, если выпить, и вдруг все пройдет, подумал он с неожиданной надеждой. Это же не инфаркт? Нет, решил он, надо дождаться врача. Неизвестно, как алкоголь действует при инсульте.

Он вспомнил о сыне, которого сейчас не было дома. Как бы его не напугать своим видом. Когда мальчик был поменьше, ему было лет восемь, он водил его к зубному врачу. Мальчику вырывали зуб. Какие-то там были затруднения. Как он кричал, бедный мальчик, какая невероятная мука была слышать этот долгий, несмолкающий крик. И когда после всего они возвращались домой, мальчик вдруг сказал ему:

— Наклонись, папа.

Он наклонился, и мальчик, обняв его за шею, поцеловал его в лицо. И ничего слаще этого поцелуя он, кажется, не испытывал в жизни. Обычно мальчик сурово отстранялся от его ласки и никогда сам не целовал его. А тут вдруг сам его так нежно поцеловал. Неужели только через страдание путь к высшему блаженству? Мальчик своим поцелуем как бы извинялся перед отцом за невольные причиненные ему страдания, благодарил за участие и просил прощения за то, что раньше всегда сурово отстранялся от его ласки.

Он думал о своем мальчике, а все остальное казалось ему ничтожным. И плоды его научных работ, в которые он вложил столько страсти и труда и которые сам он и многие коллеги находили значительными, сейчас ему казались банальными и жалкими. Кое-что из того, что брезжило в замыслах, кажется, чего-то стоило, но об этом лучше было не думать. Скорее всего, руки до этого не дойдут.

Позвонили в дверь, и в комнату вошли врач «скорой помощи» и медсестра. Жена полусшепотом что-то им говорила. Врач, поздоровавшись, присел к нему на диван и, взяв его руку, пощупала пульс. Видимо, пульс ей ничего не подсказал.

— Что с вами случилось? — спросила она. — Расскажите.

— Я пришел в театр, — начал он, с трудом выговаривая слова, — и увидел...

И тут он понял, что об этом невозможно рассказать, и не только потому, что трудно выговаривать слова. Он замолк и задумался.

— И увидели, — вдруг подхватила врач, — неприятного вам человека?

Он был потрясен точностью ее догадки.

— Да! Да! — вскрикнул он и вдруг поверил, что будет жить. Он схватил правой рукой ее прохладную кисть. Было приятно ощущать ясную прохладу ее руки. Но как она могла догадаться о том, что случилось?

— Вы просто переволновались, — сказала она, — скоро все пройдет.

Через несколько минут она сделала ему какой-то укол и ушла. Он почувствовал, что ему стало гораздо лучше. Лекарство сняло дурноту и как-то слегка опьянило его. И сейчас он снова задумался о жизни. Она ему представлялась теперь такой же ничтожной, но милой в своей ничтожности. Надо жалеть жизнь, замирая от нежности, думал он, надо любить ее, как беспомощного, глупого ребенка, из которого когда-нибудь что-нибудь получится. Но сейчас, сегодня глупо ждать от нее значительности и смысла. Именно в том и смысл, чтобы любить ее такой вот ничтожной, слабой, глупой. Лекарство, видимо, делало свое дело. По всему телу растекалась блаженная слабость, но рука и нога уже больше не отнимались, разделив со всем его телом эту блаженную беспомощность.

На следующий день он отлеживался и почитывал книгу. Он все размышлял о том, как это врач догадалась о причине, вызвавшей его состояние. И теперь, хотя он с удовольствием вспоминал то свое первое изумление ее догадкой, он не видел в этом никакой мистики. Как много людей, с грустью подумал он, после встреч со своими знакомыми обращаются в «скорую помощь». Потому-то врач так быстро догадалась обо всем.

Через день он уже сидел в мастерской Андрея Таркилова и рассказывал ему о случившемся.

— Надо было выпить стакан водяры, и все бы сняло, — заключил Андрей. — И зачем ты с этим ничтожеством связался? Я всегда знал, что он ничтожество.

— Откуда знал? — спросил Николай Сергеевич.

— Я же видел его, — сказал Андрей Таркилов. — А художнику видеть человека — все равно что читать его тайную биографию. Иногда, когда я пишу портрет человека, снимая слой за слоем с его лица, мне такое открывается, не выпить нельзя. По неволе становишься алкоголиком. Ну, а этот виден сразу — прохиндей.

\* \* \*

Несколько дней назад здесь, на юге, работая за столом Андрея Таркилова и пытаясь избавиться от груды уже ненужных черновиков, он дотянулся до корзины, стоявшей под столом, чтобы выбросить их туда. На дне корзины он увидел смятый кусок бумаги. Подозревая, что это может быть какой-то набросок Андрея, он достал мятый лист бумаги, зацепившийся за прутья плетеной корзины, и осторожно расправил его.

Так оно и оказалось. Быстрый карандашный рисунок изображал мужчину, сидевшего, по-видимому, за столом. Ни стола, ни лица мужчины не было видно. Однако мужчина явно сидел за столом, обхватив руками падающую голову. Неимоверная сила рук едва удерживала бессильную тяжесть головы.

Николай Сергеевич был потрясен выплеском отчаянья на этом наброске. Это был, конечно, автопортрет, хотя никаких черт лица вообще не было видно, разве что сила рук, подпиравших голову, намекала, что это руки Андрея.

Николай Сергеевич вдруг вскочил из-за стола. Его первой безумной мыслью было сейчас же бежать, ехать, лететь и спа-



сать друга! С такой силой отчаянья человек не может справиться сам, надо ему помочь!

Однако, очнувшись, он сообразил, что набросок сделан год назад, когда Андрей приезжал сюда, а может быть, и раньше. Значит, справился.

Боже, боже, что мы знаем друг о друге! Откуда такое отчаянье! Андрей Таркилов давно и при славе, и при деньгах. Ну, и личная жизнь у него всегда была запутана.

Он снова сел и, разглаживая листок с наброском, словно успокаивая, лаская изображенную фигуру, автоматически повторял про себя слова шекспировского сонета:

*И видеть мощь у немощи в плену.*

Николай Сергеевич долго смотрел на этот рисунок, и вдруг каким-то странным образом, он сам не знал, почему и как это случилось, на него из этого же листа стал струиться тихий, смывающий отчаянье свет. Но почему? Потому что руки все-таки удерживают эту бессильно падающую голову? Или что-то другое? Бесстрашие зафиксированного страдания само становится лекарством от страдания?

Он вспомнил слова Андрея о сущности художественного творчества. Настоящий художник, говорил Андрей, вкладывает в картину субъективную творческую силу, всегда превосходящую силу сюжета. Это тот излишек, который есть необходимость для искусства. Степень превосходства субъективной силы художника над силой сюжета и есть степень

таланта художника, усмиряющий жизнь кнут гармонии. Так, кажется, он это называл. При отсутствии в картине превосходящей сюжет субъективной силы художника картина издает скребущий звук ложки о дно котелка. Созерцать такую картину неприятно, как неприятно следить за усилиями инвалида, которому нельзя помочь.

Взгляды на искусство у Андрея были резкие и непримиримые. Над абстракцией он просто смеялся. Любой персидский ковер, говаривал он, перекроет всех абстракционистов. Новация хороша, говорил он, если хватает пороха сохранять принцип содержательности. Но на это как раз пороха обычно не хватает.

Тенденцию в искусстве надо доводить до кругосветного безумия, чтобы она, обогнув земной шар, возвратилась в точку реальности, из которой вышла. Имитатор всегда выглядит мастеровитей мастера. Мастер пашет, а имитатор пахать не может, он тяпкой мотыжит вспаханное другим. А дураки ахают, как хорошо обработано поле! Так он, кажется, говорил.

Кроме картин Андрея Таркилова у Николая Сергеевича хранилось более сотни его карандашных набросков. Николай Сергеевич знал несколько художников, Андрей его знакомил с ними, но, как он заметил, ни один из них так не разбрасывался своими рисунками. Это нельзя было назвать даже щедростью. Щедрость хотя бы знает о своей щедрости. Андрей ни во что не ставил свои наброски, если они не имели отношения к картине, над которой он сейчас работал. Все оставалось там, где он в последний раз пил водку или чай. И что совер-

шенно замечательно, думал Николай Сергеевич, место, где он пил водку, в этом смысле не имело никакого преимущества над местом, где он пил чай. Нельзя было не подивиться этому, учитывая его повышенную склонность к алкоголю. Одним словом, все разбрасывалось и раздаривалось. На упреки Николая Сергеевича он отвечал:

— Всякую линию, которая чего-нибудь стоит, рука запоминает сама. А то, чего она не запоминает, ничего не стоит.

Ему вдруг мучительно захотелось поговорить с Андреем. Андрей его предупредил, что из сельсовета можно дозвониться до Москвы, хотя это не всегда просто. И председатель сельсовета сам ему несколько раз напоминал об этом. Он в последний раз нежно разгладил листок с наброском и отправился в сельсовет.

Кроме всего, ему надо было через Андрея передать сыну, чтобы он приезжал сюда отдыхать со своей юной женой. У сына в квартире не было телефона, но он баловался живописью и часто бывал в мастерской Андрея.

Перед отъездом он договаривался с сыном, что, если здесь будет все хорошо, он его пригласит сюда. Несмотря на неустроенность холостяцкой дачи Андрея, все здесь им понравилось. Какое наслаждение было для Николая Сергеевича босиком ходить по голой травянистой усадьбе Андрея, подошвами ног чувствуя щекочущее прикосновение детства! Он физически ощущал, как через босые ноги в него вливаются жизненные силы, как он молодеет от этого чудного заземления. Как гениален все-таки миф об Антее, какая грандиозная реальность стоит за ним! А щед-

рость теплого моря, а необыкновенная доброжелательность соседей (гость Андрея!), а обильная животворящая природа!

Ему удалось довольно быстро соединиться с Москвой и поговорить с Андреем. Он что-то сбивчиво начал рассказывать о его наброске, но Андрей только непонятливо помыкивал.

— Кажется, у меня крыша поехала, — наконец пробурчал он, — я ясно помню, что вытряхнул корзину с бумагами... Ты лучше скажи, хорошо вам?

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул Николай Сергеевич. — Я никогда так хорошо не отдыхал! Пусть Витька даст телеграмму! Мы его встретим! Пусть прилетает быстрее!

— Зачем телеграмма, — возразил Андрей, — я ему нарисую план местности, как я это сделал тебе. Или ты думаешь, что он тупее тебя, если это вообще возможно?

— Ты подхамливаешь, — радостно воскликнул Николай Сергеевич, — значит, у тебя все в порядке!

— Да, вроде налаживается, — сумрачно ответил Андрей, и неясно было, что он имеет в виду: свою запутанную жизнь или работу. Несмотря на долгую дружбу с Андреем и большое желание знать правду, Николай Сергеевич из обычной своей деликатности не стал ничего уточнять.

После разговора с Андреем председатель сельсовета зашел в кабинет, с комической важностью закрыл дверь на ключ и, усевшись напротив Николая Сергеевича, стал жаловаться на Андрея.

— Сколько раз я ему говорил: «Андрей, ты же художник! На твоём участке должны расти розочки». Я бесплатно могу

достать до тридцати корней розочек. Агроном соседнего совхоза мой друг. У него полно розочек. Я бы сам посадил. Но он же художник. Он должен мне сказать, где и как посадить розочки, где фруктовые саженцы, где пустить лозу «изабеллы» и где «качич». Надо вовремя приехать или весной, или поздней осенью. Что я ему ни скажу, он мне отвечает: «Потом, потом». Я его даже называю про себя «Андрей Потом». Поговори с ним серьезно. Перед нашими людьми тоже неудобно. Некоторые начинают сомневаться, что он известный художник. Некоторые даже думают, что он хочет уехать в Америку, потому здесь корни не пускает. Надо хотя бы розочки посадить для начала.

— Обязательно поговорю, — пожимая ему руку, ответил Николай Сергеевич с полной серьезностью, тронутый забавной заботливостью председателя сельсовета. Тот удовлетворенно кивнул ему в ответ и, по-видимому считая свою миссию выполненной, отомкнул дверь, но, выпуская его из кабинета, вдруг спросил:

— Как вы думаете, Горбачев жив?

Всем народом было замечено, что Горбачев задумал нечто необычное, ни на что предыдущее не похожее. Интеллигенция, боясь взглянуть его, тихо радовалась, но многие достаточно громко злобились. Время от времени Горбачев вдруг исчезал куда-то — ни речей, ни встреч со знатными иностранцами, ни ссылок на него в прессе. И тогда наползали слухи, что он арестован или даже убит. Но он опять выныривал откуда-то и продолжал свои странные, отступательно-наступательные

речи. Сейчас он в очередной раз окунулся в небытие, и снова поползли темные слухи.

— Думаю, что жив, — ответил Николай Сергеевич.

— Вот и я так считаю, — бодро поддержал его председатель сельсовета. — На Мюссеру день и ночь ползут грузовики.

— А что там? — спросил Николай Сергеевич.

— Новую дачу строят Горбачеву, — пояснил председатель сельсовета. — Я думаю, если бы что-нибудь с ним случилось, стройку бы сразу остановили. Нет! День и ночь ползут грузовики на Мюссеру. Ползут и ползут.

Безумная родина, думал Николай Сергеевич, возвращаясь к себе. Конец двадцатого века, а мы, просыпаясь, гадаем, не придушен ли этой ночью наш вождь своими соратничками. И что это за манера у наших вождей, думал он, как только они приходят к власти, начинают громоздить себе дома и дачи, как будто до этого жили в подвалах или палатках.

\* \* \*

Николай Сергеевич зажег свет в кухне и достал тубик с универсальным клеем. Этим клеем он хотел обмазать то место на карнизе, куда собирался прилепить ласточкино гнездо. Все было предусмотрено, но тревога не проходила. Он вспомнил темный проем в спальню и ощущение, что дверь вырвана взрывом.

Но и то, что он собирался сейчас сделать, было бессознательным желанием заложить, замкнуть этот проем, образо-

ванный тихим и долгим взрывом. Однако тревога не проходила. Он достал из холодильника бутылку и выпил две стопки крепчайшей чачи, кстати подаренной тем же учителем. Он сразу почувствовал, что ему полегчало. Какое удивление, какую благодарность почувствует жена, если завтра проснется под щебет ласточек! Положив тюбик с клеем в карман, он погасил свет и вышел из дому.

Была глубокая южная ночь. Отсюда, с холма, виднелась спокойная равнина моря, озаренная низкой багровой луной. Лунная дорожка была похожа на расширяющееся у горизонта распятие. С неба светили крупные, свежие, слегка размазанные звезды. Он никак не мог привыкнуть к их величине.

Ночь была пронизана журчащими вблизи и вдали голосами последних летних соловьев. «Пью, пью, пью, пью», — ровным, крепким голосом пел соловей где-то совсем близко. «А я цежу, а я цежу», — отвечал ему более тонким голосом какой-то соловей, расположившийся где-то подальше, но явно так, чтобы слышать именно этого соловья. «Взахлеб! Взахлеб! Взахлеб!» — вдруг потерял терпенье ближайший соловей. «Брызжу! Брызжу! Брызжу!» — в ответ залился тот, что так аккуратно цедил до этого. «Пью, пью, пью», — ровным голосом предложил начать все сначала первый соловей. Второй согласился: «А я цежу, а я цежу». Внезапно, перекрывая друг друга, залились оба в каком-то совершенно непонятном сладостном исступлении: «Брызг! Брызг! Брызг!»

Он слушал и слушал этот водопой, водолей, водобрызг ночных брачных песен. Потом невольно вздохнул и подхва-

тил стремянку, прислоненную к веранде как раз над тем местом, где он собирался подлепить ласточкино гнездо. Вдруг ему пришло в голову, что потом, когда он принесет гнездо с ласточками и птенцами, ему будет несподручно намазывать карниз клеем. Он решил сделать это сейчас. В крайнем случае, если клей успеет высохнуть, он снова намажет им это место.

Он снова поставил стремянку, раздвинул ее, проверил, прочно ли она стоит на земле, и полез наверх. Над самой прибитой дощечкой он щедро выдавил клей на карниз и тщательно размазал его.

Он слез со стремянки и почувствовал, что пальцы правой руки стали неприятно клейкими. Он положил тубик с клеем на перила веранды. Потом нагнулся и тщательно протер ладонь о росистую ночную траву. Распрямился, подвигал пальцами. Стало лучше, но некоторая клейкость пальцев оставалась. Он сложил стремянку, взял ее на правое плечо и вышел на сельскую улочку.

До дома учителя было минут двадцать ходу. Он спустился улочкой до сельского магазина, который стоял слева по улице. Здесь он свернул направо на тропу, которая вела к дому учителя.

Сторож, охранявший магазин и сидевший на деревянных ступенях лестницы у ее входа, заметил его. Человек, глубокой ночью идущий куда-то со стремянкой на плече, показался ему подозрительным. Человек явно был не из местных. Сторож это понял по его долговязой фигуре. Но пока он все это прокручивал в своих тяжеловатых мозгах, человек свернул на тропу и исчез в темноте. И теперь сторож сожалел, что сразу не окликнул его.



Когда Николай Сергеевич подошел к дому учителя, из соседней усадьбы, где жила одинокая вдова, с лаем выскочила собака учителя. Эта вдова подкармливала собаку, когда учитель с домашними уезжал в город к сыну, и поэтому, видимо, собака охраняла оба дома.

Приблизившись к нему, собака узнала его и в дикой радости стала прыгать вокруг него, взвизгивая и стараясь лизнуть его в лицо. Они успели полюбить друг друга за время его посещения старого учителя. А тут она еще, видимо, скучала по хозяину и радовалась человеку, которого хозяин так ласково встречал.

Он поставил стремянку и с удовольствием потрепал необыкновенно возбужденную от этой встречи собаку. Поглаживая ее, он, сам того не замечая, оттирал свою клейкую правую ладонь о ее шерсть, как о траву. Собака от избытка чувств вскочила и побежала по усадьбе.

Он снова взял стремянку и подошел к веранде дома, где на карнизе лепились ласточкины гнезда. Он поставил, раздвинул и укрепил стремянку возле крайнего гнезда. Он посмотрел вверх на комья ласточкиных гнезд, и ему показалось, что он услышал сонное, уютное попискивание птенцов. Он решил последний раз все обдумать, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки.

Действия должны быть такими. Тихо взобравшись по стремянке и дотянувшись до гнезда, надо быстро левой ладонью прикрыть гнездо, чтобы ласточки не вылетели. А правой рукой, обхватив гнездо, надо осторожно, осторожно, очень осторожно, чтобы гнездо не развалилось, расшатать его и снять.

Пока он стоял и, глядя на гнездо, думал о том, что ему предстоит сделать, вдруг что-то сильно ударило его сзади, и он рухнул на колени. Оказывается, это собака налетела на него и ударила его всем своим телом. Больше всего его удивила четкость, с которой он не упал, а именно рухнул на колени. И он удивился легкости, с которой он рухнул. Человек — неустойчивая конструкция, подумал Николай Сергеевич.

Продолжая стоять на коленях, он опять погладил ее и пригрозил ей пальцем. Она была слишком возбуждена, и он с тревогой подумал, а что будет, если она с такой силой налетит на стремянку, когда он залезет наверх?

Он встал. Собака вдруг взвыла и побежала. Он полез на стремянку. Неприятная липкость в правой руке от волнения чувствовалась сильнее. Он долез до предпоследней ступеньки. Теперь высоты было достаточно. Он замер. Ему показалось, что он слышит сонное попискивание птенцов.

Преодолевая сильное, неожиданное желание тихо слезть со стремянки и уйти и не давая себе этого сделать, он быстро прикрыл ладонью левой руки гнездо. Теперь он услышал воинственный писк ласточек и почувствовал несколько сердитых клевков в ладонь. Он осторожно, продолжая чувствовать неприятную липкость пальцев, правой рукой обхватил гнездо и тихонько шатнул его. Гнездо, как зрелый плод, легко оторвалось и оказалось в его ладони. Продолжая прикрывать его левой рукой и придерживая правой, Николай Сергеевич стал осторожно слезать со стремянки. Он не учел, как трудно будет слезать со стремянки без помощи рук. Несколько раз ему

казалось, что он не удержит равновесия и грохнется вниз. И, каждый раз представляя свое падение, он мысленно вытягивал руки вверх, чтобы не раздавить ласточек, чтобы удерживать гнездо в воздухе.

Все-таки он благополучно добрался до земли. Сейчас, стоя возле стремянки, весь мокрый от холодного пота, он до конца осознал, какие волнения ему пришлось преодолеть и когда снимал гнездо, и когда слезал со стремянки.

Главное позади, подумал он с облегчением и с какой-то вороватой гордостью. Такого он никогда не испытывал в жизни, и он себя не узнавал, как это иногда бывает во сне. Ласточки ожесточенно клевали его ладонь и пищали.

Вдруг он понял, что сейчас никак не сможет унести стремянку, — обе руки заняты. Без стремянки он не мог укрепить гнездо на новом месте и унести стремянку не мог. На миг ему показалось, что он попал в какой-то кошмарный тупик, из которого нет выхода. И прилепить гнездо на старое место он уже не мог или хотя бы поставить его на дощечку, придвинув плотнее к карнизу, поскольку под этими гнездами не было никакой защитной дощечки.

В конце концов он догадался, что можно прийти домой, завернуть гнездо в полотенце, но так, чтобы ласточки не задохнулись, а потом снова прийти сюда и взять стремянку.

Когда он уходил, собака снова набежала на него и в прыжке попыталась дотянуться до ласточкиного гнезда. Он успел приподнять руки. Собака тихо взвыла и, бегая вокруг него, еще несколько раз прыгала, пытаясь дотянуться до ласточки-

ного гнезда. Он подумал, что, вероятно, эта дворняжка с примесью охотничьих кровей и теперь, почувствовав в его руке дичь, пришла в неистовство. Впрочем, он никогда не видел охотничьих собак в работе.

Покидая усадьбу учителя, Николай Сергеевич строго крикнул на собаку и решил, что, возвращаясь за стремянкой, принесет ей чего-нибудь поесть. Он быстро шел по тропе, ощущая всем телом восторг достигнутой цели, который мгновеньями легко переходил в ужас перед неестественностью своего занятия. С некоторым облегчением он заметил, что ласточки перестали бить клювами в его ладонь, но продолжали попискивать, хотя и реже, чем раньше. Может, они начинают смиряться со своим новым положением, подумал он с надеждой.

Когда он свернул на сельскую улочку, сторож снова заметил его и узнал его долговязую фигуру. Он понял, что это тот же человек, но теперь без стремянки. Сделал свое дело, бросил стремянку и ушел, подумал он. Он заметил, что этот человек сейчас что-то прижимает к груди. Скорее всего, драгоценную вещь. Может быть, шкатулку. Он несет в руках вещь нетяжелую, но драгоценную.

— Стой! — крикнул сторож и, опершись на ружье, приподнялся со ступенек крыльца.

Человек, услышав сторожа, остановился на миг, оглянувшись на него и вдруг очень быстро пошел дальше.

— Стой, стрелять буду! — крикнул сторож, уже выйдя на улочку и окончательно уверившись, что это ночной вор. У него в руках шкатулка с драгоценностями, и он потому не оста-

навливается. И он из подлой хитрости оставил стремянку там, где залез в чей-то дом. Стремянку он тоже где-то украл, и те, кого он ограбил теперь, из-за этой стремянки пойдут по ложному следу. И он в ограбленном доме уже бывал, потому так быстро сделал свое дело. Знал, где стоит шкатулка, взял ее и ушел.

Николай Сергеевич, услышав голос сторожа и остановившись на миг, вдруг осознал всю нелепость и постыдность своего положения. Он, взрослый человек, среди ночи несет в руках ласточкино гнездо с ласточками и птенцами. Он почувствовал, что, с точки зрения деревенского сторожа, это какой-то дикий абсурд. Ему было ужасно стыдно объясняться со сторожем, и потому он, услышав его окрик, только прибавил шагу. Сторож еще несколько раз пытался остановить его криками, но он не остановился. Он не верил, что сторож может в него выстрелить из-за этого ласточкиного гнезда.

А сторож, заметив, что человек пошел быстрее, окончательно уверился, что он преступник. Но пока он пытался остановить его криками и угрозами, тот слился с темнотой. Улочка была обсажена платанами, и лунный свет на нее не падал. Сторож был уверен, что вор теперь куда-то свернул и убежал. И вдруг он снова появился на улочке в свете единственного фонаря. До чего же обнаглели, гневно подумал сторож, вор даже не свернул и не испугался его криков! И тогда он быстро, чтобы не упустить его из-под света фонаря, прицелился и выстрелил.

Николай Сергеевич услышал выстрел через мгновение после смертельного удара пули, и звук выстрела вдруг показался ему оглушительным треском сломавшейся под ним стремянки. И ему почудилось, что он падает с нее. И он сделал то, что собирался сделать, когда думал, что может сорваться со стремянки. Падая на спину, он вытянул вперед руки, чтобы не повредить гнездо и не раздавить ласточек. Потом он осторожно положил руки с гнездом на грудь. Он чувствовал, что падает и падает куда-то, но сообразил, что земля еще близко и можно поставить на нее ласточкино гнездо, прежде чем он пролетит мимо. Он вытянул правую руку и поставил гнездо на землю.

Ласточки вылетели из гнезда и с криками носились над ним, а точнее, над своими птенцами. Птенцы выползли из гнезда и доползли до травянистого склона канавки, ограждающей улочку. Там в траве они запутались, и ласточки теперь с криками проносились над канавкой, то появляясь в свете уличного фонаря, то погружаясь во тьму.

Последним предсмертным движением Николай Сергеевич откинул руку в сторону ласточкиного гнезда, и она, уже мертвая, упала на гнездо, и оно рассыпалось в прах.

И потому сторож, когда подошел к нему и убедился, что он мертв, никак не мог понять, куда делся предмет, который он держал в руках. Он не мог понять, откуда налетели эти две ласточки, кричащие тут, словно оплакивающие мертвого. Или преследующие его, убийцу? Так, бывало, в деревне ласточки пикировали над кошкой или собакой или с негодуя-

щими криками догоняли в воздухе тяжелую ворону, заподозрив их в страшном замысле разорить гнездо.

Вдруг сторож заметил очки, валявшиеся рядом с убитым, и он похолодел от смутной догадки. Его небогатый деревенский опыт подсказывал ему, что ночные воры не бывают в очках. Если б он разглядел, что этот человек в очках, он, пожалуй, не стал бы стрелять. Но ведь была же стремянка и он что-то нес в руках!

На всякий случай, чтобы уменьшить вину за свой выстрел, он поднял очки и забросил их в кусты ежевики, разросшейся у дороги... А то потом доказывай судейским, что было темно и он не разглядел, что этот человек в очках, какие носят многочитающие и потому маловорующие люди. Но ведь была же стремянка и он нес что-то в руках! Что-то не тяжелое, но драгоценное. Может, он выкинул шкатулку, пока был в темноте, и потому не свернул никуда? Надо прочесть дорогу.

Нет, сначала надо позвать людей и отнести труп в больницу. Ласточки, криками взрезая ночной воздух, то стелились над самой землей у фонаря, то ныряли в темноту. Где-то завывала собака. Стали перекликаться проснувшиеся крестьяне, пытаясь понять, кто и почему стрелял. Ласточки вконец осатанели. Но ведь была же стремянка, была же стремянка, или он сошел с ума и это совсем другой человек?!

...Через два месяца после буйного, всесокрушающего запоя Андрей Таркилов вышел из больницы и даже начал работать.

## страх

Все началось вот с чего. Среди ночи Виктор Греков проснулся, и ему до смерти захотелось закурить. Было душно. Тусклый свет южного неба струился из распахнутой двери балкона. Тихо, чтобы не разбудить жену и ребенка, он протянул руку к стулу, стоявшему у изголовья, и вынул из кармана брюк пачку сигарет и зажигалку.

Стараясь не скрипеть кроватью, он осторожно встал и в трусах вышел на балкон. Каково же было его изумление, переходящее в дикий, мистический страх, когда он увидел, что его четырехлетний малыш стоит на балконе и, просунув голову между железными прутьями балконной ограды, смотрит вниз с высоты девятого этажа!

Греков невольно вскинул руку и посмотрел на часы. Он их никогда не снимал на ночь. На фосфоресцирующем циферблате стрелки показывали ровно три часа ночи.

Ребенок не оглянулся на его шаги. Наклон тела и голова, просунутая между железными прутьями, внушали опасение, что ребенок вывалится и грянется об асфальт двора. Греков с хищной осторожностью наклонился и, ухватив его свободной рукой за предплечье, повернул к себе:

— Что с тобой, малыш?

— Ничего, — вяло ответил мальчик.

— Почему ты не спишь? Почему ты здесь? — спросил он у него шепотом, чтобы не разбудить жену.



— Не знаю, — ответил мальчик, — я проснулся, и мне стало грустно.

— Грустно от чего? — спросил Греков, уже присев перед ним на корточки и положив сигареты с зажигалкой на пол. Он прижал к себе ладное тельце малыша. Ему показалось, что он ощущает, как тревожно бьется сердце мальчика.

— Не знаю, — сказал малыш и сонно обнял его за шею.

Греков схватил его и, прижимая к себе, отнес на диван, где мальчик обычно спал.

— Нельзя вставать по ночам, — тихо и грозно шепнул он ему и взгляделся в его лицо. Расплывающееся в тусклом свете, лицо малыша было невыразимо грустным. Греков несколько раз с наслаждением поцеловал его, вдыхая запах детского тела, слаще которого он ничего не знал.

Он снова вышел на балкон, удивленный и потрясенный случившимся, но отчасти и успокоившись, что ребенок теперь в постели. Он поднял сигареты, щелкнул зажигалкой и закурил.

Он снова оглядел прутья балконной ограды и с тревогой подумал, что малыш может легко вывалиться между ними. Он с удивлением думал о словах своего мальчика и вдруг ясно припомнил, что у него самого в раннем детстве бывали приступы неведомой грусти.

Он это помнил, и он знал, что все дети в той или иной степени проходят эту стадию космической грусти. Потом она исчезает, как исчезла у него. Он подумал, что, вероятно, великие люди — это как раз те люди, которые сохраняют в своей душе,

если им удастся выжить, эту свежую космическую грусть, это раннее отчаянье от непонимания начал и концов, которое потом преодолевается, перехлестывается творческой силой.

Нет, он не хотел видеть своего малыша в будущем знаменитым человеком. Он хотел, чтобы из него получился порядочный, интеллигентный человек. Больше он ничего от него не хотел.

Он, Греков, слишком хорошо знал жизнь знаменитых людей. Он преподавал литературу, точнее — русский девятнадцатый век, в одном из московских вузов. И он прекрасно знал биографии всех известных писателей этого века, и все они были великими страдальцами. Сила таланта всегда равнялась силе страданий. Нет-нет, он такой славы, да и вообще никакой славы, сыну не хотел. Докурив, он выщелкнул окурок с балкона, и тот, посверкивая огоньком, полетел в бездну.

Возвратившись в комнату, он подумал, что надо бы запереть дверь на балкон, но тут же отказался от этой мысли. Было душно, а жена его не выносила духоты. Он знал, что, если он запрет дверь, она ему устроит истерику, а он ничего в жизни так не боялся, как ее истерики. Ей и в Москве и тут всегда бывало слишком жарко. Забавно, что теплая морская вода казалась ей слишком холодной. Ни суша, ни вода не могли ей угодить.

Зина Грекова была певицей, и многие считали ее очень талантливой и предрекали ей большое будущее. Ей, как и ему, было всего двадцать семь лет. Она пела русские романсы. Гре-

ков любил ее, а когда она пела, умирал от наслаждения и не мог поверить, что эта женщина принадлежит ему.

И откуда что бралось, когда она пела! Это была молитва о всепрощении, о чистоте, о счастье, которое во время пения было так близко, так возможно, что сердце разрывалось! Казалось, еще один шаг — и все люди окупнутся в какую-то изумительную, светоносную жизнь.

Но вне пения и постели, которая была как бы продолжением пения, она была неряшлива, капризна, раздражительна, мелочна, а иногда приводила его в тихую ярость дремучим равнодушием ко всему на свете, включая собственного ребенка.

Ее духовное зрение было устроено каким-то особенным образом. Она иногда чрезвычайно метко замечала скрытую сущность того или иного явления. Казалось, она видит то, чего не видят другие. К несчастью, границы своего кругозора она не чувствовала. И потому довольно часто плела какую-то несуразную белиберду, и, если они были на людях, Греков стыдилась ее слов и старался знаками или, если они сидели рядом, прикосновением дать ей знать, что пора остановиться. И она, кстати, послушно замолкала и ценила в таких случаях его перестраховку.

Впрочем, ей легко все прощали за ее талант. В том числе и некоторое, еще, правда, не слишком опасное, пристрастие к выпивке. За это ее иногда шутливо называли Пьющим Соловьем.

Больше всего Греков думал о своей стране и жене. В них было много общего — и не только склонность к выпивке. Их

соединяла талантливость и дряблость, отсутствие внутреннего стержня. Хотя с женой они жили вместе всего пять лет, порой, путая страну и жену, он говорил ей:

— За семьдесят лет ты не научилась...

Спохватывался. Иногда оба смеялись.

В этот санаторий, расположенный в Абхазии, на берегу Черного моря, он попал впервые. Санаторий предназначался служащим искусств, и путевки выхлопотала жена. «Зиночкин муж», называли его здесь за глаза, но он на это нисколько не обижался.

Здесь жили композиторы, писатели, актеры, певцы. Такого большого сборища служителей искусств Греков никогда и нигде не встречал. Больше всего его здесь поразила неутомимость актеров в питье и удивительная далекость писателей от книг. Разумеется, кроме своих книг.

Здесь было несколько писателей, к творчеству которых он относился с любовью и уважением, но, увы, и они оказались не слишком начитанными.

Однажды в компании писателей он завел речь о критике Страхова, но его никто не знал. По мнению Грекова, не знать Страхова было невозможно, зная творчество Толстого и Достоевского. Бедняга Греков слишком был уверен, что они достаточно знают Толстого и Достоевского. Иногда Грекову казалось, что они и друг друга не читают.

И хотя Греков был огорчен слабой образованностью писателей, которых он уважал, он еще больше восхищался их

природным талантом. По-видимому, думал он, пластический дар сам на ходу дообразовывает писателя. А может быть, каждый писатель образован в меру своего таланта? Зачем Есенину образованность Льва Толстого, она бы его раздавила.

Так думал он, лежа в постели, стараясь прислушиваться к дыханию сына, чтобы понять, он спит или нет. Определить было трудновато, но, так как сын не шевелился, Греков успокоился и через час уснул сам.

Утром он рассказал жене о ночном происшествии.

— Ничего особенного, — отвечала она, — ребенку приснилось что-то страшное, и он проснулся. А так как в номере очень душно, он вышел на балкон.

— Да, но он мог упасть вниз, — сказал Греков, — он стоял, просунув голову в решетку балкона.

— Ну и что? — отвечала жена. — Ему четыре года. Он все понимает. Ты же не боишься за него, когда он днем играет на балконе?

Грекову было нечем крыть. В самом деле, днем ребенок, если они не гуляли, играл на балконе. И не было страшно. Но ночью?

Рассказывая о случившемся, он надеялся, что, может быть, она сама скажет, что дверь на балкон надо закрывать, хоть и душно. Но она этого не сказала.

Более того, лениво полюбопытствовав у сына, почему он ночью выходил на балкон, она услышала, что он ничего не помнит.

— А не приснилось ли тебе все это? — сказала она мужу. — Не обижайся, милый, но мне всегда казалось, что у тебя с головой не все в порядке, хотя ты и очень умный человек.

Именно это он думал о ней, но никогда не осмеливался сказать. Такое дремучее равнодушие ко всему, кроме ее искусства, ему всегда казалось следствием какого-то вывиха.

Но он посмотрел на ее мальчишески стройную фигуру, нежное лицо, тонкие загорелые руки и ничего не ответил.

В тот же день после завтрака они пошли на базар покупать фрукты. Малыш полюбил здесь виноград «изабелла», и после раннего ужина он на ночь ел фрукты, и особенно налегал на виноград. Они поощряли его любовь к черному винограду, считая, что он склонен к малокровию.

Они купили виноград, инжир, а когда им взвешивали груши, Греков услышал рассказ продавщицы яблок. Она обращалась к соседней продавщице:

— Утром пошла за хлебом. Подхожу к дому, навстречу соседки: «Посмотри, где твой сын!» Смотрю, сын мой стоит на подоконнике и смотрит вниз с третьего этажа. Я его оставила дома одного и забыла закрыть окно на шпингалет. А он влез на подоконник и распахнул окно. Я чуть не поседела от страха. Крикнуть «Слезай!» боюсь — упадет. Ни жива ни мертва бегу вверх на свой этаж. Ключ не попадает в скважину. Наконец открыла, подбегаю. Сграбастала его — и вниз! Лупцую и плачу! Плачу и лупцую!

Оледенев от ужаса и сжимая руку сына, Греков слушал рассказ этой женщины.

— А сколько лет вашему сыну? — спросил он, удерживая голос от дрожи.

— Два годика, — ответила женщина, повернувшись к нему, и, заметив, что он держит за руку своего мальчика, словно в награду за спасение своего сына, вдруг перегнулась через прилавок и протянула ребенку краснобокое яблоко: — Ешь, сынок!

Малыш молча взял яблоко, а жена Грекова, явно не слышавшая рассказа продавщицы, но увидев подаренное яблоко, строго напомнила сыну:

— Что надо сказать?

— Спасибо, — сказал сын, стараясь зубами преодолеть крутизну большого яблока.

Греков не считал себя суеверным человеком, но он был потрясен, что этот рассказ продавщицы услышал именно сегодня. В этом ему почувствовалось какое-то мистическое предупреждение. Сейчас он в одной руке держал сумку с фруктами, а другой рукой крепко придерживал своего мальчика, словно боясь, что какая-то неведомая сила оторвет малыша от него.

Когда они вернулись в свой номер, Греков вышел в коридор и пошел искать горничную. Он хотел попросить у нее веревку, чтобы пропустить ее между прутьями балконной решетки и сделать невозможным падение мальчика. Он слегка стыдился, думая, что горничная его не поймет. Но она его поняла, а точнее говоря, он ей нравился, и ей приятно было ему угодить. Она достала откуда-то моток веревки и вручила ему.

— Будете уезжать — принесете, — сказала она.

— Спасибо. Конечно, — ответил он и взял моток. Он вынес его на балкон, размотал и один конец привязал к крайней стойке ограды, а дальше тянул веревку, натуго привязывая ее к прутьям ограды. Так он дошел до другого края балкона. Веревки оставалось еще много, и он, взяв повыше, еще одним рядом переплел прутья ограды. Теперь получилось два поперечных ряда веревки, и ребенок никак случайно не мог выпасть между прутьями.

Жена Грекова не сразу заметила, чем он занимается, а заметив, сострила:

— В доме помешанного не говорят о веревке.

Но он так был доволен проведенной операцией, что сам с удовольствием расхохотался: пусть так думает!

В эту ночь Греков спокойно спал и ни разу не проснулся. Но в следующую ночь он опять проснулся, взглянул на диван и, холодея, понял, что сын опять встал. Он вскочил и вышел на балкон. Ребенок опять стоял на краю балкона и, просунув голову между веревками, смотрел вниз. Он схватил его в охапку и, тихо ругаясь, шлепнул на диван. Малыш не произнес ни слова.

Греков улегся в постель и теперь лежал, чутко прислушиваясь к дыханию ребенка. Минут через десять ему показалось, что ребенок уснул. Сам он почти до утра не мог сомкнуть глаз.

Он решил, что двух рядов веревок, которые он протянул вдоль балконной ограды, недостаточно. Сейчас, конечно, ребенок случайно вывалиться не мог, но он мог пролезть между веревками и соскользнуть вниз.



Утром после завтрака он обошел окрестные магазины и лавки, но веревок нигде не продавали. Что-то надо было делать для спасения ребенка. Теперь он был уверен, что с ним может случиться что-то страшное, если он, Греков, не переломит ход судьбы.

В одном из местных дворов он увидел длинную бельевую веревку, протянутую между сараем и домом. Он решил ночью срезать ее и унести на свой балкон. Впервые, будучи взрослым человеком, он решил украсть. Каким-то краем сознания он удивился легкости своего решения. Но если вопрос стоит так: или гибель ребенка, или украсть веревку, неужели он должен взвешивать?

Днем они купались в море. Жена после купания обычно вытягивалась на берегу и лежала, закрыв глаза. Неподвижно так она могла лежать долго, очень долго.

А он чутко следил за ребенком, болтающимся у кромки прибоя. Обычно малыш неохотно входил в воду, приходилось его уговаривать, а потом, привыкнув к воде, он никак не хотел вылезать из моря.

Греков и раньше вполглаза следил за ним, чтобы откатная волна случайно не затянула его в глубину. Но сейчас он не сводил с него глаз, хотя прибой был очень слабым. Ребенок не умел плавать. Греков считал, что учить плавать его рано. Но сейчас ему казалось, что даже эта слабая прибойная волна может его неожиданно шлепнуть, он захлебнется, растеряется и утонет у самого берега. Умом он как бы понимал, что это невероятно, но предчувствие беды его не оставляло.

Наконец, устав следить за ним и устав любоваться стройным, загорелым телом своего мальчика, он пошел в воду.

— Ты следи за ним, а я заплыву, — сказал он жене.

— Хорошо, — ответила она, продолжая лежать с закрытыми глазами.

— Я сказал — следи! — повысил голос Греков, сам удивляясь своему раздражению.

Жена неохотно присела и посмотрела в сторону сына. Греков заплыл далеко в море, и ему вдруг стало спокойно, хорошо. Сейчас он, вспоминая свои тревоги, удивлялся им. Здесь — ни страны, ни жены, ни сына, кругом теплое, могучее море. Сейчас он объединил их по признаку болезненного слабосилия, которое угнетало его. Ему вдруг захотелось оставить все и плыть, плыть, плыть в открытое море, пока хватит дыхания. Он понимал, чем это может кончиться, но так хорошо было в море, что он с трудом в конце концов заставил себя повернуть.

На обратном пути он издали заметил, что ребенок слишком смело вошел в воду и ныряет. Плавать он еще не умел, но нырять кое-как уже научился. Сейчас он был почти по грудь в воде. Так далеко он никогда не отходил от берега. А жена опять улеглась, и с моря было трудно понять, следит она за сыном или нет.

Сын продолжал неуклюже нырять и выскакивать из воды. Малыш не понимал, что, нырнув, может случайно вынырнуть в таком месте, где не достанет ногами дна, испугается и утонет. Грекова снова охватил ужас.

Он хорошо плавал и теперь кролем припустил к берегу. Но он не рассчитал свои силы и метров через пятнадцать начал задыхаться и наглотался воды. Он вынужден был остановиться и перейти на более спокойный брасс. Сердце бешено колотилось, словно выламываясь из грудной клетки. Ребенок все еще плюхался в воду и нырял. Слава Богу, он все еще был только по грудь в воде. Но один случайный, сильный гребок под водой — и он, вынырнув, может не нащупать ногами дна и от страха утонет. Греков слышал о таких случаях, когда люди, не умеющие плавать, тонули у самого берега и этого никто вовремя не замечал.

Уже в десяти метрах от сына Греков заметил, что мальчик все-таки немного снесло и он теперь, вынырнув, стоял в воде почти по горло. В этот день вода была очень тихая, и, вероятно, мальчик оттого так осмелел. Сейчас он нырнет и, может быть, не вынырнет.

— Алеша! — закричал Греков изо всех сил и увидел, что сын его, уже приготовившийся нырять, посмотрел в сторону отца, узнал его, улыбнулся и, словно хвастаясь перед ним своим достижением, нырнул. Попка его в красных трусах две-три секунды еще торчала над водой, а потом исчезла.

Задыхаясь от волнения и в то же время цепко держа глазами место, где сын нырнул. Греков, напрягая все силы, поплыл в сторону мальчика. Его ноги лупили по воде с пулеметной скоростью. Через несколько секунд он был у того места, где нырнул сын, и, не дожидаясь его появления над водой, нырнул сам. Он быстро заметил золотящееся у дна те-

ло сына, подхватил его обеими руками, стал на дно и вытянулся над водой.

— Папка, отпусти! — кричал сын, мотаясь на его руках. Но Греков, тяжело дыша, вышел с ним на берег, положил сына на песок и шлепнулся рядом. Он долго лежал на песке, стараясь прийти в себя и отдышаться. Сперва он хотел прикрикнуть на жену, но, когда выбрался, не было сил, а сейчас, когда отдышался и пришел в себя, понял, что это бесполезно. Она вообще ничего не заметила. В сущности, ничего и не было, отдышавшись и отрезвев, думал теперь и сам Греков.

Однако о веревке он не забыл. Поздно ночью он покинул санаторий и пробрался во двор дома, где висела бельевая веревка. Слава Богу, в доме все спали. Сгорая от стыда, он срезал веревку, на которой, видимо, забытые, висели детские трусики, зажатые прищепкой. Эти трусики его почему-то смутили. Они были такие ветхие. Видимо, веревка принадлежала очень бедной семье. Он вынул из кармана десятку, завернул ее в трусы, закрепил прищепкой и положил на верхнюю ступеньку крыльца, ведущего в дом.

Он сложил веревку и отправился в свой санаторий. Лифт поднял его на девятый этаж. Жена и ребенок уже давно спали, он открыл дверь ключом и тихо вошел в номер. Он вышел на балкон и сбросил на пол моток.

Он снова оплел прутья балконной ограды еще двумя рядами веревки. Теперь он был уверен, что сын никак не сможет выпасть с балкона, даже если будет продолжать вставать по ночам. Успокоившись, Греков лег и блаженно проспал до утра.

В следующую ночь он проснулся, как от толчка. Он быстро поднял голову и увидел, что сына нет на диване. Он бросил взгляд на балкон, но и там не было сына. Малыш выпал! Уже в предобморочном состоянии, однако же помня, что нельзя шуметь и будить жену, он вышел на балкон. Сын стоял в углу балкона, потому-то он его не заметил из номера. Просунув голову между веревок, малыш смотрел вниз. Греков схватил его в охапку, безумно радуясь, что сын жив, и, уже не в силах что-либо сказать, отнес его на диван.

Он лег на кровать и долго не спал, думая, как быть дальше. Теперь он решил, что балконную ограду надо перекрыть поперек. Если решетка окажется достаточно густой, малыш не сможет просунуть голову наружу. Для этого не обязательно веревка. В тот раз, когда он обходил магазины и лавки, он в одном месте видел хорошие брючные ремни и теперь решил купить их.

Он вдруг отчетливо вспомнил, как сын его, когда ему было полтора года, упал со стула. Он стоял на стуле, ручонками опершись о стол. Вдруг стул пополз назад, и ребенок полетел на пол. Он помнил, как тогда его поразил страх за ребенка и одновременно он испытал странное восхищение невероятной красивой позой падающего ребенка. Растопырив руки, выгнувшись, он ласточкой слетел на пол. Тогда ребенок почти не ушибся, но сейчас, вспоминая об этом, Греков воспринимал тот случай как далекое предупреждение.

На следующий день он купил пятнадцать брючных ремней и поперечными линиями прикрепил их к балконной ограде. И опять в эту ночь он спокойно спал, и ничего не случилось.

Но в следующую ночь он снова проснулся и снова обнаружил, что сына нет в постели. Он выскочил на балкон. Сын стоял на нижней линии протянутой им веревки и, высунувшись по плечи над перилами веранды, смотрел вниз.

Боже, боже, он схватил его и перенес на диван. Он лег и теперь с ужасом думал, что сделал рискованней положение ребенка. Когда не было веревок и ремней, малыш просто смотрел вниз сквозь прутья ограды. А теперь, стоя на веревке, он мог потерять равновесие и вывалиться через перила. Теперь Греков уже не мог заснуть и лежал в полузабытьи, прислушиваясь. Еще два дня и две ночи прошли. И теперь он уже не спал по ночам, прислушиваясь к дыханию малыша. Две последние ночи ребенок как будто не вставал, но Греков не был в этом уверен. Теперь он не всегда мог понять, дремал он или бодрствовал в ночные часы.

Он ничего не говорил жене, понимая, что это бесполезно, и боясь выглядеть смешным. Он чувствовал, что с ним что-то происходит, он чувствовал, что нечто, может быть судьба, проверяет силу его привязанности к малышу.

В следующую ночь, когда жена и сын уснули, а он лежал без движения, прислушиваясь к дыханию сына, отчаянье захлестнуло его. Он понял, что не выдержит бессонницы этой ночи.

И вдруг он неожиданно нашел выход из этого чудовищного тупика. Он понял, что балкон требует жертвы. Без жертвы не обойтись. Иначе почему его сын, никогда не страдавший лунатизмом или чем-нибудь подобным, встает по ночам, выходит на балкон и, высунувшись, смотрит, смотрит вниз? Примеривается.

Он абсолютно ясно понял, что жертва должна быть, но ее можно заменить. Надо самому прыгнуть, и тогда с сыном ничего не будет: в воронку от снаряда не попадет второй снаряд.

Он тихо встал и оделся. Ему было стыдно представить, что его, мертвого, найдут на асфальте в одних трусах. Он вышел на балкон и посмотрел вниз. Вымощенный асфальтом двор санатория был пустынным. Горели редкие фонари. Он думал, что страшнее всего будет лететь вниз. Но ведь это продлится всего пять-шесть секунд. Он понимал, что, прыгнув с девятого этажа, он может испытать только мгновенную боль. А сколько боли он перенес в эти бессонные ночи? От такой прямой выгоды ему даже стало стыдно.

С балкона восьмого этажа прямо под ним доносились голоса людей, взрывы смеха, споры. Он знал, что там живет известный писатель с женой. Греков успел познакомиться с этим писателем, книги которого ему нравились. Если хозяин дома или его гости заметят пролетевшее мимо них тело, они будут первыми свидетелями его смерти.

Греков перелез через балконную ограду и вдруг, перед тем как прыгнуть, прислушался к громкому монологу одного из гостей писателя.

Этот человек стал страстно ругать поэта Александра Блока. Именно потому, что Греков очень любил стихи Блока, он прислушался к словам сердитого гостя.

Тот ругал Блока, доказывая, что поэт своей завораживающей декадентской музыкой убаюкивает читателя и тем самым скрывает свою постоянную неточность и фальшь.

— Вот хотя бы его знаменитые стихи, — сказал человек и стал читать:

*Превратила все в шутку сначала,  
Поняла — принялась укорять,  
Головою красивой качала,  
Стала слезы платком вытирать.*

*И, зубами дразня, хохотала,  
Неожиданно все позабыв.  
Вдруг припомнила все — зарыдала,  
Десять шпилек на стол уронив.*

*Подурнела, пошла, обернулась,  
Воротилась, чего-то ждала,  
Проклинала, спиной повернулась  
И, должно быть, навеки ушла...*

*Что ж, пора приниматься за дело,  
За старинное дело свое.  
Неужели и жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твое?*

— Знаменитая блоковская музыка, — продолжал человек таким голосом, как будто Блок его лично когда-то обидел и он до сих пор помнит эту обиду, — заменяющая всякий смысл и скрывающая отсутствие этого смысла. Представим себе разрыв ко-



гда-то горячо любивших друг друга людей. Может ли быть, чтобы в этот трагический, судьбоносный час лирический герой сидел бы и пересчитывал, сколько именно шпилек уронила она на стол? Но может быть, это дебил, не понимающий, что происходит? Поэт явно так не думает, и потому выходит, что он сам неумный человек. Ведь ясно, что человеческий глаз машинально может зафиксировать, ну, четыре, ну, пять шпилек. Но никак не десять. Чтобы определить такое количество шпилек, надо с тупоумием идиота старательно их пересчитать. Но в такой трагический час с нормальными людьми так не бывает. Если автор не видит, что герой его глуп, значит, простите, сам он глуп.

Десять шпилек на стол уронив!

Здесь даже чувствуется совершенно неуместное самодовольство героя. Видите, как она меня любит, она уронила десять шпилек! Рекорд! Другие роняли гораздо меньше шпилек...

Тут компания расхохоталась. Явно довольный смехом компании, человек продолжал:

— Эта лжеточность как бы служит доказательством реальности всей сцены, а на самом деле служит доказательством холодной выдумки автора. И так у него во всем. Но знаменитая блоковская музыка опьяняет читателя, и он всему верит. Вернее — верил! Пора сказать правду об этом кумире начала века!

Греков поразился всей неразумной логике этого неведомого критика Блока. Что-то с необыкновенной силой вспыхнуло у него в голове. И эта вспышка означала: разум

нужен здесь, на земле!!! Но Греков этого не осознавал, он только почувствовал в себе могучую, жизнетворящую силу несогласия.

— Чушь! — громко крикнул он вниз. — Все не так!

На нижнем балконе стало тихо. Через несколько секунд оттуда осторожно высунулось мясистое лицо в очках. Лицо оглядело Грекова, потом посмотрело вниз, как бы в поисках его возможного собеседника, и, не найдя такового, знакомым голосом произнесло:

— То есть как это — не так? Кто вы такой?

— Сейчас я вам все объясню, — ответил Греков. Он быстро наклонился, ухватился руками за края железных прутьев и свесился вниз. Женщины заверещали.

— Вы, сумасшедший! — крикнул человек в очках и сделал шаг назад, потому что ноги Грекова болтались сейчас у самого его лица.

— Это муж Зинаиды Ивановны, — воскликнула жена писателя, внося непонятную ясность, — они живут над нами.

Греков слегка раскачался и прыгнул на чужой балкон. Он удержался на ногах. Боль от удара ног о цементный пол пронзила его, и он вспомнил, куда он собирался прыгать до этого. Если вот так прыгать с этажа на этаж, что-то объясняя людям, мельком подумал он, самоубийство станет невозможным.

Балкон был ярко освещен. На столе сверкали две вазы с фруктами и две початые бутылки коньяка. Здесь оказались три женщины и трое мужчин. Сейчас все они стояли. Когда

он удачно спрыгнул на балкон, все радостно загалдели, а одна из женщин, кажется, это была жена писателя, зааплодировала ему.

— Явление Христа народу, — сказал человек в очках. — Может, у вас, кроме прыжка на балкон, есть еще аргументы? Мы вас слушаем.

— Конечно, — сказал Греков, чувствуя огромный прилив сил и возбуждение.

Все от него ждали чего-то необычного.

— Садитесь, — гостеприимно сказал Греков и вдруг, сам того не ожидая, протянул руку к столу, взял чей-то стакан, щедро налил себе коньяк и движением руки со стаканом объединил всех: — За ваше здоровье!

Это действие Грекова, кажется, удивило компанию не меньше прыжка на балкон. Греков выпил мягкий, маслянистый, крепкий коньяк.

— Мир рушится, — сказал Греков важно, — но армянский коньяк сохранил свои качества. Значит, в принципе мир можно восстановить.

Греков поставил стакан на стол. Все удивленно проследили за стаканом, как если б ожидали, что Греков, выпив, швырнет его с балкона.

— И это все, что вы нам хотели сообщить? — насмешливо спросил человек в очках.

В это время хозяйка вынесла из номера стул, и Грекова усадили.

— Не все, — сказал Греков, — но и это немало.

— Вам, кажется, не понравились мои рассуждения о Блоке? — не отставал от него человек в очках. — Может, вы укажете, в чем я ошибся?

С этими словами он снял свои очки и тщательно протер их платком, словно очки должны были помочь ему слушать Грекова. И Греков терпеливо дождался, когда тот водрузил очки на место.

— Во всем, — твердо ответил ему Греков. — Великий поэт не может ошибиться, если речь идет о правде душевного состояния. Обратите внимание, что в стихотворении действует только женщина. Она хохочет, может быть, бессознательно, стараясь напомнить любимому то время, когда ему так нравился ее смех. Она ждет, она плачет, она проклинает и, наконец, уходит. Должно быть, навеки. Во всей этой сцене поэт чувствует только свое омертвление: любовь ушла. Именно в состоянии омертвления он выслушивает ее и машинально пересчитывает шпильки, упавшие на стол. Ничто так не говорит о его омертвлении, как то точное перечисление количества шпилек. И хотя сам он понимает, что вместе с этой женщиной, вероятно, отшумела и его жизнь, но он не может преодолеть этого омертвления. Он мертв, женщину некому пожалеть, и именно потому мы, читатели, потрясены жалостью к этой женщине. Он мертв как человек, но жив как поэт, ибо кто, как не он, так выстроил всю сцену, что мы невольно становимся защитниками ее незащитной любви. Что касается музыки Блока, то она как раз и порождена его искренностью навывлет, а совсем не желанием кого-то обмануть.

— А ведь он прав, черт подери! — крикнул хозяин. — Умри, Шура! Выпьем за Блока!

— Послушайте, а кто вы такой? — обидчиво сказал человек в очках. — Вы что, поэт? И вы всегда шныряете по чужим балконам?

— Я преподаватель литературы, — сказал Греков, — я случайно услышал вас и решил исправить вашу ошибку.

— Странное место вы избрали, чтобы слушать меня, — сказал человек в очках, — очень странное...

— Шура, не придирайся, — крикнул хозяин, — он абсолютно прав!

Все выпили, и всем стало хорошо. Хозяин дома сказал, что они тут долго спорили об источнике религиозного чувства, и попросил Грекова высказаться по этому поводу. Сейчас Грекову казалось, что в мире нет неясных вопросов.

— Этическая энергия, которую чувствует в себе человек, подталкивает его к мысли, что где-то есть источник этой энергии, — начал Греков, размышляя вслух. — Представим себе ребенка, выросшего на необитаемом острове. Он никогда в жизни не видел женщины. Однажды он физически созревает, и его эротический компас начинает упорно указывать на какую-то невидимую точку, и он начинает догадываться, что где-то должна быть женщина, хотя он ее никогда не видел...

Все рассмеялись.

— И тут ему подворачивается коза! — неожиданно добавил хозяин.

Все опять засмеялись, и особенно громко хохотал критик Блока, кивая на Грекова: дескать, уели его. Но Греков не смутился и не растерялся.

— Ничего не меняется, — сказал Греков, — а козу можно уподобить языческому богу.

— Ешьте виноград, — кивнула хозяйка Грекову, — я так любила местный виноград.

— Спасибо, — сказал Греков, — не хочу. Это мой сын большой любитель местной «изабеллы».

Хозяин вдруг внимательно посмотрел на Грекова спросил:

— А ваш любитель «изабеллы» не выходит ли по ночам на балкон?

— Выходит, — изумился Греков, — но откуда вы знаете?!

— Я тут по ночам иногда работаю на балконе, — сказал хозяин, — и пару раз видел, как сверху летит струйка. Не беспокойтесь, наш балкон не задевает. Но за седьмой этаж не ручаюсь...

— Так вот в чем дело! — воскликнул Греков и запнулся. Потом добавил: — Спасибо, друзья, мне пора домой.

Он встал.

— Вы уйдете отсюда? — ехидно сказал человек в очках и кивнул в забалконную ночь.

— Нет, — улыбнулся Греков, — я ваш вечный должник...

— Почему? — взревел человек в очках, но Греков уже, сопровождаемый хозяйкой, шел к выходу.

В передней, открыв дверь, она его вдруг поцеловала. Греков удивленно посмотрел на нее. Тут только он обратил внимание на то, что она была красивой женщиной.

— Заслужил, — кивнула она серьезно и закрыла за ним дверь.

Греков взлетел на свой этаж. Мысль его работала с молниеносной быстротой. Все ясно. Ребенок, вместо того чтобы, проснувшись ночью, пойти в туалет, где он не доставал до выключателя, выходил на балкон. А потом задерживался там то ли из-за духоты, то ли замороженный высотой.

Вообще, весело подумал Греков, мужчина, достигнув какой-то высоты, будь то скала или башня, деловито начинает мочиться вниз, если ему какие-то обстоятельства не мешают это сделать. Греков это часто замечал. Что это — знак победы или способ самоуспокоения? Оказавшись над бездной, помочись в нее, и бездна не будет столь страшной, подумал Греков, неизвестно к кому обращаясь, может быть, даже к собственной стране.

Впервые в жизни Греков властно постучал в собственную дверь. Он до того необычно постучал в дверь, что жена, проснувшись и подойдя к двери, тревожно спросила:

— Кто там?

— Я, — сказал Греков.

— Когда ты вышел? Зачем ты вышел? — злобно прошипела она, открывая дверь.

— Надо было, — сказал Греков и, пройдя в номер, закрыл дверь на балкон, щелкнув ключом, торчавшим в скважине. Он не вынул ключ, потому что ясно понимал, что ребенок не сможет его повернуть. Все стало на свои места. Жена уже сидела на своей постели, когда он начал запирать дверь.

— Открой сейчас же, — яростно зашептала она, вскочив, — мы задохнемся! Сумасшедший!

Греков подошел к ней и впервые в жизни вlepил ей пощечину. Пощечина оказалась крепкой. Жена упала на постель. В следующее мгновение она вскочила с постели как фурия. Глаза ее светились в полутьме. Она явно готовилась к бешеному отпору. И вдруг по самой позе Грекова она поняла, что грядет не менее сокрушительная пощечина. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. И она не выдержала. Она закрыла лицо рукой и умоляющим голосом прошептала:

— Тихо. Ребенок проснется.

— Вот это голос женщины, — сказал Греков и, бодро раздевшись, лег. К изумлению жены, через минуту он уже спал.

...С тех пор прошло три года. Жена Грекова почти перестала капризничать, почти справилась со своей неряшливостью и равнодушием ко всему на свете. Они теперь вполне прилично живут. Но, увы, она стала петь гораздо хуже. Многие это заметили, но никто не знал, почему она стала петь гораздо хуже. Даже Греков об этом не знал.

## о, мой покровитель!

За участие в альманахе «Метрополь» я был подвергнут легкому остракизму, и меня отгоняли, правда не слишком шумно, от редакционных улей, когда я приближался к ним с тем, чтобы там мирно попастьись. Я думал, сторожа некото-



рых полей, удаленных от центральной усадьбы, не извещены о моем остракизме, и хотел воспользоваться этим. Но сторожа все знали. Самые сердобольные из них предлагали для заработка порыться в сорняках этих полей, отделяя плевелы от якобы зерен в редакционной почте, но я с этими предложениями никак не соглашался.

Альманах этот был издан без разрешения начальства не то в трех, не то в пяти экземплярах. Я уже забыл. Правда, один экземпляр был вывезен в Америку и там издан типографским способом. Но это случилось несколько позже.

Начальство, заранее узнав, что альманах готовится к изданию, вкрадчиво просило включить в редколлегию кого-нибудь из них, причем по нашему выбору. Но мы отказались. Весь смысл альманаха был — могут ли в России появляться какие-либо издания без участия идеологического начальства.

И начальству это было обидно. И оно сначала просило нас этого не делать, потом умоляло нас этого не делать, а потом подняло страшный шум, грозя всему миру, что альманах будет способствовать переходу «холодной войны» между Россией и Америкой в «горячую». Казалось, мы собирались поджечь собственный альманах и сунуть его в жерло какой-нибудь атомной пушки, если таковая имеется. Но если таковая и существует, кто бы нас к ней подпустил?

Как бы прислушиваясь к возможной атомной канонаде, всем участникам альманаха назначили некоторые меры наказания. Но никого не арестовали, может быть сгоряча заранее объявив нас людьми слабоумными.

Говорят, альманах этот был прочитан в главном идеологическом управлении партии. Главный идеолог ругал каждое произведение альманаха, когда же дошел до моего рассказа «Маленький гигант большого секса», вдруг расхохотался. Ну, если там еще не разучились смеяться, подумал я, больших наказаний не будет. Так и случилось. Года два, освобожденный от попыток печататься, я сидел и писал, пожалуй, самую непроходимую мою повесть «Стоянка человека». Даже если бы я не принимал участия в нашем несчастном альманахе, ее никто бы никогда не пропустил. Но, как это иногда бывает в мрачных обстоятельствах, по сложной психологической причине у меня вдруг написалась глава совершенно самостоятельная и довольно светлая. Абсолютно никакой политики ни в одной фразе не было, и я решил попробовать начать печататься.

Чтобы не путаться в ногах мелких идеологических клерков, я позвонил редактору журнала, где иногда публиковался, и сказал, что у меня есть вполне печатный рассказ и, если я близок к окончанию отбытия литературной изоляции, я могу его принести. О сроке изоляции может знать только он, как редактор журнала, и я ему полностью доверяю. Так я сказал. Я думаю, эта небольшая лесть сыграла большую роль.

— У нас наказание носит диалектический характер, — бодро ответил он. — Но после всего, что случилось, вы сами должны понимать, насколько рассказ обязан быть идеологически чистым.

— Именно такой рассказ я написал, — сказал я, стараясь поддержать его бодрость.

— Посылаю курьера, — выдохнул он, как бы идя на смертельный риск и одновременно мечтая получить либеральный куш, потому что никто из участников альманаха еще не печатался.

Суть рассказа заключалась вот в чем. Мой герой, Виктор Максимович, во время подводной охоты чуть не утонул. После этого случая сердце его стало барахлить в море. Ни один врач не мог понять, в чем дело. У него появился комплекс страха перед морской водой. Он перестал купаться в море.

Однажды он далеко в море рыбачил с мальчиком. Их лодку перевернули раскуражившиеся пьяные рыбаки. Очутившись в ледяной воде с мальчиком, Виктор Максимович был так озабочен спасением его, что забыл о своем сердце, и они благополучно приплыли к берегу. С тех пор он перестал бояться плавать в море, и сердце не давало о себе знать. В сущности, в этой новелле я демонстрировал мысль Льва Толстого о пользе забвения себя. Придаться было не к чему. О классовом происхождении спасаемого мальчика даже наша пропаганда стыдилась говорить.

Курьер в тот же день забрал рассказ. К вечеру я позвонил редактору, и он радостным голосом поздравил меня: вещь идет!

— Я отдал рассказ в отдел прозы, — добавил он. — Там у вашего Покровителя есть несколько мелких замечаний. Приезжайте завтра к нему и утрясите все. Рассказ идет в ближайшем номере.

На следующий день я бодро шел в редакцию. Я был рад и вместе с тем обеспокоен: какие замечания у Альберта Але-

ксандровича, моего так называемого Покровителя? Уже давно у нас с ним установились странные, двусмысленные отношения.

Когда-то, мы еще не были знакомы, он дал положительную рецензию на мою первую сатирическую повесть «Созвездие Козлотура». Я ему, естественно, был благодарен за эту рецензию.

Я тогда еще не знал, что Альберт Александрович по-своему грандиозная личность. В день появления рецензии мы созвонились и встретились в Клубе писателей. Мы долго сидели, крепко выпили, и он уже за полночь пригласил меня к себе домой. Я был по советским меркам молодой писатель, а он тогда по моим кавказским меркам казался гораздо старше меня. Как же было отказаться?

Жил он где-то в центре. Мы уже были настолько пьяны, что, добравшись до дверей его квартиры, производили странные и долгие манипуляции, смысл которых и сейчас мне не ясен. Он был такого же среднего роста, как и я. Но почему-то надо было взгромоздить его к себе на плечи, чтобы он в конце концов мог открыть дверь.

Что он делал на моих плечах? Скорее всего, я думаю, у него высоко в дверь был врезан второй замок, и он, перед тем как отомкнуть вторым ключом дверь, долго наблюдал в замочную скважину. Мои пьяные плечи подламывались под ним.

Как я теперь понимаю, он очень боялся жены и очень хотел продолжить выпивку. Высокогорная разведка обнаружи-

ла в доме отсутствие бдящего поста, и он решил открыть дверь. Знаками показывая, что тишина должна быть достойна разведки, он на цыпочках проводил меня на кухню. Мы осторожно вдавили кухонную дверь внутрь и расселись. Он разул сам и предложил разуться мне.

После этого он открыл дверь одного из двух холодильников и горделиво предложил мне туда заглянуть. Я так и ахнул, не счесть алкогольных алмазов в каменных пещерах. Он вынул бутылку виски, достал откуда-то два стакана, и мы продолжили пиршество.

После первых двух-трех глотков он вдруг расплакался вполне натуральными слезами, и, если б я мог верить словам, которые произносились между икотой и вздохами, получалось, что я предпоследний коммунист в стране, а он последний. Других нет.

— Я не коммунист, — сказал я, чтобы не было ложных иллюзий.

— Знаю, — кивнул он мрачно, — но я же не о формальном членстве говорю. Козлотуры повсюду побеждают, а наверху ничего не делают.

Боже, боже, теперь я понял, почему он написал положительную рецензию на мое «Созвездие Козлотура»! Но не мог же я ему сказать, что как раз наверху сидят главные козлотуры, время от времени почесываясь и боковым движением рога сбрасывая кого-нибудь вниз. В этот исторический момент был как раз сброшен Хрущев. Нет, не сказал я ему ничего такого.

Космический характер разложения, охватившего страну, никак не давал мне повода думать, что холодильник, наполненный напитками, тоже след этого разложения. После его горьких слез я воспринимал этот холодильник, набитый отнюдь не только патриотическими напитками, скорее как запасы для дальнейшего оплакивания судьбы коммунистического движения.

Однако после первого стакана, то ли махнув рукой на разложение, то ли указывая на энергические действия с какой-то далеко идущей целью, опережающей разложение, он вдруг принялся, как скифский вождь, рассказывать мне о женщинах, взятых в полон лично им.

К похабству этих рассказов прибавлялись какие-то гастрономические призывы, словно он мне объяснял способ поедания живых устриц или чего-нибудь не менее экзотического.

Время шло. Мелькали в его рассказах города и страны. Он же был журналист-международник. Он дошел, казалось бы, до благополучной, опереточной Вены, но тут все сорвалось.

— Ты представляешь, — начал он, — голый сижу в Вене на венском стуле. А она...

В каком виде была она, я так и не узнал никогда. В кухню с громкой руганью ворвалась его жена, и стало совершенно ясно, что вся его затейливая исповедь была подслушана ею из-за стены. Мы были уверены, что она давным-давно спит. Мы забыли о ней, но она сама о себе не забыла.

Теперь ясно, что голос его по ходу выпивки приобретал чрезмерный пафос, тем более со своими иностранными поло-

нянками даже в пересказе он иногда переходил на плохой английский язык. А если учесть сложность его советских эротических замыслов, ему и там не раз приходилось повторять одно и то же, усиливая голос. Европейки его явно не сразу понимали. Тем более я. Вот жена и проснулась (если она вообще спала, а не затаилась). Но возможно и другое.

Возможно, его венское приключение, если жена о нем знала, носило на себе следы такой вычурности, что она уже не в силах была выслушивать это еще раз.

Возможно, находясь именно в Вене, он, как марксист, пытался запутать, высмеять, вывернуть наизнанку теорию Фрейда. Но удалось ли ему это и что именно там происходило, осталось для меня навсегда тайной.

Я никогда не испытывал такого стыда. Немолодая, незнакомая женщина врывается к нам в ночной рубашке и разоблачает нас как грязных мерзавцев. Особенно глупой в эту минуту была его смущенно-обиженная улыбка: не дала допеть песню.

И вдруг он важно сказал, поворачиваясь ко мне:

— Это восточный человек. И мы сейчас с ним, как это принято на Кавказе, выпьем за хозяйку дома из своих туфель!

Боже, боже, у него в голове все спуталось: давний обычай гусар пить из туфелек своих возлюбленных с тяжелым прощальным рогом кавказского застолья.

С этими словами он, неловко наклоняясь и проливая виски, начал искать глазами свои туфли.

Она закричала.

Я быстро нашел свои туфли, от ужаса допил стакан, промчался мимо хозяйки и каким-то образом очутился на улице. Уже там я надел туфли, содрогаясь от мысли, что их мог спутать с его обувью и мне пришлось бы возвращаться в дом.

После этого мы долго не виделись, а когда увиделись, на его толстых губах снова промелькнула смущенно-обиженная улыбка, напоминающая о том случае и как бы неназойливо вбирающая меня в круг его семьи с ее маленькими тайнами.

В круг его семьи я, разумеется, больше никогда не вступал. Кстати, он был бездетен. Но мы продолжали изредка встречаться, и я иногда печатался в журнале, где он заведовал прозой, хотя сам писал статьи на международные темы.

Внешне Альберт Александрович был всегда элегантно одет как человек, которого вот-вот могут вызвать на дипломатический прием. Что и случалось. У него было горбоносое лицо римского патриция, слегка одряблевшее в сенатских интригах. Если он не перепивал, точнее, до того, как он перепивал, он был, в самом деле, легок, весел, остроумен. Его движения были движениями вялого удава. И слава его состояла в том, что он обрабатывал женщин долго, как удав кролика. Одновременно с этим он писал статьи на международные темы.

— Постель взбадривает мой ум, — говорил он.

За один любовный сеанс он мог удовлетворить самую тугоплавкую женщину и написать статью. Статьи и любовные сеансы, возможно, путем долгой тренировки он кончал одновременно, вероятно бравурным аккордом выражая неисчерпаемость исторических сил мирового пролетариата.



Нельзя сказать, что тут была чистая стихия. Стихия все-таки готовилась заранее.

Приведение в порядок своих записок он совмещал с застольем, иногда — прямо на работе. Потом, оказавшись у возлюбленной, он ставил кейс на подушку, клал на него вороха бумаг, вынимал свой знаменитый «паркер» и приступал к делу. Если в работе наступала заминка и нижняя часть пылающего айсберга выражала некоторое недоумение по поводу верхней части, он решительно заявлял:

— Лежи, лежи, я все контролирую.

Вот таким человеком был Альберт Александрович. Но не всегда так гладко у него протекала жизнь. До этого журнала он долгое время работал в газете. И любовные связи его, оттого что он был помоложе или, может быть, из-за газетной спешки, были более неряшливы.

Короче, когда однажды в партком вошли три беременные литсотрудницы, держа в руках три газеты с его статьями, бичующими американский империализм, разразился скандал.

Сначала он пытался все отрицать. Но женщины, кроме газет, запаслись врачебными справками, из коих следовало, что срок беременности каждой приблизительно соответствует выходу запасенной газеты. Трижды повторенная приблизительность приводила к точному выводу по законам высшей математики.

Альберт Александрович был известным журналистом, скандал дошел до ЦК партии, и некий беспощадный инструктор утвердил выдворение его из газеты.

Его рабочий стол, отчасти использованный не по назначению, был еще более сурово наказан, очевидно, чтобы другие столы при подобных обстоятельствах лягались, что ли. По велению редактора стол был четвертован и выброшен на свалку. Вслед за столом на свалку чуть не полетели подшивки газет, лежавшие в кабинете Альберта Александровича. Но все три литсотрудницы поклялись, что он для смягчения ложа никогда не использовал подшивки, как бы выражая этим своим признанием несколько запоздалое восхищение его спартанской простотой.

Альберт Александрович не пал духом. Коммунизм, женщин и выпивку у него никто не мог отнять. Он некоторое время под псевдонимом печатался во второстепенных московских газетах, а потом стал появляться на людях с огненной мулаткой с Кубы, на голову выше его. Увлечение Альберта Александровича кубинкой совпало с увлечением Кубой нашего правительства. Альберт Александрович написал одну из самых ярких своих статей «Куба — любовь моя».

Статья под псевдонимом, конечно, была напечатана в журнале, где он как раз тогда стал работать. Статью перепечатали на Кубе, и сам Фидель Кастро размахивал ею во время одного из своих митингов. Редакция решила наградить Альберта Александровича за эту статью. В конце года его лицо среди других лауреатов явилось на журнальной обложке пред ясны очи инструктора ЦК, который считал Альберта Александровича идеологически раздавленным и в лучшем случае отсиживающимся в какой-нибудь заводской многоти-

ражке. Неугомонный инструктор пытался интриговать и даже привлечь в доказательство тех самых литсотрудниц, но суровые товарищи из ЦК сказали:

— Угомонись. Статья понравилась Фиделю Кастро, а это важнее твоих литсотрудниц, которые ложатся на редакционный стол, даже не подстелив газетные подшивки.

После этого в журнале появилась целая серия статей на кубино-американскую тему. Все эти статьи пламенная мулатка переводила для Кубы, где их охотно печатали. Я думаю, переводила она их обычным способом, а не взгромоздившись на Альберта Александровича, хотя полной уверенности нет. Кубинцы в те времена старались как можно точнее перенимать советский опыт. Тут между возлюбленными вышел легкий конфликт, суть которого она, к счастью, видимо, не поняла. Да и Альберт Александрович, скорей всего, дулся, а не выражался с достаточной четкостью. Дело в том, что мулатка не только переводила его статьи на испанский язык, но и подписывала их вместе с ним как соавтор. И это не понравилось Альберту Александровичу. По-видимому, кубинка считала, что в стране победившего социализма именно так пишутся и оплачиваются статьи, созданные совместно с мужчиной.

Впрочем, скандал не успел разразиться. Пламенную мулатку, кончавшую университет, в награду за писание патристических статей и хорошее знание русского языка взяли работать в кубинское посольство, где она благополучно вышла замуж за молодого дипломата. Вскоре она совместно с мужем стала писать статьи для кубинской и даже советской прессы.

Между тем дружеские связи с Альбертом Александровичем у нее остались, и он теперь нередко бывал в кубинском посольстве, где пил ром с ее мужем и даже познакомился с Раулем Кастро, который после сильного возлияния сожалел, что Россия когда-то продала Америке Аляску, иначе они бы нажали с кубинской стороны, Россия — со стороны Аляски, и Америка хрустнула бы, как пасхальное яйцо.

— Наивно, но какой революционный энтузиазм! — говорил об этом Альберт Александрович.

Однажды он тайком полюбопытствовал у бывшей своей мулатки, как они с мужем пишут статьи. Она его сразу поняла.

— Что ты, — сказала она, закатывая глаза, — ему до социализма еще далеко! Мы еще в разных комнатах пишем статьи. Но я буду работать над ним, у меня большой советский опыт.

Муж привозил Альберту Александровичу с Кубы ром и галстуки с изображением колибри, обезьян и удавов.

Одним словом, к моменту нашего знакомства уже много лет Альберт Александрович царил в редакции журнала и в ресторанах. Там, окруженный поклонниками и поклонницами, он, веселый, но вялый удав, допивался до полного оцепенения. Интересно, оживляется ли при питье настоящий удав? И что бы случилось с настоящим удавом, если бы он вылакал столько алкоголя? В таких случаях большие роговые очки на его, прямо скажем, псевдоримском носу обращались в сторону какой-нибудь женщины и надолго застывали на ней. Женщина затихала под гипнозом его статического на-

пора. Ради полной правды надо сказать, что в этих компаниях обычно бывали женщины, охотно поддающиеся гипнозу.

Все знали, что от выпитого он, бывало, не мог произнести ни одного слова, однако вполне был готов продолжать род человеческий, тем самым между делом оспаривая Евангелие от Иоанна, где сказано, что в начале было Слово.

Однажды он признался мне в любовном крахе. У него ничего не получилось. Надо отдать должное его мужеству, он это сообщил с редким стоическим спокойствием. Он это сказал, как опытный механик, у которого впервые не завелась машина.

— Надо попробовать условный рефлекс, — сказал он, имея в виду публицистику, — если не поможет, значит, кранты.

Во время следующей встречи я заглянул ему в глаза с известной целью. Он гордо выпятил большой палец.

— Получилась одна из лучших моих статей. Из ЦК поздравляли...

Это был дальний звонок. Но мы тогда этого не поняли: условный рефлекс приобретал нешуточную силу.

Он, конечно, читал «Маленького гиганта большого секса», но герой моего рассказа Марат не вызвал у него никакого интереса. А я хотел когда-нибудь их сблизить.

— Грязный, провинциальный Дон-Жуан, — сказал он про Марата, — никакой идейности. Моя мечта — найти такую женщину, при помощи которой напишу такую статью, что она наконец образумит наших дураков и они поймут, что страна катится в пропасть.

Удивительно, что он лет двадцать проработал в журнале, где несколько раз полностью менялась редакционная коллегия, начиная с главного редактора и кончая заведующими отделами. Редакция бывала махрово-партийной, бывала либеральной, в меру возможностей тех времен, но потом начальство спохватывалось, и она постепенно становилась полулиберально-партийной.

Как я говорил, мой Покровитель, хотя и был известным международником, возглавлял отдел прозы. Он считался непревзойденным мастером по нахождению в текстах неувидимых антисоветских подтекстов. Позже я убедился, что у него, и в самом деле, необыкновенное чутье на политическую ориентацию героя и по одной только реплике «Дайте прикурить!» он угадывал, что человек этот скрытый антисоветчик.

Кстати, он сломал карьеру одному талантливому сибирскому писателю. Тот описал пожар в одном из таежных урочищ. Пожар начался в жаркий летний день, когда пьяный лесничий заснул у своего костра. Лесничий погиб из-за своей халатности, но бушующее пламя на следующий день сумели сбить храбрые сельские комсомольцы. Пожар был описан с жадной, мстительной силой, и это было талантливей всего. Но на это никто не обратил внимания. Рукопись уже собирались отдавать в набор, когда Альберт Александрович задал вопрос, повергший всех в смущение:

— А где была партия, когда тушили пожар?

Про партию наш сибирский автор как-то подзабыл, и это ему дорого обошлось. Редактор, который сам раздобыл эту

повесть и очень хотел ее напечатать, пытался защитить автора, указывая, что комсомольцы — воспитанники партии, так что тут можно уловить связь поколений, которая в те времена особенно ценилась.

— Не улавливаю, — не без оснований заметил Альберт Александрович. — Троцкий тоже через голову партии пытался опереться на комсомол.

Упоминание Троцкого вызвало у редактора идеологический ужас, и он был вынужден дать задний ход. Повесть вернули автору с тем, чтобы он, не расширяя сферы пожара, расширил круг участников тушения его за счет районного партактива.

Бедный автор оказался честолюбив. Он слишком большие надежды, не без нашептывания редактора, вкладывал в эту повесть. Тот обещал ее выдвинуть на государственную премию.

Сибиряк переделал повесть так, что в тушении пожара теперь принимал участие весь районный партийный актив во главе с секретарем райкома, который, переусердствовав, спас даже полуобгорелого лесничего, что с точки зрения идеологии подпадало под ненавистный абстрактный гуманизм, если только лесничего тут же не засудить и не отправить в какой-нибудь ледяной лагерь. Но автор об этом ничего не написал.

Повесть была художественно ухудшена бесконечно прыгающими в огонь партийцами, изображенными автором с некоторым легкомыслием, смахивающим на злорадство.

Чтобы не обижать талантливого человека и отчасти улучшить повесть, сибиряку рекомендовали не оживлять труп провинившегося лесничего и указали ему, что во время лесного пожара партийцы должны управлять разумными действиями народа, а не кидаться в огонь, как взбесившиеся староверы.

Бедный автор совсем запутался и запил. Я однажды встретился с ним в Доме творчества в Малеевке. Днем он исправлял повесть, а по ночам пил. Кто его знает, может, судьба ему улыбнулась бы, если б он переменял ритм жизни. То есть ночью писал, а днем пил. Дело в том, что днем многие мешают работать, а по ночам никто не мешает пить.

Однажды ранним утром кто-то постучал в мой номер. Я встал с постели, подошел к двери и спросил:

— Кто там?

В ответ — нечленораздельное мычание. Я открыл дверь. В дверях стоял автор лесного пожара. Он стоял, продолжая мычать и указывая трясущейся рукой в глубь моей комнаты. Я долго не мог понять, что он имеет в виду, а потом догадался. На подоконнике стояла бутылка водки, на которую он и пытался указать. Моя комната была расположена на первом этаже, и он, проходя по двору и заметив в окне бутылку водки, безошибочно вычислил мой номер.

Я налил ему полный граненый стакан, и он, задыхаясь от жажды (пожар у него уже был внутри), выпил, передохнул и произнес эпическую фразу:

— Я днем описываю пожар, а ночью гашу его водкой, что тоже нелегко.



Бедняга все-таки спился и умер, и более правдивой и трагической фразы я не знаю во всем его творчестве.

Обнадеженный редактором, что моя опала кончается, я спешил к месту своего спасения. Однако я чувствовал и некоторое беспокойство. Дело в том, что у нас с Альбертом Александровичем, как я уже говорил, были странные, двусмысленные отношения.

При каждой встрече он напоминал мне, что когда-то дал, не без некоторого риска, положительную рецензию на мою сатирическую повесть. Ну, дал и дал. Сколько можно об этом говорить! Ничто так не раздражает человека, как затянувшаяся благодарность.

Шли годы и годы, но он десятки раз в моем присутствии вспоминал о своей рискованной рецензии, и я каждый раз в знак согласия кивал головой, утомленной благодарностью.

Но потом выяснилось следующее. Именно мой Покровитель, а не кто другой, пускал под откос мои рассказы, которые я приносил в редакцию по его же настоятельной просьбе. Отказывали мне другие — и всегда по идейным соображениям. В конце концов раскрылось, что эти идейные соображения — его же выдумка. Позже я заметил, что рассказы мои печатались в журнале во время его заграничных вояжей. Но ввремя эту закономерность я не осознал.

Возникает вопрос: зачем он так настоятельно просил меня приносить рассказы? Пытался меня перевоспитать? Или, сделав один раз мне добро, он не хотел выпускать из виду носителя этого добра? Или более мелко: зная о моих ирониче-

ских выпадах в адрес главных козлотуров, он мстительно добивался того, что я, принеся рассказ, уже вынужден буду звонить, ходить в редакцию и так далее?

Одним словом, пуская под откос все, что я ему приносил в журнал, Альберт Александрович как бы оставался покровителем моей старой сатирической повести, которую козлотуры собирались громить в центре, но потом перенесли погром на периферию. По месту происшествия. Так себе погромчик...

Итак, я мчался в редакцию для встречи с моим Покровителем и одновременно мастером по выявлению тайного подтекста. Интересно, как он найдет коварный подтекст в рассказе, где его нет, и никто лучше меня об этом не знает. Элегантный, вялый удав в больших роговых очках сидел за своим столом.

— Ничего рассказ, — сдержанно похвалил он меня, здороваясь, — хотя после провокации с «Метрополем» можно было дать рассказ поидейней.

— Какой мог, — сказал я не без ехидства, уже зная, что редактор решительно настроен печатать его.

— Ваш герой, конечно, белогвардейского происхождения, — точно проткнул он меня идеологическим копьём в ответ на мое ехидство. И одновременно как мой Покровитель ткнул пальцем на телефон — в том смысле, чтобы я с ним не соглашался и впредь говорил взвешенные вещи.

Это был странный телефон. Во время нашей беседы он то и дело подзвякивал, призвякивал, и каждый раз это что-то означало.

Мой Покровитель правильно угадал, что мой герой белогвардейского происхождения, но именно в этом рассказе ничего не говорилось об этом. Об этом у меня — в других главах. «Откуда это ему известно?» — изумился я, но промолчал.

— Шефу рассказ понравился, — добавил он. — Но шеф, конечно, бегло просмотрел его. Два-три места надо исправить.

— Какие? — внутренне холодея, спросил я, хотя до этого был уверен, что таких мест нет. Но ведь сумел же он догадаться, что мой герой — белогвардейского происхождения.

— Вот вы пишете: «В тот же день пограничники пригнали лодку на причал». Учтите, что сейчас не сталинские времена. Пограничники совсем другие...

Удивительно, как в нем сочетались пронизательность и глупость. И вдруг мелькнуло в голове: дети управляют страной! Знаменитый ленинский детский смех. Сейчас они впали в маразм, но продолжают играть в детскую игру «казак-разбойники».

Мой Покровитель глядел мне в глаза, уверенный в том, что я что-то непристойное подразумевал, когда писал о пограничниках. Сам он эту непристойность выявить не смог и взглядом просил меня довериться ему. Но доверять было нечего.

— А что плохого сделали пограничники в моем рассказе?

— В том-то и дело, что ничего плохого не сделали. Хулиганы переворачивают лодку, пограничники, найдя ее, ставят на киль и пригоняют на причал.

— Так оно и было.

— А ты пишешь: «Пограничники пригнали лодку на причал». Ни слова благодарности. Даже какое-то тайное раздражение чувствуется: назойливые пограничники. В устах смирившегося или, скорее всего, не очень смирившегося белогвардейца — это понятно. Но ты же должен был как-то смягчить это место.

Я опять похолодел. Мой герой был действительно не очень и даже совсем не смирившимся потомком белогвардейцев. Но как он и это угадал? И при чем тут пограничники?

— Сейчас пограничники совсем другие, — повторил он. Телефон благостно звякнул.

— При Сталине твой герой костей бы не собрал, — вразумительно втолковывал он мне. — Опрокинутая лодка плавает в море. Может, кого-то убили, может, шпионы перешли из нее на подводную лодку.

— Чушь! Чушь! — крикнул я, забывшись.

— Сам ты чушь несешь! — крикнул он в ответ, одновременно снова указывая на грозно молчащий телефон: мол, там не любят споров. Особенно о пограничниках.

Тупо бормоча: «Сейчас пограничники совсем другие, не такие, как при Сталине!» — он все еще ждал, что я раскрою ему свой коварный замысел против пограничников. Но не было, не было у меня такого замысла!

В конце концов он сдался и просил меня выразить пограничникам хоть какую-нибудь благодарность. Я понятия не имел, как это сделать.

— Я придумал! — вдруг вскричал он и, вытащив ручку, посмотрел на телефон. — Вот так: «К вечеру наши ребята-пограничники из ближайшей заставы пригнали лодку на причал». Фраза точно отражает близкие отношения жителей береговой линии с пограничниками.

Телефон подзвякнул.

Не спрашивая моего разрешения, он стал вписывать в рукопись свои дурацкие сантименты. Тем более дурацкие, что это был монолог моего героя, отнюдь не склонного к сантиментам.

— Нет! Нет! — закричал я и вырвал у него рукопись. Мой Покровитель даже вздрогнул.

— Как хочешь, — он скорбно поджал губы и неохотно вставил ручку в карман пиджака. — Представляю, сколько раз твой герой мечтал удрать от пограничников в Турцию.

Я должен был немедленно выразить свое несогласие, по крайней мере, телефоном.

— Ни разу! — воскликнул я.

И тут кровь ударила мне в голову! Я вспомнил, что мой герой на протяжении всей повести сооружает махолет, то есть воздушный аппарат, который движется в воздухе при помощи силы ног. По его словам, он разрабатывал новый вид воздухоплавания. Там была целая философия. А что, если он и в самом деле мечтает удрать в Турцию?

Но я взял себя в руки.

— Пограничники не нуждаются в нашей благодарности, — сказал я, закругляя тему, — они делают свое дело. И вообще это не рассказ о пограничниках.

Телефон издал мирный звяк. И Альберт Александрович махнул рукой. Я понял, что пограничников мне кое-как удалось отбить. Как будто примирившись со мной, он вызвал секретаршу, и девушка принесла нам два стакана чаю с лимоном и сушками.

Альберт Александрович, не говоря ни слова, куда-то вышел.

— Хороший рассказ, — сказала девушка, поставила передо мною, как бы в награду, стакан чаю с более полноценным кружком лимона и еле слышно прошептала: — Не соглашайтесь ни с одним словом Альберта Александровича.

Она ушла, окрылив меня. А он долго после этого не приходил. Он настолько долго не приходил, что телефон стал беспокойными полувозночками поварчивать. «Где дискуссия?» — так можно было его понять.

Я настолько был вдохновлен поддержкой секретарши, что после очередного поварчивания звонка хозяйски взял трубку и изо всех сил дунул в нее.

— Куда дуешь, мудака? — раздраженно закричала трубка. — Лучше сиди и дуй в свой чай!

Я снова похолодел, не столько от того, что трубка сама заговорила, и именно со мной, сколько от удивления, откуда она знает про чай.

Тем не менее я осторожно положил трубку и законопослушно дунул в свой чай, хотя он и так уже остыл.

Странно, что многие обижаются, когда я дую.

Один любитель оружия как-то дал мне подержать свой пистолет. Не зная, что делать с этой тяжеловатой мерзоп-

стью, я дунул в ствол, как бы шутливо изображая судью-пахана во время мафиозных разборок. Хозяин с большим раздражением вырвал у меня пистолет, который, оказывается, я унизил.

— Вот если б он в тебя дунул, ты бы знал, как надо обращаться с оружием, — сказал он.

Странное представление о равноправии... Наконец Альберт Александрович вернулся в кабинет и сел на свое место. Мы стали пить чай, закусывая сушками. Я старался не хрустеть сушками, чтобы не раздражать и без того нервный телефон. Однако телефон сумрачно молчал, очевидно выжидая, когда мы заговорим.

— Пограничники — это не главное, — произнес мой Покровитель, шумно допивая свой чай. — Я тут давал почитать рассказ нескольким сотрудникам. Сейчас я их опять обошел. Все они, не сговариваясь, решили: Виктор Максимович — это Максимов, редактор антисоветского журнала «Континент». Это надо обязательно убраться.

— Нет, — крикнул я, — мой герой — живой человек для меня. Я привык к его отчеству.

— Здесь далеко идущая символика, — сказал он, кивая на телефон. — Мальчик-сирота — это Россия. Выходит, вся страна пьет, бездельничает, а в это время антисоветчик Максимов спасает мальчика-Россию в бурных волнах Мирового океана.

— Какой Мировой океан, какой мальчик-Россия! — взревел я, забыв про телефон. — Разве вы не видите, что это Черное море у берегов Гульрипша?

— Слава Богу, — сказал он громко, глядя на телефон и, скорее, обращаясь к нему, — я двадцать лет расковыриваю эти муравьиные курганы маскировки. Получается, что Максимов спасает мальчика-Россию, а Гульрипш — это для дураков. Я до сих пор говорил о Максимове. Но некоторые из прочитавших рассказ догадались, что и имя героя не случайно: Виктор. Это Виктор Некрасов. Два главных деятеля «Континента». Может ли быть такое случайно?

Клянусь, я ни того ни другого не имел в виду. И вдруг меня осенило.

— Пойдите, пойдите! — сказал я дрожащим от волнения голосом. — Как же Максимов может спасти мальчика-Россию, когда мальчик черноглазый? Если мальчик — символ России, он должен быть синеглазым, как у Васнецова.

— А разве мальчик черноглазый? — явно клюнув, спросил он недоверчиво.

— Да! — воскликнул я, хотя, когда писал рассказ, не придавал этому значения. И теперь стал лихорадочно листать рукопись, ища черные глаза мальчика и все более и более сомневаясь, что они там есть. Возможно, я просто представил мальчика черноглазым, но об этом не написал.

— Не порвите рассказ, — улыбнулся он мне, — глаза в морской воде имеют обыкновение менять свой цвет на голубой.

Он со мной говорил то на «ты», то на «вы». Последнее означало, что он снимает с себя покровительственные отношения и переходит на официальные.

И он еще издевается!



Но жив Бог, как сказал поэт. Я нашел нужное место. Там ясно указывалось, что у мальчика были хитрые черные глазки. Я подsunул ему это место прямо под его роговые очки. Выпятив губу и тяжело дыша, он отодвинул от себя рукопись.

— Мусульманский фундаментализм, — пробормотал мой Покровитель. — А знаете что, — вдруг озаренно улыбнулся он и вынул ручку, — зачем мальчик вообще, если вас не интересует символ? Пусть будет девочка, и тогда символ исчезнет сам собой!

Вынутая его ручка и вообще готовность вмешаться в текст внушали мне ненависть и отвращение. Я считал, что мальчик получился хороший, и не для того мой Виктор Максимович приложил столько усилий, спасая его, чтобы я его дал утопить в редакционной чернильнице.

— В наших краях опытные рыбаки не рыбачат с девочками вдали от берега, — холодно, с видом знатока, поправил я его.

— Очень плохо, что не рыбачат. Вы на Кавказе еще слишком консервативны. А ваш герой — прогрессивно мыслящий человек, он мог рыбачить с девочкой, — сказал Альберт Александрович, как-то быстро забыв о Максимове.

— Не выйдет, — сказал я. — Когда опрокинулась лодка и они оказались в воде, он раздел мальчика, чтобы ему было легче плыть. Раздевать девочку в воде — некрасиво.

— Ничего! Остротца в современном духе! Или еще лучше! Она в купальном костюме сидела в лодке. Вот и все! — воскликнул он и пододвинул к себе рукопись, чтобы переделать

мальчика в девочку. Он даже засопел, до того ему хотелось подгадить рассказ. Я вырвал у него рукопись.

— А потом, если вы помните, — продолжал я, уже не столько отстаивая мальчика, сколько для того, чтобы закрепить забвение Максимова, — мой герой несколько раз массирует мальчика в воде, чтобы снять судороги. Мужчина, массирующий девочку в воде... Это неприлично. Это отвлекает.

— Стой! — вдруг крикнул он. — Если написать, что это была красивая полная девочка, ее и массажировать не надо. Женщины вообще почти не поддаются судорогам, из-за жирового слоя. Ваш старый морской волк, конечно, об этом знает.

Не успел я порадоваться тому, что Максимов превратился в старого морского волка, как мой Покровитель снова схватил рукопись в поисках места, куда вставить красивую полную девочку.

Я опять вырвал у него рукопись.

— Нет, я здесь ничего менять не буду, — сказал я как можно мягче.

— Значит, — вдруг подытожил он, — в символическом плане у вас что получается? Это, конечно, большевики опрокинули Россию-лодку. Героический Максимов спасает мальчика, а потом избивает рыбака, который сидел за рулем лодки? Именно того, кто сидел за рулем! Чуешь, как далеко простирается символ?

— Ленина, что ли? — туповато спросил я. Мой Покровитель нервно затряс рукой в сторону телефона.

— Так получается, — шепнул он. — Вообще-то я слышал, что Максимов был драчун, но не до такой же степени.

— Максимов тут совершенно ни при чем, — начал я по новой. — Это герой моей повести. Он фронтовик. Летчик. Ни по возрасту, ни по склонностям он ничего общего не имеет с Максимовым.

— Так измени ему отчество, — снова предложил он мне, — ведь все говорят, что это намек на Максимова.

— Я привык к его имени-отчеству! Нет, нет тут никакого намека! — неожиданно заорал я и вскочил.

Он тоже вскочил. Мы стояли друг против друга. Телефон молчал. Возможно, он оглох от моего крика.

— Ну ладно, — сказал Альберт Александрович примирительно, — отправляйся к редактору. Мои замечания на рукописи. Только не кричи там, а то все испортишь.

Он снова вошел в роль моего Покровителя. Я взял свою истерзанную рукопись и покинул кабинет. За дверью я на секунду прислушался, звякнет ли по этому поводу телефон, но он молчал.

Все еще разгоряченный разговором с Альбертом Александровичем, я вошел в приемную главного редактора. Его секретарша улыбнулась мне и сказала:

— Я влюблена в вашего Виктора Максимовича. Ничего не меняйте!

Обдав меня духами и свежестью надежды (народ за меня!), она вошла в редакторский кабинет. Через минуту вышла оттуда и пригласила меня.

Старый пират сидел за огромным столом и посасывал пустую трубку. Он крепко пожал мне руку и усадил напротив себя.

Как я догадывался, его некоторые симпатии ко мне были вызваны тем, что он себя считал признанным стилистом, а меня — продолжателем своего дела. Мне это не очень нравилось, но я не возражал. Для стилиста он слишком много написал такого, что требовало для приведения в порядок другого, способного краснеть стилиста. Мой действительно любимый стилист плохо кончил еще до того, как его расстреляли. Кроме всего, я никак не мог примириться с мыслью, что логика хорошего стилиста должна с трагической неизбежностью стремиться к чистому листу бумаги. Меня не устраивал пафос сжатия слов до их полного исчезновения.

Я положил рассказ на стол. Он с деликатной небрежностью просмотрел замечания Альберта Александровича и успокаивающе пригладил последнюю страницу.

— Все это ерунда, — сказал он, — я сегодня же отправлю рассказ в набор. Но я одного не пойму, как вы, стилист, дали себя втащить в этот альманах литературных разбойников?

Я промолчал. Спорить было бесполезно. Он произнес еще несколько трафаретных слов по этому поводу, но, видя, что я не поддерживаю тему, замолчал. В конце концов он где-то наверху мог сказать, что провел с автором идейную работу. Потом он вскочил, вытащил из сейфа бутылку французского коньяка и два стакана.

— Выпьем за конец опалы, — сказал он, разливая коньяк по стаканам с аптекарской точностью. Я подумал, что в этом

и есть суть его стиля. Не успели мы пригубить стаканы, как в кабинете появился Альберт Александрович.

— Вдохновителя вашего рассказа как раз не хватало, — насмешливо сказал редактор и, достав третий стакан, налил в него ровно столько, сколько нам, не глядя в наши стаканы. Хорошая память тоже входила в основу его стиля. Значит, мой Покровитель успел солгать, что он вдохновил меня на этот рассказ. Он знал, что я его не буду разоблачать, и он был прав. Но уж на этот рассказ, который я сейчас пишу, действительно вдохновил меня он.

— Выпьем, — сказал редактор, — хотя мне вас никогда не догнать. Даже если я буду пить из обеих моих туфель!

Они оба расхохотались, и я понял, что давний ночной эпизод пересказан шефу во всех, может быть и не осуществленных, подробностях. Мы выпили, но опала никогда не кончается триумфом. Когда я уже собирался выходить, мой Покровитель наклонился к шефу и что-то ему прошептал. Редактор поднял голову и сказал:

— Мы, конечно, дуем на молоко. Максимов тут совершенно ни при чем. Если бы вы написали, что ваш герой утопил ребенка, я бы больше поверил, что это антисоветчик Максимов. Но вы все-таки исправьте отчество вашего героя, раз все говорят одно и то же. Напишут донос в ЦК — хлопот не оберешься.

Я был уверен, что никто этого не говорит, кроме моего Покровителя. А если и говорят, то по его наводке. Я что-то опять проямлил про то, что привык к имени своего героя.

— А кто вам мешает восстановить в повести его имя? — сказал он. — Мы вам открываем дорогу... А сейчас можете вот здесь сесть на подоконник и все исправить.

Он махнул рукой на широкий подоконник.

Выпитое с ним обязывало. Писателю никогда не следует пить с редактором, прежде чем обо всем договорился.

Я сказал, что отчество исправлю дома и позвоню по телефону.

Теперь мне стало ясно, что неожиданный приход Альберта Александровича был разыгран. Благодаря полному согласию редактора печатать все как есть они добились во мне возможность сопротивления.

Я вышел из кабинета. Проходя приемную редактора, я спиной чувствовал стыд перед секретаршей, хотя она ни о чем меня не спросила.

Так, первый рассказ после опалы я вынужден был напечатать изуродованным. А прежде чем напечатать всю повесть, пришлось ждать еще несколько лет.

За эти годы бурных социальных потрясений мой Покровитель страшно постарел и опустился. Иногда я его встречал в писательском ресторане. Теперь он напоминал мне не вялого удава, а мумию удава. Изредка ему подносили, и он быстро пьянел. Разумеется, подносил ему и я. Опьянев, он по старой привычке начинал смотреть на какую-нибудь женщину гипнотическим взглядом, но гипноз не действовал, да и голова его дрожала. Женщины смеялись, а он утирал слезу.

Он писал свои статьи на международные темы, лежа с женщиной и время от времени попивая. Я, кажется, забыл сказать, что он в постель брал и выпивку. Как Цезарь, он занимался этими тремя делами сразу и вдруг сразу все потерял. Идеология оказалась никому не нужна, а без этого он уже не мог иметь женщину. Тут самообман с годами стал невозможен. Мы об этом с ним говорили. Именно нужность статьи подхлестывала любовный пыл, а любовный пыл взбадривал умственные силы для статьи. А без статей денег не хватало на выпивку. Его знакомая мулатка даже предлагала ему эмигрировать на Кубу, но он отказался.

Однажды я видел, как официантка нового поколения вытаскивала его из ресторана, а он, пьяненький, бормотал:

— Мне нужна баба без всякой идеологии...

Но разве официантка могла понять его метафизические страдания? Мне было его жалко, как и того сибирского писателя, описавшего лесной пожар, которого Альберт Александрович загубил.

В этом неудобство и сила писательской профессии: жалость не зависит ни от идеологии, ни от каких-то других внешних причин — все униженное, все придавленное жалко. Даже если придавленное до этого само давило.

Вскоре он умер.

В душейший летний день состоялась гражданская панихида в Доме литераторов. Я там был по каким-то делам и, зайдя в зал, где стоял гроб, заметил, что там не было, кроме меня, ни одного писателя. Только двое или трое его последних со-

бутыльников сумрачно томились в ожидании поминальной выпивки.

Зато женщин было человек шестьдесят. Всех возрастов.

Это была жутковатая картина. Все они держали в руках свернутые газеты или журналы и обмахивались ими от жары. Я не сразу понял связь между женщинами и происхождением печатной продукции. А потом сообразил, что женщины, очевидно, отгоняют от себя миазмы нового времени. Казалось, его статьи продолжают работать.

Интересно, подумал я, здесь ли три сотрудницы, с которых началось падение и возвышение Альберта Александровича?..

В толпе женщин, на целую голову возвышаясь над ними, стояла наша мулатка и, высоко воздев над головой красноперый кубинский журнал, восклицала по-испански что-то угрожающее. Мелькнуло памятное с тридцатых годов: «Но пасаран!» Рядом с мулаткой стоял ее оливковый муж и тоже взмахивал красноперым журналом. Потом он положил его на грудь покойника. Несколько женщин взрыдали. Я был уверен, что это журнал с той, самой первой, кубинской статьей.

Настроение остальных плакальщиц было гораздо минорнее, и они не пытались превратить панихиду в митинг. Изредка они раскрывали свои журналы и показывали друг другу какие-то места в статьях покойного, по-видимому связанные с особенными, теперь уже неповторимыми личными воспоминаниями.

Пьяницы у гроба бубнили о золотом пере Альберта Александровича и о золотой поре пятидесятих, шестидесятих, семидесятих и отчасти восьмидесятих годов.



Какая-то пигалица, явно взяв у мамы журнал, подражая взрослым, как веером махала им вокруг лица. Кое-кто, не без скромной гордости, прижимал к груди по целой пачке журналов. Они, как близкие родственницы, теснились друг к другу и стояли поближе к гробу. Вдовы моего Покровителя, слава Богу, не было. Она давно ушла от него. Нет, не после моего ночного вторжения, гораздо позже. Но я все же боялся, что она вдруг придет на похороны и узнает меня.

Тем не менее, к моему стыду, я был признан двумя или тремя женщинами, которые, сообразив, что в их руках есть номера журналов, где напечатаны и мои рассказы, ринулись ко мне за автографами. Образовалась очередь, небольшая, но оживленная. Не подчиняться ей было нельзя, хотя все это выглядело в высшей степени двусмысленно. Некоторые под шумок подсовывали мне журналы и газеты, где я сроду не печатался. Я подписывал и их, спорить было неловко.

Заметив очередь и, видимо, решив, что я, какой ни есть, последний сторонник мирового коммунизма, подошла ко мне и мулатка и сунула мне свой красноперый журнал, где я, конечно, никогда не печатался и печататься не мог.

«Пламенной Айседоре» — написал я, стыдясь своих слов, и, одновременно стыдясь своего стыда, очень отчетливо написался.

— Теперь, когда совесть партии в гробу, здесь все возможно, — сказала она, потрянув своей мелкокучерявой головой.

— Но не на Кубе, — резко добавил ее оливковый муж. Она почти вырвала у меня журнал, брезгливо-болезненным выра-

жением лица как бы давая знать, кому именно надлежало бы лежать в гробу, а кому жить и жить.

— Это правда, что он всю жизнь покровительствовал вам? — спросила одна из женщин.

— Да, — согласился я, и она горько зарыдала. Господи, прости наши грехи!

## кутеж стариков над морем

Пока я предавался воспоминаниям, очередь за мороженым вдруг истекла. То ли все окрестные отдыхающие успели им насладиться, то ли прошел ликующий слух, что запасы мороженого отныне неиссякаемы, потому что будут пополняться за счет переработанных на американских машинах снегов Эльбруса, предварительно обрызганных с вертолетов аргентинским сахаром, растворенным в голландском молоке. Протесты Фиделя Кастро по поводу аргентинского сахара Кремль в очередной раз стыдливо не заметил. Среди прочих фантастических слухов и такой мог иметь место.

Ажиотаж с мороженым кончился. Но тут забросили на «Амру» жигулевское пиво. У многих клиентов за столиками появились бутылочки с пивом. Очередь, но почему-то не столь большая, как за мороженым, толпилась у прилавка.

Это тоже были посторонние люди, которые прослышали, что здесь продают пиво. Большая их часть состояла из ку-

пальчиков, загорающих на мостках первого яруса пристани. Чтобы попасть сюда, они были обязаны одеться. В купальных костюмах сюда не пускали.

Но некоторые купальщики, и в этом было величайшее таинство нашего отношения с государством, оставаясь в плавках, толпились у внутреннего входа в ресторан, упорно дожидаясь какого-нибудь знакомого, который сидит в ресторане, естественно, одетый, чтобы передать ему деньги на пиво. А потом они здесь, не переступив ногой запретную зону (игры граждан с законом в ответ на игры закона с гражданами), как бы поверх закона и потому с дополнительным наслаждением, получают свои законные бутылки. К тому же постоять в очереди почти голым и при этом не переставая загорать — редкое удовольствие для нашего человека.

— Голых не обслуживаю, холеры! — вскрикивала время от времени официантка, курирующая ближайшие столики. Она вскрикивала это не глядя, уверенная, что бедолаги стоят и ждут.

Но и тут не было абсолюта. Вдруг она сразу брала у всех деньги и приносила на подносе пиво. Чаще всего это было связано с тем, что кто-то из стоящих у входа оказывался ее знакомым и тогда она вынуждена была и остальных обслуживать.

— Голых не обслуживаю! В последний раз, холеры! — кричала она, раздавая бутылки и заглядывая за спины передних, чтобы посмотреть, сколько там еще толпится на нижних ступенях лестницы.

Но иногда она вдруг ни с того ни с сего, без всяких знакомых, как бы сломленная смиренным терпением ждущих, в бешенстве вырывала у них деньги и, принеся пиво, вталкивала бутылки в протянутые ладони.

Так, бывает, пьяный, готовый нас ударить, вдруг в последний миг меняет решение и целует нас, вкладывая в поцелуй злобную энергию несостоявшегося удара.

Поблизости от этого выхода за столиком сидел крупный, плотный немец с двумя женщинами. Скорее всего, с женой и переводчицей. На столике стояли чашечки с кофе, бокалы, бутылка с шампанским. Немец курил трубку и оглядывал ресторан. Большое тело немца облегала свежая рубаха, на носу посверкивали очки в золотой оправе.

Пожилой купальщик в сатиновых трусах, с маленькой седой головкой постаревшего мальчика, неподвижно стоявший у входа, вдруг что-то сообразил, быстро подошел к столику немца и сказал:

— Браток, закажешь пиво, а потом я у тебя возьму. Но ей не говори, кому заказываешь!

После этого он протянул ему деньги, но немец, сразу же обернувшийся на его голос и уставившийся на его близкое лицо, не заметил протянутых денег.

— Я, я, — ответил немец с добродушным любопытством, глядя в очень близкое лицо купальщика с седой мальчишеской головкой.

— Да не ты, а я! — нервно пояснил ему купальщик. Он бросил вороватый взгляд в глубь ресторанной палубы, боясь, что

его заметит официантка, охраняющая ближайшие столы. Она сейчас с заказами ушла в сторону буфета.

— Ты закажешь пиво, а я у тебя потом возьму! — очень внятно повторил он.

— Я, я, — тоже с еще большей внятностью повторил немец, со все возрастающим любопытством оглядывая близкое лицо купальщика и как бы удивляясь, что на нем все еще не появляется признаков братания.

— Да не ты, а я! — повторил купальщик, чиркнув глазами в глубь ресторанной палубы. — Вот тебе деньги, закажешь пиво, а я, я потом возьму!

— Я, я, — с еще большим удивлением, не меняя позы, уставился немец на лицо купальщика, все еще не замечая денег и все больше поражаясь, что на этом лице не видно признаков братания.

Переводчица протянула было руку к немцу и хотела ему что-то сказать, но потом остановила себя. Видимо, она испугалась, что немец поймет его, возьмет деньги на пиво, а потом будут неприятности с администрацией. И напрасно она этого боялась, как потом выяснилось.

— Да не ты, а я! — взвизгнул купальщик, теряя терпение. Немец, опять мгновенно уловив повышенную интонацию, тут же повысил свою.

— Горби виват! — гневно ответил он, как бы выбрасывая последний козырь братания.

Тут купальщик наконец понял что-то и помахал рукой с деньгами у самых глаз немца. Одновременно к нему склонил-

лась переводчица и что-то сказала. Он выслушал ее, не меняя позы, как бы уверенный, что этого человека ни на секунду нельзя выпускать из кругозора.

— Бир? — удивленно спросил немец, продолжая с бесстрашным любопытством глядеть на близкое лицо купальщика, как смотрят сквозь стекло аквариума на хищную рыбу. Тем более если эта рыба человеческим голосом попросила пива.

— Да, да, бир! — радостно закивал проситель, вспомнив знакомое слово и чувствуя, что наконец понят. — Пиво по-нашему! Бир!

— Ферботен! — громко и строго сказал немец. И хотя и теперь он не изменил позу, казалось, он прикрикнул не только на этого просителя, но и на всю страну. Что, кстати, было бы неплохо.

Он продолжал заглядывать на близкое лицо со все возрастающим любопытством и бесстрашием, как бы даже с готовностью, как бы даже с желанием, чтобы стекло аквариума в конце концов рассыпалось, если это послужит пониманию людей этой страны значения великого слова «ферботен».

Такого бесстрашия проситель не выдержал и неожиданно быстро отошел на свои прежние позиции. И немцу это очень понравилось. Тут он позволил себе чуть повернуть свою крупную голову и посмотрел на своего просителя с выражением первоначального и даже еще большего благодушия.

Поймав его взгляд глазами, немец весь оживился, залучился доброжелательностью и даже стал руками показывать,

что все обстоит очень просто: надо одеться и войти. Стоит понять, чего нельзя, как тут же поймешь, что можно.

— Мы выиграли войну, а они кайфуют на нашей территории, — громко проворчал проситель.

— Что ты, — охотно подхватил второй купальщик, до этого с некоторой завистью следивший за ним, — справедливости не было и нет!

Немец благодушно пошушукался с женой и переводчицей, отпил шампанского, зажег трубку, пыхнул ею несколько раз и вдруг, глядя вперед, сурово сосредоточился, как бы ища второе слово, которое надо сказать этой стране, чтобы навести в ней окончательный порядок. Но второе слово как-то долго не находилось, и немец явно загрустил.

...Чего нельзя сказать о стариках, пировавших направо от меня. Они вовсе расшумелись. Их было восемь человек. Они пришли сюда часа два назад. Те, что были помоложе, несли в руках кошелки с провизией и вином. Служители ресторана принесли стол и придвинули его к столику под тентом.

Старики расселись. Кажется, кроме посуды и боржома, они все принесли с собой: жареных кур, ореховое сациви, зелень, сыр. Они даже муку для мамалыги принесли с собой. Всего этого сейчас нет в этом ресторане, а там, где есть, достигает астрономических цен. Старикам, видимо, из уважения к их почтенному возрасту разрешили явиться сюда с продуктами. Чем был вызван пир, мне так и не удалось узнать, потому что первоначальные тосты я прозевал, а когда обратил на

них внимание, старики, вероятно, и сами забыли о причине, собравшей их здесь.

Под тентом, лицом в мою сторону, сидели два самых колоритных старика — Тимур Асланович и Михаил Аркадьевич.

Тимур Асланович — в прошлом знаменитый романтический актер местного театра. Сейчас это коренастый старик с желтеющей от старости, а точнее, львеющей гривой. Как он играл когда-то Отелло!

Когда, пламенный сам, объятый струящимся пламенем плаща, он вылетал на сцену, зал неистово рукоплескал! Чему? Страсти. Он играл страсть.

В те годы, приобщая народ к искусству, в театр нередко привозили деревенских зрителей. Один пастух, говорят, не менее горячий, чем наш Отелло, увидев сцену удушения Дездемоны, возможно, даже приняв ее за попытку насилия, вырвал нож и прыгнул на сцену. Несчастье едва удалось отворотить.

Обком партии после такого случая из самых гуманных соображений запретил эту сцену, но труппа в летний сезон, играя в деревнях и диссидентствуя, своей волей восстанавливала ее. Правда, председатели колхозов, обычно сидевшие в первом ряду, с приближением трагической концовки вставали с места и зорко оглядывали зал с тем, чтобы вовремя осадить слишком впечатлительного зрителя, путающего искусство с жизнью.

При этом некоторые из них, в полном согласии с собственным мирным темпераментом, делали успокаивающие дирижерские движения рукой, как бы говоря: пиано, пиано.



Но чаще, в согласии с более распространенным председательским темпераментом, они показывали залу кулак, и зал понимал, что надо успокоиться. Благодаря такой бдительности, вспышки безумного сочувствия бедной Дездемоне гасились загодя и труппа продолжала диссидентствовать в деревнях.

После смерти Сталина и ареста Берии временно обессиленный обком вынужден был согласиться на эту сцену и во время игры в городе, правда приказав усилить бдительность пожарников в театре.

Вот таким актером и был когда-то Тимур Асланович. А теперь старость. Долгие прогулки по берегу. Кофе. Редкие кутежи. Мирно гудит за столом потухший вулкан. Но в кратер заглядывать не советую — может дымнуть.

Михаил Аркадьевич высокий, прямой старик. Небольшая, нахохленная голова на длинной шее. Закатанные рукава светлой рубашки обнажают сильные руки рабочего, хотя он-то как раз потомственный аристократ.

Лет десять тому назад мы с ним рыбачили в море. Он оглашал просторы залива могучей разбойничьей песней «Атаман Кудеяр». Не скажу, что дельфины окружили нашу лодку, чтобы послушать его, но на берегу кое-кто останавливался и смотрел в море.

В тот день он меня перерыбачил в море и перепил на берегу. Правда, я его переел (свежая барабулька, где ты?), но это слабое утешение. Когда разговор коснулся литературы, он вдруг сказал, что, сидя на Лубянке, прочел роман Арагона

«Коммунисты» и он ему понравился. Мы не будем здесь разбирать роман Арагона, но согласитесь, что это поразительно: сидя в коммунистической тюрьме, наслаждаться романом «Коммунисты».

— Я знал их во время французского Сопротивления, — сказал он, отвечая на мое недоумение, — они были именно такими.

Ему сейчас под сто, но пока еще — тьфу! тьфу! не сглазить! — он человек сказочного здоровья. В судьбе оставшихся в живых российских аристократов есть что-то общее с судьбой американских негров. И те и другие прошли невероятный отбор на выживание, и в результате уцелели самые сильные.

Но трюмы кораблей, перевозивших заключенных в Магадан, были страшнее трюмов шхун, доставлявших негров в Америку. А трескучий пламень морозов сибирских приисков сжигал вернее, чем солнце плантаций американского юга. И хотя у нас выжили действительно самые сильные, но их слишком мало осталось. И горько знать, что российское дворянство, за полстолетия вынесшее свой народ на гребень мировой культуры, уже никогда не будет в силах создать ни Пушкина, ни Льва Толстого!

У Михаила Аркадьевича прозвище Белобандит. Так следователь назвал его когда-то. Отец его состоял в свите принца Александра Петровича Ольденбургского. Жили они под Гаграми в своем имении.

Во время Гражданской войны недоучившийся студент Московской консерватории ушел с Колчаком и испытал дол-

гую одиссею эмиграции. После войны, опьяненный славой отечественного оружия, запросился на родину, был впущен, но потом, как и другие подобные ему энтузиасты, был арестован и попал в Магадан.

После Двадцатого съезда, уже из ссылки, вернулся в Абхазию. Сейчас живет в маленьком городке недалеко от Мухуса. До последнего времени, во всяком случае, работал автомехаником и хорошо зарабатывал. Настолько хорошо, что купил лошадь и чудом уцелевший фаэтон. Катает детей и сам наслаждается детскими воспоминаниями.

В начале века, мчась на первом автомобиле черноморского побережья, он привлекал всеобщее внимание. И теперь в конце века, на всеобщее удивление катаясь на последнем всеми забытом фаэтоне, он опять оказался первым!

Здесь еще знаменитый местный футболист конца тридцатых и начала сороковых годов. Что можно сказать о жизни, когда вдруг видишь любимого форварда своего детства усохшим старичком, попивающим кофе или перебирающим четки? Ничего не надо говорить. Тем более сейчас он пьет отнюдь не кофе.

Еще об одном старике пару слов. Он всю жизнь был директором: типографии, музыкальной школы, табачной фабрики, сельхозвыставки, книжного магазина. Вечный директор. Нас много раз знакомили, но я никогда не мог запомнить его имени, я даже как бы забывал его имя, прежде чем он его произносил. Поэтому назовем его Мерцающий Партработник.

Но самое забавное, что я его знал с детства, и тогда он мне казался совсем другим человеком. На моих глазах прошел роман его жизни. Такое внимание возможно только в детстве и только в маленьких городах, где ты все видишь, а тебя не видят, потому что ты маленький, тебя не принимают всерьез.

Он проходил по нашей улице со своей юной женой. Видимо, они жили где-то поблизости. И я часто наблюдал такую сцену. Вот они уже идут по нашему кварталу. Видимо, о чем-то спорят.

И вдруг она вырывается вперед! Стук, стук, стук — каблучками и пронесится мимо меня, и я вижу лицо ее в красных пятнах ненависти и злобы. А он в это время, не ускоряя шаги, продолжает идти, сохраняя мужественную сдержанность. Но я вижу, вижу сухонькое лицо, искаженное болью, и мне его безумно жалко. Куда они идут? Если в гости, не может ведь она прийти отдельно, а он отдельно? А если в кино? У кого билеты? Или они, начав спорить и зная, чем это кончится, сразу же разделяют свои билеты? Или они еще дома это делают, зная, что обязательно начнут спорить в дороге?

Я дивлюсь неумоимости ее злобы и как-то чувствую, что этот мотор внутри нее, а он — только повод. Я уже знаю, что она стерва, но еще не знаю, что это так называется.

А потом вдруг она куда-то исчезает, и он проходит по улице один. А потом вдруг с ним появляется другая женщина, и они дружно идут по улице, и она никогда никуда не выбегает. Самое смешное, что она внешне была похожа на предыду-

щую. И я тогда думал, что он их сначала спутал, а потом добрался до этой.

И до того мирно они всегда рядом проходили по нашей улице, что вскоре вместе с ними затопал малыш. А потом еще один ребенок, а потом третий.

Но после третьего ребенка он стал хозяйски вышагивать чуть впереди, а она с детьми чуть сзади. Иногда он самого меньшего держал на руках, но все равно победно вышагивал чуть впереди. Иногда он самого старшего вел за руку, но все равно чуть впереди, но при этом, конечно, никак не пытаюсь оторваться от них, выбежать.

Потом они куда-то исчезли, видимо, получили более удобную квартиру. А потом уже через многие годы я его встречал в качестве многообразных директоров, но, как бы давно познав его подлинную жизнь, о чем он, конечно, не подозревал, никак не мог вызвать в себе интерес к его мнимой жизни, в качестве шахматной фигуры, которую таинственная рука время от времени переставляла на доске, никогда не спрашивая ее согласия, но и никогда не жертвуя ею, создавала все новые и новые никому не ведомые комбинации. И, видимо, в память о той подлинной жизни этого человека, я никак не мог запомнить его директорское имя в этой жизни.

...Когда я обратил внимание на стариков, все они были на хорошем взводе.

— Света из Одессы, говоришь? — вскрикнул глуховатый старик, сидевший спиной ко мне и помогавший ладонью правому уху.

— Свежая газета, говорю, Глухарь! — загудел Аслапыч. — Твоя Света из Одессы уже пятьдесят лет назад ту-ту в Одес-су! А ты все про нее!

— Мне слышалось, — с трогательной кротостью при-знался старик.

— Лучше я вам вот что расскажу, — снова загудел Асла-пыч. — У меня в Ачандарах родственник был. Всю жизнь — винодел. Слава по всей Абхазии. И вот после войны, тогда Сталин у нас отдыхал, к моему родственнику приезжает гене-рал Власик, начальник охраны Сталина. Видно, Сталину рас-сказали про знаменитого винодела. И вот Власик заказывает ему вино для Хозяина. Крепость — шесть градусов, а сахарис-тость сейчас не помню. Помню, что большая.

— Можешь сделать?

— Могу.

— Приготовь бочонок вина. Через две недели приеду.

И уезжает. Бедный мой родственник с ума сходит. За две недели естественным путем нельзя добиться такого. Но сло-во дал. Сознаться поздно: Власик уехал. И он пошел на риск. Что будет, то и будет!

Он набухал вино сахаром и искусственным путем сделал, что они хотели. Власик приезжает, берет вино, уезжает. Мой родственник не знает, что будет: арестуют, не арестуют?

И вдруг опять приезжает Власик. Мой родственник — ни жив ни мертв. Но Власик говорит:

— Товарищу Сталину вино понравилось. К следующему году приготовь нам такое же вино.

Ну, теперь время есть, и мой родственник приготовил такое вино, какое они хотели, но естественным путем, без сахара.

Приехал Власик, взял бочонок вина и уехал. А Сталин в это время в Абхазии отдыхал. Через неделю Власик опять приезжает, чтобы забрать еще один бочонок вина. Настроение у него хорошее. Согласился пообедать. Сидят, закусывают, пьют.

— Как товарищу Сталину мое вино? — спрашивает мой родственник.

— Хорошее вино, — отвечает Власик, — но то, которое ты сделал в первый раз, товарищу Сталину больше понравилось.

— Что делать, — вздыхает мой родственник, — не все от нас зависит. От погоды тоже зависит.

Итак, Власик уехал довольный. То, что он приезжал за вином, мы все знали. А о том, что мой родственник проделал с вином для Сталина, мы узнали от него после Двадцатого съезда.

— Как ты не испугался Большеусого обмануть? — спрашиваю у него. А он смеется.

— А что мне оставалось делать? — говорит. — Я решил рискнуть. Раз, думаю, они в сельском хозяйстве ничего не понимают, значит, и в винах ничего не понимают. Так и получилось!

— Хо! Хо! Хо! Хо! — захокали старики, восхищаясь опасным молодечеством ачандарского винодела.

— Слушай, Михаил Аркадьич, — гуднул в его сторону старый актер, — ты же встречался с принцем Ольденбургским,

который в Гаграх правил. Ты, можно сказать, вырос у ног принца. Как он в винах разбирался?

— Великолепно, великолепно, — пробасил Михаил Аркадьевич, — он во всем разбирался.

— Расскажи о нем побольше. Тем более здесь тебя не все знают.

— Я Александра Петровича видел близко, как вас, — начал он, отодвигая от себя тарелку с ореховой подливой и куриной ножкой, как не слишком подходящих свидетелей его будущего рассказа. — У отца под Гаграми было имение. Сначала лошади, а потом автомобиль «ляурин клеманг». Тогда такая марка была. В семнадцать лет я скакал на нем по всем черноморским дорогам. Где ты, юность моя золотая?

Принц Ольденбургский устроил первое на Кавказе состязание автомобилей. Пробег Новороссийск — Гагры. Как сейчас помню, 21 сентября 1911 года двадцать девять машин выехало из Новороссийска. Какие люди за рулем, какие люди! Машина «мерседес» — ездок князь Шаховской! Машина «опель» — ездок барон Остен-Сакен! Машина «бенц» — ездок Меллер!

— Ты смотри — все дворяне! — воскликнул Глухарь.

— Как будто знали, что будут парижскими таксистами, — ехидно вставил Мерцающий Партработник.

— Да! Да! Господа! — уже воодушевленно клокотал Михаил Аркадьевич. — Это трагедия! Но тогда в Гаграх — военная музыка. Ля-ля-ля-ля! Нас встречает его высочество принц Ольденбургский со свитой, в которой мой отец... Папочка, ты ли это улыбаешься мне?! Простите, друзья, простите...



Он вытащил платок, промокнул лицо и глаза и положил его перед собой как бы на случай новой лирической надобности. Успокоился и продолжил теперь уже на более браваурной ноте:

— Вы никогда не догадаетесь, кто пришел первым! Вы думаете, ваш покорный слуга? Первой пришла машина, управляемая госпожой Старосельской! Были, были женщины в русских селеньях! Я пришел пятым, но не в этом дело.

Принц Ольденбургский устроил в городском скетинг-ринге ужин в честь участников пробега. Стол на двести персон. Вот он, российский размах!

На ужине черноморский губернатор, вице-президент Императорского всероссийского автомобильного общества Свечин... Забыл имя-отчество, прости, Господи! Представители прессы, «Новое время»...

А ужин? Осетрина холодная — соус провансаль! Кюлот де беф — соус мадера! Ветчина холодная — соус кумберленд! ...Где соус кумберленд?! Кому мешал соус кумберленд? ...Фрукты, вина, музыка!

— Вот это жизнь! — загудел старый актер. — А ты говоришь: Света из Одессы!

— Сколько же тебе лет?! — яростно вскричал Глухарь, как бы предчувствуя, что никогда не догонит его.

— Девяносто восемь, — с достоинством ответил Михаил Аркадьевич, словно гордясь своим длительным и верным браком с жизнью, — но порох еще есть. Я поставил себе задачей пережить советскую власть и почти выполнил ее. Но вот

что удивительней всего, господа, вы не поверите, но это так! Когда мне стукнуло девяносто лет, я вдруг почувствовал, что начинаю привыкать к большевикам. Вы знаете, в них намечается порода, да и происхождение мое они начали уважать...

— Жрут лучше нас! Вот и вся порода! — пыхнул старый актер.

— Не без этого, — чуть подумав, согласился Михаил Аркадьевич. — Но теперь вроде демократы вылезают. К большевикам я уже почти привык, а демократов забыл. Трудно. Они мне сокращают жизнь.

— Если вы, дворяне, такие крепкие были, — крикнул Глухарь, — зачем власть отдали большевикам?!

— Война, Распутин, рок, — заклокотал Михаил Аркадьевич, — я оказался у Колчака. Но я даже ни разу не выстрелил... Я был музыкант. После разгрома мы ушли в Харбин. Оттуда я попал в Японию. Денег нет. Работы нет. Но у меня голос! Устроился в ресторане. Однажды пел даже перед микадо. Впоследствии ваше ЧК, нет, НКВД, не могло мне этого простить. Уму непостижимо, как они это узнали! Но узнали!

— Хо! Хо! Хо! Хо! — с восторженным ужасом заудивлялись старики всевидящему оку.

— Неужели перед самим микадо пел? — спросил Мерцающий Партработник, поражаясь тому, что человек после такого падения еще остался жив.

— Было, было, пришлось, — сказал Михаил Аркадьевич, но тут его голос заглушил рокот пролетающего над нами пограничного вертолета. Подняв голову, он посмотрел на него,

и теперь по его длинной, морщинистой шее стало видно, как долго она несет эту нетяжелую голову.

— Интересно, — сказал он, дождавшись тишины, — кто из вас знает, когда над Мухусом взлетел первый аэроплан?

Снова подняв голову, он показал пальцем в небо, старики, проследив за его пальцем, тоже посмотрели в небо. Но ничего там не увидели и отрицательно замотали головами.

— Опять одна тысяча девятьсот одиннадцатый год! Двадцать седьмое ноября! Как сейчас помню! Сдается мне, что в том году и начался настоящий двадцатый век! Аэроплан «Блерио». Поднял его знаменитый в те времена авиатор Кузьминский. Между прочим, сын первоприсутствующего сенатора и племянник Льва Николаевича Толстого, как известно, врага технической цивилизации.

Аэроплан взлетел с поляны, где сейчас парк перед Домом правительства. Там тогда паслись буйволы и лошади. Отогна-ли их на край поляны, и Кузьминский взлетел. Аэроплан как-то нехорошо качнулся в воздухе, все ахнули, но Кузьминский его выровнял и полетел в сторону моря. Исчез. Думали, не вернется.

Нет, вернулся. Низко, низко закружился над поляной. Один круг. Второй круг. Высовывается из кабины, машет рукой и что-то кричит. Но не поймем что. Наконец расслышали: «Отгоните скотину!» Моторы были тогда не такими мощными, как сейчас, можно было докричаться.

Тут-то мы заметили, что, покамест он летал, лошади и буйволы вернулись на середину поляны, где они привыкли пас-

тись. Опять отогнали их, и Кузьминский благополучно сел. Тут музыка, туш, Кузьминского понесли на руках. Незабываемый день! Между прочим, Ленин, — неожиданно перескочил Михаил Аркадьевич, — предлагал остановить и отогнать кавалерию Мамонтова при помощи аэропланов.

— Клэвэта, — грустно развел руками Мерцающий Партработник, как бы заранее знавший, что этим кончится, — сейчас чего только про него не клеветают.

— Я когда сидел на Лубянке, — пояснил Михаил Аркадьевич, словно имея в виду место, общеизвестное удобством для чтения книг вообще и книг Ленина в особенности, — прочел много томов Ленина. Очень много! И там была такая записка.

— Том? Страница? — как бы устав от клеветы, тихо спросил Мерцающий Партработник

— Не помню, — ответил Михаил Аркадьевич, — но точно помню, что читал.

— Да что там ваш первый ераплан над Мухусом! — вдруг вскричал старик, сидевший на другом конце стола. — Я сам лично видел великого Эйнштейна!

— Эйнштейна?! — вскричали старики. — Хо! Хо! Хо! Хо!

Кстати, поразительна популярность в народе имени Эйнштейна. И эта популярность началась задолго до атомной бомбы. Даже полуграмотные люди знают, что был такой великий ученый. Я думаю, воображение простых людей потрясло само название его учения — «Теория относительности». Я думаю, многие люди решили, что Эйнштейн при помощи науки доказал, что все в мире относительно.

И то, что казалось грехом, тоже относительно. Как-то стало легче жить.

Не признаваясь друг другу в этом и даже, скорее всего, не додумывая эту мысль, они благодарно возлюбили Эйнштейна. И отсюда, я так думаю, его сказочная популярность.

Кстати, у меня есть два славных приятеля, оба физики-теоретики и большие любители литературы.

— Можешь ты мне объяснить в самых общих чертах теорию относительности? — однажды спросил я одного из них. — Только учти, что я в этой области абсолютно туп.

Он тут же учел это.

— А разве тебе Миша не объяснял? — удивился он. — Ты попроси его. Я только теоретик. А он и теоретик и прекрасный преподаватель.

Ладно, думаю, больше в тупости признаваться не буду. В следующий раз, встретившись с Мишей, я попросил его объяснить мне теорию относительности.

— А разве тебе Володя еще не объяснял? — удивился он, но, поняв, что это так, взял в руки листок бумаги и карандаш. — Я тебе объясню ее при помощи школьной задачи, — начал он. Изложил условия задачи, а потом как-то бегло набросал ее решение, словно экономя мои умственные силы для теории относительности. Но тут я с ужасом почувствовал, что у меня этих сил не хватает не только на теорию относительности, но и на школьную задачу. И признаться не хватило духу, и я, делая вид, что разговор вообще носит легкий светский характер, сам бегло изложил ему свои наблюдения над стили-

стикой Стерна, что можно было понять, как разминку перед теорией относительности. Он так охотно подхватил эту тему, что я заподозрил большее. Я подумал, что не только в стилистике, но и во взглядах Стерна есть нечто адекватное теории относительности.

Вероятно, мой друг решил, что я после объяснения школьной задачи сам ухватил основы теории относительности. Возможно, что его студенты, усвоив эту теорию, тут же заводили разговоры о Стерне или Достоевском. И он решил, что все в порядке, так и должно быть. Больше я к этому не возвращался.

А мы вернемся к нашим старикам, потрясенным тем, что их земляк лично видел Эйнштейна. Более того, как выяснилось в дальнейшем, он имел исключительную возможность усвоить теорию относительности с помощью самого автора, который, будучи еще более гениален, чем мой друг-физик, мог бы ему еще проще, уже на спичках, продемонстрировать эту теорию, но спичек у рассеянного Эйнштейна под рукой не оказалось, а наш земляк отказал ему одолжить коробок спичек из чистой амбиции, каковую он, спустя почти столетия, пытался выдать за соображение бдительности.

Этот старик, он сидел с другого края стола, в самом деле когда-то до пенсии работал на закрытом атомном объекте под Мухусом. Меня с ним знакомил мой родственник, работавший там же.

Старик был хозяйственником и, вероятно, краем уха слышал, как физики говорят об Эйнштейне. И он понял, что это грандиозный человек, связанный с созданием первой атом-

ной бомбы. Последующее можно объяснить не столько винными парами, сколько долгим комплексом работника закрытого учреждения, там, где слишком много запрещено говорить, слишком много фантазируется.

— Ты что, в Америку ездил к Эйнштейну? — язвительно заметил Мерцающий Парработник. — Завхоз! Тебе могли доверить поехать только в Кенгурск за пиломатериалами!

— Завхоз... — многозначительно повторил лично видевший Эйнштейна, — тогда так надо было говорить.

— А почему до сих пор молчал? — вскрикнул Глухарь.

— Подписку давал о неразглашении, — пояснил мнимый завхоз и торжественно добавил: — Вчера ровно в три часа дня кончился срок подписки! После войны, когда здесь организовали физико-технический институт, я поступил туда работать и до самой пенсии был там. И вот в сорок шестом году меня вместе с тремя крупнейшими физиками страны в виде четвертого послали в Америку к Эйнштейну... Город Принстон! — радостно выкрикнул он, словно выбросил карту, которую крыть явно нечем.

— Принстон? — удивился один из стариков за всех. — Мы даже не слышали про такой город.

— А как вы могли слышать, — лукаво улыбнулся мнимый завхоз, — когда он был закрытым, атомным городом? Ни на одной карте его не было. Сейчас, может, открыли.

Старик сложил руки на столе, как благополучный премьер на пресс-конференции, готовый отвечать на вопросы журналистов.

— Я умру от этого человека! — вскричал Мерцающий Парработник. — Пусть он не приходит на мое оплакивание! Город Принстон! Как член партии, закрываю уши. Пусть рассказывает что хочет.

— Именно Принстон! — поспешил подтвердить мнимый завхоз, опережая руки Мерцающего Парработника, закрывающего уши.

Тот, в самом деле, упершись локтями в стол, прикрыл ладонями уши. Впрочем, когда последовал рассказ, партийная принципиальность вошла в противоречие с партийным контролем в пользу последнего. И он опустил ладони.

— Расскажи, Шалико, расскажи, — просили старики у мнимого завхоза.

Глаза старика лучезарились фиолетовым огнем вдохновения. Маленький лысоватый крепыш наконец оказался в центре внимания.

— Первый раз рассказываю, — сказал он, смущенно почесав лысину, — если собьюсь — не обижайтесь... И вот, значит, меня примкнули к неофициальной делегации советских ученых. Нам кое-что надо было узнать у Эйнштейна. Сами догадывайтесь. Подписка до конца жизни! Прилетаем в Нью-Йорк и едем в закрытый город Принстон.

Между прочим, сам Поль Робсон нас туда вез. Он же наш человек и тем более был знаком с Эйнштейном. Приехали.

Ничего не могу сказать, принял нас хорошо. На столе было все вплоть до кока-колы. Сам Эйнштейн, между прочим, как Черчилль, пил только армянский коньяк. Курит трубку,



пьет коньяк. Когда уже хорошо подпили, я дал знак главному ученому: «Начинай».

И тот начинает. Говорили, говорили, говорили, но ни к чему не пришли. Отказал. Сам отказал или был под колпаком ЦРУ, сейчас невозможно установить.

«Попробуем его через песню взять», — говорю я и подмигиваю Поль Робсону. Робсон запел. От души поет.

*Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.*

А наш главный ученый тихо переводит Эйнштейну, когда Робсон поет по-русски. После пения Робсона наш главный ученый стал его опять обрабатывать. Но тот ни в какую.

— Если хотите, на скрипке сыграю, — говорит, — а насчет этого не заикайтесь. Я слово дал президенту Америки.

— На хрен нам его скрипка, — говорю. — Пошли.

И так мы холодно, но в рамках приличия попрощались с ним и пошли в гостиницу. И вот на следующее утро сижу в парке возле гостиницы и вижу — он идет. Гуляет! Клянусь тремя внуками — в старой пижаме гуляет. Неужели ты, великий ученый, не мог в Америке сшить себе один хороший костюмчик? Нет, чапает в пижаме.

Под хохот всех стариков, кроме Глухаря и Мерцающего Парработника, бывший завхоз встал, отодвинул стул и начал показывать походку Эйнштейна. Все стали смотреть, как

чапает Эйнштейн. Видно было, что завхоз в свое время смотрел фильмы о Чаплине.

Показав походку Эйнштейна и окончательно этим добив то и дело хватавшегося за голову Мерцающего Партработника, рассказчик бодро сел на место.

— И вот он поравнялся со мной, — продолжал рассказчик, — а в руке у него трубка. И вдруг останавливается возле меня. Я думал, он меня узнал. Врать не буду — не узнал. Оказывается, у него трубка потухла. Руками показывает: спички. «Нет, — говорю, — свои надо иметь». Ничего не сказал. Прочапал.

— Почему не дал прикурить? — вскрикнул Глухарь.

— Боялся! ЦРУ могли следить. Как за мной, так и за ним. Скажут: под видом спичек что-то передал. Потом иди, докажи!

— Слушайте, — опять взмолился Мерцающий Партработник, — я от этого человека умру! Какая Америка! Какой Эйнштейн! Тебе только в Кенгурск доверяли поехать и купить пиломатериалы! Пило! Пило! Пило! В Зугдиди уже поехать не доверяли!

— Город Принстон! Америка! — победно крикнул старый завхоз. — А почему Сталин после войны жажнул по евреям? Помните — борьба с космополитами? Иосиф такие вещи не хавал. Так он отомстил Эйнштейну.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — стали смеяться старики, и даже Глухарь присоединился к ним, махнув рукой.

— Разлейте вино, — похохатывая, сказал Асланыч, наливая себе и Михаилу Аркадьевичу, — выпьем за нашего вели-

кого путешественника. Тебе, Шалико, надо было повезти в Америку бочонок гудаутской «изабеллы» и подарить Эйнштейну. Он попробовал бы стаканчик и тут же раскололся бы.

— Была такая мысль, — важно пояснил бывший завхоз, — не думай, что ты умнее всех. Но нам сказали, что ввоз вин в Америку запрещен. Тем более бочковое вино.

Старики бодро выпили и вяло закусили. И тут, пожалуй, сказывалась уступка возрасту.

— Теперь расскажи свою историю, — обратился Глухарь к Михаилу Аркадьевичу, помогая ушной раковине ладонью, — ты остановился перед микадо.

— Да, да, господа, было... — неохотно начал Михаил Аркадьевич, однако постепенно воодушевляясь. — Потом Париж, такси, война, Гитлер. А когда Красная Армия разбила Гитлера, я сказал друзьям: «Наш спор окончен. На родину, господа, на родину! Раз, кроме большевиков, никто не мог сладить с Гитлером, значит, они правы». Я искренне тогда так думал. Нехорошо злоститься на отчизну.

И кое-кто из нас приехал на родину. Красная площадь! Даже Пантеон Ленина как-то, представьте, вписался в нее. Такое опьянение было, мне так виделось тогда!

— Надо говорить не Пантеон, а Мавзолей, — чуть раздражаясь, перебил его Мерцающий Партработник.

— Да, Мавзолей... Сначала все было великолепно. Все нам нравилось, а потом стали сажать. И меня взяли. Позвольте, с какой стати? А следователь пристает ко мне и пристает:

— Ты с каким заданием приехал, белобандит?

— Какое задание? — говорю. — Я всю жизнь просидел за рулем. Наш спор окончен всемирной победой России. Мы вам рукоплещем. Мы ведь тоже патриоты.

— Ты лучше скажи, патриот, — кричит он мне, — зачем ты пел перед микадо? Даже Шаляпин не пел перед микадо!

Согласитесь, господа, странная постановка вопроса! Я бедный эмигрант, в чужой стране, я пою тем, кто мне платит. Тем более перед микадо я пел только один раз, и он мне показался вполне благородным человеком. Да! Человеком нашего круга.

А этот каждый день долдонит одно и то же:

— Почему ты пел перед микадо и что ты этим хотел ему сказать?

И я наконец взорвался:

— Перестаньте тыкать мне, господин-товарищ! В мое время люди нашего круга жандармерии не подавали руки! Кивнуть могли, но руки не подавали! — и показал ему свою руку, ни разу в жизни не оскверненную жандармским прикосновением. А он, представьте, тюкает рукояткой пистолета по моей руке. Вот эти два пальца до сих пор плохо работают.

Михаил Аркадьевич вытянул над столом огромную хорошо разработанную кисть автомеханика. Старики с любопытством рассматривали ее, двигали пострадавшими пальцами, как бы пытаясь этой маленькой гимнастикой оздоровить их. А хозяин пальцев кивками показывал, что можно действовать смелее, что ему совсем не больно.

Пострадавшие пальцы Михаила Аркадьевича, вероятно, напомнили бывшему футболисту о пострадавших когда-то

пальцах ног, а пальцы ног напомнили о футболе. И он немедленно решил поделиться своими воспоминаниями.

— Разве сегодня футбол? — начал он. — Один гол забьют и всей командой целуются. Тьфу! В мое время не принято было на поле целоваться. И вообще чтобы мужчины целовались. Раньше только пьяные целовались. А сейчас и трезвые — чмок! чмок! — все целуются.

— Это ты правильно заметил, — клокотнул Михаил Аркадьевич, по-видимому, не обижаясь на то, что футболист его перебил. Говоря это, он одновременно косился на Глухаря, который, видимо, от глухоты особенно туго загибал ему пальцы, — это признак упадка общества. Мужчины, целуясь, прощают друг другу взаимное дезертирство.

— Да, — согласился бывший футболист, кажется не вполне понимая его, — раньше это считалось неприличным. А теперь все прилично. В мои футбольные годы были гениальные футболисты — братья Старостины. Потом их Берия арестовал. Славу не прощал никому.

А потом был только один великий футболист — Борис Пайчадзе. Борис Пайчадзе это эпоха!

Берия его тоже хотел арестовать. Его тоже ревновал к славе. Но упустил момент. Решил: все-таки грузин, пусть еще побегаёт. А тут Сталин увидел игру Пайчадзе, и он ему понравился. И теперь братья его стало опасно. А вдруг Сталин спросит: «Куда делся Борис Пайчадзе?» И тогда Берия решил: лучше я это черное дело сделаю руками самого Сталина. И он пришел к Сталину и сказал: «Хочу взять Бориса Пайчадзе! Лишнее болтает».

Сталин так поднял голову, затянулся трубкой и говорит: «Хорошо, Лаврентий, забирай Пайчадзе. Но при одном условии». — «Какое условие, товарищ Сталин?» — «Ты, Лаврентий, будешь играть вместо него. Согласен?»

А как он будет играть, когда у него пузо такое?

— Ха! Ха! Ха! Ха! — развеселились старики доброму остроумию грозного вождя.

Не смеялись только Михаил Аркадьевич и Тимур Асланович. Первый сумрачно нахохлился, а второй сверкал ироническими глазками в сторону рассказчика.

— Борис Пайчадзе — это эпоха. Однажды он здесь играл. Самый красивый гол из всех, что я видел, он забил. Финт — обводит бека! Финт — хавбека! Финт — еще одного хавбека! И со штрафной режет в правый угол! Удар! И сам как ракета вылетает вперед! Зачем? Мы вскочили на трибунах!

Оказывается, во время удара он пальцем ноги почувствовал двухсантиметровую ошибку и понял, что мяч попадет в перекладину! Вот почему он вырвался! Отскок! И он его головой в девятку! Трибуны взорвались! Это какие гениальные мозги надо иметь, какой гениальный палец ноги надо иметь, чтобы в долю секунды все сообразить!

— Хо! Хо! Хо! Хо! — потрясенные как мозговой, так и телесной гениальностью Бориса Пайчадзе, восторженно захохокали старики.

— Теперь другой случай, — продолжал рассказчик, довольный успехом первого, — 1950 год. Август. Вот такая же погода была, как сейчас. Он здесь играл. В перерыве футболисты

на углу стадиона пьют лимонад. Там лавка стояла. Одним окном выходила на стадион. Неужели не помните?

— Как не помним? Там Месроп торговал! Кто не помнит Месропа? — радостно загалдели старики, вспоминая толстого Месропа.

— И вот все футболисты пьют лимонад. И Пайчадзе пьет лимонад. Но как пьет.

Рассказчик цапнул со стола бутылку с остатками боржома, выплеск в сторону, строго запрокинул голову и совершенно вертикально поставил над запрокинутым лицом бутылку, приблизив горлышко ко рту. Однако из высшего целомудрия перед воспоминаниями о Пайчадзе, не прикасаясь и показывая всем, что не прикасается губами к горлышку бутылки, замер. Как бы с абсолютной физической точностью повторив сцену утоления жажды великого футболиста, он каким-то образом одновременно внушал, что все это только игра, тень, подобие той подлинной картины.

— Как будто небо пил через бутылку, так Пайчадзе пил лимонад! — воскликнул он и с легким презрением поставил бутылку на стол, давая ей знать, что она случайно и только на миг сыграла великую роль, но теперь возвращена к своей жалкой будничности.

— Хо! Хо! Хо! Хо! — как бы все поняв, очнулись старики.

— Я тогда уже не играл, — продолжал рассказчик, всматриваясь в далекую сцену, — но еще молодой был. Дерзкий! И я пошел прямо к Пайчадзе, положил ему руку на плечо и сказал: «Дорогой Борис, играй еще сто лет на радость Советского Союза!»

— А он что? — не удержался Глухарь.

— Вот так оторвал бутылку от губ, — сказал бывший футболист и плавным движением руки, отводящим бутылку, подчеркнул спокойствие и пристойность движения, — улыбнулся мне и сказал: «Здравствуй, Жора Гургенидзе».

Я с ума сошел! Неужели розыгрыш и ему подсказали мое имя? Но как это могло быть? Я же сам подошел, никого не предупреждал!

— Откуда вы знаете мое имя?!

Он ничего не ответил. Снова поднял голову и пьет лимонад. Я с ума схожу, а он пьет лимонад. Наконец допил, посмотрел на меня и тихо говорит:

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Я тогда совсем пацаном был. Приехали с дядей в Мухус и пошли на стадион. Играют «Мухус» — «Армавир». Счет один — один. До конца матча две минуты. Корнер у ворот «Армавира». Какой-то игрок подает. Удар! И он с корнера завинчивает мяч в сетку! Трибуны вскочили: «Браво, браво, Жора Гургенидзе!» Вот тогда я впервые услышал твое имя.

— Дорогой Борис, — говорю, — это был мой звездный час. Спасибо, я о встрече с тобой буду рассказывать детям, внукам и правнукам!

— Это тебе, — говорит, — спасибо. Именно в тот час я решил стать футболистом.

■ Вот такая встреча была у меня с Борисом Пайчадзе.

— Хо! Хо! Хо! Хо! — захохокали старики, потрясенные тем, что их друг когда-то зажег сердце великого футболиста.



— Говорят, Борис Пайчадзе умер, — еле сдерживая слезы, добавил старый футболист. — Кончилась великая эпоха советского футбола... Скоро и Советский Союз кончится...

— Хватит нюни распускать, — зычно загудел Асланых, — вы вообще любите сентиментальничать... Великая Грузия, великий Пайчадзе... А сантименты всегда кончаются кровью...

— Дальше, что было дальше? — нетерпеливо вскрикнул Глухарь, обращаясь к Михаилу Аркадьевичу, как если б тот прервался по своей воле.

— А дальше? Карцер. Магадан, — опять вяло начал Михаил Аркадьевич, постепенно взбадриваясь с разгона, — потом ссылка в верховья Енисея. Мы там подружились с одним фронтовиком, который бежал из плена и не мог доказать, что он не шпион.

И вдруг радио приносит весть: Сталин заболел. Кто бы мог подумать! Дыхание Чейн-Стокса! Но что это такое, мы не знаем. Врываемся к местному врачу.

— Что такое дыхание Чейн-Стокса?

— Это, — говорит, — амбец. Агония.

Мы выходим на улицу. Ночь, звезды. Простор. Космическая радость!

— Надо выпить, — говорит мой друг, — иначе я умру! Вспомнили, что в поселке живет ссыльный латыш. Приторговывает самогоном. Ночью стучимся к нему. Бедняга, наверное, решил, что его пришли брать повторно. Долго не открывал. Умоляем, а он возится за дверью, ворчит. Наконец открыл. Мы ему не сказали, почему хотим выпить, но он сам по нашим лицам обо всем догадался.

— Что, — говорит, — безнадежно?

— Да! Да! — говорим.

Латыш затеплел. Дает нам бутылку. А потом радио приносит долгожданную весть: «Диктатор уконтрапутился!»

Ледник треснул и пополз. Какие надежды, какие дни! Залпом Двадцатый съезд! Уцелевшие стали выходить из лагерей. Вот когда надо было начинать перестройку! Эх, Никита, Никита!

А сейчас что? К девяностому году своей жизни я стал привыкать к большевикам. Тем более что вместо убийц пришли воры. А в России всегда воровали. А сейчас кое-где демократы повыскакивали. И я уже замечаю, что в них есть энергия нахальства, как у большевиков в восемнадцатом году. Говорят: приватизация, приватизация... Пусть вернут мне мое имение, тогда я в них поверю...

— Зачем ты сказал, что Сталин уконтрапутился? — обидчиво заметил Мерцающий Парработник. — Грубо. Некультурно. Все-таки генералиссимус. Можно было сказать умер, скончался, усоп, почил. Учти, что русский язык богатейший язык в мире. Ты все-таки как был белобандитом, так и остался... Уконтрапутился...

— Именно уконтрапутился! — радостно возгласил Михаил Аркадьевич. — Они это слово принесли в революцию, и я им его возвращаю.

— А сейчас, друзья, наполните бокалы, — загудел актер, наливая себе и Михаилу Аркадьевичу. — Мой друг во многом прав. Я как раз сравнивал новых со старыми и думал об этом.

Лет тридцать назад здесь был второй секретарь обкома. Бандит из бандитов. Вы все его помните. По квартирному вопросу обстоятельства вынудили меня пойти к нему.

Распахиваю дверь. Вхожу. Он вскочил и навстречу. Пожимает руку, сажает, а потом и сам садится. Выслушал, обещал помочь и, когда я уходил, проводил до дверей. И сделал все, что обещал. Кто я такой? Актер. Да, незаурядный — без ложной скромности. Но ему что? Он и в театре ни разу не был.

А недавно к одному из новых демократов пришел по одному дельцу. У племянника сложности с работой. Ничего не слышит, ничего не видит. Сквозь меня смотрит. Болтун! Обещал, но ничего не сделал. Я сравнивал про себя эти два посещения, двух начальников двух эпох. И вот что я думаю.

Там была своя система. Уголовная, но система. И люди продвигались по признаку уголовного таланта. Одним из главных признаков уголовного таланта является чутье на силу и на слабость человека.

И он, когда меня увидел, сразу почувствовал силу моего духа. Но так как духовной силы он никогда не видел, он принял ее за уголовную силу. О, думает, это какое-то страшилище ко мне явилось. Мафиози под видом актера.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — стали смеяться старики. А один из них выкрикнул сквозь смех: — Как он мог тебя спутать, когда сам он и был главный мафиози?!

— Он решил, что я в глубокой конспирации и тем опасней. У тех было уголовное чутье. А у этих пока ничего нет, кроме опьянения властью. Вот когда у них появится чутье на

порядочность, тогда можно говорить о новой демократической администрации. Но терпенье, друзья, история быстро не делается.

Есть вещи похуже. На нас, друзья, со всех сторон идет чума национализма. Люди взбесились, и некому прикрикнуть: «Молчать! По местам!»

Вот мы, старики, по сорок, по пятьдесят лет друг друга знаем. Сколько нас тут: абхазец, русский, грузин, мингрел, армянин. Разве мы когда-нибудь, старые мухусчане, именно старые, между собой враждовали по национальным делам? Мы — никогда! Шутки, подначки — пожалуйста! Но этой чумы не было между нами. Наверху была, но между нами не было.

Нас всех соединил русский язык! Шекспир ко мне пришел через русский язык, и я его донес на своем языке до своего народа! Разве я это когда-нибудь забуду?

И я уверен — он победит эту чуму и снова соединит наши народы. Но если этого не будет, если эта зараза нас перекосит, умрем непобежденными, вот за таким дружеским столом. Пусть скажут будущие поколения: «Были во время чумы такие-то старики, они продержались!» Вот за это мы выпьем!

Старики выразили восторженную надежду погибнуть именно за таким столом, а не иначе. Они бодро выпили и даже довольно бодро закусили, как бы запасаясь силами перед нашествием чумы.

— Хватит о политике, — раздраженно прогудел старый актер, словно кто-то другой, а не он говорил о политике. Он отодвинул бокал и вдруг с лукавой усмешкой положил руку на

плечо Михаила Аркадьевича: — Слушай, Миша, ты объездил полмира. Ты знал европейскую женщину, русскую женщину, кавказскую женщину. Скажи нам, ради Бога, какая из них самая лучшая?

— Не обидитесь, господа? — орлом приосанившись, спросил Михаил Аркадьевич и как бы для полной свободы своей воли сбросил руку старого актера.

— Нет! — хором ответили старики, показывая, что ради истины готовы рискнуть репутациями своих старушек.

Михаил Аркадьевич зорко оглядел застольцев, как бы взвешивая возможности сопротивления. Взвесил, выпалил:

— Лучшая женщина в мире — японка!

— Как японка?! — растерялись старики, совершенно не ожидая удара с этой стороны.

— Вот тебе, Глухарь, и Света из Одессы! — гуднул старый актер.

Глухарь, опершись на руки, наклонился над столом, видимо готовясь к атаке. Старики ответили на эту реплику дружным хохотом, словно радуясь, что именно Света из Одессы оказалась дальше всех от японок, что сильно облегчало участь их собственных старушек. Впрочем, географически так оно и было: примерно на пол-Черного моря Света из Одессы проигрывала спутницам жизни застольцев, возможно, даже и спутнице самого Глухаря.

— Лучшая женщина в мире — японка! — снова воскликнул Михаил Аркадьевич, как бы не давая никому возможности сослаться на то, что он чего-то недослышал.

Старики снова дружно расхохотались, глядя на боевую позу Глухаря, который все еще готовился к атаке.

— Как любовница или как домохозяйка? — прокричал Глухарь сквозь дружный хохот стариков, надеясь при помощи такого уточнения хоть что-нибудь спасти для Светы из Одессы.

— Во всех смыслах! — не оставил никакой надежды Михаил Аркадьевич. — Японская женщина относится к мужчине, как к рыцарю, и мужчина невольно подтягивается, чтобы соответствовать... Это великая традиция. Это, знаете ли, взбадривает...

— Это культ самурая! — неожиданно перебил его Мерцающий Партработник. — А мы этих самураев били на озере Хасан и будем бить еще!

Он победно оглядел стол, словно собираясь в поход на самураев и ища соратников, но тут вдруг без всякого предупреждения Михаил Аркадьевич запел надтреснутым, но все еще мощным голосом. Старый актер загудел ему в лад, как из кувшина:

*С времен давным-давно забытых,  
В преданьях иверской земли,  
От наших предков знаменитых  
Одно мы слово сберегли.  
В нем нашей удали начало,  
Товарищ счастья и беды.  
Оно у нас всегда звучало:  
Аллаверды, аллаверды!*

Потом Асланыч запел мою любимую абхазскую застольную «Щарда аамта» — «Многие лета». И вдруг, старый черт, Михаил Аркадьевич так задушевно подтянул ее, что привиделось и подумалось: а не пел ли он ее в начале века, юный сам в кругу юных абхазских князей. Но где юные князья, где он, где все? Подтягивали и остальные старики. Шла благородная перегонка выпитого вина в спетые песни.

Вдруг у внутреннего входа в «Амру», раздвинув как дикий кустарник уныло ждущих удачи купальщиков, появился человек в черных очках, в японском халате и в тапках на босу ногу. Он смело и спокойно прошел между несколькими столиками, двигаясь в сторону буфета. Но тут наперерез ему выскочила та самая официантка и преградила дорогу.

— Голых не обслуживаем! — храбро бросила она ему в лицо.

Человек остановился и окинул ее лениво любопытствующим взглядом, насколько можно любопытствовать под черными очками. У него был вид хозяина, но официантка продолжала стоять на его пути. Потом, как оказалось, он был настолько большим хозяином, что официантка не знала его в лицо.

— Голых не обслуживаю! Приказ директора! — повторила она.

И тогда человек непередаваемым по спокойной наглости движением ладони снял светозащитные очки, как будто снял плавки. Официантка смутилась, но не слишком. Он посмотрел на нее очень ясным взглядом очень крупного шулера.

— Милочка, — сказал он, — ты не доросла, чтобы голым меня обслуживать. Я скоро это все приватизирую...

— У нас приказ, — насупилась официантка, но с места не сошла.

Человек сокрушенно надел очки, как будто снова надел плавки. Но уже, видимо, доложили, и к месту происшествия бежал директор.

— Арчил Арчилович, — взрыдывал он издали, — сами? Неужели некому?!

Это был тот же директор, который здесь же, на моих глазах двадцать с лишним лет назад, точно так же, узнав, что в ресторан неожиданно прибыл Ворошилов со свитой, бежал по этой палубе, чтобы скатиться вниз навстречу высокому гостю, и его хромяя нога, как бы не поспевая за верно-подданным телом, подлетала сзади. Другие времена, другие клиенты!

— Моего шофера лучше за смертью посылать, — сказал Арчил Арчилович, демократично скорбя, и просто пожал ему руку, показывая, что у него нет никакой обиды за то, что не сразу узнал. — Мы тут с моими московскими друзьями загораем. В префер перекидываемся. Пивка захотелось. Но не эту мочу, конечно.

Общий кивок столикам.

— Обижаете, Арчил Арчилович, — взгрустнул директор, но тут же взял себя в руки. — Чешское, датское?

— Чешского, — сказал Арчил Арчилович, окончательно демократизируясь.



— Сам принесу! — радостно крикнул директор вслед уходящему японскому халату.

Директор заковылял обратно с выражением необыкновенного восторга на лице. И, как бы боясь, что этот восторг кто-нибудь спугнет, подковылял к перилам «Амры» и хозяйственно оглядел море на подступах к своему заведению.

— Слушай, ты, рыбак! — закричал он. — Больше места не нашел рыбу ловить?

— Что, рыбу жалко? — голос снизу.

— Не в рыбе дело, — крикнул директор, постепенно заводясь, — дело в твоей грязной лодке! Люди с берега хотят посмотреть на «Амру», а не на твою лоханку. Хоть бы выкрадил лодку. Давай, давай, выбирай якорь!.. Рыбу жалко! Хоть бы и жалко! Имею право. Рыба, которая плавает вокруг «Амры», наша рыба. Мы ее прикармливаем остатками от клиентов. Она доверчивая. Ты попробуй в открытом море полови! Посмотрим, какой ты рыбак! Давай, давай, выбирай якорь!

Он вошел в помещение буфета и вскоре появился с картонным ящичком в руках, прикрытым свежим полотенцем. Осторожно снизу придерживая руками продолговатый ящичек, он шел с выражением лица человека, несущего из роддома своего позднего первенца. И счастливо поспешающая, подволакивающаяся нога как бы подтверждала реальность картины: хром, никто не хотел замуж выходить, пока он не скопил денег, а на это ушли годы и годы. Он подошел к выходу, ожидающие удачи расступились, и он аккуратно спус-

тился туда, куда когда-то на моих глазах кубарем скатывался навстречу Ворошилову и его свите.

Я вспомнил про немца и посмотрел в его сторону. Ба! Он досасывал третью бутылку шампанского. Две бутылки, как отстрелянные гильзы тяжелых снарядов, стояли в сторонке. У предполагаемой жены и предполагаемой переводчицы был одинаково притихший и испуганный вид. И теперь уже совершенно невозможно было понять, кто из них жена, а кто переводчица.

С потухшей трубкой в руке он мрачно уставился вдаль в поисках второго слова, которое надо прокричать этой стране, чтобы вернуть ее в лоно цивилизации. Но второе слово как раз таки и не находилось. И немец не по-нашему тихо, стоически пил и искал. Это сколько же бутылок еще придется?!

## ленин и дядя сандро

Коренастая фигура моего собеседника снова появилась у входа в «Амру». Быстрой, ликующей походкой он пересек палубу ресторана и сел на свое место.

— Все в порядке! — сказал он и, схватив вазочку с растаявшим мороженым, одним махом выпил ее и поставил на место. — История снова движется по моим часам. Но ничего не спрашивайте: поспешишь сказать — опоздаешь сделать. Ну чем я остановился? Да!

В начале пятидесятых годов у Сталина вызрело решение покончить с Берией, а потом и со всеми остальными членами Политбюро. Тиран вынужден время от времени обновлять ужас. И Берия, конечно, об этом догадался. И Сталин знал, что Берия об этом знает.

Однако Сталин на гребне военной победы прозевал момент. Соотношение сил оказалось в пользу Берии. И Сталин принял решение временно скрыться. Но где скрыться? Куда уползти? К генералу Франко! Сталин ведь оказал неоценимую услугу генералу Франко в борьбе с республиканской Испанией. Сталин под видом помощи республиканцам ввел в их ряды своих комиссаров, и они стали арестовывать цвет республики. И Франко благодаря этому победил и был Сталину глубоко благодарен.

У Сталина была своя охрана, которая никому не подчинялась. Однажды ночью он оставляет вместо себя одного из двух дублеров и тайно улетает в Мадрид. Франко его принимает и прячет.

Сталин оттуда следит за делами в России и ведет зашифрованную переписку с обоими дублерами. Первый дублер докладывает ему о поведении всех членов Политбюро, особенно Берии. А второй дублер докладывает ему о поведении первого дублера. А кто следил за вторым дублером, еще не удалось выяснить. Сталин корректирует их действия.

Но тут Берия убивает первого дублера, думая, что это сам Сталин. Берия нарочно устроил давку во время похорон мни-

мого Сталина, чтобы ослабить в народе культ Сталина и подготовить Двадцатый съезд.

Сохранилось гневное письмо Сталина второму дублеру по поводу безобразных похорон мнимого Сталина. Вообще вся переписка Сталина со вторым дублером сохранилась. Сталин ему написал, что тот будет отвечать своей жизнью за смерть первого дублера. И у второго дублера нервы не выдержали. Он знал, какую страшную комбинацию готовит Сталин из Мадрида. И он пал на колени перед Хрущевым и все ему рассказал. Потому и сохранилась переписка.

Хрущев неожиданно арестовывает Берия и расстреливает его. Берия был такой эгоист, что даже двойника не имел. Это облегчило его арест. Такого удара Берия не ожидал, но и Сталин не ожидал. Вся комбинация его разрушилась. Теперь на его шифровки в Москву отвечал не второй дублер, а черт его знает кто под видом второго дублера. Сталин по слишком сильному акценту шифровки понял, что его дурят. И тогда Сталин сказал Франко:

— Теперь это надолго. Заморозьте меня, как Ленина, до нового революционного подъема. И когда нас разморозят, мы снова сразимся с Лениным по гамбургскому счету.

И Франко его заморозил. А потом Франко умер, и испанцы продали Америке замороженного Сталина за сто миллиардов долларов. Вот почему им удалось демократия. Но это ненадолго.

— Зачем Америке замороженный Сталин? — спросил я. Он так удивленно посмотрел на меня, как будто весь мир давно об

этом знает и только я один каким-то чудом остался в неведении. Но тут к нам снова подошел краснорубашечник. Смирненно склонив голову, он спросил:

— Извините, но молодежь интересуется, что делал Владимир Ильич 20 января 1917 года?

Мой собеседник вдруг лукаво прищурился и, кивая головой на краснорубашечника, сказал:

— Разыгрывают старика, разыгрывают. Но как сказал один великий утопист: «Дети, играя, будут получать знания». А теперь признайтесь, только честно! Вы, конечно, имели в виду 19 января 1917 года?

— Честно говоря, да, — потупившись, сказал краснорубашечник.

— То-то же! — воскликнул мой собеседник и горделиво подчеркнул: — Три вещи мне никогда не изменяли: голова, желудок, мошонка!

Краснорубашечник вздрогнул, но выдержал серьезность. Один из его друзей рухнул на стол от смеха. Второй, вероятно, более совестливый, спрятал голову под стол, и только видно было, как спина его вздрагивает от приступов смеха.

— Да! Да! — продолжал мой собеседник, ничего не замечая. — В этот день Владимир Ильич писал письмо Инессе Арманд. Но это было не любовное письмо, а товарищеское. Ленин с негодованием, но, конечно, в рамках джентльменства отклоняет нападки Инессы на Энгельса. Инесса критикует Энгельса за то, что он в свое время скептически относился

к идее всеобщей стачки. Но в его время с ней носились презренные анархисты.

Однако история шла вперед, а Энгельса уже не было. Время показало, что массовая политическая стачка более чем оправданна. Если бы Энгельс был жив, он раньше Инессы догадался бы об этом.

Инесса при всей своей женственности не понимала диалектику времени. Кстати, как и Бухарин. Но это не мешало Бухарину быть любимцем партии. А если быть честным до конца, потому он и был любимцем партии, что недопонимал диалектики. Дело в том, что партия сама недопонимала диалектики, и в этом диалектика ее любви к Бухарину.

А вы, конечно, ожидали, что это любовное письмо? Прочитались! Любовные письма Ленина хранятся в надлежащем месте. Скоро придет их срок. Мир узнает сто тридцать пламенных посланий великого революционера своей возлюбленной! Это Данте! Это Петрарка! Это Пушкин! Учитесь любить, как Ленин!.. Но я об этом не могу! Не могу! Идите! Идите!

Краснорубашечник отошел, как мне показалось, несколько смутившись. Когда мой собеседник сказал, что писем было сто тридцать, я вспомнил ту цифру, которую он называл при нашей первой встрече. Теперь оказалось на три письма больше. Получалось, что переписка продолжается, хотя и не столь оживленно, как раньше. Но потом я решил: а черт его знает! Ведь с тех пор прошло столько лет. Тогда он, видимо, был вполне работоспособен и мог найти еще три письма.

Обстоятельства смерти Инессы Арманд таинственны. По некоторым сведениям она покончила с собой в Кисловодске, куда Ленин ее усиленно направлял для отдыха. Есть его письма по этому поводу. Очень уж он настаивал. Дружеская забота или что-то еще? Те, что предполагают самоубийство, ссылаются на противоречие между официальной версией ее смерти: холера, и тем, что ее хоронили в открытом гробу.

Мой собеседник, явно взволнованный своим монологом, повернулся ко мне. В первый раз он молча сам разлил коньяк. Сильная рука его дрожала. Он посмотрел на меня. В глазах его стояли слезы.

— Выпьем за упокой ее души, — сказал он и, уже сквозь слезы, не видя меня, взрыдал: — Инесса, твой хладный труп из Кисловодска прибыл... Я знаю, это месть твоя, Инесса!

Неожиданно трезво:

— Обратите внимание — в слове Инесса два «эс», как и в слове Россия. Я вынужден был выбирать.

И снова сквозь тихие слезы воспоминаний:

— Она умоляла меня остаться в Европе... У нее были деньги... Небольшие... Но достаточно для нас... Свой домик в Швейцарии и наши дети... И музыка под пальцами ее... Нечеловеческая музыка... Я так любил детей и музыку... Но тут февраль... Дурак Вильгельм нам злато предложил...

Неожиданно бодро, с пафосом:

— Я не мог не воспользоваться последним в жизни шансом доказать, что прав был я, а не Плеханов. И доказал!

И вдруг ирония истории и Коба! Кто б мог подумать в Цюрихе тогда? Но встреча близится! Что ж, берегись, кинто!

Я думал, он отвлекся и забыл, за кого пьет. Но он не забыл. По кавказскому обычаю он чуть отлил из своей рюмки в знак того, что пьет за усопшую. Одним махом осушил рюмку, осушил ладонями глаза и посмотрел на меня с выражением трезвого безумия:

— И вот, значит, Инесса стучится в дверь моей каюты. Я открываю...

— Какой каюты? — не понял я.

— Каюты теплохода «Адмирал Нахимов», — твердо ответил он и, твердо посмотрев мне в глаза, пояснил: — Я же до этого сам назвал ей номер своей каюты.

— Где Инесса и где «Адмирал Нахимов»? — попытался я вернуть его к действительности.

— Да, «Адмирал Нахимов», — настоял он, как бы не давая мне запутать себя. И вдруг спохватился: — Что ж, вы думаете, я не знаю, что «Адмирал Нахимов» погиб во время кораблекрушения? Но это было задолго до кораблекрушения. Я тогда бежал из брежневской психбольницы и скрывался от КГБ. Из Одессы я инкогнито ехал в Мухус на «Адмирале Нахимове».

— Но как там могла оказаться Инесса, которая умерла еще при жизни Ленина? — воскликнул я, пытаясь не дать себя сбить с толку.

— У вас в голове какая-то каша, — сказал он. — Во-первых, Ленин еще не умер, он перед вами. А во-вторых, я с ней познакомился в баре теплохода. Мы с ней сблизились на почве



оошей любви к мороженому. Ее звали Инна, но я попросил разрешения называть ее Инессой. И она, конечно, ничего не подозревая, разрешила мне так себя называть. И на этом попалась. Я пригласил ее к себе в каюту. У меня там были две бутылки хорошего «Мукузани». И вот она пришла. Мы выпили одну бутылку, и она рассказала мне свою горестную историю. Она из города ткачих, из Иванова, хотя сама работала бухгалтером на фабрике. Первый муж оказался горьким пьяницей и от этого умер. Второй муж замаскировался, пока ухаживал за ней, в рот не брал ни капли, а когда женился, оказался еще худшим пьяницей, и она его выгнала, чтобы не мучиться как с первым.

— Инесса, — сказал я, — давайте начнем все сначала. Я передо к вам в город, буду с вами жить и оттуда следить за развитием ситуации в России.

— Хорошо, — согласилась она, — только поклянитесь, что вы не пьяница! Третьего обмана я не выдержу.

Я поклялся.

— До переворота, — сказал я, — я вообще, кроме пива, ничего не пил.

— Тогда отвернитесь, — согласилась она и, раздевшись, легла в постель.

— И вы отвернитесь, — сказал я и, раздевшись, лег с ней.

Я два года не притрагивался к женщине и был, как ласковый тигр. Я замурыкал ее.

— Какой горячий старик, — сказала она после очередной близости и поощрительно похлопала меня по спине.

Я чуть с ума не сошел! Я понял, что это судьба! Я разрыдался! Ведь именно так меня называла Инесса Арманд: «горячий старик»! Но я был тогда молод, а Старик было моей партийной кличкой.

— Инесса, — проговорил я сквозь рыданье, — ты даже сама не знаешь, что ты сказала. Ты своими словами связала нас до конца наших дней.

— А что я такого сказала? — спросила она. И тут я разоткровенничался на свою беду. Я был так взволнован.

— Инесса, — сказал я ей торжественно, — представь себе, что ты лежишь рядом с Лениным.

— Ой! — вскрикнула эта дуручка и привскочила с постели. — Что ж вы меня пугаете, Степан Тимофеевич?!

— А чего ты испугалась? — удивился я.

— Как же мне не пугаться, Степан Тимофеевич, — говорит она, — я представила, что лежу рядом с Лениным в Мавзолее. Больше так меня не пугайте!

— Инесса, — отвечаю я вразумительно, — разве ты не убедилась, что Ленин и сейчас живее всех живых?

Она посмотрела на меня как-то странно, как-то пристально.

— Не пугайте меня, — сказала она ласково, — такого даже мой первый муж мне не говорил. А он был такой охальник...

— Иди ко мне, Инесса, — притянул я ее к себе и положил к себе на грудь, — потом все узнаешь. Утро вечера мудренее.

Просыпаюсь на следующий день. Ее рядом нет. Я вскочил. На столе записка. «Простите, но мы больше не увидимся.

Мне страшно. Я ночью проснулась, и мне показалось, что вы не дышите. Спасибо за все, горячий старик». Я чуть с ума не сошел, а она сошла с теплохода, пока я спал. Я быстро посмотрел, цела ли вторая бутылка «Мукузани». Эти бывшие жены пьяниц сами бывают пьяницами. Нет, бутылка на месте. И все вещи мои на месте. Честная женщина, но я ее не подготовил и тем напугал. Но надо же быть такой дурехой: «мне показалось, что вы не дышите»! Это я не дышу!!!

Он несколько раз набрал воздуха в свою могучую грудь и шумно выдохнул, показывая, сколь нелепа была ее ошибка.

Но тут откуда ни возьмись к нам подошел дядя Сандро. Он был в белой рубашке навывпуск, перетянутой кавказским ремнем, подчеркивающим его все еще тонкую талию. Бляшки на поясе с намеком на серебро тускло светились. Штрихом отметим галифе и легкие азиатские сапоги.

Появился он неожиданно, но потом выяснилось, что он сидел слева от нас с кутящими стариками. Однако когда именно он взошел на «Амру», я не заметил.

Дядя Сандро молча и пристально глядел на моего собеседника своими нагло нестареющими, яркими глазами. Тот ему отвечал таким же упорным взглядом, хотя одновременно и пытался изобразить на лице выражение острого, доброжелательно-лукавого любопытства, столь знакомого нам по многочисленным картинам с неизменным названием «Ленин принимает ходоков».

Забавно, что название картин почему-то не менялось, даже если на них Ленин чаевничал с ходоком один на один. Ко-

гда-то, помню, педантическая детская логика, учитывая множественное число в названии репродукции, заставляла меня все искать и искать остальных ходоков, наверняка ловко замаскировавшихся в кабинете вождя.

Но в отличие от рисуночных загадок (найдите второго зайца), второй ходок, не говоря об остальных, никак не находился. И я, помнится, тогда примирился, приспособился к мысли, что остальные ходоки есть, но они ждут своей очереди за пределами ленинского кабинета и картины, и, значит, никакой ошибки в названии ее нет. О, как хотелось верить!

А годы шли. Появлялись все новые и новые картины, где Ленин продолжал принимать все новых и новых ходоков. И на всех этих картинах, несмотря на чудовищное обилие ходоков, поза Ленина никогда не выражала спешку или тем более усталость. А лицо продолжало лучиться острым, доброжелательно-лукавым любопытством, и только его стакан с неизменным чаем под рукой с годами выписывался художниками все тщательней и тщательней, и уже нередко с опаской угадывалось, что чай этот горяч, может, даже нестерпимо горяч (то ли дымок над стаканом, то ли осторожничающие пальцы Ленина), и по этому поводу у некоторых интеллигентных людей возникало ощущение неимоверного мастерства художника, переходящего в безумную дерзость. Далеко идущий намек улавливался! Пальцы Ленина, видите ли, осторожничают, колеблются, конечно же, в отличие... Правильно, угадали: от пальцев Сталина.

С годами эти картины стали тайно раздражать, хотя и тогда ни разу не возникло ощущения, что в конце концов Ленину надоест этот туповато потупившийся якобы от смущения или особенно вот этот, с изумлением слушающий его ходок (Господи Иисусе, он все о нас знает!) и он, Ленин, возьмет да и плеснет ему в бороду этот навеки горячий чай. Я уж не говорю об обратном движении чая от ходока к монголоидному лицу Ленина или тем более о двух струях чая, одновременно перехлестнувшихся над его письменным столом, как две сабли над Куликовым полем!

Нет, нет, такого ощущения ни разу не возникло, да и не могло возникнуть, потому что лицо Ленина (не постыжусь повторить) всегда источало острое доброжелательно-лукавое любопытство. Лицо его как бы говорило всегда и всем ходокам сразу: знаю, знаю, что сейчас вы начнете хитрить, но я вас и хитрящих люблю, поскольку я народный вождь и потому сам не без хитрости.

И в студенческие годы, уже склоняясь над сочинениями Ленина, как в детстве над той злосчастной репродукцией в поисках недостающих ходоков, а теперь по второму кругу, склоняясь уже над его сочинениями в поисках сокрытого, как те ходоки, смысла, ибо явный был слишком беден, и опять же с детским упорством веря, что смысл этот есть, надо только докопаться, и все-таки так и не докопавшись до него, не найдя его, как и тех отмеченных во множественном числе ходоков, я в конце концов решил, что смысл этот расположился за рамками книжных страниц в самой жизни, в самой его побе-

де над этой жизнью. А стало быть, считай, он есть и в тексте, раз победа пришла через текст.

Но, кто его знает, не был ли этот самообман подсознательной психической защитой, ибо примириться с тем, что смысла не было и нет, означало бы для юности, что надо взорваться или признать себя негодяем, подхрюкивающим тиранству. А времена были еще страшные, сталинские...

Однако, взволнованный воспоминаниями, я позабыл о своем собеседнике. А между тем он продолжал глядеть на дядю Сандро с выражением вышеупомянутого любопытства. Но почему-то выражение это сейчас не очень получалось. То ли ходок не тот, то ли еще что-то. Установилась некоторая напряженка. И я понял почему. Каждый из них как бы молча настаивал на своей подлинности, но подлинность любого из них почему-то со скандальной неизбежностью означала мнимость другого.

— Присаживайтесь, дядя Сандро, — сказал я примиряющим голосом и, встав, придвинул ему стул.

Мой голос, как бы поддерживая подлинность дяди Сандро, одновременно незаметными для него вибрациями напоминал моему собеседнику, что нельзя слишком обижаться на прообраз литературного героя, даже если тот, по авторской лени или рассеянности, и в собственной жизни носит имя героя. Ошибку уже нельзя исправить, поскольку вещь давно печатается, или тем более невозможно изменить имя прообраза, учитывая его солидный возраст и исключительную привязанность к собственному имени.

Мой собеседник насмешливо хмыкнул, из чего стало ясно, что он не только понял меня, но и выразил столь привычное ему презрение к либеральным попыткам сгладить противоречия.

Дядя Сандро молча сел, не упуская из виду моего собеседника. Подлинность его, может быть, за счет перенесения центра тяжести на стул, явно укрепилась. Мой собеседник это почувствовал. И в самом деле, пока дядя Сандро стоял, легче было представить, что он может улетучиться.

— Так это он и есть дядя Сандро, — кивнул он на дядю Сандро, — а я все думал, что вы его придумали...

— Он меня придумал! — язвительно воскликнул дядя Сандро. — Это вы себя придумали! Я в своей жизни с кем только не встречался! От принца Ольденбургского лично получил в подарок цейссовский бинокль. Награда за остроглазие. У Нестора Лакобы в доме бывал как свой человек... Да, Нестор, — вздохнул дядя Сандро и, видимо окончательно уверившись, что бразды застолья взял в свои руки, уютно откинулся на спинку стула, вытянул и скрестил ноги. Пальцы небрежно, по-хозяйски обхватили пояс. Стало ясно, что он отдается потоку воспоминаний, которые не замедлит тут же озвучить. — Я был последним человеком, — начал он, — который видел Лакобу живым, здесь, в Абхазии. Конечно, не считая родных. В тот день он уехал в Тбилиси и вернулся в гробу.

Я был у него в доме, когда он уезжал. Он волновался, хотя и держал себя в руках. Перед тем как выйти из дому на улицу, у самых дверей, он вдруг вырвал свой пистолет и выстрелил в потолок.

Он всегда любил оружие, но мы тогда остолбенели, не зная, зачем он это сделал. А он, оказывается, дух свой подымал. Его ожидал тяжелый разговор с Берией насчет судьбы Абхазии, и он не знал, чем этот разговор кончится.

Наверное, он решил, что, если его будут брать прямо в кабинете Лаврентия, он начнет отстреливаться и первой же пулей его уложит.

И в самом деле, у него был тяжелый разговор с Берией, и они разругались в ЦК. Но Берия, шайтан, там его не тронул. Наоборот, когда шофер Лакобы увез его в гостиницу, Лаврентий прислал туда свою жену, чтобы она его пригласила домой и они за бутылкой вина примирились. Но Лакоба отказал его жене. Не поехал. И тогда Берия прислал свою мать, и она умолила Лакобу зайти к ним в дом и распить с ее сыном бутылку вина, как раньше, когда они дружили... Вернее, делали вид, что дружили. И тут дрогнул наш Лакоба, не мог старой женщине отказать. Он чтит наши древние обычаи и от этого погиб. Первый и единственный бокал, который он поднял в доме Берии, оказался отравленным.

Нет, старуха об этом не знала, не буду грешить. Да, Лакоба чтит обычаи наших отцов, и на этом его поймали... Да и тебя на этом поймали, хотя ты, слава Богу, жив, но умом, кажется, помутнел, — неожиданно стрельнул он в меня своими яркими глазами.

Сердце у меня на миг опустилось от вероятности догадки... Было нечто... Впрочем, самый конец его сентенции, ско-



рее всего, намекал на странность моего общения с человеком, сидящим напротив.

— Но я сейчас совсем о другом, — продолжал дядя Сандро, снова откидываясь на спинку стула и засовывая большие пальцы рук за тонкий кавказский пояс. — Я не только как свой человек бывал в доме Лакобы. Я с Троцким охотился. Со Сталиным дважды сидел за столом. Вернее, один раз сидел за столом, а второй раз после рыбалки рядом со Сталиным сидел на ковре. Он на стульчике, а я на ковре. Надо же точным быть! Я промок во время рыбалки, и он мне подарил свои запасные кальсоны. Спецшерсть! До сих пор им сносу нет!

Но я никогда в жизни не думал, что встречу с фальшивым Лениным. Ленин же лысым был при жизни. Недаром говорят, что у мертвых волосы и ногти растут. Что, в Мавзолее волосы выросли?

Мой собеседник весь затрясся от сдержанного смеха.

— Скоро все поймете, Сандро Хабугович, скоро! — радостно обнадежил он его. — Когда мы победим, я вас введу в Совет старейшин. В тот раз мы это упустили. Но позвольте спросить вас, как это вы охотились с Троцким? Насколько я знаю, Лев Давидович в ваших краях не бывал. Чепухенция, Сандро Хабугович, чепухенция!

Тут дядя Сандро стал хохотать, обнажая крепкие газыри зубов, сверкая глазами и кивая на моего собеседника, дескать, попался твой знаток истории.

Я тоже удивился, что человек, столь досконально изучивший жизнь Ленина и его окружения, упустил из виду, что

Троцкий был в Абхазии. Об этом Троцкий пишет в своих мемуарах. Но потом догадался, в чем дело. Мой собеседник, изучая жизнь Ленина, пользовался только советскими источниками. А книги Троцкого появились в нашей стране в последние годы, когда он уже оказался по ту сторону добра и зла.

— Как же вы могли об этом знать, если вы Ленин? — сказал дядя Сандро, приглаживая усы, слегка распушенные волнами смеха. — Вы же лежали в гробу, когда Троцкий сюда приехал. Не помните? Я вам напомню.

Троцкий в Тифлисе узнал о смерти Ленина и послал телеграмму в ЦК, что приедет на похороны. Но Сталин спокойно рассчитал, сколько дней поезд идет до Москвы, и ответил Троцкому, чтобы он не приезжал, что он все равно не успеет на похороны.

На самом деле Ленина позже похоронили, и Троцкий мог успеть. Но зачем Сталину Троцкий у гроба Ленина, когда он там делит власть со своими людьми?

Одним словом, Троцкий, получив телеграмму от Сталина, с горя приехал в Абхазию отдыхать. И тут сообразил, что мог успеть на похороны, но было уже поздно.

Потом, когда мы с ним встречались на охоте, он все время бурунчал и бурунчал на бюрократию, которая спутала день похорон Ленина. На самом деле, никто ничего не спутал, и я это уже знал. А он не знал. Я уже тогда был умом проворен.

Но стрелял Троцкий хорошо. Смачно стрелял! Бабах — и дичь как шапкой прихлопнет! Но Сталин его тогда обштопал. А потом так и пошло.

— Ничего, — воскликнул мой собеседник, помрачневший было до этого то ли за обманутого Троцкого, то ли за свой недоплаканный труп, — драчка предстоит! Так что, Сандро Хабугович, — все впереди! Но неужели вы и есть тот самый дядя Сандро? А я думал — он вас придумал!

— Это я его придумал! — воскликнул дядя Сандро, легко выпрямляясь на стуле. — Он за мной идет, как грач за пахарем. Я пашу, а он клюет! А когда гонорар получает, про своего дядю не думает.

Но ничего. У каждого своя судьба. Я вам сейчас расскажу про один случай. А вы внимательно слушайте, и пусть каждый скажет, что он думает.

Это было три года тому назад... Тогда еще магазины не совсем продувались сквозняком. Кое-где продукты загоразивали. Еду, значит, в автобусе к себе в пригород. Автобус полупустой.

Передо мной сидит один лавочник в кремовом кителе. Это имеет значение, потому заранее говорю, какой китель. Он лавку содержит недалеко от моего дома. Но я к нему не хожу, потому что у нас другой магазин есть и там покупаем кое-что. Но так немного знаю его, потому что сосед. Он там так и живет возле своей лавки.

Если на улице скандал или тем более выстрелы, он из дому выглядывает: что с лавкой? А если сам в лавке, а на улице шум подымается, он из лавки выглядывает: что с домом? То из дома в лавку что-то тащит, то из лавки в дом волочит.

И вдруг в автобус входит здоровый молодой человек с хулиганской мордой. Мне он сразу не понравился. Мед-

ленно обшарил глазами автобус и сел рядом с этим лавочником. Есть пустые места, но он рядом с ним сел. Это почему, думаю, он рядом с этим лавочником сел, когда кругом пустые места?

Слежу. А лавочник, значит, в кремовом кителе. Наверху карманы. И вдруг вижу — этот бандит протягивает свою лапу и нахально лезет в карман лавочника. Но при этом сам вперед смотрит, как будто там что-то особое видит. Куда рука лезет — не смотрит. Но что интересно — лавочник тоже вперед смотрит, как будто ничего не замечает.

— Может, он и в самом деле не заметил? — спросил я.

— Что ты! Как это не замечает! Он даже грудь выпятил, чтобы этому удобней было. Так хорошая коза хозяйке вымя подставляет. Этот его запугал своим видом.

И вот я смотрю. Автобус себе идет, а этот отстегивает пуговицу на кармане и вытаскивает оттуда пачку денег. Небольшую, но пачку. Красные десятки. И кладет к себе в карман. И при этом продолжает смотреть вперед. Но что интересно, и лавочник продолжает смотреть вперед.

Я горю. Сейчас этот подлец сойдет, а этот лавочник так и будет смотреть вперед. До горла подошло. Я забыл себя. Вскакиваю. Хватаю этого бандита обеими руками за шиворот, выволакиваю в проход и одной рукой изо всей силы даю ему по шее. И он валится прямо к дверям. Лежит. Шум! Гам! Женщины кричат. Никто ничего не понимает. Шофер затормозил.

— Открой дверь, — кричу.

Сам не знаю, зачем кричу так. Шофер открывает дверь. Этот вываливается на улицу и вдруг вскакивает и бежит. Я думал, он полумертвый, а он побежал.

Автобус поехал дальше, и тут я объясняю людям, что случилось. Все меня благодарят. «Сандро наш защитник!» И мне, конечно, очень приятно.

А этот лавочник, между прочим, молчит. Скромно так сидит, как будто это его не касается. Чуть-чуть улыбается. Чуть-чуть пожимает плечами. И некоторые, наверное, думают, что глухонемого ограбили, и еще больше его жалеют.

Ну, думаю, все-таки мужчина. Ему стыдно. Я в два раза старше него и, защищая его честь, схватился с бандитом. А он струсил. Тем более в автобусе много женщин, а он только пожимает плечами и виновато улыбается.

На конечной остановке мы с ним выходим. Нам идти в одну сторону. Идем. Я у него спрашиваю:

— Сколько денег было в кармане?

— Какие деньги? — отвечает он.

— Как какие? Которые вор вытащил у тебя из кителя!

— А там у меня ничего не лежало, — говорит он, — я вообще не имею привычки в китель деньги класть. Я имею привычку деньги в бумажнике держать.

И в самом деле, вынимает из брюк бумажник и раскрывает, как гармошку, — полно четвертаков. Я людей с такой гармошкой в кармане по походке узнаю. Играет гармошка! Но мне сейчас не до этого.

— Я же сам видел, — говорю, — пачку красных десятков!

— Нет, — говорит, — я вообще не имею привычки десятки в кармане носить. Не уважаю! Нет, торговать уважаю, а в кармане держать не уважаю.

Я начинаю психовать.

— Что я, — говорю, — от старости зоркость потерял, что ли? И уже красную десятку путаю с туалетной бумагой?!

Сейчас можно спутать, но тогда это еще были деньги.

— В таком случае, — говорю, — зачем я ему по шее дал и он вывалился из автобуса?

— Вы благородный человек, — отвечает лавочник, — а этот парень, скорее всего, хулиган. Но денег он у меня не брал.

Ах ты, негодяй, думаю, в следующий раз будешь гореть в своей лавке, стакан воды не плесну в твою сторону. Но больше ничего ему не сказал и свернул домой. Думаю, может, все еще стыдится как мужчина и поэтому не признается. За ночь остынет, приду и спрошу.

Захожу на другой день в лавку. Он спокойно так торгует, как будто ничего не случилось. Потом он уходит от покупателей, подходит ко мне и тихо говорит из-за прилавка:

— Китайская тушенка есть. Эти уйдут — дам.

— Не надо, — говорю. Явно хочет купить меня. Прямо скажу, если бы он в честь моего благородного избиения хулигана выставил хороший стол, чтобы я пришел с друзьями и мы выпили, закусили, повеселились, я бы не отказал. И не стал бы людям говорить, что он сам вору грудь подставил, как хорошая коза подставляет хозяйке вымя. Все было бы по-другому. А он китайской тушенкой хочет закрыться от правды. Грубо!

Но я не даю ему закрыться от правды и опять допытываюсь насчет денег. А он опять долдонит свое: я десятки в карман никогда не кладу и ничего не было.

Может, я с ума сошел и ошибся? Может, глаза от старости испортились? Нет, когда дома старушка моя просит, я без очков нитку в иголку вдеваю с первого раза. А за что я в молодости цейссовский бинокль получил, вы теперь знаете. Может, торгаш с ума сошел? Нет, торгует, не проторговывается.

И на следующий день спрашиваю, и через день спрашиваю.

— Нет! Нет! И нет!

И до того я возненавидел этого дурака, что ночей не сплю. Почему он не признается? Неужели он думает, что я после этого начну у него в лавке бесплатно брать халву или консервы? Ничего особенного в его лавке нет. И вообще я не такой человек. Может, все еще стыдится как мужчина? Но какой стыд у этого лавочника? Бесфактурную халву ящиками продает.

Тогда в чем дело? Нет, думаю, подлец, я это дело так не оставлю. Стороной узнаю, что у него есть порядочный родственник. Работает в аэропорту диспетчером. Честный. А как он может быть нечестным? Самолет по блату еще не сажают и не поднимают. Пока. Приходится быть честным. Захожу к нему и все ему рассказываю, как было.

— Что он от меня хочет? — говорю. — Я боржом у него в лавке бесплатно не возьму. К жене или к любовнице, если

она у него есть, не приду и не расскажу, что он трус. Почему он меня за человека не считает? Почему не признается? Соберите семейный совет родственников, вразумите этого дурака, чтобы он признался. Я со Сталиным сидел за столом. Я с Троцким охотился! А он со мной обращается так, как будто я бродяга без роду-племени и красную десятку могу спутать с туалетной бумагой.

— Хорошо, — говорит, — дядя Сандро, не волнуйтесь. Мы в ближайшие дни соберем родственников и заставим его сказать правду.

— Заставьте! — говорю я и пожимаю его честную руку. — Иначе или я должен переселиться, или лавку его должен сжечь на старости лет! Мы не можем так встречаться, как будто между нами ничего не случилось.

Через четыре дня снова прихожу к диспетчеру. Издали он так грустно на меня посмотрел, что я понял: самолет этого лавочника мимо пролетел.

— Был, — говорит, — дядя Сандро, семейный совет. Он отказывается. Что мы можем сделать? Он сказал: «Если вы хотите от меня избавиться, избавляйтесь! Дядя Сандро благородный человек, но он ошибся. У меня на моем любимом кърэмовом кителе вообще верхних карманов нет». Честное слово, дядя Сандро, голова опухла от его «кърэмовый китель»!

Неприятный человек, хоть и мой родственник. Так что извините, дядя Сандро, но мы ничего с ним сделать не смогли. Но если хотите куда-нибудь лететь — любой рейс в любом на-



правления, — устрою билет. Сейчас керосина нет, рейсы отменяются, с билетами трудно. И если ваш знакомый или знакомый вашего знакомого захочет лететь — пожалуйста! Пусть только назовет ваше имя. Я знаю — вы скандалиста не пришлете. Вы теплого человека пришлете.

Вижу, и этот хорош. Теплого человека ему подавай. Тот ему деньги отслюнит, а этот ему крылья прислунит. А кто за летящими самолетами будет следить? Я?

Ухожу. Что делать? Хоть, в самом деле, улетай из Абхазии. Но душа горит. Успокоиться не могу. Действительно, вспоминаю — на нем был кремовый китель. Но я же видел, как вор из кителя деньги тащил! Или я, в самом деле, с ума сошел?!

И уже по дороге приглядываюсь к людям. Глаза сами ищут кремовые кители. Четыре человека насчитал в кремовых кителях. И у всех на кителях верхние карманы! Нет, думаю, негодяй, дядю Сандро не проведешь! И вдруг попадается пятый человек в кремовом кителе без верхних карманов! Что хочешь, то и думай!

Опять захожу к нему в лавку. Он торгует. Несколько покупателей. Посмотрел на меня такими тихими глазами, мол, вот он я, а вот мой крэмовый бескарманный китель.

И в самом деле, бескарманный! Или я с ума сошел, или он успел сшить себе новый кремовый бескарманный китель. Нет, все-таки различаю, что китель не совсем новый. Если это понимаю, значит, не сошел с ума? Но раз китель все-таки бескарманный, значит, вор в него не лез? А раз вор в него не лез,

значит, я с ума сошел! А этот лавочник ко мне подходит и шепотом из-за прилавка:

— Польский вермишель. Эти уйдут — дам.

Я ни слова не сказал и вышел из лавки. Иду дамой. Держу себя в руках. Но кого держу, сам не знаю: нормального или сумасшедшего? Если сумасшедшего — долго ли удержишь? И еще я думаю — надо от улицы к моему дому свою тропинку протоптать, потому что здесь я с этим лавочником могу столкнуться. Доведет до преступления на старости лет. Так что же, выходит, он победил меня или я с ума сошел?

И тут мне Бог помощь послал в виде его сына. Такой пацан лет восьми. Прыткий. На отца не похож. Он стоял возле моей изгороди и глаз не сводил с моей черешни в саду. Даже меня не заметил.

И вдруг я понял, что надо делать. А он меня не видит. Голову поднял и смотрит на ветки, осыпанные черешней.

— Хочешь? — говорю. — Она уже поспевает.

— Да, — говорит мальчик и мне показывает рукой, — на той ветке уже позавчера поспела!

— Тогда идем, — говорю, — ты еще не опоздал.

Мы зашли в сад. Я его посадил на дерево. Не успел я его отпустить, как косточки защелкали по листьям. Наелся от пуза. Наконец снимаю его с нижней ветки и ставлю на землю.

— Когда хочешь, — говорю, — приходи кушать черешню. Я знаю твоего папу. Он хороший человек. Храбрый! Но у бедного твоего папы вор в автобусе украл деньги. Я видел своими глазами.

— Знаю, — отвечает мальчик, а сам, запрокинув голову, смотрит на черешню. Вроде жалеет, что рановато слез.

— Откуда знаешь? — говорю, стараясь не горячиться.

— Папа маме говорил, — отвечает мальчик, а сам глазами шарит по веткам. — Я слышал из своей комнаты... Потом он ей сказал, чтобы она отпорола карманы... И она отпорола.

— От кремового кителя? — спросил я, видно, таким голосом, что мальчик наконец оторвался от черешни и посмотрел на меня.

— Нет, — говорит, — от всех. У моего папы четыре кителя. Один черный для похорон.

И тут я поспешил.

— Что, — говорю, — папа просил похоронить его в черном кители?

— Наоборот! — махнул мальчик рукой. — Папа сам на похороны ходит в черном кители.

Он у меня доходитя, думаю я, а сам говорю:

— А сколько денег вор украл у папы? Может, знаешь?

— Знаю, — кивает мальчик, — там было сто рублей. Папа маме так сказал.

— Ну теперь иди домой, — говорю, — только папе ни слова о нашем разговоре. Он обидится.

— Сам знаю, — отвечает мальчик и идет домой, оглядываясь на черешню.

Ладно. На следующий день я вошел в лавку этого торгаша. Дождался, чтоб люди вышли. Даже защелкнул дверь изнутри. Он, дурак, испугался. Думал, бить буду. Но я его крэм-

вую мать не оставил. Кърэмового отца не оставил! Кърэмовую бабушку достал и кърэмового деда не забыл!

Все, что хотел, сказал ему, до того он меня довел. Но про карманы, конечно, не сказал. Он мог догадаться, что я через сына узнал об этом.

Выхожу из лавки — как будто чегемской водой окатился! Душа поет! Голова ясная! Я даже догадался, откуда у него эти сто рублей оказались в кармане.

Наверное, взял из кассы, как мелкие деньги, чтобы расплатиться с грузчиками, когда они привезут товар. Но товар не привезли, и он про эти деньги забыл. Мелочь! И потому они небрежно были сунуты в карман, и оттого этот мордатый парень издали заметил в автобусе, что карман у него топырится. Вот и подсел к нему.

И что интересно, через неделю сижу в парикмахерской, и вдруг туда входит этот мордатый и, не замечая меня, предлагает парикмахерам подпольные женские туфли.

— Что, — говорю, — теперь на подпольные туфли перешел?

Он оглянулся и сразу меня узнал.

— Да, — говорит, — чтобы по шее больше не получать.

Добродушно так говорит. И мне это понравилось.

— Если б я тогда знал, что он за человек, — говорю, — я бы по шее надавал ему, а не тебе. Сколько ты у него забрал тогда?

— Не помню, — говорит, — кажется, сотняга.

Все совпало. Выходит, карманщик оказался самым честным из них. А диспетчер тоже хорош. Теплых людей ему по-давай. Горячих не хочет!

Ты ему деньги отслюнишь, а он тебе крылья прислунит. А мальчик, между прочим, хотя уже три года прошло с тех пор, все еще наведывается в мой сад. Черешня поспеет — к черешне. А там к яблокам, а там к грушам, а там и к инжиру. И каждый раз говорит:

— Я папе тогда ничего не сказал! И теперь не скажу!

Вот чертенок! Понял мой характер — люблю проворных умом! Но сколько можно! Слава Богу, хоть подсаживать теперь его не приходится. Иногда удивляюсь. Выходит, сначала я достал лавочника через его сына, а теперь он меня, что ли, достает через своего сына? Но ничего, через год, если не угомонится, заставлю его с корзиной карабкаться на дерево.

И так получилось, что карманщик самый честный оказался. А ведь между встречей в автобусе и в парикмахерской прошел целый месяц. И он мог сказать теперь: «Я вас первый раз вижу! Я никогда по шее не получал и денег не воровал! Мирно торгую себе женскими туфлями на каблучках».

А я потом должен буду по новому кругу доказывать, что и как оно было на самом деле. Вот до чего мы дожили! Карманщик оказался самым честным человеком. А теперь вы мне скажите, почему торгаш не признался, что у него этот парень взял деньги?

Дядя Сандро снова откинулся на стуле, слегка расправил усы, сунул руки за пояс и стал оглядывать нас, пожевывая пальцами ремень. Казалось, довольный проявленным в расска-

зе проворством собственного ума, он ожидал от нас встречного проворства. Впрочем, судя по взгляду, без особой надежды.

— Сначала стыдно было, — сказал я, — а потом заупрямился.

Выражение иронии на его лице не усилилось, но и не ослабло. Так держит себя хороший экзаменатор. Он перевел взгляд на моего собеседника.

— Типичное мелкобуржуазное лицемерие, — презрительно отчеканил тот, — с этим лицемерием я боролся всю жизнь.

— Ерунда, — махнул рукой дядя Сандро, по-видимому, объединяя наши ответы. — Я долго думал над этим и понял, в чем дело. Каждый человек хочет считать, что он правильно живет. Он и карманы на своих кителях решил отпороть не только потому, что боялся сунуть туда случайные деньги. Он сильнее всего боялся, что найдется еще один благородный человек, который бесплатно будет спасать его честь. А это ему очень неприятно. И вот теперь ты понял, почему перестройка провалилась?

— Нет, — сказал я, удивленный неожиданностью поворота.

— На всю страну один карманщик перестроился. И то благодаря мне. А ты сиди со своим Лениным, у которого волос на голове после смерти больше, чем при жизни... А я пойду к своим старикам... А ты, когда напишешь, о чем я рассказал, и будешь получать за это деньги, не забудь про своего дядю.

— Не забуду, дядя Сандро, — ответил я уныло. Бодрее ответить уже было невозможно. Слишком давно это длится.

Дядя Сандро махнул рукой, легко встал и пошел к своим старикам своей лениво летящей, своей победной походкой. Теперь я понял, что он и подошел к нам, чтобы на всякий случай обаять моего безумца, и, добившись своего, потерял к нам интерес.

— Какой матерый человечище! — воскликнул мой собеседник, восторженно глядя ему вслед и потирая свой — раз уж так принято считать — сократовский лоб.

Кстати, сравнение это как бы подтверждается смутными слухами о повторной цикуте. Но цепочка на этом не обрывается, а как бы замыкается на авторе сравнения ленинского лба с сократовским, где тоже, по слухам, цикута сыграла свою роль. Из чего следует, что не надо знакомые лбы всуе сравнивать с сократовским. Мне даже послышался голос свыше: «Оставьте сократовский лоб грекам и займитесь собственными лбами».

— ...Обязательно, — продолжал мой собеседник, — введу его в Совет старейшин, когда мы снова захватим власть. Исключительно народный тип, хотя и лишен классового чутья. А почему бы вам, батенька, не написать нечто вроде нашего двойного портрета «Вождь и народ»?

— Попробую, — сказал я.

В это время к нам подошел человек с голубой сумкой в руке. Слегка наклонившись ко мне, он тихо спросил:

— Лампочки нужны?

— Какие лампочки?

— Электрические.

Я вспомнил, что жена племянника, у которого я остановился, жаловалась на невозможность достать их.

— Давайте, — сказал я.

Я подумал, что эта небольшая сделка будет мне приятной передышкой, а моему собеседнику послужит хорошим уроком частного предпринимательства.

Незнакомец осторожно поставил на пол свою большую сумку и, двумя пальцами придерживая язычок молнии, мягким движением распахнул ее. Я заглянул.

На дне сумки, аккуратно уложенные в вату, как драгоценности, мерцали лампочки всевозможных размеров и форм. яйцевидные, грушевидные, сливовидные. благородно тускнели лампочки матового стекла, и еще более благородно выделялись фиолетовые, похожие на фантастический заморский плод или в крайнем случае на баклажан.

Часть лампочек была уложена в ячейки подставки, в которой продают яйца, когда продают, конечно.

Я взял одну лампочку именно из этой подставки.

— Лампочка «миньон», — одобрительно пояснил продавец и, догоняя мою руку, лизнул лампочку откуда-то выхваченной бархоткой. Так заботливая мать приглаживает и без того приглаженные волосы ребенка, перед тем как показать его гостям.

Возможно, продолжая мысленное сравнение с яйцом, я посмотрел ее на свет, как бы пытаясь определить, не перешел ли желток в состояние зародыша. Увы, крохотный трупик вольфрамовой нити лежал на доньшке лампочки и, кажется, все еще сучил паутинками ножек.



— Она перегоревшая, — сказал я, возвращая лампочку и слегка стыдясь разоблачения.

— Конечно, — уверенно кивнул он, — они все перегоревшие. Поэтому и продаю «миньон» по пять рублей за штуку.

— Кому нужны перегоревшие лампочки? — спросил я. Об-раз яйца преследовал: потухшие, протухшие.

— Всем, кто трудится в учреждении, — ответил он твердо. — Меняешь перегоревшую на целую, а потом государство этим занимается.

Он немного помешкал и, по-видимому, поняв, что у меня нет доступа к государственным учреждениям, наклонился и вложил лампочку в родное гнездо. Прощай, «миньон».

Я в последний раз оглядел драгоценные внутренности его сумки, исчезающие под рубцом молнии. Потом поднял голову и внимательно взглянул на нового Чичикова, продавца мертвых душ лампочек.

Это был господин средних лет, одетый в выцветшую, но опрятную ковбойку и не менее опрятные, хотя и более выцветшие брюки, не претендующие не только на последний крик моды, но и вообще на какой-либо крик. Однако лицо его, хорошо подсушенное алкоголем, выражало скромное достоинство представителя, может быть, и не очень богатой, но честной фирмы.

— А где птица-тройка? — спросил я, как бы рассеянно озираясь в пространстве и времени.

— Не понял, — ответил он сухо, но и с некоторой готовностью внести ясность, если в вопросе не было непростойности.

Мне вдруг стало весело. Я ощутил за всем этим какой-то грандиозный и в конце концов обнадеживающий символ: свет жизни, хотя бы и электрический, перемещается из советских учреждений в частные дома. Эти учреждения когда-то высосали свет жизни из наших домов. И вот — расплата.

Раньше, в самых невероятных мечтах, как нам представлялось? Нам представлялось, что последний советский чиновник, покидая последнее советское учреждение, погасит свет и уйдет домой. Нет, оказывается, не погасит свет, а вывинтит последнюю лампочку и уйдет домой, топыря карман, как некогда топырил четвертинкой. Тоже источник света.

— Хорошо идут лампочки? — спросил я.

— Отлично, — охотно пояснил он. — За сегодняшний день вторая сумка.

— Где вы их достаете? — неосторожно спросил я.

— Это тайна фирмы, — с достоинством ответил он.

— А еще что-нибудь продаете? — спросил я.

— Есть погоны, — ответил он сдержанно.

— Какие погоны? — спросил я, как человек, крайне заинтересованный именно этим товаром.

Продавец оживился и снова поставил на пол поднятую сумку.

— Начиная от майорских и кончая генеральскими, — сказал он. Взглянув на море, добавил: — Адмиральские включительно...

Он наклонился к сумке, но тут я его остановил.

— Погоны пока не надо, — сказал я, как бы передумав, как бы сам подчиняясь логике тайного замысла. — Оружие есть?

Он выпрямился и посмотрел на меня надменным взглядом. Губы его зашевелились в негодующем монологе с выключенным звуком. В мире нет более комического зрелища, чем выражение надменности на лице, подсушенном алкоголем.

— Вы бы еще спросили наркотики, — наконец прошипел он, подхватывая сумку. — Нелегальщину не держим!

С этими словами он покинул нас. Я взглянул на моего собеседника. Все это время, пока я разговаривал с продавцом перегоревших лампочек и погон самозванных генералов, лицо его выражало все нарастающее беспокойство. Я никак не мог понять причину его возбуждения. Как только продавец отошел, он почти прокричал.

— Запомните, лампочка Ильича тут ни при чем! Лампочка Ильича тут ни при чем!

— Допустим, — сказал я, успокаивая его, с тем чтобы наконец вернуться к нашей полумистической беседе.

— Зачем Америке замороженный Сталин? — опять точно вспомнил мой собеседник место, где он остановился. — Как зачем? Они же знают, что в Германии в конспиративной квартире лежит замороженный Ленин. В нужный исторический момент его разморозят. Он вернется в Россию, и тогда победа мирового пролетариата будет обеспечена. А Сталин развалил мировое социалистическое движение. Если они знают, что

я уже разморожен, то не исключено, что и Сталина они уже разморозили. События в Ираке это подтверждают...

— Как так? — спросил я.

— Саддам Хусейн. Соображаешь, на кого он похож?

— Не понимаю, — сказал я, хотя и соображал, на кого он похож.

— Что им стоило взять Багдад? Ничего. Решение ООН? Плевали они на это решение. Тогда почему?

— Саддам Хусейн — это размороженный Сталин? — дебиловато спросил я.

— Фу, как грубо! — ответил он. — Метафизически — да. Но физически — нет. Тут главное мета! Мета! Мета! Они Сталину показывают через Хусейна: вот что мы сделаем с твоей страной, если ты взбунтуешься, когда мы тебя посадим на русский трон. Сталин им выгоден. Ленина — бояться.

Сталин не обязательно будет подброшен в своем обличье. Тут возможны варианты пластической операции, потому что антисталинские настроения еще сильны, хотя и сталинистов много. Но народ, поверив в живого Ленина, воспрянет, и мы победим.

— Ну, а что, если переворот не удастся? — спросил я. — Ведь власти тоже учитывают легкость, с которой вы в семнадцатом году взяли Зимний дворец?

— Вяжемся в бой, а там посмотрим, — твердо сказал он, — а не удастся переворот и если меня не укокошат, снова в заморозку до нового революционного подъема. Слушайте, а давайте вместе дернем в заморозку, если мы сейчас не побе-

дим? Я уверен, что вы наш. Не хотелось бы вас терять в будущем. Ну как?

— Я подумую, — сказал я серьезно.

— Подумайте, подумайте, — ответил он, холодно-важно замыкаясь. — Была бы честь предложена..

— При нашем российском разгильдяйстве, — сказал я, смягчая причину своей неопределенности, — наши ученые отправят в заморозку, а там забудут разморозить.

— Не бойтесь! Исключено! — оживился он. — Здесь в подполье немецкие ученые, которые меня разморозили. Спецы, свое дело знают!

Я подумал, подумал, а потом сказал:

— А вдруг долго не будет революционного подъема? Так, пожалуй, весь двадцать первый век пробудешь в заморозке...

— Ну и что? — неожиданно развел он руками и, лихо подмигнув, наклонился ко мне. — У вас будет уникальная возможность заглянуть в двадцать второй век! Вы же писатель, неужели вам не любопытно?

— Конечно, любопытно, — согласился я и добавил, ностальгически капризная: — Но ведь вернуться в свою эпоху уже нельзя будет?

— Этого я вам не могу обещать, — сказал он сурово, — у вас регрессивная фантазия. Вы все время смотрите назад, это и по вашему творчеству видно. А надо — всегда вперед!

Я подумал, подумал, а потом сказал:

— А во время заморозки человек что-нибудь чувствует?

Он поднял голову и, закрыв глаза, блаженно откинулся назад. Так в парикмахерском кресле ловят струю одеколону. Потом он открыл глаза, выпрямился и задумчиво произнес:

— Это самое сладостное время моей жизни. Мне все время казалось, что Инесса рядом. Тысяча и одна ночь рядом с Инессой! Правда, одно время я чувствовал неприятный треск в ушах. Потом после разморозки ученые вычислили, что этот треск связан с бомбежками Гамбурга. А в остальном изумительно — жизнь в свете полярного сияния.

Я подумал, подумал, а потом сказал:

— А во время заморозки можно кому-нибудь надиктовать впечатления?

— Чушь! — воскликнул он и, не скрывая брезгливости, добавил: — Вы, очевидно, были пациентом балаганного гипнотизера: я вижу цветущий луг, хоровод девушек и тому подобное. Здесь глубочайшая отключка от внешнего мира. Работает только воображение, как во сне. Сначала нагромождение бессмысленных образов. Потом ты корректируешь эти бессмысленные картины. Я оставил в своем воображении работу над Ленинианой и общение с Инессой.

— Чего было больше? — деловито спросил я.

— Достаточно и того и другого, — ответил он и горделиво добавил: — Дай Бог каждому.

— В заморозке? — спросил я.

— Вообще, — сказал он.

Я подумал, подумал и спросил:

— Ваша любовь к мороженому не связана с вашим пребыванием в заморозке?

Он посмотрел мне в глаза внезапно остекленевшими глазами. Потом отвел глаза, потом снова посмотрел на меня. Я опять почувствовал, что мысль его карабкается и срывается, карабкается и срывается. Я не думал, что вопрос этот вызовет у него такую тяжелую работу, и уже готов был извиниться, как вдруг, багровея и с мучительной подозрительностью глядя мне в глаза, он выдавил:

— Это... Это некорректный вопрос... Это идиотский вопрос...

Я кивнул головой, полностью соглашаясь с ним. И он теперь уже уверенно продолжил:

— Абсурд! Я проиграл двадцать четыре варианта — нет ответа. Вы что, решили, что во время заморозки при помощи капельницы вводят в организм мороженое?

— Нет, конечно, — сказал я, — я сморозил глупость.

— Сморозил, — переспросил он удивленно, — почему именно сморозил?

Тут я, в самом деле, случайно произнес это слово. Глаза его опять остекленели, и мысль его опять начала карабкаться и срываться.

— А что, если заморозить меня на месяц, — сказал я, чтобы вернуть его мысль в нормальное русло, — а там посмотрим?

— На месяц?! — встрепенулся он. — Но это же нерентабельно! Заморозка слишком дорогое удовольствие.

— Все-таки я подумаю, — сказал я тупо.

— Ну что ж, подумайте, подумайте, — кивнул он и вдруг язвительно добавил: — Если это занятие для вас не слишком обременительно.

Он отвернулся в сторону моря и даже замурлыкал неаполитанскую песенку, как бы припоминая Капри и гораздо более достойного собеседника-писателя.

Я здорово утомился от этого могучего безумца, но почему-то сейчас именно, когда последнее слово осталось за ним, как-то неловко было его покидать. И ведь всегда последнее слово оставалось за ним! Сколько можно?

И вдруг случилось неожиданное. На «Амре» появилось маленькое праздничное семейство с маленькой девочкой в белом платьице и широком черном поясе. Видно было, что они местные. Мужчина несколько раз поздоровался с сидящими в ресторане и подошел к продавщице мороженого. Девочка, увидев моего собеседника, хотя он был спиной к ней, скорее всего узнав его по тельняшке, бросила руку матери и, расплескав платьице, побежала на него, крича:

— Дедушка Ленин! Дедушка Ленин!

Посетители ресторана, нежно улыбаясь, провожали ее глазами. Некоторые, видимо новички, привстали с мест, чтобы посмотреть, кого она имеет в виду. Мать и отец девочки тоже улыбались. Мой собеседник стремительно обернулся на ее голосок и расставил руки, чтобы поймать ее. Топоча башмачками, девочка подбежала и окунулась в его объятия. Мой собеседник вскочил и несколько раз подбросил девочку, каждый раз цепко и точно ловя ее своими сильными руками.



Девочка доверчиво взлетала, помигивая от плотного сопротивления морского воздуха и с улыбкой прислушиваясь к наслаждению полетом. Кто-то из посетителей «Амры» успел щелкнуть фотоаппаратом и обесмертить эту трогательную встречу.

Наконец он посадил ее на колени. Девочка сияла. Сиял и мой собеседник. Девочка посмотрела на меня и от избытка доброжелательности вдруг сказала:

— Приятного аппетита, дяденька писатель.

Я торжествующе посмотрел на своего собеседника, давая ему знать, что моя слава не уступает его славе. Он сделал вид, что не понял меня. Но тут я совершил ошибку, спросив у девочки:

— Откуда ты знаешь, что я писатель?

— Папа сказал, — улыбнулась девочка и, продолжая сиять, махнула рукой в сторону отца.

Мой собеседник издал сухой, желчный смешок, намекая на совершенно формальный характер такой славы. В это время отец девочки отходил от продавщицы мороженого. В каждой руке он держал по три вазочки. Казалось, в каждой его руке по букету магнолий. Можно было догадаться, что один из них будет преподнесен моему собеседнику.

Опережая родителей девочки, к нам подбежала наша официантка.

— Вы опять за свое, — выдохнула она с горьким упреком. — Думаете, я не слышала, что ребенок кричал?

— Дорогая, а при чем тут я? — насмешливо сказал мой собеседник, очень ладно держа девочку на коленях и поглажи-

вая ей головку. — Устами ребенка глаголет истина. Я даже Ульяновым себя не назвал.

— Оставьте, ради Бога, — устало произнесла официантка и подала мне счет. Я расплатился и уступил свое место отцу девочки. Официантка успела очистить столик, и новые вазочки мороженого засвежели на нем.

Я попрощался со своим собеседником. В ответ он небрежно кивнул и, поглядывая на вазочки с мороженым, стал что-то шептать девочке, сидевшей у него на коленях. Не думаю, что новые порции мороженого его так уж увлекли. Скорее вот так дети, поссорившись с одним товарищем, подчеркивают близость с другим.

Зато отец девочки гораздо дружественней попрощался со мной. Он попрощался с некоторым оттенком невольной вины за то, что оттянул моего собеседника. Его застенчиво улыбающийся взгляд, как бы мягко отстаивающий семейный уют, говорил: нам хоть такой Ленин достался, а у людей никакого нет.

Я покидал «Амру». Предзакатное солнце бросало на тихую воду бухты сиренево-розовые блики. Рыбацкие лодки тянулись к устью Беследки, как возвращающееся домой стадо. Там на речке и у меня когда-то стояла лодка под названием «Чегем».

Полжизни прошло от моего села Чегем до лодки «Чегем». Вторую половину, которую я провел в Москве, я как-то даже не заметил. Может быть, потому, что она ушла на воспоминания о Чегеме.

Теперь нет ни села Чегем, ни моей лодки. Чегем смыло время. А лодку мою после моего отъезда в Москву смыло в половодье. Может быть, не надо было уезжать? Но в Москве оказалось достаточно времени, чтобы достаточно долго вспоминать о Чегеме. Так что все к лучшему в этом лучшем из миров.

За речкой на пляже военного санатория мирно бронзовели тела отдыхающих. От далеких синееющих гор веяло вечностью и покоем. Однако мне для полного покоя надо было позвонить в Москву. Вечером я позвонил и убедился, что рукопись на месте. И тут я окончательно поверил, что пришли новые времена, — теперь это вообще никому не нужно. Удивительно, что я об этом не сразу догадался.

## пшад

Двое пленных немецких офицеров, в странно распахнутых шинелях, животом вниз, лежали у ног полковника Алексея Ефремовича. Один из них лежал, сцепив пальцы на затылке, как бы прося пощады, как бы прикрывая затылок. Второй, наоборот, лежал, распластав руки, пружинисто упираясь ладонями в землю, словно готовый в любую секунду вскочить.

Полковник вытащил пистолет и почти невидящими от ярости глазами взглянул на лежащих офицеров. Как бы просящие пощады, как бы защищающие затылок руки заставили его первым выделить этого офицера, а может быть, даже вспомнить, для чего он вытащил пистолет. Полковник выстрелил ему в затылок.

Голова дернулась и застыла, а руки медленно сползли с затылка и мягко легли на землю, словно досадую на то, что на этот раз стреляющего не удалось смягчить, словно надеясь, что в следующий раз все может кончиться гораздо лучше.

После выстрела второй офицер, мощно оттолкнувшись руками от земли, успел стать на колени и, бесстрашно глядя в лицо полковника ненавидящими серыми глазами, стал выхаркивать в него какие-то немецкие проклятия, одновременно пытаясь встать.

Полковник выстрелил ему в грудь. Тело офицера откинулось от удара пули, но он не дал себя опрокинуть и, не сводя с полковника ненавидящих глаз, вдруг встал. Но уже ничего не мог сказать, а только продолжал смотреть на полковника. Полковник хотел еще раз выстрелить в него, но офицер неожиданно рухнул назад.

Одна нога его, может быть, ища опоры, чтобы встать, с судорожной силой задвигалась, но опора никак не находилась, а каблук, все реже и глубже взрывая землю, прокопал канавку длиной от ступни до колена, и нога затихла, улегшись в ней.

Полковник вложил пистолет в кобуру и, отвернувшись от мертвых немцев, уставился на могилу, где только что был зарыт его любимый адъютант. Да, здесь, в Будапеште, когда уже рукой достать до победы, его храбрый, его веселый адъютант был убит почти случайной пулей.

За парком, где полковник хоронил своего адъютанта, стояла колонна пленных немцев. Из-за деревьев они не могли видеть то, что здесь произошло, но по выстрелам нетрудно

было догадаться. Именно из этой колонны, которая случайно в это время проходила здесь, полковник приказал привести двух офицеров. Из-за ограды парка всю эту сцену наблюдал один из конвоиров с автоматом в руке. Он был совсем молод, и круглые глаза его застыли в ужасе.

Офицер, вместе с несколькими солдатами хоронивший адъютанта полковника и сейчас стоявший рядом с ним, когда тот повернулся к могиле, поймал глазами этого конвоира, резко махнул ему рукой и что-то прошептал исковерканным ртом. Скорее всего:

— Гони дальше!

И хотя конвоир никак не мог его услышать, но все понял, быстро повернулся и побежал к колонне. Колонна колыхнулась и проследовала дальше. Горбоносый угрюмый полковник все еще смотрел на могилу любимого адъютанта. Он почувствовал, что боль и ярость внутри него начинают затихать.

\* \* \*

Старый отставной генерал Алексей Ефремович ехал в метро к центру Москвы. Он ехал с дачи, которую теперь редко покидал, в гости к своему другу генералу Нефедову. Он мог выбрать путь и покороче, но у него было много времени в запасе, и ему почему-то захотелось пройти пешком от площади Свердлова до Пушкинской площади. Он сам не знал, почему это ему вдруг захотелось, хотя пешие прогулки, да еще в сутолоке толпы, ему давно были не по нраву да и не по здоровью.

Физически он еще был крепким, жилистым, но сердце иногда сильно прихватывало.

На вид он казался удивительно хорошо сохранившимся стариком. Сухощавый, прямой, мужественно-горбоносое лицо с яркими, не разжиженными временем голубыми глазами, седовласый, но ничуть не лысеющий, он еще выглядел хоть куда. Но сердце иногда сильно прихватывало.

В Отечественную войну он много раз встречался со смертью и теперь боялся ее не больше, чем другие люди, так же, как и он, много раз рисковавшие жизнью. Он боялся непристойной неожиданной смерти среди чужих людей.

Поэтому, уезжая в город, он всегда держал в кармане паспорт и на отдельной бумажке телефон генерала Нефедова со строгим наказом: позвонить! Разъяснить, по какой причине надо звонить генералу Нефедову, он считал слишком сентиментальным и надеялся, что, если это случится, люди догадаются сами.

В сущности, генерал был очень одинок. Сын его, геолог, слишком много пьющий геолог, вместе с семьей почти круглый год пропадал на Севере. В Москве бывал в отпуск, проездом на юг. Естественная для старого человека любовь к внукам все время оставалась неутоленной.

Дочь с мужем, военным, жила на Дальнем Востоке да к тому же была бездетна. Кстати, она была третий раз замужем и каждый раз выходила за военного, и каждый следующий муж был чином выше предыдущего. А он любил только ее первого мужа, и как тот рыдал на груди генерала, когда они расходились! Но что он мог сделать?

Он очень любил свою дочку, но развод с первым мужем в глубине души не мог ей простить. По какой-то иронии судьбы и даже некоторому злорадству генерала, пока его дочь вместе со своими новыми мужьями поднималась в чинах, первый ее муж, видимо, самый одаренный, он был военным инженером, вдруг обогнал ее последующих мужей в чинах, женился, родил ребенка. Он иногда еще звонил генералу. И как деликатно, стараясь скрыть волнение, он, бывало, спрашивал о судьбе своей первой жены. Генерал догадывался, что боль на том конце провода еще пульсирует.

А дочь его во время своего последнего приезда, узнав от отца, что ее первый муж теперь выше в чинах, чем ее последний муж, только весело расхохоталась. Она была с юмором и поняла намек отца. Нет силы, подумал генерал, глядя на хохочущее, хорошенькое лицо своей дочки, сильнее равнодушия.

Да и имел ли он право в конце концов читать нотации дочке, если сам он после смерти жены, с которой душа в душу прожил всю жизнь, снова женился. Он женился на медсестре, которая ухаживала за ним в больнице, когда он тяжело заболел.

Около года она приходила к нему домой, но потом, по ее настоянию, они оформили брак. Она была отличная хозяйка, и генерал это ценил. И вдруг, хотя и не сразу после оформления брака, на него, как снежная лавина, обрушилась ее фантастическая глупость и подозрительность.

Для генерала было величайшей загадкой: почему он этого раньше не замечал? Конечно, она не давала себе воли, но

и сам он, будучи в глубине души уверен, что поднял и осчастливил ее, считал, что она будет ему навек благодарна.

Сама не первой молодости, она все время подозревала, что у него какая-то тайная от нее жизнь, тайные планы, тайные вероломные решения, то ли соединиться со вдовствующей какой-нибудь генеральшей, то ли обделить ее в секретном завещании. И завещания никакого не было, и с вдовствующими генеральшами он общался в основном по телефону, потому что дружил с их мужьями. Он знал, что она вечно роется в его бумагах, в его карманах, в его записных книжках. Ищет следы его тайной жизни, которой нет.

Если он приходил домой и спрашивал: «Мне звонили?» — она многозначительно подносила палец к губам, якобы вспоминая, а на самом деле думая, выгодно или невыгодно ей говорить правду.

Когда генерал об этом догадался впервые, он пришел в предморочное бешенство, но потом, как это ни странно, привык. Он понял: того, что было с женой, больше никогда не будет.

Впрочем, эта женщина была необыкновенная чистюля и прекрасно готовила, и генерал старался это ценить, потому что не было сил переходить на новые позиции. Встряхиваясь, он думал иногда: «Чего там! Книжки есть, Нефедов еще не впал в маразм, а больше мне ничего и не надо».

Но в последние месяцы его почему-то стали мучить вещи, о которых он раньше почти не думал. Вот это убийство двух немецких офицеров у могилы любимого адъютанта и то, что он забыл родной абхазский язык за долгое время службы



в России. Он даже смутно чувствовал, что два этих факта, внешне столь далекие друг от друга, чем-то связаны.

Он вновь и вновь возвращался к убитым немцам, стараясь понять, почему и как это могло случиться. Вот он стоит у могилы только что похороненного адъютанта. И вдруг он видит из парка, как по улице проходит колонна немецких военнопленных. Зачем он приказал привести двух офицеров? Почему не одного? Не трех? Тогда он не задумывался над этим, а теперь, кажется, понял почему.

Он хотел, чтобы они друг друга обожгли стыдом. Вот почему двоих. Для равновесия стыда. Он хотел сказать, какой юный, бесстрашный, веселый, исполнительный был его адъютант. И что он напишет теперь его матери?

Все это он хотел сказать немецким офицерам и вдруг понял, что ничего не может сказать, потому что рядом нет переводчика, а сам он, кроме десятка слов, ничего не понимает по-немецки.

И вот стоят перед ним молодые немецкие офицеры, и он им ничего не может сказать, и положение становится просто глупым. И тогда в порыве бешенства он по-русски приказал:

— Ложись!

Они ничего не поняли и продолжали смотреть на него. Он и тогда не думал, что собирается убить их. Не думал, что собирается убивать их, но собирался? Или не думал, что собирается их убивать, и не собирался?

— Ложись! — снова закричал полковник. Лейтенант подскочил к немцам и стал, наклоняясь вперед, руками показы-

вать, что они должны делать. Первым понял его чернявенький офицер с почти мальчишеским лицом.

— Яволь! Яволь! — закивал он и быстро лег на живот, широко раскинув руки. Возможно, он всю эту процедуру принял за какой-то восточный обычай преклонять врага перед могилой представителя побеждающей армии. Он лег, покорно раскинув руки, как бы ожидая последующих приказов.

Второй немецкий офицер, высокий красивый блондин, с серыми чуть на выкате глазами, сначала не хотел ложиться и всем своим обликом показывал презрительное непонимание происходящего.

И он никак не ложился, пока лейтенант не подскочил к нему и, силой наклоняя ему голову одной рукой, другой показывал на лежащего немца, настаивая, чтобы он последовал его примеру. Наконец и этот офицер, предварительно придав своему лицу выражение еще более презрительного непонимания происходящего, лег.

Он тоже лег на живот, но не раскинул руки, а держал их полусогнутыми возле своего тела, напряженно упираясь ладонями в землю, словно ожидая приказа: «Встать! Лечь! Встать!»

Но вот прошла минута, но никакого дальнейшего приказа не последовало. Было тихо. И тогда чернявому, лежавшему раскинув руки, стало страшно, и он, подтянув руки, сплел пальцы на затылке, как бы пытаясь его защитить.

В последние месяцы, непрерывно вспоминая о том, что случилось чуть ли не пятьдесят лет тому назад, генерал пы-

тался понять, в какой миг ему пришло в голову убить их. Может, тогда, когда чернявенький подтянул руки к затылку и этим подтолкнул его к страшному решению?

Но нет, жестко поправлял себя Алексей Ефремович. Решение убить их пришло именно тогда, когда он приказал им лечь и как бы формально приравнял их к горизонтальному положению своего адъютанта. Дальше он уже полностью должен был приравнять их в смерти. Не сумев обжечь их стыдом, он принял это страшное решение. Но тогда оно ему не казалось ни страшным, ни роковым. Ни один из участников этой сцены никуда не донес, и самоуправство полковника осталось без всяких служебных последствий.

И многие, многие годы после войны — и когда он окончил военную академию, и когда стал генералом — только вскользь вспоминал о случившемся, и только недавно, в последние месяцы, оно его стало мучить. Как и почему он мог расстрелять двух безоружных пленных?

Ему вспоминалось и доброжелательное, покорное лицо чернявенького немца, и надменное, холодное лицо высокого красивого офицера, как бы заранее своим лицом говорящего: «Ничего, кроме подлости, я от вас не жду и не могу ждать».

И еще, как бы отдельно от всего, вспоминалась нога этого высокого красивого офицера, когда он после выстрела наконец рухнул на спину. Эта нога минуты две с невероятной, судорожной силой рыла землю каблуком ботинка и удивительно глубоко отрыла ее, так что вся она, от ступни до колена, уложилась в вырытую ею канавку и там успокоилась.

Его вторая боль — забвение родного языка. Он двадцать пять лет не был в Абхазии. В армию он пошел задолго до войны, потом война, потом служба на Дальнем Востоке и только потом, когда его перевели в Москву, он в отпуск с первой женой поехал отдыхать на Пицунду.

Он никак не афишировал свой приезд, но об этом узнали, и местное начальство, как бы гордясь им, стало повсюду его приглашать. И тут-то он обнаружил, что забыл родной язык. Как это случилось, он не мог понять.

Когда заговаривали по-абхазски, он чувствовал в мелодии гортанной речи что-то родное, но слов не мог разобрать. Тогда это было досадно, но большого беспокойства не внушало.

Окружающее абхазское начальство это обстоятельство ни сколько не смутило. Все они прекрасно говорили по-русски и если в присутствии людей другой национальности переходили на родной язык, то это означало, что в общую беседу они вносят уточнения, приятные для своего национального чувства. Представители других национальностей — грузины, мингрельцы, армяне — тоже во время общей русской беседы вдруг переходили на свой язык, явно для того, чтобы вносить уточнения, приятные для своего национального чувства. Генерал оказывался среди русских, которым непонятно было, на какой язык переходить, чтобы поворковать отдельно от остальных.

Однажды в прекрасный лунный вечер генерала и его жену пригласили на банкет, устроенный под открытым небом. Банкет был устроен в честь грузинского министра, отдыхавшего здесь, на Пицунде.

Был великолепный стол, как это умеют, кажется, только грузины, и веселый, впрочем, легкомысленный говор порхал над столом. Алексей Ефремович был старше всех по возрасту и с некоторым доброжелательным любопытством приглядывался к застольцам.

Министр был молод, весел, распахнут. Генерал отметил, что в его поколении начальники такого ранга не бывали столь молодыми и держались достаточно напыщенно. И ему понравился молодой министр.

Однако в разгар застолья, когда стали поднимать тосты за эту землю, за эти горы, за это море, он почувствовал некоторую странность, но суть ее не сразу понял. Но после третьего или четвертого тоста уловил, в чем ее суть.

— Друзья мои, — сказал генерал, — эта земля, эти горы, это море имеют свое название. Это Абхазия, почему бы вам не называть ее по имени?

Генерал это сказал с некоторой дружеской иронией, но вдруг за столом воцарилась напряженная тишина.

— Алексей Ефремович, — прервал тишину один из застольцев, — вы боевой генерал, вы не в курсе истории. Это Грузия, а не Абхазия.

— Ну, естественно, — кивнул генерал, — Абхазия входит в Грузию, но мы же сейчас сидим в Абхазии?

— Дорогой Алексей Ефремович, — упрямо повторил тот же человек, — наукой доказано, что название «Абхазия» — это второе самоназвание Грузии. Наука доказала. Мы ни при чем...

— Чушь! — с тихим бешенством проговорил генерал, как всегда, взрываясь на нелепость. — Если Абхазия второе само-название Грузии, почему вы никогда не употребляете его по отношению к Грузии?

Опять воцарилась некоторая неприличная тишина. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не жена Алексея Ефремовича. Она вдруг подняла фужер с вином и сказала:

— Выпьем за прекрасную Абхазию, включающую в себя всю Грузию, тем более что это одно и то же!

Юмористическая двусмысленность ее тоста почему-то сразу дала разрядку. Все расхохотались, а некоторые, хохоча, шутливо грозили ей пальцем. Министр легко вскочил, подошел к ней с бокалом, чокнулся, поцеловал ей руку и сказал теплые слова о братских народах, которые иногда, именно вследствие братства, позволяют себе братские раздоры.

Все было исчерпано, и вечер продолжался.

Говорят, есть защитный национализм. Как будто неправильное решение математической задачи одним человеком дает право другому человеку на свое неправильное решение той же задачи. Общаясь с местным абхазским начальством, он заметил, что и они, хотя и более осторожно, проявляют националистические наклонности.

Алексей Ефремович не поехал в родной Чегем, потому что знал: там теперь нет никого из близких. В том старом Чегеме, где прошло его детство, ничего подобного никогда не было. Село было в основном абхазским, но там жили и мингрельцы, и армяне, и греки. Генерал знал, что там не было никаких на-

циональных распрей. И если один крестьянин жил лучше другого, то другой точно знал, что это следствие того, что тот лучше ведет хозяйство, лучше работает. Неужели время так изменилось, думал Алексей Ефремович, или все это свойство узкой административной среды, где идет борьба за теплые местечки?

Бедный Алексей Ефремович, если б он знал, как далеко это все пойдет! Нет, он тогда не знал этого, но был огорчен. Кстати, на Пицунде он получил письмо от генерала Нефедова, который отдыхал в Новороссийске и звал его туда в гости. И он уехал с женой в Новороссийск.

Там его поразил неприятно нервирующий сильный ветер, который, кажется, назывался «бора». И тогда он впервые почувствовал, что прихватывает сердце. Генерал побывал у местного врача, тот его прослушал и сказал, что ничего особенного, просто нервы пошаливают.

— Как это вы терпите этот ветер? — спросил генерал, одеваясь после прослушивания.

— А мы по субботам уезжаем за город, в местечко Пшада, — ответил врач, — это тайна природы. Там никогда не бывает ветра. Там мы отдыхаем от него.

«Пшада», — повторил про себя генерал и смутно почувствовал, что в звучании этого слова слышится что-то абхазское. Он знал, что раньше, до второй половины девятнадцатого века, здесь жило абхазское племя убыхов. Во время кавказской войны огромное большинство из них было перебито, а остатки племени переселились в Турцию и там полностью раство-

рились. Нет убыхов. Генерал прочел об этом в одной книге. Смутная боль за неведомое родное племя перекинулась на Абхазию, и он тогда подумал, что эти незначительные национальные раздоры скорее всего рассосутся.

Больше о забвении родного языка он всерьез не задумывался, а вот в последние месяцы стал вспоминать об этом с мучительным напряжением.

«Пшада, Пшада», — говорил про себя генерал, и что-то похожее на обрывок мелодии, слышанной в детстве, звучало в этом слове. Но он никак не мог уловить мелодию этого слова целиком, то есть смысл его. И при этом почему-то был уверен, что в этом слове есть какой-то важный смысл. Но какой? Пшада...

Да, он давно забыл родной язык, но, как это ни странно, по-русски говорил все еще с небольшим абхазским акцентом. Казалось, звуки русской речи текут по бывшему руслу родного языка (речь, речка, текут), сохраняя его изгибы, пороги, перекаты.

Алексей Ефремович уже более пятнадцати лет был в отставке. Он и до этого достаточно много читал, а теперь это стало его самым любимым занятием. Да, чтение и самостоятельные раздумья теперь были его главным занятием в жизни. Раньше, если он и проявлял самостоятельную мысль, — а он ее проявлял достаточно часто, особенно на фронте, — это был его способ лучшим образом выполнить приказ.

Да, всю жизнь он любил выполнять то, что приказывало ему командование. Каждый раз, когда ему давали задание, он испытывал восторг, прилив сил, вдохновение.



Вспыхнула картина далекого довоенного года. Он еще совсем зеленый боец кавалерийского полка. Дело было на Северном Кавказе. Отрабатывали переправу на бурной речке. Ржание лошадей, смех, крики бойцов. Один из командиров, инспектировавших учения, оказавшись рядом с ним, кивнул на плывущую лошадь:

— Поймай ее и верхом сюда!

Он бросился в воду за лошадью, хотя не умел плавать. Ему казалось, что он в прыжке с мелководья допрыгнет до лошади и схватит ее. Она плыла метрах в семи от берега. Но, сделав мощный прыжок в сторону лошади, он промахнулся и вдруг понял, что тонет. Почувствовал под ногами дно, но, преодолевая ужас, выбросился из воды, судорожно хватая ртом воздух и снова погружаясь в быстрый поток. Он одновременно испытывал и дикий страх утонуть, и энергию восторга, с которой он бросился в воду выполнять приказ.

Возможно, этой энергии восторга ненадолго хватило бы, его уже отнесло метров на двадцать вниз по течению, но, вынырнув из воды после третьего погружения, он вдруг увидел рядом с собой другую лошадь и успел уцепиться одной рукой за кончик ее гривы. Лошадь шарахнулась, пучок гривы, обжигая ладонь, вырвался из пальцев, и он снова погрузился в воду. Но тут лошадь повернулась к нему задом и, выплеснувшись из воды, на миг с головой ушла в воду. И он случайно под водой ладонью задел за ее круп и уж совсем не случайно с такой силой оттолкнулся от дна в ее спасительную сторону,

что, вылетев из воды, шлепнулся ей на спину и успел перекинуть ноги.

Тут-то он уже был хозяин: горец, умевший с детства обращаться с лошадьёю. Намертво стиснув ногами горячий, как жизнь, живот лошади, он лихо повернул ее, выгнал на берег и, разбрызгивая прибрежную гальку, подлетел к трясущемуся инспектору. Тот все видел.

— Ты что, не умеешь плавать? — спросил инспектор, когда он спрыгнул с лошади.

— Не умею.

— Какого же черта ты полез в воду?!

— Вы же приказали!

— Откуда ты?

— Из Абхазии.

— Черноморец и не умеешь плавать?

— Я из горного села. У нас нет большой реки.

— Молодец! — окончательно успокоился инспектор. — Будешь большим командиром. Только научись плавать.

Конечно, он вскоре научился плавать. И навсегда запомнил слова этого человека. Но сколько сил было тогда, сколько сил!

Попад в армию, а потом в училище, он заметил, как легко превосходит своих сверстников физической силой, телесной устойчивостью. Особенно легко в этом он превосходил городских парней.

Однажды в училище, занимаясь боксом, он на ринге получил от противника сильный удар и пришел от этого в такую

ярость, что ответным ударом выбросил противника из ринга, тот пролетел между канатами. После этого он получил прозвище Железный абхаз, и прозвище это его радовало.

Но точно так же с тайным стыдом он заметил, что многие ребята, особенно городские, превосходят его своими знаниями. И он жадно всю жизнь цапал знания, где только мог, чтобы не чувствовать себя ущербным.

На «Площади Свердлова» генерал вышел из вагона и легким шагом пошел к выходу. Среднего роста, прямой, смуглое горбоносое лицо, как бы сточенное ветрами, все еще выражало энергию жизни. Особенно оно источало энергию жизни, когда он улыбался. Глаза загорались, да и зубы почти все были целы. Последнее наследие Чегема, говаривал он, когда кто-нибудь удивлялся этому обстоятельству.

Однако перед выходом из метро он расстегнул свой темный цивильный плащ и вытащил из бокового кармана пиджака трубочку валидола. Открыл, стряхнул на ладонь таблетку и положил под язык. Закрыл трубку и спрятал в карман. Таблетка валидола, да и сама трубочка, придавали ему уверенность, когда он приезжал в город один. Необязательно даже класть под язык таблетку, обязательно нащупать ее в кармане. «На фронте, — вспомнил он, — выходя из землянки, было приятно для спокойствия почувствовать на боку пистолет. Тогда пистолет. Теперь валидол».

Досасывая холодок валидола, он вышел из метро. Был теплый осенний день. Солнце просвечивало сквозь гигантские

спирали облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Возле метро толпилось много людей, продавцов и покупателей всякой всячины — от жевательной резинки до водки.

Дососав таблетку валидола, генерал вынул сигареты, закурил, щелкнув зажигалкой, и с удовольствием вдохнул дым.

— Отец, можно сигарету стрельнуть? — услышал он возле себя и увидел подошедшего к нему солдата. Генерал обомлел. Солдат просит сигарету у генерала! Но солдат выглядел так браво, форма на нем так хорошо сидела, что Алексей Ефремович почувствовал прилив доброжелательности.

Не так все плохо, мелькнуло у него в голове, да и откуда солдату знать, что он генерал. Алексей Ефремович с удовольствием протянул солдату пачку. Солдат аккуратно вытянул сигарету и, возвращая пачку, попросил:

— Прикурить можно?

— Прикуривай, солдат, — весело ответил генерал и, затянувшись собственной сигаретой, подставил ее солдату.

Солдат прикурил и, видимо, по-своему поняв легкую общительность старика, вдруг спросил:

— Папаша, а не продадите мне пачку сигарет?

— Этим не занимаюсь, — суховато ответил генерал.

Солдат отошел, и радость по поводу его ладности несколько улетучилась. Ничего не поделаешь, время такое, подумал генерал.

Он пошел в сторону подземного перехода и вдруг увидел возбужденную толпу возле Музея Ленина.

Какие-то люди, мужчины и женщины, с мрачным достоинством стояли, опираясь спиной о стену музея. Они как бы защищали последнюю твердыню и, опираясь на нее спиной, как бы у нее же черпали силы для ее защиты. Некоторые из них держали в руках плакаты. Другие люди подступали к ним и, тряся руками перед их неподвижными лицами, что-то им доказывали.

И хотя генерал давно считал, что защищать тут нечего и доказывать нечего, он вошел в толпу, чтобы разглядеть плакаты и послушать, о чем говорят люди. Самый большой плакат, который держал сумрачный молодой человек, гласил: «ФАШИЗМ НА РОДИНЕ ЛЕНИНА НЕ ПРОЙДЕТ».

«Какой дурачок, — подумал генерал и с жалостью добавил: — Бедный мальчик!» Другие плакаты были столь же наивны и глупы. Толпа была возбуждена, и многие, как заметил генерал, были полупьяны. Однако те, что стояли с плакатами и защищали Музей Ленина, явно были трезвы.

В толпе противников Ленина особенно выделялся высокий сильный мастерового вида человек. Он был на крепком взводе. Он крыл чуть ли не матом защитников музея и почему-то называл их евреями, хотя у всех у них, как заметил генерал, были русские лица.

По накалу злости этого здоровенного человека чувствовалось, что ему очень хочется с кем-нибудь подраться. Но почему-то драки не происходило. То ли не находилось смельчака, который схватился бы с ним, то ли люди изменились, и теперь политический спор не приводит ни к дра-

кам, ни тем более к доносам. Впрочем, доносить, кажется, теперь некому. Учатся демократии, иронически подумал генерал.

Он заметил, что в толпе немало пожилых женщин, кто с кошелкой, кто с сумкой у ног. Они тоже спорили и чаще всего с мужчинами, причем женщины были наступательной стороной, а мужчины как бы оправдывались. И это независимо от того, какую сторону они занимали — ленинскую или антиленинскую.

Алексею Ефремовичу подумалось, что женщины интуитивно чувствуют какую-то вину мужчин перед ними, перед их детьми и внуками, перед жизнью вообще и потому они так наступательны, а мужчины как бы оправдываются.

В сущности, так оно и есть, подумал генерал. Если ленинское дело правильное, то как страна могла дойти до этого безобразия? А если ленинское дело неправильное, то где вы были до сих пор, как вы, наши защитники, могли допустить это?

Одна из них, исчерпав все доводы в споре с мужчиной, вдруг всплеснула руками и крикнула:

— Ну чего ты, здоровый лоб, средь бела дня торчишь здесь? Работать надо!

Генерал, чувствуя, что невольно заряжается электричеством этой галдящей толпы, сначала для подстраховки сунул руку в карман с валидолом, а потом и совсем ушел и спустился в подземный переход.

И, словно освобождая его от смутной тяжести этих вздорных споров у Музея Ленина, словно возвращая ему гармонию

жизни, вдруг перед его взором вспыхнула фронтовая сценка с любимым адъютантом.

После успешного боя немцы отступали. Полковник сидел в захваченной командирской землянке. И бой был жаркий, и день был жаркий. Хотелось пить.

Влетел адъютант и поставил на пол рядом с ним ведро свежей воды. Алексей Ефремович дотянулся до кружки, набрал воды и стал медленно с удовольствием пить, поглядывая на покрасневшее веснушчатое лицо адъютанта.

— Товарищ полковник, — рассказывал тот, задыхаясь, — что сейчас было! Чуть от страха копыта не отбросил. Захожу в лесок, где речка, пью воду, черпанул ведром и вдруг слышу кто-то вроде стонет, вроде рычит. Озираюсь — никого.

Там-сям убитые лежат. А на самой речке в раскорячку лежит огромная дохлая немецкая лошадь. И вдруг снова слышу какой-то угрожающий стон. Озираюсь — никого. А я забыл оружие взять с собой. Елки-палки, думаю, что это такое! И страшно, и ничего понять нельзя. Может, кто-то в кустах следит за мной, может, нечистая сила. Умираю от страха и сдвинуться не могу. Опять откуда-то грозный стон, главное, близко где-то, а я ничего не вижу.

И вдруг вижу что-то из дохлой лошади вылезает. У меня волосы поднялись. Мама родная — дохлая лошадь рожает! Она шагах в двадцати лежит от меня. И что-то из нее выдвигается, шевелится, разобрать не могу. Дохлая лошадь рожает! И вдруг задом вывалилось! Собака! Нет, волк! Повернулся,

хлюп, хлюп, хлюп по воде на берег и в лес. Эх, было б оружие — пристрелил бы! Никогда так страшно не было в бою! Я потом подошел к лошади, заглянул в дыру. Он ей половину внутренностей отъел. Наверное, давно приходил сюда подкрепиться, а тут меня почуял.

— Ты мне лучше скажи, — проговорил полковник, дурашливо поглядывая на кружку, из которой пил, — ты меня напоил водой из-под дохлой лошади или догадался повыше взять?

— Обижаете, товарищ полковник, — тоже чуть дурашливо отвечал адъютант, — вы всегда меня обижаете. Конечно, повыше взял. Но откуда такой страх?

— Это тебе послужит хорошим уроком, — проговорил полковник, — сколько раз я тебя учил, что на месте боя, пока не убраны трупы, нельзя появляться без оружия. Раненый, который кажется убитым, может прийти в себя и прихлопнуть. Дезертир может наскочить и тоже от страха прихлопнет.

— Так пить хотелось, все забыл, товарищ полковник! Но откуда такой страх?

— Необъяснимость ситуации страшнее всего на фронте, — сказал полковник и добавил: — Да и в жизни, наверное, так.

И вдруг все погасло.

Необъяснимость ситуации в стране сейчас страшила и тревожила генерала. Он пытался охватить все взглядом, взвесить, понять. Что пришло с новым временем? Всевластие КГБ рухнуло. Это хорошо. Пресса стала свободной или поч-



ти свободной. Это хорошо. Но и глупой развязности и хамства в ней прибавилось. Это плохо.

У него в дачном поселке, где жили люди самой разной среды, в том числе и совсем простые люди, с необычайной быстротой начали расти дома. Хозяева дачных участков каким-то образом продавали часть земли преуспевающим людям, и те возводили себе дома. Генерал считал, что само по себе это хорошо. Пусть, пусть будет как можно больше состоятельных людей.

Но и многих обнищавших людей он видел, особенно на вокзалах и в электричках, когда он ездил в город или возвращался к себе на дачу. И это наводило тоску.

Гуляя в окрестностях своего поселка, он видел, как люди, получившие клочки земли, старательно их обрабатывают и сажают картошку. Страх голода нависал над страной.

Но было и что-то обнадеживающее в этих островках частного предпринимательства. Так хорошо обработанную землю он видел только в Германии. Значит, люди умеют и хотят работать, когда работают на себя. Но угроза голода. Страна и нищает, и богатеет одновременно. Кто кого обгонит? Может, богатеющие, разбогатеет, подадут руку помощи обнищавшим? Как-то не очень верилось. Или обнищавшие, отчаявшись, свернут шею обогатившимся? Трудно сказать. Неужто гражданская война маячит? Или обойдется?

Генерал шел по подземному переходу. Здесь во многих местах продавали книги и газеты. Он остановился возле одной из книжных стоек и стал разглядывать самые разнообразные

книги — от приключенческих до политических. Увидел книгу с названием «Новое о Берии», он потянулся было к ней, чтобы посмотреть и купить, и вдруг рука сама отдернулась. Он понял, что объелся подобного рода книгами и не хочет их больше читать.

Он пошел дальше. Вскоре он услышал звуки довоенного джаза и увидел небольшую толпу. Он любил старый, довоенный, мелодический джаз. Он остановился в толпе. Джазисты играли с большим подъемом. Даже было странно, что здесь, в подземном переходе, они играют с таким увлечением. После окончания мелодии толпа заплодировала. И многие стали совать бумажные деньги в большую жестяную банку, стоявшую перед музыкантами. Генерал вынул бумажник и тоже сунул в нее деньги. Музыканты снова заиграли старую довоенную вещь, и генерал с удовольствием их слушал.

Но потом высокий молодой человек подошел к пожилому саксофонисту и начал с ним о чем-то спорить. Генерал никак не мог понять, о чем они спорят, хотя видел и понимал, что молодой человек ведет себя нахально. Пожилой саксофонист вдруг оставил свой саксофон и стал сам наседать на этого очень молодого и на вид очень сильного человека. Генерал почувствовал, что вот-вот начнется драка, и никак не мог понять, что они делают.

— Я заказал, я заказал! — вдруг донесся до него хозяйский голос молодого человека.

Генерал понял, что молодой человек заказал музыкантам играть что-то, а они не хотели играть на заказ. Генералу по-

нравилось, что этот пожилой саксофонист такой неуступчивый и храбрый.

И уже вот-вот, казалось, должна была начаться драка, но тут к молодому человеку подошел его друг и оттащил его в сторону. Они прошли мимо генерала, и длинная рука этого скандалиста, как бы скучая от праздности, проболталась возле него.

— Я заказал! — пророкотал тот еще раз и, подойдя к одинокому саквояжу, стоявшему в стороне, подхватил его и двинулся дальше вместе со своим другом. Странно, что саквояжник никто не охранял, словно он стоял у него дома. Может быть, подумал генерал, у него тут есть глаза, которые со стороны следили за саквояжем, и он в самом деле чувствует себя здесь хозяином.

Генерал пошел дальше. У выхода из подземелья стояла маленькая худенькая старушка с протянутой рукой. Она была настолько согнута, что и не видела проходящих людей. Ее сморщенная ладошка как бы смотрела на проходящих вместо нее.

Он остановился и, вытащив из бумажника десятку, осторожно сунул ее в ладошку старушки. Ладонка медленно сжалась, чтобы удержать деньги. Так и не подняв головы, старушка тихо поблагодарила его.

Выйдя наверх, генерал снова поднял голову и посмотрел на небо. Он снова подивился гигантским спиралям облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Но солнце просвечивало сквозь них, и был теплый день ранней осени.

Он прошел мимо Центрального телеграфа и стал подниматься вверх по улице Горького. Вдруг он заметил, что по той стороне тротуара на двух высоких стройных лошадях, гнедой и пегой, как ни в чем не бывало едут два милиционера. Это было что-то новое. Он на мгновение залюбовался сытыми красивыми лошадьми и пошел дальше. Он вспомнил дни своей военной молодости и, погрузившись в воспоминания, уже ничего не замечал.

После того как защитников одной из высот на Клухорском перевале, которыми командовал капитан Алексей Ефремович, немцы накрыли мощным минометным огнем, он был ранен и вскоре потерял сознание от потери крови.

Что было дальше, он не помнил. Мгновениями, приходя в себя, он смутно догадывался, что перекинут через седло лошади и лошадь, скорее всего не одна, все спускается, и спускается, и спускается куда-то вниз. Он иногда слышал голоса проводников, по-видимому, сопровождавших лошадей, и тоскливо догадывался, что слышит не язык немцев, а язык явно кавказский, хотя, какой именно, он не понимал. И язык этот смутной горечью отдавался в его гаснущем сознании.

Пришел он в себя в немецком госпитале. Он ранен был в оба предплечья. К его удивлению, лечили аккуратно и вполне прилично кормили. Через месяц он был здоров.

Ему выдали красноармейскую одежду и куда-то повели. В одной из комнат госпиталя сидели два человека. Оба были

русские. Один допрашивал. Другой записывал. Он назвал свое имя, село, где родился, национальность.

— Пойдешь в кавказскую освободительную армию? — спросил тот, что допрашивал. — Учти, немцы уже в твоём селе.

Это было враньем, но он об этом не знал.

— Я пленный, — ответил он ему, — готов работать. Но стрелять в своих не могу.

Тот окинул его презрительным взглядом, но, видимо, сразу понял, что уговаривать не стоит.

— Ишачить и без тебя есть кому, — сказал он брезгливо, — сдохнешь в лагере.

Так он очутился в лагере. Несколько тысяч голодных солдат. Жалкая ежедневная баланда. Иногда вдруг завозили в лагерь дохлых лошадей или баранов. Обезумевшие от голода люди кидались разрывать сырое гнилое мясо.

Каждый день полный грузовик трупов, а иногда и два раза в день, увозили из лагеря. Он ни разу не притронулся к гнилому мясу, жил на одной баланде и страшно ослаб в первую же неделю.

С первого же дня он думал о побеге, но не мог понять, как это сделать. Кругом проволочные заграждения, вышки, часовые. Ни на какие работы никуда не выводили никого. Только грузовик каждый день въезжал в лагерь, и немецкие солдаты вбрасывали в кузов тела умерших. Он и сейчас помнит стук мертвой головы о дно кузова.

Однажды, уже истощенный от голода, в полусне, в полубреду он сидел на земле, прислонившись к стенке барака,

и, думая, что говорит про себя, оказывается, громко сказал по-абхазски:

— Будь проклята моя судьба!

— Ты абхазец? — вдруг услышал он над собой абхазскую речь.

Он открыл глаза и увидел в пяти шагах от себя стройного, как хлыст, немецкого офицера.

— Да, я абхазец, — сказал он, не веря своим ушам, — а ты тоже абхазец?

— Из каких ты мест? — спросил офицер, не отвечая на его вопрос.

— Я из Чегема, — ответил он.

Офицер больше ничего не сказал и ушел. По полному отсутствию какого-либо акцента он понял, что офицер в самом деле абхазец. Но каким образом он мог стать немецким офицером? Наверное, подумал он, это сын какого-нибудь абхазского князя, бежавшего за границу после революции.

Через полчаса к нему подошел работник кухни и забрал его с собой. Здесь он таскал воду, рубил и пилил дрова, разжигал печь и делал все, что ему велели. Еды стало намного больше, и дней через десять он почувствовал, что теперь в силах бежать.

И наконец, у него появился план побега. Единственный путь к побегу — канализационная канава. Минуя проволочное ограждение, она подходила к горной реке и вливалась в нее. Река день и ночь, напоминая о свободе, шумела метрах в ста от лагеря.

Обе вышки с часовыми с этой стороны лагеря были достаточно далеко. Но с той стороны колючей проволоки взад-вперед похаживал часовой с автоматом. Через канализационную канаву был переброшен деревянный мостик. Часовой ходил вдоль лагеря. Вверх через мостик примерно пятьдесят шагов. Потом вниз через мостик примерно пятьдесят шагов.

Ночью по канализационной канаве сравнительно легко можно было добраться до колючей проволоки, под которой канавка выходит из лагеря. Самое главное было тут. Надо было так рассчитать, чтобы часовой в это время удалялся от моста вниз или поднимался от моста вверх. Чтобы он был спиной к тому месту, где будет стоять беглец.

Тут надо было нырнуть в кровавое дерьмо и вынырнуть за колючей проволокой. И сразу же после этого, не останавливаясь, быстро идти вперед и успеть спрятаться под мостом, переждать, пока часовой пройдет вверх или вниз и снова будет спиной к этой спасительной канаве. И тогда снова изо всех сил прорываться к реке. И теперь, даже если часовой случайно обнаружит его вблизи от реки, шансы на спасение есть. Убить человека в темноте с такого расстояния не так-то просто. Конечно, если он обнаружит его и не сумеет убить, будет погоня. Но и здесь остается шанс. Ночь и очень быстрая горная река.

Самое страшное, думал он, это, вынырнув из дерьма, от ужаса, от вони, от омерзения не закричать, не задохнуться, не поднять плеск. Вот самое главное.

Если удастся уйти от погони, он будет продвигаться в сторону Майкопа. Там, возле города, есть сельцо, где жи-

вет друг его отца, бывший чегемец. Звали его Ашот Саркисян. Он его хорошо помнил и еще совсем пацаном отвечал вместо отца на несколько писем, которые они от него получили в Чегеме. Письма писались по-русски, и он догадывался, что приходившие от дяди Ашота тоже писала одна из его дочерей, а не он сам. Он был уверен, что дядя Ашот спрячет его, а когда фронт приблизится, он постарается уйти к нашим.

Интересно, что тот офицер-абхазец, который велел взять его работать на кухню, больше никогда не подходил к нему и демонстративно не замечал его. И тогда у него в голове мелькнула и погасла мысль о каком-то государственном сходстве нашей страны с немецкой. Ему подумалось, что есть общая боязнь вызвать идеологические подозрения. Разумеется, он тогда верил в нашу единственную правоту, и эта мысль, на миг вспыхнув, тут же погасла.

Он доверял парню, который привел его на кухню и сам там работал. И он уговорил его бежать вместе с ним. Тот согласился. Он объяснил ему самое главное: нырнуть в дерьмо под проволоку и, вынырнув с той стороны, быстро скрыться под мостом.

— А ну, затаи дыхание, — сказал он ему. Тот затаил. С минуту держал воздух в груди, потом выдохнул. Этого было вполне достаточно.

— Умри, но не закашляйся и не плесни, когда вынырнешь, — предупредил он его, — это главное. Остальное будешь делать, как я.



Выбрав безлунную ночь, они забрались в крайний отсек большой барачной уборной. Легко раскачали и осторожно, чтобы не шуметь, оторвали две доски над канализационной канавой.

Он первым, осторожно нащупав дно ногами, влез в кровавую гниль дизентерийного дерьма. Поднялся жуткий смрад.

— Давай, — шепнул он напарнику.

— Не могу, — прошептал тот, — меня сейчас вывернет.

— Но мы же договорились? — яростно шепнул он снизу.

— Не могу, не могу, — отвечал тот дрожащим шепотом, — иди без меня... Прости...

Что было делать? Предаст? Не предаст? Или только вонь его остановила? Вылезать было уже поздно, да он и не хотел.

— Заложил доски, как было, — шепнул он своему неудачливому напарнику и, нагнув голову, вышел на открытую часть канализационной канавы.

Пригнувшись и совсем незаметный сверху, он шел и шел по этой канаве, все время держа в поле зрения смутный силуэт движущегося часового. Время от времени к горлу подступали рвотные спазмы, и тогда он поднимал, нет, запрокидывал голову, ловя как бы льющиеся прямо с неба струйки чистого воздуха. Он добрал до проволочной изгороди у выхода из концлагеря. Затаился и, когда часовой прошел мостик, попробовал ногой место, куда он должен был поднырнуть, чтобы оказаться по ту сторону концлагеря.

Проклятье! Как он не подумал об этом! Оказывается, и под потоком дерьма, невидимые сверху, проходили три

ряда колючей проволоки, припаянных к бетонированному выходу.

По горло приседая в дерьме, когда часовой приближался к мостику, а потом, когда тот проходил мостик, выпрямляясь, он изо всех сил, но и стараясь не шуметь, бил ботинком, давил на средний провод. Провод не поддавался.

Теперь он заметил то, что из лагеря не мог заметить. Часовой каждый раз, когда ему надо было сверху или снизу приближаться к мосту, замедлял шаги. Приближаться к канализационной канаве ему явно было неприятно. Но от этого и ждать, пока он пройдет, было невыносимо.

Около часу он долбил ботинком провод, но тот только слегка сгибался. И вдруг лопнул! Он сунул руку в дерьмо и, нащупав один конец лопнувшего провода, загнул его вдоль канавы. Пока он, низко нагнувшись, загибал его, рвотные спазмы усилились, и его вырвало. Слава Богу, часовой был далеко и ничего не услышал. Теперь рвотные спазмы ослабли. Он дотянулся до второго конца провода и, стараясь не уколоться о колючки, изо всех сил завернул его вдоль канализационной канавы и даже вонзил конец провода в землю, чтобы он не спружинил обратно. Этот конец провода особенно долго не поддавался.

Он перервал средний провод, потому что это давало самую широкую прореху между проводами. Он снова окунул руку в дерьмо и проверил расстояние между нижней и верхней проволокой. Расстояние было достаточным, чтобы прыгнуть между ними.

Главное, ныряя, не зацепиться о колючки нижнего или верхнего провода. Он решил, что, даже если и зацепится, нельзя ни на мгновение останавливаться, даже если придется рвать одежду вместе с мясом.

Он несколько раз мысленно проделал операцию и понял, что трудно будет с нижней частью тела. Верхняя часть тела, заранее нацеленная самой силой инерции, правильно проскользнет, но как быть с нижней частью тела?

Поднырнуть в воде и управлять телом в воде он умел, но как управлять телом в дерьме, кто умеет вообще в нем плавать? И он пришел, как ему казалось, к единственному правильному решению. Надо поднырнуть между проводами, нащупать на той стороне дно и, цепляясь за него пальцами, тащить все тело на эту сторону. А если крепко зацепится, не теряться, а рвать и рвать одежду, тем более что она была достаточно ветхая.

Когда часовой отошел шагов на десять вверх по мосту, он вдохнул как можно больше воздуха и, с яростью отбивая отвлечение, нырнул. Все получилось так, как он рассчитывал. Он нащупал руками дно и, быстро перебирая руками, вытянул все тело. Брюки его все-таки зацепились за колючки нижнего провода, но он, как и решил заранее, изо всех сил дернулся и, изорвав брюки, вынырнул по ту сторону лагеря.

Скорей, скорей, пока часовой не повернул назад! Опасаясь, что дерьмо затечет в глаза, он боялся открыть их. Инстинктивно откинув голову, тряхнул ею и заставил себя открыть глаза. В глазах щипала какая-то мерзость, но видеть он

мог. Он тихо ринулся дальше и остановился под мостом, дожидаясь, когда часовой пройдет над ним и пойдет вниз.

Глаза щипало, как в детстве от мыла. Но зная, какая мерзость щиплет ему глаза, он едва удерживался, чтобы, рискуя жизнью, не броситься дальше к реке, чтобы глаза, глаза — тело черт с ним! — окунуть, промыть в горной воде. Но он взял себя в руки и замер.

Мелко и часто дыша открытым ртом, так меньше воняло, он стоял под мостиком. Наконец раздались шаги. И вдруг часовой остановился посреди мостика. Странно было чувствовать, что он совсем рядом над головой. Долгую минуту часовой стоял прямо над ним. Что случилось? Неужели он что-то заподозрил? Если так, сейчас сойдет с мостика и глянет вниз. Снова нырять? Да и надолго ли нырнешь? Отчаяние охватило его. Столько перетерпеть и так глупо погибнуть! Что же он сделал не так? Почему часовой остановился?

И вдруг какая-то струйка задумчиво прожурчала с мостика. Он не сразу понял, что произошло, а когда понял, едва удержался от истерического смеха. Немецкий часовой не нашел другого места помочиться. Этого только беглецу не хватало здесь!

Наконец часовой, сделав свое дело, пошел дальше, и, когда он отошел шагов на десять, беглец стал быстро пробираться к победно гремящей реке, ликуя и ужасаясь, что в последний миг что-нибудь сорвется!

Но ничего не сорвалось! Он кинулся в ледяную гремящую свободу реки и, выплыв на середину, отдался течению. На хо-

ду множество раз окуная голову и протирая глаза, пока не убедился, что они чисты.

Он плыл и плыл по течению, стараясь почаще выставлять вперед руки, стараясь не удариться о камни и вовремя оплыть валуны, кое-где торчавшие из воды. Течение несло его и несло, и, хотя тело его очугунело от холода, он хотел как можно дальше отплыть от лагеря.

И только после того, как он два раза сильно ударился о торчавшие из воды камни, и ни руки, ни тело уже почти не подчинялись ему, он решил выплывать на правый берег, боясь, что потом вообще уже не сможет выбраться из воды. По его расчетам, он уже отплыл километра четыре от лагеря.

Выйдя из воды, он заметил далекий огонек и, надеясь, что это крестьянская изба, пошел на него. Он так окоченел, что едва перебирал ногами. Чтобы согреться, заставил себя побежать. Ровная травянистая пойма кончилась, и он стал взбираться на холм, откуда светил огонек. Ему еще полчаса пришлось добираться до огонька.

В самом деле, это была крестьянская изба. Он долго озибался, прислушивался и, наконец решив, что немцев, по крайней мере в избе, нет, постучал в дверь. Тишина. Еще раз осторожно постучал.

Он услышал легкие шаги. Кто-то подошел к дверям.

— Кто там? — спросила женщина.

— Свой, — сказал он как можно проще, стараясь не клацать зубами, — помогите.

— Голодный? — спросила женщина.

— Да, — сказал он, чувствуя, что это самый правильный ответ.

Долгое мгновение раздумчивой тишины. Наконец завозилась у дверей, распахнула.

— Проходи, — сказала она, пропуская его и выглядывая в темноту.

Убедившись, что больше никого нет, прикрыла дверь. Передняя марлевой занавеской отделялась от комнаты, куда она его ввела. На столе тускло светила керосиновая лампа.

Вдруг ни с того ни с сего мелькнула мысль о таинственной, победной силе света: как далеко светил ему этот маленький лепесток огня! И она, словно мгновенно угадав его мысль о свете, словно желая поддержать его в этой мысли, подтянула фитиль и стало совсем светло. Тут-то она и разглядела его как следует.

— Боже, что с тобой? — сказала она и осеклась, видимо, догадавшись, откуда он.

Он лихорадочно всматривался в ее глаза и прочел в них не страх перед ним, а сочувственный ужас. Он понял, что ей можно довериться.

— Ты бежал? — тихо спросила она у него. Лагерь был слишком близко, и она не могла не знать о существовании его.

— Да, — сказал он и, чтобы успокоить ее, добавил: — Но за мной нет погони.

— И ты оттуда приплыл?

— Да.

— Сейчас нагрēju воду, и ты вымоешься в горячей воде!

— Спасибо...

Он не мог понять, что она имеет в виду — то ли от него во- няет, то ли он замерз в реке и завшивел в лагере. Сказать, как он бежал из лагеря, почему-то сейчас было стыдно.

Быстро и легко мелькая в своем стареньком ситцевом пла- тье, она развела огонь в печке, поставила на него большой казан воды, принесла из чулана лохань, мыло, мочалку. Все это она делала споро, время от времени озираясь на него и взбадривая его всем своим милovidным обликом. Ее легкость, ее подвиж- ная полнота, ее мелькание обдавали его теплом и уютом.

Вдруг она села на стул и, скрестив руки на груди, взгляну- ла на него.

— Одежду твою надо сжечь в огороде, — сказала она. — Нет, огонь могут увидеть, я ее закопаю.

— А где взять другую? — спросил он, поняв, что в доме нет, а может, и не было мужчины.

— Я тебе дам одежду мужа, — сказала она, — в начале вой- ны пришло письмо, что он пропал без вести. Как ты думаешь, он жив?

— Вполне возможно, — сказал он, — при таком страшном отступлении трудно учесть, кто где.

— Может, как ты — в лагере? — вздохнула она.

— А может, и в партизаны ушел, — постарался приобод- рить ее более достойным предположением.

— Дай Бог, — вздохнула она и задумалась. — Мойся, — об- рывая раздумья и быстро вставая, сказала она, — вот ведро, вот холодная вода, а вот горячая.

— Может, мне на огороде помыться, — сказал он, стесняясь, — дело в том, что я бежал через канализационную канаву.

Ему было стыдно признаться, как он бежал, но еще стыднее было бы, если б она, трогая его одежду, почувствовала бы к нему брезгливость.

— Бедненький, — вздохнула она и, видимо, подумала о своем муже, — там совсем плохо?

— Ад, — сказал он, — трупы грузовики вывозят каждый день... Но может, в других лагерях лучше... Не знаю...

Она полезла в комод, вытащила оттуда трусы, майку, ковбойку, брюки, носки и положила все это на стул рядом с лоханью.

— А вот и тапки, — легко нагнулась и, достав их из-под кровати, подбросила ему, — раздевайся. Одежду — в переднюю. Я потом возьму.

Она вышла из дому. Он разделся и аккуратно сложил одежду в передней. Ботинки оставил возле лохани. Они были еще вполне крепкими, и он испытывал к ним благодарность за то, что они справились с колючей проволокой.

Он залез в лохань и вымылся. Что это было за блаженство! Горячая вода, мочалка, мыло! Потом вымыл ботинки, прислонил их к печке, чтобы они высохли, вытерся полотенцем и залез в свежую одежду. Пока он мылся, она забрала его красноармейскую одежду. Он теперь блаженно расселся на топчане. До этого он не садился вообще, боясь, что река все-таки недостаточно промыла его одежду.



— Можно? — крикнула она с улицы, словно он теперь здесь стал хозяином.

— Да, — ответил он радостно. Она вошла и посмотрела на него сияющими глазами.

— Хорошо?

— Уф! Заново родился, — сказал он.

— А как тебя зовут? — спросила она, улыбаясь красивыми зубами, словно теперь, когда он смыл с себя все чужеродное и стал самим собой, самое время узнать его имя.

— Алексей, — сказал он.

— А я Маша, — отозвалась она. Он помог ей слить с лохани воду в помойное ведро и хотел вынести его, но она ему не дала.

— Теперь уж не вылезай, — сказала она многозначительно и, легко подхватив ведро, вынесла его из дому. Еле слышно за домом шлепнула вода. Они слили из лохани еще одно ведро, и она опять легко подхватила его и вынесла из дому.

Быстро собрала ужин. Она поставила на стол хлеб, сало, картошку, творог. И вдруг вынесла из чулана еще бутылку самогона, заткнутую кукурузной кочерыжкой. Это был пиршественный стол, и особенно его умилила пробка из кукурузной кочерыжки. Так в родном Чегеме затыкали бутылку с чачей. Она разлила самогон по стаканам. Ему полстакана, себе поменьше.

— За вашу встречу, — поднял он стакан, имея в виду мужа, и почему-то захотел его назвать по имени, но имени не знал. Он еще даже не успел договорить или запнуться, как она все угадала.

— С Юрой! — подсказала она быстро.

— Да, с Юрой, — повторил он, — я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Буду жив — отблагодарю.

— Спасибо, — ответила она задумчиво, — это Бог так устроил. Именно сегодня моя мама решила пойти к сестре и остаться у нее ночевать. От всех этих дел, от войны она тронулась. Ничего не соображает. Если б ты при ней остался, она бы могла рассказать об этом соседям. Не со зла. Ничего не соображает.

Они выпили, и он стал закусывать, стараясь сдерживать аппетит.

— Я верю в Бога, — вдруг сказала она, — а ты?

— Нет, — ответил он, сожалея, что, вероятно, огорчит ее этим, но уже чувствуя к ней такое доверие, что не мог ей соврать.

И сейчас через бездну лет генерал Алексей Ефремович, вспоминая об этом, подумал, что вопрос о Боге и теперь его не волнует, хотя стало модно ходить в церковь и читать религиозные книги.

Иногда в квартирах знакомых генералов он видел Библию и догадывался, что эта книга, скорее всего, их детей или внуков. Но у него не было никакого интереса к этим вопросам.

Однажды от нечего делать, находясь в гостях у одного своего приятеля, он взял эту книгу, надел очки и лениво листнул ее в середине. Надо сказать, что ему попала не вполне удачная страница. Там говорилось о каком-то беспощадном

сражении, где врагами, видимо и летописца этого рассказа, был убит мечом какой-то древний военачальник. На следующей странице, возвращаясь к этому сражению, летописец опять заговорил об этом военачальнике и как ни в чем не бывало заявил, что он был насмерть заколот копьем.

Алексей Ефремович очень удивился и даже протер платком очки и снова перечитал все сначала. Может, первое сообщение было предположительно, а он на это не обратил внимания? Но нет. И о смерти военачальника от меча и о его же смерти от копья сообщалось твердо и определенно. И это на расстоянии полутора страниц!

— Бред! — клокотнул Алексей Ефремович. Он захлопнул книгу, поставил ее на место и больше о ней не вспоминал. И увлечение сейчас многих людей церковью он считал недостойным взрослого человека кривляньем.

Однажды он летел за границу вместе с большой делегацией. Там было несколько военных, они летели на конференцию по разоружению. Хотя он уже был давно в отставке, но почему-то о нем вспомнили и пригласили. Тогда отношение к церкви уже сильно смягчилось, но для военных, да еще генеральского ранга, религиозность могла выглядеть подозрительно.

Генерал, сидевший рядом с ним, перед взлетом самолета воровато покосился в сторону руководителя делегации и вдруг быстро и мелко перекрестился.

— Что, Виктор Андреевич, — съязвил Алексей Ефремович, — вы считаете, что Бог, заметив, что вы перекрестились,

подставит ладонь под наш самолет, а то, что вы начальства боитесь больше Бога, он не заметит?

Сосед ничего не сказал, но надулся, как обиженный ребенок. Впрочем, ненадолго.

Он снова медленно вернулся в далекий, как сон, дом этой юной и доброй женщины. После сытной еды и третьего стакана самогона ему вдруг страшно захотелось закурить. За время немецкого госпиталя и концлагеря он почти разучился курить, а тут вдруг мучительно захотелось.

— Что, закурить? — вдруг сказала она и, легко вскочив, стала рыться в комод.

«Вероятно, я, сам того не заметив, сделал какое-то движение», — подумал он, поражаясь ее отгадчивости и не сводя с ее лица своего потрясенного взгляда.

Улыбаясь красивыми ровными зубами, она победно принесла ему кисет табака и маленькую книжицу довоенной папиросной бумаги. Такими книжками их продавали тогда.

— Юрины запасы, сказала она, положила на стол кисет и дала ему в руки книжицу папиросной бумаги. Быстро прошла в чулан и вернулась оттуда, шелкая на ходу коробком спичек. Она села напротив, ожидая, чтобы ему стало совсем хорошо. Он закурил, и ему стало хорошо, как никогда.

Они разговорились. Она сказала, что до оккупации работала учетчицей в колхозе. С мужем еще до войны прожила полгода, а потом его забрали в армию. И сейчас, кроме мамы

и сестры, мужа которой убили на фронте, у нее никого из близких не осталось.

Он ей рассказал, как они сражались в горах, как трудно было с боеприпасами, а особенно с едой. Красноармейцы, рискуя жизнью, охотились за немецкими разведчиками, потому что у них всегда был при себе запас еды. Он поделился с ней своими планами идти в сторону Майкопа, найти там друга отца, спрятаться у него, а когда приблизится фронт, попытаться перейти к нашим.

Но о чем бы они ни говорили, он чувствовал, как время от времени его как бы с головой накрывает волна нежности к этой милой женщине, и он с каким-то радостным испугом выныривал из этой волны, наслаждаясь подхватывающим его потоком и одновременно уверенный, что все-таки сильнее его и никогда, никогда не переступит границу. И казалось, этот поток дохлестнул и до нее, она притихла, сжалась, но потом вдруг вскочила:

— Ты устал. Тебе рано вставать. Надо ложиться.

Она постелила ему на топчане, взбила подушку. Потом убрала со стола, а он в это время сидел на стуле, не в силах отвести от нее глаз. Сейчас движения ее были резкими, и она ни разу на него не взглянула.

— Все! Спокойной ночи! — сказала она и, подойдя к столу, сильно дунула в лампу. Стало темно.

Быстрые шаги в сторону кровати. Шелест платья, которое она сбрасывала с себя, грохнул в душу. Шум откинутого одеяла, скрип кровати. Не помня себя, он разделся и лег на топчан.

И была долгая тишина. Он невольно вздохнул в тишине и вдруг услышал такой же тяжелый вздох в темноте. «Нет-нет, — подумал он, — я не клятвопреступник». И вдруг провалился в глубокий сон.

— Вставай! Вставай! Уже светло! — услышал он ее голос, и рука ее ласково потрепала его по волосам.

Он замер от невероятной сладости этого прикосновения, боясь спугнуть его. Но она быстро убрала руку. Он вскочил. Она стояла перед ним, улыбаясь красивыми, ровными зубами, все такая же свежая и молодая, все в том же ситцевом платье. Она отвернулась, и он быстро оделся.

— Вот Юрина бритва, помазок и зеркало! — кивнула она на стол.

Печка гудела. Она подала ему кружку с горячей водой. Окуная туда помазок, а потом намыливая его в мыльнице, он тщательно выбрился, вымыл лицо и вытерся полотенцем.

— Совсем мальчик, — всплеснула она руками, — кто поверит, что ты бывший командир. И это хорошо.

Он и так всегда выглядел моложе своих лет, а сейчас от хитрости казался совсем юным.

— Я тебе дам Юрину колхозную книжку, — сказала она и, достав ее из комода, положила на стол: — Ты теперь Юрий Иванович Тихонов. Запомни.

— Кто же поверит, что я русский? — сказал он растерянно, однако, взяв книжку со стола, положил ее в карман.

— Главное сейчас незаметно уйти из нашей деревни, — сказала она, накрывая на стол, — а немцы поверят. Для них

главное — папир. А папир у тебя теперь есть. Ничего особенного. Сейчас многие ходят, ездят, меняют вещи на продукты.

Они сидели и завтракали. Его опять охватила лихорадка борьбы за жизнь. Надо как можно скорее и как можно дальше уйти из этих мест. Он плотно поел, выпил два стакана самогона. Тут она принесла пиджак мужа и заставила его надеть. Он сунул в боковой карман кисет с табаком, спички, книжицу папиросной бумаги и перочинный ножик, который она откуда-то извлекла в последнюю минуту. Его уже ждал рюкзак с буханкой хлеба, шматком сала и вареной картошкой в мундире.

— Не забудь, — хлопнула она по кармашку рюкзака, — здесь соль.

Он надел рюкзак и, разгоряченный самогоном, предстоящей опасной дорогой, а главное, невероятной добротой этой женщины, не знал, как быть, не знал, как ее покинуть.

Вдруг она рассмеялась, опять сверкнув ровными зубами, и сказала:

— Мальчик-ушастик едет в гости к дяде!

И он прильнул к ней всем телом, всей душой и обнял ее, и она сама прижалась к нему и сама поцеловала его прямо в губы. Голова у него закружилась, но в следующий миг она оттолкнула его от себя:

— Иди, иди!

— Спасибо, спасибо, — бормотал он, чувствуя, что не в силах сдержать слез.

— И тебе спасибо от Юры, — вдруг сказала она со странным лукавством и опять сверкнула улыбкой.

Никого не встретив на пути, он быстро вышел из села и пошел проселочной дорогой. Перед его глазами время от времени всплывало лицо Маши, ее улыбка, ее быстрые движения. Он старался идти как можно быстрее, чтобы как можно дальше уйти от этих мест, уйти от возможной погони. И он чувствовал и удивлялся, что сила восторга перед этой женщиной дает ему энергию все дальше и дальше отдаляться от нее.

За этот день он прошел два села, удивляясь обычности жизни в тылу немцев, радуясь, что его никто не останавливает и ни о чем не спрашивает. Два раза по пути ему встретились немецкие грузовики с солдатами. Они промчались мимо. Ориентировочно он знал, что идет в сторону Майкопа, но сколько километров до него — не знал.

К вечеру он вошел в подсолнечное поле. Он прошел его и увидел ручей, протекавший между полем и лугом с прошлогодними стогами сена. Здесь он решил поужинать и заночевать. Снял рюкзак, прилег над ручьем и напился. Открыл рюкзак, отрезал большой кусок хлеба, несколько ломтей нежного сала, вынул несколько картофелин и стал есть, макая картошку в соль, которую отсыпал на лист подсолнуха. Поев, он аккуратно сложил свои запасы в рюкзак. Когда совсем стемнело, он осторожно вышел на луг, подошел к стогу и быстро зарылся в него. За целый день он ни разу не присел и потому мгновенно уснул.

Утром пошел дальше. Теперь он стал гораздо смелее, чувствуя, что на него никто не обращает внимания, и уверенный, что теперь ушел от погони, если она была.



Проходя через какой-то поселок, он увидел впереди себя идущего навстречу человека. Лицо его показалось ему достаточно добрым, и он осмелился спросить у него:

— Как пройти до Майкопа?

— Пройти? — удивился тот. — До Майкопа можно доехать. Идите по этой дороге, перейдете через мост, увидите шоссе. А там на попутной машине доедете до Майкопа.

Он вышел к мосту через реку. Догадался, что это та же река, по которой он плыл, обрадовался и вдруг увидел немецкого часового, стоящего у моста. Поворачивать уже было поздно и опасно. Он понял, что и часовой его видит. И он, не останавливаясь, пошел к мосту, стараясь подавить волнение и делая вид, что не замечает часового. Часовой как будто не обращал на него внимания, но, когда он уже выходил на мост, вдруг окликнул его. Он взглянул на часового. Тот жестом пригласил его к себе. Он вынул колхозную книжку и стал к нему подходить. Наверяд ли немец поймет, что он не русский. Может, он и читать по-русски не умеет, думал он.

— Папир, — сказал он, протягивая ему колхозную книжку.

Тот бросил небрежный взгляд на книжку, а потом строго спросил у него:

— Иуде?

Он не слышал этого слова и не понял его значения. Но понял, что тот что-то спрашивает и надо соглашаться с человеком, от которого зависит твоя судьба.

— Да-да, — закивал он ему и снова попытался обратить его внимание на свою колхозную книжку.

На этот раз часовой на книжку даже не взглянул. Но, как бы удивленно заинтересовавшись им, снова спросил:

— Иуде?

— Да-да, — снова закивал он ему и снова попытался обратить его внимание на колхозную книжку.

Но теперь немец не сводил с него глаз. Вдруг он сделал к нему шаг, переложил автомат в левую руку, а правой рукой стал щупать ему голову, затылок, шею и даже завернул ухо. Беглец растерялся и никак не мог понять, что ему надо.

— Иуде? — уже раздраженно спросил его немец.

— Да-да, — внятно повторил он, стараясь ему угодить.

Немец убрал руку, задумался, напрягся и вдруг выпалил по-русски:

— Еврей?

— Нет-нет! — крикнул он и добавил, тыкая себя в грудь: — Я абхаз!

— Кауказ? — переспросил немец.

— Да-да, — закивал беглец.

Немец успокоился и показал ему рукой, что он может идти, и сам, повернувшись спиной, отошел к краю моста.

Он быстро пошел по мосту, на ходу пряча книжку в карман. Ликуя, что избежал смертельной опасности, он старался понять действия немца. То, что немцы делают с евреями, он прекрасно знал. «Видимо, — думал он, — мой горбатый нос показался ему подозрительным, и он поэтому меня остановил. А потом, пощупав голову, понял, что она не соответствует тем признакам, по которым их учили отличать еврея от не-

еврея». Он об этом что-то слышал, но никогда этому не верил. Но значит, есть какие-то признаки, если он несколько раз его переспрашивал?

...И только позже, став более зрелым человеком, он понял, что немца смутило не отсутствие каких-то признаков, которыми их учили, а та подозрительная легкость, с которой он с ним соглашался. Потому-то он и напряг память и повторил это слово по-русски.

За мостом он вышел на шоссе, но, не рискуя идти по нему, свернул с него и теперь шел по лугам, перелескам, по кукурузным и подсолнечным полям, стараясь видеть шоссе или не слишком отдаляться от него.

Жизнь, которую он замечал вокруг себя, была достаточно мирная, но именно это внушало ему интуитивное опасение связываться с людьми или тем более проситься к кому-нибудь на ночлег. Казалось, немцы здесь не внушают никому опасения, и именно поэтому он старался ни с кем не связываться.

Через два дня у него кончились курево и еда. Он опять привык курить и теперь мучился от отсутствия курева.

Возле какого-то поселка ему навстречу шел человек средних лет и курил. И он не выдержал.

— Разрешите папироску? — попросил он у того, когда они поравнялись.

Тот бросил на него холодноватый взгляд, но вынул мятую пачку и протянул. Он вынул папиросу и попросил прикурить, хотя у него спички еще оставались. Возможно, он хотел,

чтобы добрый поступок этого встречного проявился со всей полнотой, но получилось все наоборот. Человек, давая ему прикурить, вдруг насмешливо процедил сквозь зубы:

— Может, тебе еще и губы дать?

Внутренне извиваясь от стыда и оскорбления, он все-таки прикурил и пошел дальше. И он почему-то на всю жизнь возненавидел этого человека. В своих воспоминаниях он ненавидел только его, хотя другие пытались и убить, и предать его в этой долгой дороге, но ненавидел он только этого. Ничего в мире нет подлее хлеба, изгаженного презрением и протянутого голодному, зная, что голодный не откажется и от такого хлеба!

К вечеру, голодный, как зверь, он вышел на лесную полянку и увидел десяток ульев. Сердце у него забилось от радости. Он знал по чегемскому мальчишеству, как вскрывать ульи. Надо было найти сухой валежник, разжечь костер и, когда валежник раздымится, вскрыть улей и, отмахиваясь дымящейся головешкой от пчел, срезать соты. Нож был в кармане.

На всякий случай огляделся и вдруг увидел на опушке леса шалаш. Почти уверенный, что там никого нет, он все-таки тихо подошел к нему и заглянул внутрь. В шалаше на лежанке сидел старик с мягкой благообразной бородкой. Посреди лежанки валялись головешки старого костра. Возле старика стояло ведро, почти наполненное сотами. Из ведра торчала свежеструганая дощечка, вонзенная в соты.

— Здравствуйте, дедушка, — сказал он, остановившись у входа.

Старик поднял голову и только теперь заметил его.

— Здравствуй, мил-человек, — ответил старик, — издалека будешь?

— Иду в Майкоп, — неопределенно сказал он, стоя у входа.

— Садись, в ногах правды нет, — кивнул старик на лежанку, — до Майкопа ботинки износишь, пока дойдешь, хотя они у тебя крепкие...

Он сел. Теперь они сидели рядом в метре друг от друга.

— Дедушка, — сказал он, — меду не продадите?

— А сколько у тебя денег? — спросил старик, глянув на него ясными васильковыми глазами.

— Денег нет, — вздохнул он, — вот пиджак могу дать.

— Зачем мне твой пиджак, — сказал старик, глянув на пиджак, — мед у меня свой. Угощайся. — Он склонился к ведру, стоявшему у ног, туго провернул дощечкой и осторожно вытащил ею большой ломоть сочащихся сот. — Ешь! Не жалко!

— Спасибо, — сказал он и стал растерянно озираться, не зная, как взять этот сочащийся ломоть.

— А вон мисочка, — кивнул старик на конец лежанки, где стояла деревянная миска, прикрытая старым полотенцем.

Он скинул полотенце, дунул в миску и подставил старику. Старик шмякнул в нее ломоть сот и снова вонзил дощечку в содержимое ведра.

Миска приятно потяжелела. Он поставил ее на колени, вынул перочинный нож, раскрыл его и, отрезав кусок от сот, поймал его губами и стал есть, выжевывая и высасывая из него ароматный мед.

— А откуда ты будешь родом? — благостно спросил старик, глядя, как он ест.

— Я из Абхазии, — сказал он, причмокивая и блаженствуя.

— Так у меня же абхазские пчелы, — сказал старик, — я семь лет прожил в Абхазии. Знаешь такое место — Псху?

— Конечно, знаю! — вскрикнул он, радуясь, что старик жил у него на родине. — Но сам я там не бывал... Там сейчас немцы...

— Немцы, мил-человек, скоро везде будут...

Что-то кольнуло в груди беглеца, но съеденный мед успокоил: старик, что с него возьмешь.

— А здесь их много? — спросил он.

— Мне они не докладывают, — ответил старик и снова посмотрел на него васильковыми глазами. — Но как же ты из Абхазии здесь оказался?

Он хотел сказать ему правду, но что-то его удержало.

— Гостил у земляка, — сказал он, снова принимаясь за соты, — война меня здесь застала.

— Не успел уехать?

— Не успел.

— Долго же ты раздумывал, — сказал старик и добавил: — Дать еще меду?

— Спасибо, — сказал он и подставил миску. Отмахнув ладонью пчел, кружащихся над ведром, старик снова провернул досщечку и, вынув ее, скovyрнул ему в миску кусок сот поменьше.

— Куда ж ты на ночь глядя пойдешь? — раздумчиво сказал старик. — Хочешь, идем ко мне домой... А то в шалаше оставайся. Только не сожги его.

Он подумал-подумал и решил все-таки оставаться в шалаше. Мало ли кто у старика дома и какие у него там соседи.

— Я, пожалуй, останусь, — сказал он, — спасибо за мед.

— Абхазская пчела — лучшая в мире, — проговорил старик и осторожно столкнул ногтем большого пальца правой руки пчелу, севшую ему на левую руку. Подняв на беглеца васильковые глаза, добавил: — У нее самый длинный хоботок... Самый длинный... Может, и лучше остаться тебе здесь. У меня невестка злая. Ну, я пойду. Куда-то собачка ускакала. — Старик поднялся и, встав у входа в шалаш, начал громко кричать: — Рекс! Рекс! Рекс!

Тяжелое дыхание собаки он услышал раньше, чем увидел ее. Старик сделал шаг назад, как бы приглашая собаку, и он увидел огромную лохматую кавказскую овчарку. Она молча уставилась на него. Почувствовав смутную тревогу, он взглянул на старика и вдруг увидел профиль его, искаженный злобой. Похолодел. Выплюнул изо рта вощину и, не выпуская собаки из кругозора, мгновенно оглядел шалаш, ища чем защититься. Цапнул глазами из старого костра самую увесистую головешку.

— Взять, Рекс, — взвизгнул старик, — большевистского шпиона!

Но пока старик кричал, он выхватил эту головешку. Он вырос в пастушеской деревне и знал, как обороняться от злых собак. Короткий рык, и собака, разинув огнедышащую пасть, прыгнула на него. Он сунул в разинутую пасть свою головешку и молниеносно, не давая времени прикусить ее, задвинул

подальше в глотку. Собака рухнула на пол шалаша, вздымая тучу золы, завывала от боли и выскочила наружу.

Быть приглашенным под кров хозяина, съесть его хлеб-соль и быть им преданным — это было чудовищно для еще слишком чегемского сознания беглеца!

Бешеный, но и ясно владея своим бешенством, пригибаясь, чтобы не задеть крыши, он размахнулся головешкой и ударил старика по голове. Старик опрокинулся, кусок головешки отлетел. Оружие в руке его стало короче, но и острее.

В это мгновение собака снова прыгнула на него. Он снова успел просунуть ей до самой глотки свою широченную, но и заостренную теперь головешку. Собака рухнула, взывала от боли и выскочила из шалаша, оглашая окрестности громким лаем, время от времени выфыркивая кровь, капавшую у нее изо рта.

Однако она стояла у самого выхода из шалаша и не намерена была его выпускать. Мысль его работала быстро и четко. Перочинный нож! Нет! Слишком короткое лезвие!

И никак нельзя было затягивать борьбу с собакой. Она лаяла слишком громко и могла привлечь внимание людей, если они где-то близко живут. Он не знал этой местности.

Испугать ее было невозможно, и невозможно было убить ее этой укороченной головешкой. Он выхватил еще одну головешку из потухшего костра. Она была не так увесиста, как первая, но подлиннее. Тряхнул ее в руке — прочная, выдержит.

Теперь он держал в левой руке ту первую головешку, а в правой зажал эту, которая была подлиннее. Он решил дать



собаке прикусить укороченную головешку и бить ее в это время второй.

Собака продолжала громко лаять, стоя у входа в шалаш. Он видел, что она не сводит яростных глаз именно с той головешки, которая вонзалась ей в глотку. Однако прыгать на него она теперь не решалась.

Скорей, скорей! Она слишком громко лает! Если придут люди и увидят убитого старика, его ничто не спасет. Выдвинув левую руку с укороченной головешкой, он решительно пошел на собаку. Она не выдержала его решительности и попятилась, продолжая захлебываться лаем.

Он остановился, и собака снова приблизилась, не сводя глаз с укороченной головешки. Скорей! Скорей! Надо дать ей прикусить ее, а потом бить той, что зажата в правой руке. Бить по голове. Насмерть.

Ярость собаки не утихала, но теперь она была гораздо осторожнее. Он опустил руки вдоль тела, чтобы она стала посмелее. Иначе она не даст ему уйти и будет лаять в двух шагах от него.

Видя, что он не действует, собака, продолжая захлебываться лаем, приблизилась к нему с того боку, откуда торчал ненавистный обломок головешки. Он изо всех сил держал себя в руках, не делая никаких оборонительных движений, чтобы дать ей осмелеть, и в то же время не выпуская ее из виду. Спокойно! Спокойно! Спокойно! И нервы у собаки не выдержали.

Она прыгнула, и он успел выбросить вперед левую руку с укороченной головешкой. Собака вцепилась в нее зубами

и, стараясь выдернуть ее из его руки, с такой силой потянула его, промотала, проволокла на несколько шагов, что он чуть не потерял равновесие и едва удержался на ногах.

Наконец изловчился и ударил ее головешкой, которую держал в правой руке. Но удар получился неточным, палка только скользнула по голове и отпружинила, выбив клоч шерсти на мощной холке собаки. Он опять изловчился и ударил по голове собаку, которая все еще пятилась и мотала его. По отзвуку головешки понял, что попал хорошо. Собака зарычала и рванулась ко второй головешке, почему-то не бросая ту, что зажала в зубах. Он бил и бил ее по голове, уже и после того как она свалилась.

Наконец она затихла, так и не выпустив из пасти первую головешку. Разгоряченный схваткой и удивленный, что собака почему-то после первых ударов не бросила зажатую в зубах деревяшку и не кинулась на него, он с трудом расшатал и вынул ее из пасти собаки. Теперь он понял, в чем дело. Она так глубоко прокусила ее, что не смогла вытащить зубы.

Он быстро вернулся в шалаш. Старик лежал с открытым ртом. Лицо его было залито кровью, и кровь по капле стекала с его бороденки. Вспомнив, с какой силой собака сжала клыками головешку, он представил, что бы с ним было, если б она добралась до его глотки.

И он злорадно выгреб руками соты из ведра, шмякнул их в рюкзак, закрыл его, закинул за плечи и быстро пошел в сторону леса. Уже в лесу, часа через два, остынув от всего, что случилось, он почувствовал, что пиджак его разодрался на

спине и под мышками. Он понял, что в таком виде опасно встречаться с людьми.

Он вынул из внутреннего кармана колхозную книжку, потом из внешнего кармана спички и перочинный ножик и положил все это в брюки. На всякий случай проверил второй внутренний карман, куда он ничего не клал, и вдруг нащупал в нем какую-то бумагу. Пальцами он понял, что это деньги. Это была красная тридцатка.

Он снова вспомнил Машу и теперь догадался, что это не случайно застрявшие в пиджаке мужа деньги, а она из деликатности, боясь, что он не возьмет их, сунула туда. И, мысленно сравнивая ее с этим стариком, он почувствовал необъяснимое таинство человеческой доброты и человеческой подлости. Он скинул пиджак, свернул его и спрятал в кустах, чтобы он не бросался в глаза.

...И только через много лет, вспоминая этого старика, он как будто сумел правильно его вычислить. Еще в детстве он знал, что в этом горном, малодоступном местечке Псху почему-то поселились русские люди. Это были, видимо, крестьяне, бежавшие от раскулачивания. И вероятно, некоторые, как этот старик, когда схлынула волна репрессий, вернулись к себе. Да, у старика были свои счета с Советской властью, однако натравливать на него собаку-убийцу он не должен был. Он не изменил своего отношения к этому старику, но понял, как ему казалось, более сложную природу этого внезапного предательства.

...До самой поздней ночи он шел и шел по лесной тропе, стараясь как можно дальше уйти от места убийства старика.

Случайно услышав журчание ручья, он подошел к нему, напился и, сев возле него, выжевал несколько кусков сот. За большим дубом он на ощупь пригреб палые листья и, свернувшись калачиком, лег спать.

Утром позавтракал медом и напился воды. Он старался пить как можно больше, про запас, не зная, когда и где напьется снова. День обещал быть солнечным. И вчерашняя встреча со стариком и его собакой казалась невероятной.

Так он шел и шел сквозь зеленый лес, сквозь успокаивающее душу чириканье птиц, как вдруг услышал конский топот. И, не успев сообразить, как к этому отнестись, увидел из-за поворота тропы всадника, едущего навстречу, и всадник увидел его. Бежать было вроде поздновато и незачем. Ведь столько людей он встречал в пути, и никто у него ничего не спрашивал, кроме старика. Так ведь сам же он вошел в шалаш и подсел к нему

Стараясь держаться непринужденно, он продолжал идти навстречу всаднику. Лицо у всадника было красное, и он покачивался в седле. Пьян, вдруг понял он и почувствовал тревогу. Было видно, что опьянение это было злым, сумрачным. Всадник не сводил с него опухших глаз.

— Стой, — крикнул всадник, когда он был от него в трех шагах. Он остановился.

— Откуда? — спросил всадник.

— Был у родственников в гостях, — сказал он приготовленную фразу и назвал поселок, который он проходил, достаточно далекий отсюда.

Он знал, что колхозную книжку этому человеку нельзя показывать. Он сразу поймет, что она чужая. Он знал, что по-русски говорит с акцентом. И он почувствовал, что этот человек представляет какую-то власть: защитного цвета рубашка, галифе, сапоги. Тяжелый живот нависал над поясом, стягивавшим рубашку.

— Знаю, — миролюбиво протянул всадник, — а куда идешь?

— В Майкоп, я там живу, — сказал он и вдруг по лицу всадника понял, что сказал не то.

— Лесом до Майкопа?! — презрительно хмыкнул всадник. — Документы!

— Да нет у меня документов, — придурысь голосом, ответил он, — я же был у родственников.

И вдруг всадник молча вытащил «вальтер» и направил ему в голову. Холодея и чувствуя, что тот может выстрелить, хотя бы потому что пьяный, он взглянул в круглое отверстие ствола пистолета, и оно на его глазах расширилось, как отверстие ствола пушки.

— Вперед, партизанская сволочь! — крикнул всадник.

— Какой я партизан, — сказал он, не сводя глаз с огромного, невероятного отверстия ствола пистолета, направленного на него, — у меня нет никакого оружия.

— Вперед! — рявкнул всадник и стал наезжать на него конем. — Там разберемся.

И он повернулся и пошел впереди коня. «Что делать, что делать?» — растерянно думал он, боясь, что теперь откроется

и убийство старика. И вдруг он с ужасом догадался, что по колхозной книжке, там было название колхоза, легко установят, что он ее получил от Маши, и, если поймут, что он бежал из плена, ее расстреляют, как и его! Страх и растерянность мгновенно улетучились. Совершенно забыв о себе, он теперь думал только об одном: как избавиться от колхозной книжки.

*Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить... —*

вдруг запел вполголоса всадник и замолк. Беглец оглянулся. Пистолет в его руке был опущен, голова тяжело свесилась на грудь. Но в этот миг он поднял голову, взглянул на него мутными глазами, приободрил руку с пистолетом и пробормотал:

— Вперед! Вперед!

Он безропотно пошел дальше. Через некоторое время он на миг оглянулся и заметил, что у всадника снова свесилась голова. Так он несколько раз оглядывался, иногда встречаясь с ним глазами. Но он установил и некоторую закономерность. Там, где тропа была поглаже, меньше переплеталась корнями и была прямее, там всадник, клюнув носом, дольше ронял голову на грудь.

И он ждал. И вот появилась гладкая прямая поверхность тропы. Она проглядывалась метров на тридцать. Он решил попробовать. Лошадь ровней застучала копытами. Он оглянулся. Голова всадника тяжело упала на грудь. Он быстро вы-

нул колхозную книжку и одним коротким, чтоб не вспугнуть лошадь, но сильным махом забросил ее в кусты.

Прекрасно! Всадник ничего не заметил. И сразу полегчало. Он почувствовал, что к нему возвращается сила сопротивления. Бежать! Бежать! Бежать! Но как? Ему представилось два способа. Или бежать, когда всадник задремлет. Или опять же, когда всадник задремлет, подскочить и выбить у него из рук пистолет. Хотя бы успеть схватить руку с пистолетом. Дальше он с ним справится, он это знал. Второй способ — смертельная опасность, но короткая. «Если всадник успеет поднять голову — хана. Вгонит в меня всю обойму», — думал он.

Первый способ как бы менее опасный, но опасность длительнее. Он, конечно, погонится за ним и будет стрелять в него. Но если несколько секунд выиграть, можно уйти. Попасть с лошади в бегущего человека не так-то просто, тем более между деревьями. Пустить за ним лошадь галопом он не сможет, во всяком случае, не везде. Лес достаточно заколочен.

Он выбрал побег. Он весь напрягся, стараясь спешкой не испортить дело. Ждал. Он выбирал место, где деревья растут погуще. Вот оно! Тихо оглянулся. Голова всадника болталась на груди, тяжелые веки прикрыты.

Впереди, вправо от тропы, толстое дерево. Надо как можно тише запрыгнуть за него, а там бежать и бежать, прикрываясь деревьями и зарослями колючих кустарников.

Он снова оглянулся. Бесшумно сошел с тропы и возле толстого дерева, до которого оставалось метра три, собрав си-

лы, прыгнул в его сторону. Он допрыгнул до дерева, но под ногой сильно хрустнула ветка, которую он не заметил.

— Стой! — раздалось, как только хрустнула ветка, и сразу же выстрел, но он уже был за деревом.

Рванул напрямик от него, зная что еще несколько секунд оно его будет прикрывать, и дальше, дальше, прыгая за деревья и кусты и слыша за собой беспорядочные выстрелы, топот лошади и хруст раздираемых кустов.

Потом выстрелы смолкли, но топот был еще слышен, потом замолк топот, и опять раздались выстрелы. Видно, всадник перезарядил пистолет и теперь скорее всего стрелял от ярости, наугад. Он продолжал бежать, пока хватало дыхания. Поняв, что сейчас упадет, он остановился. Прислушиваясь и стараясь отдышаться. Ничего не было слышно.

Он пошел дальше, опасаясь, что это только передышка, потому что всадник, если он его принял за партизана, может организовать погоню. Он шел несколько часов и остановился у лесного ручья. Припал к воде и долго пил воду. Он почувствовал, что смергельно устал и ничего не хочет. Однако он заставил себя открыть рюкзак и, чтобы укрепить силы, съел, выжевал большой ломоть сот. Мед ему был сейчас противен, но он заставил себя есть. Вдруг он подумал, что если его поймут, то по остаткам сот могут связать его с убийством старика. В глубине души ему и так было неприятно (но он отгонял от себя эту мысль), что вынужден есть мед убитого им старика. И теперь он решил забросить куда-нибудь подальше рюкзак с остатками сот.



Теперь он пошел прямо по руслу ручья, чтобы сбить погоню, если за ним придут с собаками. Через несколько километров, заметив заросли ежевики, он забросил туда рюкзак.

Он прошел по ручью еще несколько километров, а потом вышел из него и углубился в лес. Он шел всю ночь, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Часов в десять утра внезапно перед ним открылась шоссейная дорога. Вдалеке, по ту сторону шоссе, были видны домики какой-то деревни.

У края шоссе он увидел одинокую фигуру женщины с мальчиком лет двенадцати. Теперь ему свои были страшнее, чем немцы, но он подошел к ним и молча стал рядом. Женщина с мальчиком явно ждали попутной машины. У ног женщины стояла корзина. Женщина была одета в старый плащ, на ногах солдатские ботинки. На вид ей было лет пятьдесят. У нее было суровое скуластое лицо. Она его окинула внимательным взглядом узких синих глаз. Он пытался угадать, кто она. На вид городская. Может быть, приезжала в деревню менять вещи на продукты? В корзине белели яйца. Лицо женщины не располагало к общению, но и молчать дальше было бы еще подозрительнее.

— Вы ждете машину на Майкоп? — спросил он.

— Да, — кивнула она и снова внимательно его оглядела.

— Мне тоже надо на Майкоп, — сказал он. Она снова его внимательно оглядела и, помолчав, вдруг добавила:

— А у вас пропуск есть?

— Нет. У меня есть тридцать рублей.

— Нужен пропуск, — сказала она, — без пропуска не возьмут.

— А далеко до Майкопа? — спросил он.

— Километров сто, — сказала она.

Он так приуныл, что она это поняла по его лицу.

— Не тревожьтесь, — вдруг сказала она и с неожиданной ободряющей улыбкой кивнула ему: — Что-нибудь придумаем!

— А что можно придумать? — дрогнувшим голосом спросил он, чувствуя пьянящий прилив благодарности.

— Отряхнитесь как следует, — вдруг скомандовала она, — я говорю по-немецки. У меня пропуск на два лица. На меня и на сына. Слушайте внимательно. Меня зовут Александра Сергеевна, а как вас?

— Алексей, — сказал он.

— Так вот, Алексей. Мы к бабушке ездили за продуктами. И это правда. Вы мой старший сын. У меня в самом деле есть старший сын, но он в армии. А младший жил у бабушки. И вдруг закапризничал и захотел с нами ехать домой. Вот я его и взяла. Когда немецкая машина остановится, вы смело вместе со мной подходите к кабине. А ты, Петя, стой здесь. Пусть они думают, что лишний человек — это ребенок.

Он был потрясен ее храбростью и хитроумием.

— А если не возьмут?

— Ничего, — бодро кивнула она, — подождем следующую машину. Кто-нибудь да возьмет. «Яйки» они любят. Я достаточно хорошо говорю по-немецки.

Он отряхнулся и, насколько это было возможно, привел себя в порядок. Они несколько раз проголосовали, но маши-

ны промчались не останавливаясь. И вдруг грузовик затормозил.

— Яйки? — крикнул немец, высовываясь из кабины и оглядывая их.

— Я, я! — закивала Александра Сергеевна.

— Папир? — крикнул немец.

— Я! Я! — снова закивала она и, повернувшись к Алексею, приказала: — Берите корзину — и за мной!

Он подхватил увесистую корзину и с гулко бьющимся сердцем подошел вместе с ней к кабине. Немец, высунувшись из кабины, с любопытством заглянул в корзину. Белоснежные яйца лежали сверху. Она сунула ему какую-то бумагу, которую вынула из-под плаща, и стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Хия цвай! — ударил немец рукой по пропуску и, высунувшись из кабины, посмотрел на мальчика, одиноко стоявшего в стороне. Казалось, он хотел убедиться, что мальчик ему не примерещился.

Она ему стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Найн, найн, — замотал немец головой. Она сделала шаг от машины, как бы отступаясь, и, взглянув на своего сына, стоявшего в стороне, грустно и укоризненно покачала головой. Немец внимательно следил за ней. Потом немец снова посмотрел в корзину и стал что-то объяснять шоферу. Мелькало знакомое слово: киндер, киндер. Он опять высунулся из кабины и снова посмотрел на мальчика, как бы оценивая его размер. Второй немец что-то сказал ему.

— Драйсиг! — крикнул первый и, высунув руку, ткнул ее в сторону корзины.

— Я! Я! — закивала женщина и снова подошла к кабине, быстро приказав беглецу: — Приподымите корзину!

Он приподнял корзину и приблизил ее к открытому окну кабины. Немец стал выбирать яйца и куда-то переключивать себе под ноги. Женщина продолжала ему что-то говорить по-немецки и, видно, сказала что-то смешное, он расхохотался. Отхохотавшись, воздел палец, вспоминая, сколько насчитал яиц, и снова стал выбирать, громко считая. Набрал.

Алексей поставил корзину на землю, нетерпеливо ожидая приглашения в кузов и боясь, что немцы, забрав яйца, просто уедут.

— Прима дойч, мадам! — улыбнулся немец и кивком пригласил их в кузов.

Он взлетел первым и, низко наклонившись, осторожно, чтобы не разбить оставшиеся яйца, принял корзину и поставил ее на дно кузова. Помог подняться матери и сыну.

Они уселись на деревянную скамейку. Машина рванулась, она летела, взлетая и падая на выбоинах шоссе.

— А теперь, если хотите, расскажите, — крикнула женщина сквозь гул мотора, — кто вы!

Он чувствовал такой порыв благодарности, что не мог от нее ничего скрыть. Он рассказал ей, что бежал из концлагеря и даже, вдаваясь в подробности, пояснил, как именно бежал. От бессонной ночи, от радости освобождения он был как пьяный. Мальчик слушал его, восторженно сопереживая, она —

внимательно и спокойно, не забывая придерживать корзину, когда кузов взлетал и падал.

— Я что-то вроде этого предполагала! — крикнула она ему.

Он объяснил ей, что ему нужно сельцо под Майкопом, а не самый Майкоп.

— Знаю, — кивнула она, — это близко от Майкопа. Но мы должны слезть вместе, а когда машина уйдет, я вам покажу дорогу.

Они въехали в город. Женщина постучала в стенку кабины. Грузовик остановился. Он спрыгнул с кузова. Женщина подала ему корзину. Он помог ей сойти, а мальчик спрыгнул сам.

— Прима дойч, видерзеен! — крикнул немец, выглянув из кабины, и машина рванулась дальше.

Женщина стала четко и подробно объяснять ему, куда и как выйти из города, и ему стало особенно ясно, что она учительница. И каким обманчивым оказалось ее суровое скуластое лицо. И какая она оказалась умная и храбрая!

Он, наклонившись, поцеловал своего невольного брата и хотел пожать ей руку, но она сама поцеловала его и сказала:

— Храни вас Господь!

Чувствуя необычайную бодрость, он быстро прошел по улицам города и через час уже был в селе, где жил друг его отца. Но как его найти, и живет ли он все еще здесь? За время его побега мужчины стали вызывать его недоверие, и потому он у встречных ничего не спрашивал. Заметив женщину, белившую малярной кистью свой домик,

похожий на украинскую хату, он подошел к ней. Вокруг никого не было.

— Вы не скажите, где здесь живет Ашот Саркисян?

Женщина была так увлечена побелкой своего домика, что не заметила, как он подошел. Теперь она вздрогнула и оглянулась на него. Это была юная женщина кавказского типа.

— А зачем он вам? — спросила она подозрительно.

— Дело есть, — ответил он неопределенно.

Она опять окинула его подозрительным взглядом и сказала:

— Не знаю такого.

Сунув кисть в ведро с раствором извести, снова стала красить стену, показывая, что разговор окончен.

По акценту он понял, что женщина армянка. В детстве, играя с армянскими детьми, он немного научился говорить по-армянски. И сейчас напряг память и собрал знакомые слова.

— Он друг моего отца. Чегем, — сказал он на ломаном армянском языке.

Женщина бросила кисть в ведро и вдруг обернулась к нему, исполненная доброжелательного любопытства. Его несколько слов на ломаном армянском языке пробили в ней словоохотливость на русском.

— Твой отец дружил с моим папой? Я же родилась в Чегеме, но ничего не помню! Пойдешь по этой улице, потом завернешь направо, и третий дом будет домом моего папы! Иди, иди, я тоже приду туда! Но как ты сюда попал?

— Потом-потом, — бросил он ей и пошел по указанной дороге.

— Может, провести тебя? — крикнула она ему.

— Сам найду! — махнул он ей рукой и быстро пошел, поражаясь такому невероятному везению. Надо же, на дочь напоролся!

Дверь в дом была распахнута, и оттуда доносились громкие голоса на армянском языке, время от времени перебиваемые щелкающими звуками почти пистолетной силы.

Он поднялся в дом и вошел в комнату, где за низеньким столиком хозяин дома и какой-то человек играли в нарды. Еще четверо мужчин сидели вокруг и громко обсуждали игру. Куча денег лежала рядом с игровой доской. На него никто не обратил внимания.

Он не хотел при чужих людях обращаться к хозяину и не знал, как быть. Через несколько минут хозяин поднял глаза и бросил на него стремительный взгляд: все те же яркие черные глаза под густыми черными бровями, но голова поседела.

К его удивлению, хозяин ему ничего не сказал и, снова опустив глаза, бросил щелбнувшие кости. Громко защелкали передвигаемые фишки. От волнения он забыл, что хозяин его видел совсем пацаном и теперь, конечно, никак не мог его узнать. Но хозяин и не удивился, что в комнате оказался чужой человек.

Вошла в комнату его жена, которую он тоже сразу узнал, хотя и она поседела, как ее муж. Она посмотрела на него и хотела что-то сказать, но тут муж ее поднял голову над игровой доской и раздраженно бросил ей по-армянски:

— Дай этому хлеба!

И снова метнул кости. Тут игроки, сидевшие вокруг столика, разом обернулись в сторону гостя, усато удивляясь. Но удивление оказалось не столь сильным, чтоб пересилить интерес к игре, и они покорно опустили глаза на игральную доску. Женщина плавно, чтобы не расплескать, принесла ему кружку айрана и кусок душистого свежего хлеба. Он с огромным удовольствием съел хлеб, запивая его вкусным, полузабытым айраном. То, что он ел и пил, делало его пребывание в доме более естественным, и это придавало ему дополнительный аппетит.

Но вот он съел хлеб, выпил весь айран, поставил кружку на буфет, а на него никто не обращал внимания. И теперь, наоборот, оттого что он все съел и не уходит, стало еще более неловко.

Прошло еще минут пятнадцать—двадцать яростной игры. У хозяина сменился партнер, а на него никто не обращал внимания. Но когда снова вошла хозяйка, хозяин, снова подняв глаза, бросил на него беглый взгляд и крикнул жене по-армянски:

— Спроси у этого, что ему еще надо!

И снова метнул кости. Остальные мужчины с величайшим удивлением к тому, что он еще не ушел, разом взглянули на него, но и тут не смогли пересилить интерес к игре и снова покорно опустили глаза.

— Что-нибудь еще надо? — тихо спросила женщина, глядя на него своими лучистыми не по возрасту глазами.

— Я из Чегема. Я сын Ефрема, — сказал он ей.



— Ты сын Ефрема? — переспросила она и теперь залучилась не только глазами, но и всем лицом.

— Да, — сказал он.

И вдруг эта тихая, покорная женщина гневно преобразилась. Она заговорила с мужем на армянском языке, язвительно укоряя его тем, что тут стоит несчастный сын Ефрема, а он черт его знает чем занимается весь день. И опять все остальные игроки с величайшим удивлением посмотрели на него, но и как бы с уверенностью, что все это уже было, а игре никто не может помешать.

— Ты сын Ефрема?! — по-русски закричал хозяин и уставился на него своими сверкающими глазищами.

— Да, — сказал он, даже как бы пытаясь пригасить взрывной возглас хозяина.

Хозяин, с размаху хлопнув крышкой игровой доски, закрыл ее. Он яростно обратился ко всем остальным игрокам на армянском языке. Он обратился к ним так, как будто давно просил их покончить с игрой и убраться отсюда, а они никак не убирались. И вот терпение его лопнуло. Никаких возражений он не слушал, небрежно расшвыривая деньги играющим, и, покрывая недовольный гвалт, кричал и показывал на двери. Наконец они все ушли, как бы пораженные фантастическим обстоятельством, которое могло оказаться интереснее игры в нарды.

Хозяин подошел к нему и, сверкая на него глазищами из-под черных мохнатых бровей, спросил:

— Так ты сын Ефрема?

— Да, — повторил он.

— А как зовут его жену? — вдруг спросил хозяин.

— Маму? — растерялся он. — Шазина.

— Правильно! А ты помнишь, где мой дом стоял?

— Конечно, — сказал он.

— Если от моего дома, — сердито закричал хозяин и резанул ладонью воздух, — прямо вниз смотреть, кто там живет?

— Охотник Тендел.

— Правильно! — заревел хозяин. — Дай я тебя расцелую, мой мальчик! Сколько времени прошло! — Он облапил его и смачно поцеловал в губы. Вдруг оттолкнул, продолжая придерживать за плечи: — А как ты попал сюда?

— Бежал из плена.

— Молодец! — закричал хозяин. — Будешь жить у меня до прихода наших! Ничего не бойся — здесь все свои! В нарды играешь? — неожиданно спросил он, видимо, почувствовав свой неутоленный азарт.

— Да, — сказал Алексей.

— А деньги есть?

— Есть тридцатка!

— Садись, сыграем! — сказал Ашот, усаживаясь сам и усаживая его, — положи деньги сюда!

Алексей достал Машину тридцатку и выложил ее на столик.

Хозяин тоже выложил тридцатку на столик. С грохотом распахнул игральную доску и стал раскладывать фишки.

Он тоже разложил фишки по местам.

— Деньги мне не нужны, — пояснил хозяин, — но без денег неинтересно играть.

С этим он бросил кости. Хозяин, конечно, играл намного лучше, и, выиграв у гостя тридцатку, он его окончательно усыновил.

Так он стал жить в доме дяди Ашота. Вскоре он познакомился с местными людьми. Некоторые из них были связаны с партизанами. И он принимал участие в нескольких партизанских вылазках, которые проводили далеко от этого села. И он нередко удивлял своих товарищей хладнокровием, храбростью и находчивостью.

— Что я, — говаривал он, когда товарищи хвалили его за находчивость, и рассказывал, как учительница, спасая его, запутала немцев.

Дяде Ашоту, чтобы не волновать его, он ничего не говорил о своих связях с партизанами. Но тот, конечно, сам догадался. После первой операции, когда он отсутствовал несколько дней, дядя Ашот встретил его с мрачной укоризной.

— Я обещал сохранить тебя для отца, — прогудел он ему сердито, — а ты чем занимаешься?

— Да нет, дядя Ашот, — улыбнулся он ему, — мы просто загуляли с ребятами.

Хозяин махнул рукой и больше ни о чем его не спрашивал.

Через два месяца наши взяли Майкоп, он влился в армию, до самого конца войны был на фронте и быстро продвигался по службе. Но еще в Майкопе его сразу вызвали в особый отдел.

В кабинете сидел майор. Он поздоровался с ним и показал на стул.

— Мы знаем, что вы хорошо партизанили в этом районе, — сказал он ему, — здесь оставались наши люди. Но как вы сюда попали? Расскажите, только всю правду.

И он ему все рассказал, как было. Майор выслушал его с сумрачным вниманием.

— Вот вы говорили, что, когда вас везли на лошади, — после окончания рассказа спросил майор, — вы слышали кавказскую речь проводников. А на каком именно языке они говорили?

— Не знаю, — сказал он.

— Но вы же сам кавказец, — настаивал майор и вдруг язвительно добавил: — Что, своих прикрываете?

Волна бешенства подхватила его. Он вскочил. Но и сквозь багровое пламя ярости он все-таки помнил нешуточность учреждения, в котором находился.

Майор на миг растерялся и, в свою очередь, почувствовал нешуточные возможности такой ярости даже в этом нешуточном учреждении.

— Не горячись, сядь, сядь, — сказал он, и уже примирительно: — Вот сумасшедший фронтовик...

И он сел.

— Я могу различить те языки, которые я слышал с детства, — сказал он, — а северокавказские языки я никогда не слышал и не могу различить. Да и какая разница? Предательство от нации не зависит.

Майор успокоился.

— Нам лучше знать, от чего это зависит, — уточнил он, — ничего, доберемся и до них. Но чем вы докажете, что вы бежали из концлагеря?

— Если эти места уже освобождены, — сказал он, сдерживая раздражение, — пусть ваш человек сунет руку в дерьмо, там, где канализация выходит из лагеря, и он увидит, что средняя проволока оборвана. Может и поднырнуть для проверки...

— Ладно-ладно, — остановил его майор.

— Да и пленные красноармейцы, если лагерь освобожден, — продолжал он, — могут вспомнить меня...

— С пленными красноармейцами еще разбираться и разбираться, — сказал майор многозначительно. — Вы свободны. Идите.

Он все рассказал майору, но, даже не задумываясь, каким-то инстинктом самосохранения пропустил историю с немецким офицером-абхазцем. Позже, уже после войны, вспоминая встречу с майором, он удивлялся своей не обдуманной заранее прозорливости. Эта история могла сломать ему всю карьеру. Тут были возможны два варианта обвинения.

Или они стали бы добиваться от него, какую подлую услугу он оказал немецкому офицеру, что тот его отправил отъедаться на кухню. Или еще хуже: офицер оказался его родственником. И тогда пришлось бы плохо не только ему, но, конечно, перетряхнули бы и родственников. Представить, что

офицер-абхазец, услышав от пленного доходяги родной язык, на миг поддался голосу крови и пожалел его, они не могли и не хотели.

Генерал никогда не был особым сталинистом, обаяние неимоверной власти вождя он чувствовал долго. И после войны, когда он ясно осознавал, что то или иное серьезное дело в стране делается неправильно, он в мечтах вдруг оказывался в кабинете Сталина и рассказывал ему об ошибках, допущенных его соратниками.

Сталин его внимательно выслушивал и, пользуясь своей фантастической властью, поднимал трубку и приказывал исправить ошибку. В эти мгновения генерал испытывал великое человеческое счастье. Что может быть прекраснее беспредельной власти, которая неустанно направлена на исправление ошибок. Никакой волокиты. О сладость грозного авторитета!

Приказ. Закон. Приказ, основанный на законе, и закон, исполняющийся с точностью приказа.

С кровью, с кровью годами приходилось выхаркивать преклонение перед великим авторитетом вождя. И позже, уже в отставке, он читал и доставал книги, иногда полузапретные или совсем запретные, чтобы знать правду о времени и об этом человеке. Да, вождь действительно оказался не тот. И он теперь с запоздалым стыдом вспоминал о своих мысленных встречах со Сталиным. И единственное смягчающее обстоятельство этих мечтаний он находил в том, что никогда его мысленные разговоры со Сталиным

об исправлении ошибок не увенчались наградой лично для него. Это он точно помнил. Впрочем, наградой было видеть в действии грандиозную власть, поворачивающую штурвал в нужном направлении.

Да, он с кровью вырвал все это, но и не мог не чувствовать зияющую пустоту там, где была вера.

Генерал вдруг вспомнил об одной застольной встрече с любимым полководцем. Это было еще на фронте. Он весь вечер любовался этим подвижным высоким остроумным человеком, чьи операции он считал образцом большого полководческого таланта. У него один глаз был стеклянный. И кто-то за столом шепнул Алексею Ефремовичу:

— Выбили во время допроса.

Он знал, что прославленный полководец в начале войны был в лагере. Тогда по рекомендации Жукова Сталин приказал освободить нескольких оклеветанных военачальников и сразу же доверил им достаточно ответственные должности. Его любимый полководец быстро продвинулся вверх, благодаря своему большому военному таланту.

И сейчас, через сорок с лишним лет, вспоминая об этой встрече, вспоминая свой тихий восторг, когда ему повезло оказаться за одним столом с этим блестящим человеком, он с удивлением подумал, что ему тогда не пришло в голову возмутиться зверством следователя.

Наоборот, он с умилением подумал, как хорошо получилось, что Жуков вспомнил о них, как хорошо получилось, что Сталин поверил Жукову!

...Да потому и поверил, что сам был дирижером всех этих репрессий! Как давно это было и как он тогда был наивен! Да разве он один! В чем тайна их наивной веры? Ключ от истории в руках Сталина и его сподвижников. И какие бы ошибки (ошибки!) они ни допускали, этот ключ в их руках и ни в какие другие руки перейти не может, и, значит, надо верить и честно служить. Да, ключ от истории... Когда связка ключей от всех тюрем в твоих руках, легко один из них выдать за ключ от истории. И сколько терзаний надо было вынести, чтобы убедиться — никогда никакого ключа от истории не было в их руках. Да и вообще нет никакого ключа от истории! Но что же есть?!

Генерал стоял в шумной, галдящей толпе торговцев на тротуаре Пушкинской площади. Чего только здесь ни продавали!

Какой-то мужчина в тибетейке продавал бананы с таким гордым видом, словно сам их вырастил в оазисах Каракумов. Другой мужчина, хоть и без тибетейки, но с еще более гордым видом продавал ананасы. Московский юнец с ныркими глазами предлагал импортные напитки, и было совершенно непонятно, как они попали к нему в руки: его истерзаннный наряд, словно он долго пролезал в форточку, слишком не соответствовал нарядным бутылкам. Какой-то мужчина, отнюдь не рыбацкой внешности, продавал кроваво-грязных карпов, неизвестно где, а главное, кем выловленных. Разбитая бабенка, с руками, сунутыми в валенки, неожиданно до-



тянулась до генерала и, похлопав ими у самого его уха, как бы уверенная в его глуховатости, весело крикнула:

— Бери, дед! Зимой благодарить будешь!

Генерал отстранился от валенок и огляделся. Самовары, матрешки, парфюмерия, порнография, ордена, консервы, живые раки, от гвалта не знающие, куда пятиться, горка изюма, похожая на усохший козий помет, орехи, арахис, цветы, сверкающая аппаратура неведомого назначения и водка, водка, водка! Еще недавно ее невозможно было достать, а теперь всюду появилась. И тут же крикливый фотограф, готовый снять вас рядом с наляпанными на фанере фигурами новых вождей.

Алексей Ефремович не осуждал и не одобрял все это, он хотел понять, но не мог. Чужая земля, чужие люди, чужая эпоха! Тоска и одиночество!

И вдруг из этой толпы выскользнула девушка с сияющим лицом в сопровождении какого-то мальчика. Она подбежала к нему, протянула какую-то белую брошюрку и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

— Мы вас любим!

Генерал вздрогнул, смутился, растерялся. Он и сейчас не знал, что именно это ему и надо было, но это ударило в сердце! Он глядел на ослепительно сияющее, улыбающееся лицо девушки и рядом сумрачное лицо мальчика и неожиданно подумал: безнадежно влюблен! Она уже во всем цветенье девичьей силы и красоты, а он еще такой мальчик, хотя на вид им обоим было лет по семнадцать.

Алексей Ефремович нерешительно потянулся за брошюрой и вдруг заметил на ее обложке большой крест. Первой его мыслью было, что это медицинская брошюра (белизна и крест), а девушка, каким-то чудесным образом угадав, что у него больное сердце, пытается помочь ему.

— Мы вас любим! — все еще звенело, серебрилось в воздухе, и он, глядя на ее радостное лицо, взял брошюру.

Написанное на обложке он мог прочесть и без очков. «БЛАГАЯ ВЕСТЬ, — прочел он над крестом, а под крестом: — ИИСУС НАШ ГОСПОДЬ. ЕГО ПРИШЕСТВИЕ БЛИЗКО».

Поняв, что это религиозная брошюра, он вдруг почувствовал, что никак не может огорчить эту девушку и сказать ей, что эти вопросы его не интересуют.

— Спасибо, — проговорил он, растерянно глядя на девушку еще и потому, что вокруг шла бойкая торговля, наталкивающая на мысль, что за брошюру надо заплатить, и в то же время ему показалось, что он обидит ее, предлагая деньги. И потому он ждал, не скажет ли она сама об этом. Но миг! И девушка с сопровождавшим ее мальчиком исчезли в толпе.

Генерал осторожно сунул брошюру в карман и стал спускаться по Малой Бронной. Он шел к дому генерала Нефедова, расположенному неподалеку в одном из тихих переулков.

Он вдруг почувствовал необыкновенную бодрость от смущающего, переливающегося в душе голоса девушки: «Мы вас любим!»

Кто «мы»? Он возвратился к своей первоначальной догадке о том, что она протянула ему медицинскую брошюру, зная о его больном сердце. Он почувствовал, что в этой догадке есть какая-то правда, хотя и не в телесном смысле.

Может, она догадалась о тех мыслях, которые его мучили в последние месяцы. Но как? Он сейчас точно знал, что она прямо так, налево и направо, не раздает брошюры, а явно выбирает людей, которые, как ей кажется, больше всего в них нуждаются. Пусть все это сказки, думал генерал о содержании брошюры, но ведь не сказка ее сияющее, струящееся добротой лицо, ее неожиданные слова, так взволновавшие его.

Навстречу ему по пустынному тротуару шли двое мужчин средних лет. Они шли быстрыми мелкими шагами, как бы целенаправленно приближаясь к какой-то быстрой мелкой радости. Скорее всего — к выпивке. Что-то в их оживленном облике внушило ему смутную тревогу.

— А я ему говорю, — громко и победно сказал один из мужчин, рубя ладонью воздух, — вот тебе, пидор! Вот тебе, гондон! Действуй!

И проскочили мимо. Генерал остановился, задохнувшись бешенством, даже не столько от пошлости сказанного, сколько от бессмыслицы. Да разве бывают такие снабженцы?!

И вдруг перед его глазами возник тот, который когда-то ему сказал: «Может, тебе еще и губы дать», — но он возник, почему-то слившись с обликом этого хама. И генерал с пронзительной болью и обидой на себя подумал: «Почему, почему

я ему не дал в морду?!» Но в следующий миг он взял себя в руки, расцепил двух склеившихся хамов и приказал себе: «Не маразмировать! Тогда были такие обстоятельства, я не мог тому ответить».

Отдышавшись, он пошел дальше и, успокаиваясь, решил, что это какой-то деловой сленг и, вероятно, означает совсем другое. Но все равно пошло и глупо. Что за безумный мир, подумал он, где одновременно живут такая девушка и такой дурак!

Он увидел парикмахерскую и вспомнил, что давно собирался постричься. Выкурив сигарету у входа, он вошел внутрь. Он хотел снять плащ, но гардеробная оказалась закрытой. Он вошел в вестибюль парикмахерской, занял очередь и сел на стул.

Среди ожидающих сидели два мальчика, скорее всего, первоклашки. Рядом с ними сидели две женщины, по-видимому, матери этих пацанов. Один из них был плотненький, а другой — худенький и глазастый. Худенький, наклоняясь к уху плотненького, что-то нашептывал ему, и они вдруг оба начинали задыхаться от сдержанного хохота. Так как это длилось довольно долго, генерал сначала подивился неумоимости их веселья, потом стал раздражаться, а потом вдруг все это увидел в каком-то новом свете.

«Это дети новой жизни, — вдруг подумал он, — совсем другой эпохи. Лет через десять они вступят в жизнь, и, вероятно, к тому времени все уладится. И хорошо, что сегодняшние дети так беззаботно смеются. Было бы хуже, если бы они

разделяли наши горести и обиды, это означало бы, что они их понесут дальше в новую жизнь». И теперь смех детей ему показался предвестником их будущей веселой разумной жизни.

«Пшада, Пшада», — вдруг подумал генерал, чувствуя, что это слово близко к тому, что должно случиться, когда эти дети вырастут, но так и не уловил точный смысл слова.

Тут он вспомнил о брошюре, лежавшей у него в кармане плаща, осторожно, чтобы не измять, вынул ее, достал очки, надел и, раскрыв наугад, начал читать. Так он уже давно привык проверять всякую новую книгу: пойдет или не пойдет. Он попал на главу пятнадцатую Евангелия от Иоанна.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают...»

Генерал медленно и внимательно прочел главу, поражаясь знакомым, деревенским понятиям: виноградарь, сухие ветви, костер. Все это видел он в детстве у себя в Чегеме, и отец его был виноградарь. Но больше всего его поразила музыка

слов, важная и грозная доброта слов, льющихся через край. И хотя в конце главы, где говорилось о грехе, он не все понял, он понял, что прочитанное прекрасно. Он сложил брошюру и теперь положил ее во внутренний карман пиджака. «Это надо читать дома, в тиши, в спокойствии», — подумал он, пряча очки.

Впечатление от прочитанного было похоже на впечатление от классической музыки, когда он впервые услышал ее уже взрослым человеком. И тогда она ему показалась прекрасной, но доза этого прекрасного для него была слишком большой, и он понял тогда, что к этому надо привыкать постепенно.

Вдруг в парикмахерскую ворвались двое юношей и две совсем юные девушки довольно вульгарного вида: обе в коротеньких платьицах, обе коротконогие и мордастые. Хохоча, они бросились на стулья. Одна из толстоморденьких жадно рвала зубами булку.

«Ну, ест булку, значит, голодная», — подумал генерал, пытаясь остановить поднимающееся раздражение. Все четверо, перекидываясь какими-то полупристойностями, вскакивали, валились на стулья, хохотали. Та, что ела булку, доев, вскочила, подбежала к загородке гардероба, прицелилась оттопыренным задом и, подпрыгнув, уселась на нее, болтая совсем уж оголившимися толстыми ногами и что-то запела. Спрыгнула, подбежала к своим, радостно заготовавшим, словно она проделала невероятно смешной номер.

Генерал сидел ни жив ни мертв, сдерживая бешенство и удивляясь, что никто им не делает замечания, хотя в очере-

ди сидели трое молодых мужчин и эти дуры уже весьма грубо заигрывали с ними.

— А со стариком могла бы?.. — вдруг кивнула одна из них на генерала.

— А почему бы нет?.. — ответила вторая, и все четверо загоготали.

Тут генерал все забыл. Багровые круги поплыли перед глазами. Он вскочил и подлетел к здоровому лохматому парню. Он-то и пришел стричься, как еще раньше понял генерал, а эти его сопровождали. Схватив его за лацканы пиджака, он рванул и бросил его с такой силой, что парень, отлетев к гардеробу, грохнулся, но вскочил.

— Вон, мерзавцы! — закричал Алексей Ефремович, но голос от волнения сорвался и дал петуха.

Второй парень и обе девушки с диким хохотом выскочили из помещения. А тот, что упал, вскочив, угрожающе посмотрел на генерала и сунул одну руку во внутренний карман пиджака, словно пытаясь достать оттуда нож. Генерал ринулся было к нему, но тот почти в прыжке вылетел из дверей парикмахерской.

Генерал сел на место. Сердце колотилось — беспорядочно, гулко, страшно. «Пронеси, пронеси, пронеси», — шептал про себя генерал и дрожащими руками достал таблетку валидола и закинул ее в рот.

Мужчины были явно смущены случившимся, а женщины, сопровождавшие детей, стали громко причитать по поводу падения нравов. Худенький глазастый мальчик не сводил с него восторженных глаз.

Он и сам не ждал от себя такой прыти, но и такого чудовищного хамства, кажется, еще не встречал. Он дососал валидол и, к своему тихому радостному удивлению, почувствовал, что сердце успокоилось. «Мы еще проживем», — подумал он про себя и подмигнул глазику. Тот смутился и опустил голову.

Подошла очередь генерала. Он вошел в зал, огляделся и, увидев вешалку, снял и повесил плащ. Сел в кресло. Высокая, как баскетболистка, миловидная парикмахерша спросила у него:

— Как вас подстричь?

— Как есть, — сказал генерал и неопределенно провел рукой по волосам, имея в виду, что надо восстановить предыдущую стрижку. Он немного стыдился, что всегда забывает названия стрижек. То, что голова его считала ненужными знаниями, он всегда забывал, хотя практически это иногда бывало нужно.

— Что значит — как есть? — вступила в бой парикмахерша. — Полька? Скобка? Что?!

— Как хотите, — сказал генерал примирительно.

— Голову мыть будете? — спросила парикмахерша.

— С удовольствием, — сказал генерал, вступая в полосу ясности взаимопонимания.

— Учтите, это будет немного дороже, — предупредила парикмахерша.

— Уже учел, — сказал генерал, оглядывая себя в зеркало и с удовольствием замечая, что на его лице нет следов перенесенного недавно волнения.



Это известие сильно смягчило парикмахершу, и она, уже ласково нависая над ним, заткнула ему за воротник белоснежную простыню.

— Виски прямые или косые? — спросила она тоном экзаменатора, явно спасающего экзаменующегося.

— Прямые, — твердо сказал генерал, хотя ему было совершенно все равно.

Радио беспрерывно что-то передавало, но его никто не слушал. Вдруг неожиданно для генерала, словно вероломно нарушая восстановленный мир, парикмахерша вздернула его, вознесла в кресле так, что сердце его на миг упало. На самом деле она просто нажала на педаль кресла и приспособила его голову к своему росту.

Пока она стригла его и мыла голову, он окончательно успокоился и расслабился. Она опрыскала ему голову приятно-колючей струей одеколона и стала ласково зачесывать его все еще густые седые волосы. И он снова вдруг подумал: «Пшада, Пшада»...

Радио, не останавливаясь, работало, и он краем уха услышал:

— Ветер слабый, до умеренного...

«Пшада — безветрие!» — вспыхнуло у него в голове, и что-то мощное ударило в грудь, и родной язык, как с размаху разбитый арбуз, хрястнул и распался перед ним, выбрызгивая и рассыпая смуглые косточки слов!

Он увидел себя мальчиком-подростком в жаркий летний день под сенью грецкого ореха. Рядом был его двоюродный

брат, могучий юноша, которого он обожал за эту могучесть и которого позже, в начале войны, убили на западной границе. Но сейчас ничего этого не было.

Они шутливо боролись на траве.

— Что вы возитесь, как щенята? Уж не маленькие, — раздался голос его мамы, и он, не глядя, продолжая бороться, понял по ее голосу, что она с медным кувшином ключевой воды на плече возвращается с родника. Голос соразмерялся с утяжеленными шагами.

И хотя они шутливо боролись, сам он, не на шутку разгоряченный, старался положить на спину своего брата, и тот наконец поддался ему, якобы поборотый, и он победно уселся ему на грудь.

И тут брат его стал хохотать, и грудь его мощно вздымалась от хохота, сотрясая сидящего на нем мальчика. И сам он стал хохотать, поняв причину хохота брата. Брат хохотал, оттого что, по его разумению, мальчишке казалось, что он все-таки его поборол. А он смеялся, оттого что уже догадался, что брат его нарочно лег на лопатки, а брат думает, что он об этом не догадался.

— Кажется, старик умирает! Зинка, звони в «скорую», — услышал он далекий голос своей парикмахерши.

«Никогда я не был таким живым, как сейчас», — хотел он крикнуть ей в ответ, но понял, что отсюда туда не докричишься, хотя и не был удивлен, что сам услышал ее голос.

— Давай я тебя подыму, — сказал двоюродный брат, отхохотавшись.

Он поспешно сел рядом на траву, снизу под ногами сцепил пальцы рук и приготовился. Так брат его часто поднимал с земли на вытянутой руке.

Брат, лежа, продел правую руку под его левую руку ухватился сильными пальцами за предплечье его правой руки, завалил его к себе на грудь, распрямил свою правую руку и отвел левую. Так бывало всегда. Теперь надо было сесть, а потом встать и поддержать его на вытянутой руке.

Но что за черт! Брат лежал и никак не мог сесть с грузом на вытянутой руке. А как легко он его поднимал раньше! Рука его с вытянутым грузом уже начинала дрожать, а пятка правой босой ноги, никак не находя опоры на траве, оскальзываясь и содрогаясь, стала рыть яму, ища опоры. Ужас далекого сходства пронзил его.

— Отчего ты так потяжелел?! — вдруг спросил у него брат гневным голосом, снизу глядя на его скрюченное тело глазами уже в прожилках крови от напряжения. Нога его яростно продолжала искать опоры, и пятка вырывала и отбрасывала комья земли, корни, камни, прорываясь и прорываясь в какую-то страшную глубину.

— Не знаю, — ответил он, теперь чувствуя себя мальчиком-генералом и голосом стараясь внушить брату, что он только мальчик, страшась, что он вдруг догадается о тех расстрелянных немецких офицерах. И теперь яма, вырытая ногой брата, превратилась в бездонную щель, куда брат его, кажется, хочет забросить.

— Зато я знаю! — гневно воскликнул брат, мучительно глядя на него снизу, и рука, державшая его, все сильнее дро-

жала от напряжения. И вдруг, сверху вниз глядя на брата, он увидел, как на лице его проступают синие пятна, и понял, что это уже убитый брат, и, оттого что он убитый, он все-все знает о нем: и о немецких офицерах, и о любимом адъютанте, и о забвении родного языка. И если он его еще не сбросил в щель, то только потому, что помнит и любит того, далекого, довоенного мальчика.

— Но ведь была такая война! — крикнул он сверху, пытаясь прорваться к нему.

— А меня что, по пьянке убили?! — грозно ответил ему брат, продолжая держать его на вытянутой руке.

— Но ведь я его так любил! — крикнул он, спеша опередить его решение последним доводом, который у него был.

— Любил, — с трудом повторил брат, силясь сопоставить его слова с его грехом, и рука брата уже не дрожала, а содрогалась от напряжения. И вдруг все погасло.

Генерал Алексей Ефремович, уже мертвый, сидел в кресле. Пришла «скорая помощь», позже позвонили генералу Нефедову, он связался с вдовой, и все получилось пристойно, как хотел покойник.

На пятый день в морге состоялась гражданская панихида. Генерал Нефедов заехал на своей машине за вдовой Алексея Ефремовича, чтобы довезти ее в морг. Сейчас она была на городской квартире. Оставив сына, сидевшего за рулем, генерал поднялся к ней. Он позвонил, и она ему открыла дверь. Из кухни раздавались возбужденные голоса незнакомых жен-

щин, стук ножей, звон тарелок. Там готовились к поминкам. Пока он говорил с вдовой, стоя в передней, оттуда время от времени высовывались и исчезали любопытствующие женщины. Возможно, они были родственницами вдовы, но раньше их генерал Нефедов никогда не видел.

— Ах, Сергей Игнатьевич, — сказала вдова, одеваясь, плача и время от времени давая трезвые приказы высовывающимся из кухни, — вы знаете, как я любила Алексея Ефремовича. Я его вытащила с того света, когда он тяжело болел... Я продлила ему жизнь на десять лет... Даже на одиннадцать...

Она вспомнила и щедро прибавила тот неполноценный год, когда они уже были близки, но еще не оформили брак.

— Царство ему Небесное, — продолжала она, — но почему, почему он был такой скрытный?

— Не замечал, — холодно пробасил генерал Нефедов.

— Потому-то и не замечали, что скрытный, — пояснила вдова и, быстро пройдя в комнату, вынесла оттуда и подала генералу Нефедову книжку Нового завета: — Вот!

— Что это? — спросил генерал Нефедов, беря в руки Новый Завет и не понимая, какое это имеет отношение к предмету разговора.

— В кармане пиджака, в котором он умер, лежало, — с грустной торжественностью произнесла вдова и снова заплакала.

— Ну и что? — сказал генерал Нефедов и, не зная, куда деть брошюру, положил ее на подзеркальник. — Купил где-нибудь на улице.

— Купил? — с горестной иронией повторила она и кивнула на брошюру: — Посмотрите, там даже цена не отмечена. Он связался с церковниками и в последние месяцы был какой-то странный, а я не могла понять, в чем дело. Такие книжки, насколько я знаю, держат дома, а не прячут в кармане от жены... Царство ему Небесное!

Пока она говорила это, из кухни высунулась какая-то женщина и хотя никак не могла знать, о чем они говорят, однако, что-то угадав и как бы втайне от вдовы, несколько раз скорбно кивнула генералу Нефедову в том смысле, что он слышит правду и только правду. Генерал Нефедов, внезапно испытыв вспышку бешенства покойника, так посмотрел на эту женщину, что она мгновенно юркнула в кухню.

Он перевел взгляд на вдову, которая, надев пальто и завязав на подбородке черную косынку, отвернулась от зеркала и посмотрела на него, выражая готовность ехать.

Генерал поразился, что слезы на ее глазах успели высохнуть и глаза ее теперь источали странный сухой блеск. Смысл его генерал Нефедов не понял, хотя это был бойцовский блеск. Она давно подозревала, что, вероятно, есть тайное завещание в пользу детей. Теперь она заподозрила, что он мог и церкви что-то оставить. Борьбу на два фронта она не предвидела и теперь старалась быть очень собранной.

— Поехали, — сказал генерал Нефедов, и они вышли.

Панихида прошла достойно. У гроба стояли дети, извещенные телеграммами. Сын стоял вместе с женой и двумя внуками Алексея Ефремовича. Он был абсолютно трезв, и, как

у людей много пьющих, именно в трезвости лицо его более всего носило следы алкогольного распада.

Дочь прилетела без мужа, словно проявляя такт по отношению к умершему отцу, не одобрявшему ее второй и третий брак. Возможно, так оно и было. Вся в слезах, в траурной одежде, она была особенно хороша. Кстати, был и ее первый муж, ему позвонил генерал Нефедов, и он опять рыдал, теперь на мертвой груди Алексея Ефремовича. Кроме генерала Нефедова, были еще двое военных, больше фронтовиков из людей их круга в Москве уже не осталось. Генерал Алексей Ефремович со всеми почестями был похоронен на хорошем московском кладбище.

## Содержание

Человек и его окрестности .....	8
Рапира .....	66
Ловчий ястреб .....	124
Сумрачной юности свет .....	180
Красота нормы, или мальчик ждет человека .....	282
Звезды и люди .....	329
Рукопись, найденная в пещере .....	360
Море обаяния .....	389
Палермо — Нью-Йорк .....	423
Ласточкино гнездо .....	454
Страх .....	503
О, мой покровитель! .....	527
Кутеж стариков над морем .....	561
Ленин и дядя Сандро .....	601
Пшада .....	642



Литературно-художественное издание  
искандер фазиль абдулович  
собрание  
человек и его окрестности

Редактирование и корректура  
*Мария Богданович, Татьяна Тимакова*

Художественный редактор  
*Валерий Калмытьш*

Верстка  
*Роман Терешин*

Изд. лиц № 0985 от 17.02.2000  
Подписано в печать 24.04.04  
Формат 70×108<sup>1/32</sup> Бумага для ВХИ  
Гарнитура Петербург Печать офсетная  
Усл. печ. л. 32,2 Тираж 3000 экз  
Заказ № 244

Издательский дом «Время»  
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25  
Телефон (095) 231 1877

Отпечатано на ФГУИПП «Уральский рабочий»  
620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13  
<http://www.uralprint.ru>  
e-mail [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

ISBN 5-94117-125-0



9 795941 171254